В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

Марсель Пруст

Обретенное время



ИНАПРЕСС

Обретенное время
Марсель Пруст

Аннотация
Марсель Пруст. Обретенное время

Аннотация

Последний роман цикла «В поисках утраченного времени», который по праву считается не только художественным произведением, но и эстетическим трактатом, утверждающим идею творческой целостности человека.

Марсель Пруст
Обретенное время

Я не рассказывал бы, впрочем, о своей жизни возле Комбре, ведь в то время Комбре я вспоминал крайне редко, — если бы именно там, пусть и с неокончательной полнотой, не нашел подтверждения мыслей, впервые посетивших меня на стороне Германтов, а также других, пришедших на стороне Мезеглиза[1]. Я возобновил ежедневные послеполуденные прогулки, как раньше на стороне Мезеглиза, — правда, в обратном направлении. В Тансонвиле ужинали в тот час, когда в Комбре, в те времена, все давно уже спали. Из-за жары, и потому что во второй половине дня Жильберта рисовала в дворцовой часовне, мы выходили только часа за два до ужина. Раньше мне доставляло удовольствие разглядывать на пути домой пурпурные небеса, окаймляющие кальварий, купаться в Вивоне, теперь радовала и сама прогулка в наступающей

[1] Примечания: 1

Комбре — вымышленное место летнего отдыха семьи первого лица повествования. Топография разработана в первой части романа «По направлению к Свану». Сторона Мезеглиза и сторона Германтов — два направления детских и юношеских прогулок героя, в романе наделены почти метафизическим значением. «Сторона Германтов олицетворяет собой путь духовных и беллетристических исканий, мечтаний, сторону „аполлоническую“, сторона Мезеглиза (она же — „сторона к Свану“) „дионисическую“ сторону чувственного опыта, первого контакта с пороком» (А. Морелло). Ниже: правда, в обратном направлении — герой теперь сам «на стороне Мезеглиза» (в Тансонвиле, где находится дворец Германтов).

ночи, когда в деревне уже никого не встретишь, лишь голубоватый, неправильный и подвижный треугольник возвращающегося стада овечек. С одной стороны догорал закат, с другой — светила луна, и вскоре все было залито ею. Иногда Жильберта отпускала меня пройтись в одиночку, и я устремлялся вперед, отбрасывая тень, как лодка, рассекающая волшебные пространства; но обычно она меня сопровождала. Мы довольно часто проходили местами моих детских прогулок, однако я чувствовал, и намного сильнее, чем когда-то на стороне Германтов, что наверное никогда не смогу писать; я ощущал, что воображение и чувствительность во мне притупились, потому что в Комбре ничто меня уже не интересовало. Мне было грустно, что былое не оживает во мне. С края бечевой полоски Вивона казалась мне узкой и безобразной. Не то чтобы между воспоминаниями и тем, что я видел теперь, было много отличий в деталях. Но поскольку я жил вдалеке от этих мест, которые довелось посетить снова уже в совершенно иной жизни, между нами не было соприкосновения, из которого рождается, еще до того, как успеешь заметить это, мгновенная, восхитительная и всеобъемлющая вспышка воспоминания. Я грустил, ее природа не была

мне ясна, мне казалось, что моя способность к чувству и воображению настолько ослабла, что я уже никогда не испытаю радости этих прогулок. Жильберта еще хуже во мне разбиралась, и только усиливала тоску. «Неужели вы ничего не чувствуете, — говорила она, — когда глядите на эту тропку, по которой вы уже когда-то карабкались?». Но и сама Жильберта изменилась так сильно, что не казалась мне больше прекрасной, да теперь она и не была такою. На прогулках мы то поднимались на холмы, то спускались по склонам; я видел, как все изменилось. Я с удовольствием болтал с Жильбертой. Однако не обходилось без затруднений. Многие люди состоят из нескольких несовместимых слоев — характера отца, характера матери; поначалу мы натыкаемся на один, затем на другой. Но на следующий день порядок их слоения опрокинут. И в конечном счете неясно, который перевесит и определит расположение частей. Жильберта была похожа на государства, с которыми не вступают в союз, потому что там слишком часто меняют правительство. Однако это в корне неверно. Память самого последовательного существа тождественна, и она не позволит изменить обязательствам, о которых мы помним, даже если

мы и не подписывались под ними. Что до ума Жильберты, то хотя он и обнаруживал некоторые нелепицы, унаследованные от матери, он был весьма не слаб. Но, помнится, и это не относилось к собственно качествам ее ума, во время этих разговоров на наших прогулках она несколько раз сильно меня удивила. Впервые, когда сказала мне: «Если бы вы не проголодались, и не будь уже так поздно, мы сейчас свернули бы налево, потом взяли вправо, и менее чем через четверть часа оказались бы у Германтов». С тем же успехом можно было сказать: «Поверните налево, затем возьмите вправо, и вы прикоснетесь к чему-то неосязаемому, недостижимому, о чем на земле знали только одно: где оно, в какой оно (я и сам-то думал, что смогу узнать об этом только у Германтов, — и, в какой-то мере, я не ошибся) „стороне"“. Еще меня удивили „истоки Вивоны“, представлявшиеся мне чем-то из того же неземного ряда, что и Врата Ада, и оказавшиеся всего-навсего квадратной лужей с прачечными мостками, бурлящей пузырями. И в третий раз, когда меня потрясли слова Жильберты: „Хотите, мы можем вернуться как-нибудь к Германтам через Мезеглиз, это самый красивый путь“, — все мои детские представления перевернулись, я понял, что две

эти стороны не были так несводимы, как я думал. Но больше всего меня удручало, сколь мало в этот приезд я вспоминал прежние годы — мне не очень-то хотелось заново осмотреть Комбре, а Вивона казалась мне узкой и безобразной. Но однажды Жильберта подтвердила мысли, уже посещавшие меня на стороне Мезеглиза, это случилось на одной из тех ночных прогулок перед ужином — но она ужинала так поздно! Погружаясь в таинство прекрасной глубокой лощины, устланной лунным светом, мы остановились на мгновение, будто насекомые, что вот-вот заползут в сердцевину голубоватой цветочной чашечки. Вероятно, в качестве обходительной хозяйки, которая сожалеет о скором отъезде друга и хотела бы произвести благоприятное впечатление своим гостеприимством, — тем более, что эти места, как ей показалось, пришлись вам по душе, — Жильберта со светской изобретательностью извлекала выгоду и из молчания, и простодушия, и сдержанности в изъявлении чувств, чтобы дать почувствовать, что вы в ее жизни занимаете исключительное место. Меня переполняла нежность чудного воздуха и свежего ветерка, и я неожиданно излил это чувство Жильберте: „Вы недавно упомянули тропку на

горе. Как я любил вас тогда!“ — Она ответила: „И почему вы мне не сказали? Я о том и не подозревала. Я вас любила, я как-то чуть не кинулась вам в объятья“. — „Это когда же?“ — «Первый раз в Тансонвиле, вы гуляли с родителями, а я вышла навстречу; я никогда не видела такого хорошенького мальчика. Я частенько, — продолжила она стыдливо и задумчиво, — ходила с друзьями на развалины руссенвильского замка. Вы скажете, что я была дурно воспитана, потому что там внутри, в темноте, играли друг с другом самые разные девочки и мальчики. Там служка комбрейской церкви, Теодор[2] (надо отдать ему должное, он был миленький — ей-богу, он был очень хорош!.. теперь, правда, подурнел и работает аптекарем в Мезеглизе), развлекался с соседскими крестьяночками. Меня отпускали гулять одну, и как только я могла улизнуть, я сразу же бежала туда. О, как я хотела, чтоб вы туда пришли; я прекрасно помню, что у меня была только минута, чтобы намекнуть вам, чего я хочу, — хотя я и рисковала, что меня заметят наши родители; я показала вам это, и так неприлично, что мне стыдно до сих пор. Но вы зло на меня посмотрели, и я поняла, что

[2] Примечания: 2

Теодор упоминается в первом томе. В частности, он помогает Франсуазе заботиться о тетке Евлалии.

вы не хотите».

Я тотчас подумал, что на самом деле и Жильберта и Альбертина были такими, какими выдали себя взглядом в первое мгновение, — одна перед изгородью боярышника, вторая на пляже. И это я неловкостью все испортил, поскольку понял их слишком поздно, когда уже внушил, болтая с ними, боязнь показаться такими же разбитными, как в первую минуту. Моя невстреча с ними была еще поразительней, — хотя, по правде говоря, мой провал был не столь абсурден, — и объяснялась теми же причинами, из-за которых Сен-Лу разминулся с Рашелью.

«И второй раз, — продолжала Жильберта, — много лет спустя, когда мы столкнулись в дверях вашего дома, перед встречей у тетки Орианы; я не узнала вас сразу, или, вернее, узнала вас, не узнав, потому что мне хотелось того же, что в Тансонвиле». — «В промежутке, однако, были Елисейские поля». — «Да, но тогда вы слишком сильно меня любили, и меня все это несколько тяготило».

Я не спросил ее, кто шел с ней тогда по Елисейским полям, — в тот день, когда я захотел снова ее увидеть, когда это было еще возможно, когда я собирался помириться с нею, в тот день, что, быть

может, изменил бы всю мою жизнь, — если бы я не встретил те две тени, двигающиеся бок о бок в сумерках. Спроси я ее, и она, наверное, сказала бы правду, как сказала бы правду Альбертина, если бы воскресла. Но когда, спустя годы, мы встречаем женщин, которых мы уже не любим, между нами стоит смерть, будто их больше нет в живых, — ибо со смертью любви умирают и те, кем тогда были они, и те, кем тогда были мы. А может быть, она не вспомнила, или солгала бы. В любом случае, меня это больше не интересовало, потому что мое сердце изменилось еще сильней, чем лицо Жильберты. Теперь она не особо нравилась мне, но главное заключалось в том, что я уже не был несчастлив, я не смог бы вообразить, вспомни я об этом снова, что это я так страдал, встретив ее, семенящую бок о бок с юношей, что это я твердил себе: «Это конец, я больше никогда не захочу ее видеть». От того состояния, от мучений того далекого года, ничего не осталось. Потому что в этом мире, где все изнашивается, погибает, кое-что распадается и уничтожает себя еще сильней, оставляя еще меньше следов, чем Красота — это Горе.

Но если меня и не удивило, что я тогда так и не спросил Жильберту, с кем это она шла по Елисей-

ским полям, ибо мне уже достаточно известно примеров этой нелюбознательности, которой нас учит Время, то все-таки я был несколько озадачен, что не рассказал ей, что в тот день, перед встречей, я продал старый китайский фарфор, чтобы купить ей цветы. (Я спросил ее. Это была Леа, одетая мужчиной. Жильберта знала, что та была знакома с Альбертиной, но не могла рассказать больше. Так некоторые люди снова и снова встречаются в нашей жизни, предвещая радость или страдание.) А в те печальные времена эта мысль, что когда-нибудь я без опаски смогу рассказать ей о своем трогательном намерении, была моим единственным утешением. Примерно год спустя, если мне казалось, что чей-то экипаж вот-вот разобьет мой, у меня было одно желание — сохранить жизнь, чтобы обо всем этом рассказать Жильберте. Я утешал себя, повторяя: «Нам некуда торопиться, впереди вся жизнь». И поэтому я не хотел расстаться с жизнью. Теперь я не находил эту историю подходящей и увлекательной темой для разговора, она казалась мне почти смешной. «Впрочем, — рассказывала Жильберта, — в тот день, когда мы столкнулись у вашего дома, вы были прямо таким же, как в Комбре — вы совершенно не изменились!» Я попытался воскресить

Жильберту в памяти. Я мог нарисовать четырехугольник солнечного света над боярышником, лопатку, которую девочка держит в руке, ее долгий взгляд, обращенный ко мне. Только из-за грубого жеста, которым он сопровождался, мне показалось, что он выражает презрение, — желаемое мною, думал я, девочкам неведомо, они это проделывают только в моих мечтах, в одинокие томительные часы. Еще больших трудов мне стоило бы поверить, что одна из них, так легко и безотлагательно, осмелится продемонстрировать что-то такое прямо на глазах у моего дедушки.

Я не спросил ее, с кем она шла по Елисейским полям в тот вечер, когда я продал китайский фарфор. Мне стало совершенно безразлично, какая реальность таилась за видимой оболочкой. И все-таки, сколько дней и ночей я страдал, спрашивая себя, кто это был, и разве не должен я был с еще, быть может, *большим упорством*, чем в те комбрейские вечера, чтобы не вернуться прощаться с мамой, унимать биение моего сердца! Говорят, — и этим объясняется прогрессирующее ослабление нервных болезней, — наша нервная система дряхлеет. Но это не приложимо к нашему постоянному «я», сохраняющемуся на протяжении всей нашей жизни, лишь к цепи

сменяющихся «я», которые, собственно, и составляют первое по частям.

И теперь, когда прошло много лет, мне приходилось заново лепить образ, так хорошо мне запомнившийся; в какой-то мере, это действие дарило мне счастье, оно показывало, что неодолимая пропасть, разделявшая, как я думал, меня и девочек с золотистыми волосами, в той же степени принадлежит воображению, как пропасти Паскаля, — в этом была какая-то поэзия, ибо операцию надлежало совершить в далеком прошлом. Я испытывал рывок желания и сожаления, вспоминая о подземельях Руссенвиля. Однако мысль о том, что радость, к которой тогда устремлялись все мои помыслы и которую ничто не могло предоставить мне, существовавшая только в душе, и которая, как оказалось, была так близка от меня — в Руссенвиле, частенько упоминавшемся за разговорами, что виднелся из окна пахнущего ирисами кабинета, — эта мысль переполняла меня счастьем. И я ничего не узнал! Жильберта подвела итог всем моим мыслям, когда я мечтал на прогулках, не осмеливаясь вернуться, жаждуя увидеть, как разверзаются, оживают деревья. И то, чего я так лихорадочно хотел тогда, она едва — если б я только смог понять

это — не дала вкусить мне в самом отрочестве. В те времена Жильберта в большей степени принадлежала стороне Мезеглиза, чем мне казалось. И в тот самый день, когда я столкнулся с ней в дверях, хотя она и не была мадемуазелью д'Орженвиль, подружкой Робера по домам свиданий (как забавно, что именно у ее будущего мужа я просил разъяснений!) — я не особо ошибся в смысле ее взгляда и в том, какого она была пошиба, как она теперь мне созналась. «Все это было довольно давно, — сказала она мне, — и с того дня, как я обручилась с Робером, я больше ни о ком не думала. И, знаете ли, это не те детские шалости, за которые я теперь виню себя больше всего..."[3].

Целый день в этой несколько захолустной тансонвильской усадьбе, казалось, более всего подходившей для послеполуденного отдыха между прогулками, либо во время ливня, — в одном из тех дворцов, где комнаты смахивают на беседки, и садовые розы на обивках в одной, лесные птицы в другой обступают вас, как друзья, обособляют, — это была старая обив-

[3] Примечания: 3

В последних изданиях этот фрагмент включается в роман «Беглянка». Мы следуем прежним.

ка, на которой каждая роза довольно отделена от прочих, чтобы, если бы она ожила, мы могли сорвать ее, а птиц рассадить по клеткам и приручить, обивка, мало чем напоминающая великолепное убранство современных покоев (и на серебристом фоне не росли нормандские яблони в японском стиле, которые вплетаются в наши сновидения), — целый день я просидел в комнате с видом на роскошную парковую зелень, сирень у входа, зеленую листву больших деревьев на берегу реки, искрящейся в солнце, на лес Мезеглиза. Я испытывал удовольствие, стоило только подумать: «Как занятно, когда столько зелени за окном», — пока в обширном зеленеющем полотне я не различил окрашенную в совершенно другой, ведь она была дальше, в голубой сумрак, — колокольню церкви в Комбре. Не контуры этой колокольни — колокольню саму; ее на глазах заволокли пространства и времена, и посреди светящейся зелени и совсем другого тона, столь сумрачного, что она казалась едва прочерченной, она вписалась в квадратик моего окна. И только я выходил из комнаты в кривой коридор, как обивка маленькой гостиной, что была-то лишь неприхотливым муслином, представала ярко-красной полосой, — алеющей,

и тотчас вспыхивающей, если на нее падал солнечный лучик.

На этих прогулках Жильберта рассказала мне, что Робер ее бросил, но якобы из-за других женщин. И правда, они загромоздили его жизнь, и, как в дружбе с теми, кто предпочитает женщин, в этом было что-то от беззащитной обороны, пространства, потерянного даром — так в некоторых домах скапливается мебель, которая уже ничему не служит.

Несколько раз за время моего пребывания в Тансонвиле он заезжал туда. Он очень изменился. Он не отяжелел от жизни, не замедлился, как де Шарлю; напротив, преобразования пошли в противоположную сторону, в нем появилась какая-то кавалерийская непринужденность, хотя он и вышел в отставку незадолго до женитьбы, — так раскован он никогда не был. По мере дряхления барона, Робер (конечно, он был намного моложе, но чувствовалось, что с годами он все сильнее стремится к этому идеалу), подобно некоторым женщинам, приносящим в жертву талии решительно всю свою внешность и с наступлением определенного возраста не покидающим более Мариенбада (полагая, что если уж и нельзя сохранить сразу несколько свидетельств былой

свежести, они законсервируют осанку, а та будет олицетворять собой все остальное), становился все стройнее, все резвее, — словно обратным действием того же порока. У этой стремительности, впрочем, были некоторые психологические основания: страх, что его увидят, желание скрыть эту боязнь, лихорадочность, вызванная недовольством собой и тоской. Он был завсегдатаем дурных мест определенного рода, и туда, так как он предпочитал, чтобы его посещения остались незамеченными, он врывался, чтобы уберечься от недоброжелательных взоров гипотетических прохожих, как ходят в атаку. Этот шквальный аллюр вошел у него в привычку. Быть может, он обозначал притворное бесстрашие человека, который хотел бы показать, что бояться ему нечего, но не оставлял себе времени на размышление. Для законченности картины необходимо учитывать также желание, старея, казаться молодым и нетерпеливость всех людей такого сорта — слишком умных для праздности, в которой их способности не проявляют себя сполна, и потому всегда томящихся и пресыщенных. Наверное, эта праздность может выразиться и апатией. Но с тех пор, как физические упражнения стали пользоваться всеобщей любовью, праздность приняла

спортивную форму даже вне часов, отведенных спорту, и выражается уже не равнодушием, но лихорадочной живостью, не оставляющей на тоску ни времени, ни места.

Моя память, память непроизвольная сама по себе[4], потеряла любовь к Альбертине. Но, быть может, я сохранил непроизвольную память конечностей, бесцветную и бесплодную имитацию другой, хотя и живущую дольше — так некоторые неразумные твари и растения живут дольше человека. Ноги и руки переполнены оцепеневшими воспоминаниями.

Как-то раз, довольно рано простившись с Жильбертой, я проснулся посреди ночи в своей тансонвильской комнате и в полусне позвал: «Альбертина». Не то чтобы я думал о ней, не то чтобы она мне приснилась, и я не перепутал ее с Жильбертой: это было именно смутное воспоминание, распустившееся в моей руке, ищущей за спиной колокольчик, словно я спал у себя, в моей парижской комнате. И, не находя его, я позвал:

---

[4] Примечания: 4

Тема «непроизвольной памяти» (читатели «Поисков» уже знакомы с ней по роману «По направлению к Свану») впервые возникает в раннем романе «Жан Сантей», затем она входит в «Против Сент-Бева», что, в конечном счете, предопределило отказ Пруста от работы над ним и начало работы над «Поисками». Ниже эта тема будет теоретически обоснована.

«Альбертина», — думая, что покойная подруга спит рядом, как частенько бывало вечерами, что мы заснули вместе, рассчитывая по пробуждении, что Франсуазе понадобится какое-то время, чтобы дойти до комнаты, и Альбертина может без опаски позвонить в колокольчик, который я никак не мог найти.

Робер заметно черствел, и теперь почти не проявлял в общении с друзьями, со мной в частности, каких-либо чувств. Зато на Жильберте он вымещал чувственность аффектированную и отталкивающе комичную. Не то чтобы она на самом деле была ему безразлична. Нет, Робер любил ее. Но он постоянно ей лгал; двойственная его натура, если не сама причина этой лжи, постоянно вылезала наружу, и тогда ему казалось, что можно выкрутиться, до смешного преувеличивая свою подлинную грусть, которую он испытывал, причиняя страдания Жильберте. Робер только приехал в Тансонвиль и уже уезжал следующим утром, у него было дело, по его словам, с одним здешним господином, который ждет его на месте, — но последний, повстречавшись вечером с четою в окрестностях Комбре, невольно опровергал выдумку Робера, о которой тот не потрудился ему сообщить, рассказывал,

что приехал отдохнуть в деревню на месяц, и не собирается возвращаться в Париж раньше этого срока. Робер краснел, заметив чуткую и печальную улыбку Жильберты, нагрубив, отделывался от недотепы, и, оставив ее, бежал домой, передавал ей отчаянную записку, где говорилось, что он солгал, чтобы не огорчить ее, чтобы из-за его отъезда — по некоторой причине, о которой он не может ей рассказать, — она не подумала, что он ее разлюбил (все это, хотя и было им описано как ложь, в действительности было правдой), затем посылал спросить, можно ли зайти к ней, и там отчасти в настоящей тоске, отчасти устав от этакой жизни, отчасти — от все более и более дерзкого притворства, рыдал, покрываясь холодным потом, говорил о своей близкой кончине, иногда даже падал на паркет, будто чувствовал себя очень плохо. Жильберта не понимала, насколько ему можно верить, ей казалось, что он врет постоянно, но думала также, что он ее все-таки любит, и ее беспокоили эти предчувствия грядущей гибели; сдавалось ей, у него какой-то недуг, о котором она ничего не знает, и потому, чтобы не расстроить его, она не требовала отказаться от этих поездок. И я тем меньше понимал, почему Мореля, как домашнее дитя, принимали

вместе с Берготом везде, где была чета Сен-Лу — в Париже, Тансонвиле. Морель подражал Берготу превосходно. По прошествии некоторого времени уже не было нужды просить его «поподражать еще». Подобно тем истерикам, которых вовсе не обязательно подвергать гипнозу, чтобы они перевоплотились в того или иного человека, он неожиданно стал <...>[5]

Франсуаза знала обо всем, что де Шарлю сделал для Жюпьена, что Робер де Сен-Лу сделал для Мореля, и она не выводила из этого каких-либо заключений о той характерной особенности, что снова и снова проявлялась в коленах Германтов — ведь и Легранден немало помог Теодору, — и, в конце концов, женщина столь моральная и так сильно укоренившаяся в своих предрассудках, она решила, что это своего рода повсеместный обычай, и потому отказать ему в уважении невозможно. Она по-прежнему отзывалась о каком-нибудь молодом человеке — вроде Мореля или Теодора: «Он встретил господина, который сильно им заинтересовался и очень помог». И так как в этих случаях покровители — это те, кто любит, страдает и прощает все, Франсуаза без ко-

[5] Примечания: 5

писателем. Развитие темы читатель увидит ниже (предложение не закончено Прустом).

лебаний отводила им лучшую роль в отношениях между ними и «малышами», которых они развращали, приписывая первым «большое сердце». Она безоговорочно осуждала Теодора, вдоволь попортившего кровь Леграндену и, казалось, почти не сомневалась в природе их отношений: «Тут парень сообразил, что пора бы и ему внести свою лепту и так говорит: „Возьмите меня с собой, я буду вас так любить, я так вам угожу“, — и само понятно, у мсье такое сердце, что, конечно, Теодор может и не сомневаться, что получит намного больше, чем он сам того *стоит*, потому что ведь голова-то у него бедовая, — но зато мсье-то такой хороший! Я так и говорю Жанетте (невесте Теодора): «Малышка, если что стрясется, бегите сразу к нему. Он лучше на полу спать ляжет, а вас положит на своей кровати. Он слишком любит малыша (Теодора), чтобы прогнать. Конечно, он не покинет его никогда"». (Из вежливости я спросил у сестры Теодора о его фамилии, — сам он жил теперь на юге. «Так это он написал письмо о моей статье в Фигаро!» — воскликнул я, узнав, что его фамилия Санилон[6].)

И по этой причине Сен-Лу внушал ей большее

---

[6] Примечания: 6
См. «Беглянку».

уважение, нежели Морель; она считала, что несмотря на все треволнения, которые довелось ему пережить из-за «малыша» (Мореля), маркиз всегда придет к нему на помощь, потому что у него «сердце золотое», — либо же с самим Сен-Лу должны произойти какие-то грандиозные перемены.

Он просил меня задержаться в Тансонвиле, оборонив на ходу, хотя теперь явно не старался сказать мне что-то приятное, что своим приездом я очень обрадовал его жену — по ее словам, в тот вечер она была вне себя от счастья; в тот вечер, когда она была так грустна, что, явившись нежданно, я чудом спас ее от отчаяния, «а может быть и худшего», — добавил Робер. Он просил меня внушить ей, что он ее любит, тогда как женщину, любимую им помимо того, он любит меньше, и скоро вообще с ней разорвет. «И все-таки, — добавил он с таким самодовольством и нуждой излить душу, что на мгновение мне почудилось, будто имя Чарли[7], против воли Робера, вот-вот «выпадет», как номер в лотерее, — мне есть чем гордиться. Женщина, которую я принесу в жертву Жильберте, доказала мне исключитель-

[7] Примечания: 7
Прозвище Мореля.

ную преданность и никогда не уделяла внимания другим мужчинам, — она даже не верила, что способна в кого-нибудь влюбиться. Я первый. Я знал, что она отказывает всем подряд, и едва поверил, когда получил ее прелестное письмо, в котором она писала, что только я составлю ее счастье. Да, все это просто пьянит… хотя, чего уж скрывать, слезы несчастной Жильберточки разрывают мое сердце. Ты не находишь, что в ней что-то есть от Рашели?» Меня и правда поражало неопределенное сходство между ними, которое, по крайней мере теперь, можно было заметить. Может быть, эта похожесть объяснялась какими-то общими чертами (обусловленными, в частности, еврейскими корнями той и другой, хотя они слабо проявились в Жильберте), из-за чего Робер, когда его семья хотела, чтобы он женился, из вариантов материально равноценных выбрал Жильберту. Схожесть проистекала оттого также, что Жильберта, заполучив фотографии Рашели, даже имени которой она не знала, старалась подражать некоторым привычкам актрисы, чтобы понравиться Роберу — так, в частности, постоянным красным бантам в волосах, черной бархотке на руке, и еще она выкрасила волосы, чтобы казаться брюнеткой.

Чувствуя, что огорчения портят лицо, она решила исправить и это. Подчас она не знала меры. Однажды вечером в Тансонвиль, на сутки, должен был приехать Робер, и в облике Жильберты, вышедшей к столу, что-то крайне меня поразило, — я заметил, что она очень сильно отличается не только от той Жильберты, какой она была раньше, но и от себя сегодняшней, — и застыл, изумленный, словно предо мной сидела актриса, разновидность Феодоры[8]. Вопреки своей воле, из любопытства узнать, что же она изменила, я слишком пристально ее разглядывал. Впрочем, этот интерес вскоре был удовлетворен: несмотря на предпринятые меры предосторожности, ей пришлось высморкаться. На платке осталась богатая гамма — Жильберта, если судить по этой палитре, была изрядно накрашена. Вот отчего заливался кровью ее рот, вот почему она веселилась, думая, что это ее красит, в тот час, когда к Тансонвилю подходил поезд и Жильберта не знала, действительно ли приедет ее муж, или же она получит одну из тех телеграмм, эталон коих, не без остроумия, был определен еще герцогом де Германтом: «ПРИЕХАТЬ НЕВОЗМОЖНО

[8] Примечания: 8

Феодора (497-548) — византийская императрица, жена Юстиниана. В юности — актриса, она вышла замуж за императора в 525.

ПРЕСЕКАЮ ЛОЖЬ», — вот отчего бледнели ее щеки, покрытые фиолетовой испариной грима, чернели ввалившиеся глаза.

«Видишь ли, — сказал он нарочито мягко, тоном, так ярко контрастировавшим с его мягкостью прежней, спонтанной, голосом алкоголика с модуляциями актера, — для счастья Жильберты я готов на все. Я стольким ей обязан. Ты не представляешь». Сильнее всего отталкивало его самолюбие — любовь Жильберты льстила ему, а о своей любви к Чарли он говорить не осмеливался и изыскивал в чувстве, которое скрипач якобы питал к нему, какие-то детали, несколько преувеличенные, а то и выдуманные целиком, — как было известно и самому Сен-Лу, у которого Чарли, что ни день, просил больше денег. Поэтому-то, оставив на меня Жильберту, он возвращался в Париж. Как-то раз (забегу немного вперед, потому что я еще в Тансонвиле) мне довелось увидеть его со стороны, и его речь, вопреки всему обворожительная и живая, напомнила мне былое; меня поразило, как сильно он изменился. Он все больше напоминал свою мать, унаследовав от нее высокомерную изысканность обхождения; прекрасное воспитание выпестовало это свойство и оно будто застыло; он словно бы инспектировал

место, в котором оказался, своим пронзительным взглядом — присущим и другим Германтам, но у него это проявилось неосознанно, инстинктивно и по привычке; стоило замереть, и окраска, что отличала его от других Германтов, словно окаменевший луч золотого дня, придавала ему странное оперение, превращая в редкую и драгоценную породу, внушая желание приобщить к какой-нибудь орнитологической коллекции; и когда этот свет, превращенный в птицу, начинал двигаться, действовать, как, например, на том приеме, где я оказался вместе с Робером де Сен-Лу, он столь радостно и гордо вскидывал голову — хохлатую, под золотым хохолком слегка ощипанных волос, а движения его шеи были настолько гибче, высокомерней, кокетливей, чем это бывает у людей, что из любопытства и восхищения, внушаемого им, отчасти светского, отчасти зоологического, уместно было задаться вопросом, находимся ли мы в Сен-Жерменском предместье или в Зоологическом саду, наблюдаем ли пересечение гостиной или прогулку по клетке, знатного барина или птицы. Немного фантазии, и щебет подошел бы к этому толкованию не меньше, чем пух. Он декламировал фразы, казавшиеся

ему «гранд сьекль"[9], подражая в этом манерам Германтов. Но нечто необъяснимое превращало их в манеры де Шарлю.

«Я оставлю тебя ненадолго, — сказал он, стоило госпоже де Марсант отойти. — Пора поухаживать за матушкой». — Что касается любви, о которой он твердил беспрестанно, то имелась в виду не только любовь к Чарли, хотя лишь та для него что-то значила. Какого бы рода ни была любовь человека, всегда легко ошибиться в числе лиц, в связи с которыми он состоит, ложно толкуя как связь всякую дружбу, что является ошибкой сложения, и доказанной связью исключая другую — это вторая ошибка. Два разных человека могут сказать нам: «Любовница такого-то, я ее знаю», — и, хотя они приведут два разных имени, ни один из них не допустит ошибки. Женщина, которую мы любим, редко справляется с нашими потребностями, и мы ее обманываем с другой, которую не любим. А что касается рода любви, унаследованного Робером от г-на де Шарлю, муж, питающий такую наклонность, как правило, приносит счастье жене. Это общее правило, но и здесь Германты составляли исключение, ибо те,

---

[9] Примечания: 9

Сен-Лу подражал стилю эпохи Людовика XIV. Ниже этим будет заниматься герцогиня.

у кого эта наклонность была, пытались показать, что, напротив, она у них к женскому полу. Они выставлялись напоказ с женой того или иного и приводили в отчаяние собственную. Курвуазье поступали более мудро. Юный виконт де Курвуазье думал, что он единственный человек на земле от сотворения мира, который испытывает влечение к представителям своего пола. Полагая, что это пристрастие внушено ему дьяволом, он боролся с ним, сочетался браком с очаровательной девушкой, делал ей детей. Затем один из кузенов просветил его, что эта слабость довольно распространена, и был так добр, что отвел в те места, где ее удовлетворяли. Г-н де Курвуазье еще сильнее полюбил жену, удвоил чадородное прилежание, и их ставили в пример как лучшую пару Парижа. Чего, правда, нельзя было сказать о Сен-Лу, потому что Робер, вместо того, чтобы довольствоваться гомосексуализмом, изводил жену ревностью, безрадостно содержа любовниц.

Возможно, необычайно смуглый Морель был нужен Сен-Лу, как сумрак — солнечному лучу. Как-то с легкостью представлялся, в этой древней семье, золоченый умный и обаятельный блондин, таящий в глубинах души тайное пристрастие к неграм, неведомое свету.

Впрочем, Робер никогда не позволял распространяться о предпочитаемом им роде любви. Стоило об этом обмолвиться, и он перебивал: «Ну, я не знаю, — с таким глубоким равнодушием, что ронял монокль, — мне это и в голову не приходило. Если тебе нужны сведения об этом, милейший, то я советую тебе обратиться по другому адресу. Что до меня, то я солдат, и все тут. Вот уж насколько мне все это безразлично, настолько я охвачен страстью к Балканской войне. Когда-то тебя это заинтересовало — „этимология“ сражений. Я тогда говорил, что одни и те же типические битвы повторяются в совершенно отличных условиях, — взять хотя бы замечательный опыт флангового окружения в битве при Ульме. Ну так вот, несмотря на своеобразие этих балканских сражений, битва при Люлебургазе[10] полностью повторяет Ульм и является тем же фланговым окружением. Вот об этом со мной можно говорить. А в предметах, о которых ты рассказываешь, я разбираюсь не лучше, чем в санскрите».

---

[10] Примечания: 10

…битве при Ульме… — 25.09-20.10.1805, между наполеоновской армией и австрийской под началом барона Карла Макка. Окруженный наполеоновскими войсками, барон был вынужден капитулировать, не дождавшись шедших на подмогу русских войск. Битва при Люлебургазе — ноябрь 1912, Первая балканская война.

В отличие от Робера, столь равнодушного ко всем этим материям, Жильберта живо ими интересовалась, и по его отъезде охотно распространялась на эту тему. Разумеется, не упоминая мужа, потому что она не знала всего — или притворялась, что не знает. Но раз уж подобные истории были приложимы к другим, она их частенько затрагивала, либо находя в этом косвенное оправдание Роберу, либо потому, что последний, раздираемый, как его дядя, между молчанием и потребностью изливать душу, сплетничать, мог хорошенько ввести ее в курс дела. Помимо прочих, не был пощажен и барон де Шарлю; безусловно, это объяснялось тем, что Робер, не упоминая о Чарли в беседах с Жильбертой, все-таки не мог сдержаться и повторял его слова в том или ином виде, — а последний преследовал былого благодетеля ненавистью. Слабость Жильберты к этим беседам позволила мне спросить у нее, не было ли, в некотором параллельном роде, у Альбертины, чье имя я впервые услышал от Жильберты, когда они были подружками по курсам, этой склонности. Жильберта не могла дать мне таких сведений. Впрочем, все это уже давно перестало вызывать во мне интерес. Но я механически продолжал осведомляться, подобно

старику, потерявшему память, ждущему весточки от мертвого сына.

Любопытно (и в этом я не могу разобраться), что к тому времени все, кого любила Альбертина, женщины, которые могли заставить ее сделать все, что они хотели, просили, — стали добиваться, можно даже сказать — вымогать, если не дружбы, то каких-либо отношений со мной. Теперь не пришлось бы посылать деньги г-же Бонтан, чтобы она вернула мне Альбертину. Эта странная и бесполезная перемена сильно печалила меня, — не из-за Альбертины, которую я встретил бы без радости, вернись она теперь уже не из Турена, но с того света, но из-за девушки, которую я любил и которую мне никак не удавалось увидеть. Я думал, что если она умрет, если я разлюблю ее, все, кто мог бы меня к ней приблизить, падут к моим ногам. Пока же я напрасно пытался влиять на них, меня не излечил опыт, которому пора бы меня наставить (если он вообще хоть кого-нибудь учит), что любовь — это та самая дурная судьба из сказок, и тут ничего не поделаешь, пока волшебство не прекратится.

«Есть тут у меня одна книга, там рассказывается о чем-то подобном, — сказала Жильберта. — Это старина Бальзак, Златоокая девушка — я в нем

копаюсь, чтобы дорасти до дядьев. Но это бессмыслица, это непредставимо, это просто кошмар! Впрочем, женщина, пожалуй, может оказаться под таким надзором у другой женщины, но никогда у мужчины». — «Вы ошибаетесь, я слышал об одной девушке, которую человеку, влюбленному в нее, удалось в буквальном смысле этого слова заточить: она ни с кем не встречалась и выходила из дому только с преданными слугами…». — «О, это, наверное, внушает вам ужас, вы ведь так добры. Мы как раз говорили с Робером, что вам необходимо жениться. Жена вылечила бы вас, а вы принесли бы ей счастье». — «Нет, у меня невыносимый характер». — «Какой вздор!» — «Правда. Впрочем, я был обручен, но я не решился на брак с ней (и она отказалась от этого сама) из-за моего характера, и придирчивого, и нерешительного». Так, в этой упрощенной форме, я теперь расценивал свой роман с Альбертиной, глядя на него уже только со стороны.

Поднимаясь к себе наверх, я с грустью думал, что мне так и не удалось выбраться к комбрейской церкви, — она, казалось, ждала меня в зеленной гуще за окном, залитая фиолетом. Я говорил себе: «Да ладно уж, как-нибудь в другой раз, если к этому времени я не умру», — не видя

других помех, кроме собственной смерти, и не представляя гибели церкви, которая, думалось мне, простоит столько же лет после моей кончины, сколько стояла до моего рождения.

Но однажды я все-таки заговорил с Жильбертой об Альбертине и спросил, любила ли та женщин. «Да нет…». — «Но вы ведь как-то говорили, что она была дурного тона». — «Я так говорила? Вы ослышались, наверное. Во всяком случае, даже если я и говорила что-то такое, то вы все напутали, я рассказывала об интрижках с юношами. Но в том возрасте, вероятно, это далеко не заходило». — Может быть, Жильберта сказала так, чтобы скрыть, что и сама она, если верить словам Альбертины, любила женщин и даже приставала к Альбертине с двусмысленными разговорами? Или же (ибо зачастую другие люди лучше осведомлены о нашей жизни, чем мы полагаем) она знала, что я любил, что я ревновал Альбертину (другие могут знать больше, чем мы допускаем, и ошибаться, слишком далеко заходя со своими догадками и производя излишне смелые предположения, — тогда как мы надеемся, что по причине отсутствия предположений как таковых они от истины далеки) и, подозревая, что любовь длится по сию пору, по доброте душевной по-

крывала мне глаза повязкой, всегда готовой для ревнивца? Во всяком случае, слова Жильберты, начиная с прежних о «дурном тоне» и кончая сегодняшним сертификатом благопристойности жизни и деяний, соответствовали обратному ходу утверждений Альбертины, которая в итоге призналась в интрижке с Жильбертой. Альбертина удивила меня этим, и не меньшее удивление вызвали у меня рассказы Андре, ибо поначалу всю их стайку, еще с ними не перезнакомившись, я считал развращенной, а затем убедился в ложности первых догадок; это часто бывает, если вполне приличную девушку, далекую от каких-либо амурных делишек, мы встречаем в компании, показавшейся нам порочной. Затем моя мысль проделала обратный путь, снова приняв на веру первоначальные предположения. Но, быть может, Альбертина сказала так, чтобы казаться опытней, чем она была, чтобы оглушить меня в Париже авторитетом своей порочности, как некогда в Бальбеке — своей добродетелью; и все для того, чтобы, когда я навел разговор на женщин, питающих слабость к своему полу, сделать вид, что она знает, что это бывает — так некоторые проявляют осведомленность, если за-

ходит речь о Фурье или Тобольске[11], хотя что это такое, не знают. Быть может, она жила с подругой мадемуазель Вентейль и Андре, отделенная от них глухой стеной, а те считали, что она «не такая», и, ничего не узнав потом, — как невеста писателя, которая старается повысить свое культурное развитие, — Альбертина рассказывала о них, чтобы угодить мне и проявить познания, пока не поняла, что этим раздувает мою ревность, и не сделала шаг назад. В том случае, если не лгала Жильберта. Лгала из-за того, пришло мне на ум, что она-то ее к такому и пристрастила, по ходу флирта в ее вкусе, потому что она не чуждалась женщин, и оттого-то Робер на ней и женился, предвкушая удовольствия, с ней не связанные, ибо ему доставляли их несколько по-иному. Любая из этих гипотез не была абсурдна, ибо девушкам, подобным дочке Одетты, девушкам из стайки, могла быть свойственна такая развращенность, такое совмещение альтернативных наклонностей во всем их неподобии, что они легко вступали в связь с той или иной женщиной, испытывая сильные чувства к мужчине, и

[11] Примечания: 11

Имеется в виду Шарль Фурье (1772-1837), утопический социалист. Тобольск — город в Сибири, попал в поле зрения писателя, по-видимому, в связи с пребыванием там семьи Николая II.

распознать реальную и господствующую страсть было тяжело.

Я не взял у Жильберты Златоокую девушку, поскольку она эту книгу читала. Но в последний вечер, проведенный в ее доме, она дала мне почитать перед сном другое сочинение, вызвавшее живое, хотя и смешанное чувство, — впрочем, ненадолго. Это был том неизданного дневника Гонкуров[12].

И когда, еще не затушив свечу, я прочитал страницы, приведенные ниже, непригодность к литературе, о чем я догадывался уже на стороне Германтов, в чем уверился в этот приезд, вечером предотъездной бессонницы, когда оцепенение гибнущих привычек разбито и пытаешься размышлять о себе, — перестала казаться мне чем-то очень горестным, потому что, решил я, глубокие истины литературе недоступны; и в то же время меня печалило, что литература не оправдала моей веры в нее. С другой стороны, мои болезни, что вскоре приведут меня в больницу, теперь удручали меня не так сильно — раз уж то пре-

[12] Примечания: 12

Гонкуры — братья Жюль (1830-1870) и Эдмон (1822-1896). Судя по описанным в этом месте «Дневника» событиям, отрывок принадлежит перу Эдмона. «Дневник» — монументальный памятник жизни Гонкуров (см. ниже отрывок), полностью был издан только в 1950 годы.

красное, о котором говорится в книгах, прекрасно не более, чем то, что вижу я сам. Но по странному противоречию, теперь, когда книга рассказывала мне об этом, мне захотелось посмотреть на описанное ею снова, собственными глазами. Вот те страницы, что я прочел, пока усталость не смежила мои веки:

«Позавчера залетает[13] Вердюрен, чтобы пригласить на ужин к себе, давнишнему критику Ревю, автору книги об Уистлире, где поистине мастерство, артистическая колористика американского выходца нередко подается с изощренной тонкостью поклонником всех этих изысканностей, всех этих изящностей на полотне, что собственно и есть Вердюрен. И пока я одеваюсь, чтобы за ним последовать, от него я слышу целую

---

[13] Примечания: 13

Позавчера залетает… — букв.: «падает». Эта особенность гостей Гонкуров вскрыта ими и в других произведениях. Пародии на Бальзака, Флобера, Ренана, Сен-Симона — L'Affaire Lemoine — печатались Прустом в «Фигаро», а гонкуровский «пастиш» был создан Прустом специально для «Поисков». Ниже: Уистлер Джеймс (1834-1903) — американский художник. Был близок с импрессионистами. Своего рода реабилитация Вердюрена (ниже вздыхать о нем будет Эльстир). Неожиданный Вердюренов морфинизм больше нигде не упоминается. Фромантен Эжен (1820-1876) — художник и писатель, «Мадлен» — героиня его творения Доменик (1862), прототипом которой, стало быть, и послужила будущая г-жа Вердюрен. Книга «Старые мастера» (1876), упоминаемая ниже, посвящена фламандской живописи. Шарль Блан (1814-1882) — академик, профессор эстетики в Коллеж де Франс. Сен-Виктор (1825-1881) — критик преимущественно театральный, также его

перу принадлежат статьи о литературе и живописи. Шарль Огюстен Сент-Бев (1804-1869) — критик. Отчасти и его памяти посвящено сочинение Пруста «Против Сент-Бева». Бурти (1830-1890) — критик, друг Гонкура. Теофиль Готье (1811-1872) — уже, стало быть, почивший поэт. Андреа Сансовино (ок. 1467-1529) — флорентийский скульптор, архитектор, работал в Венеции. Институт — приют пяти французских Академий. …о Салюте на картинах Гварди… — Санта Мария делла Салюте, венецианский собор в благодарение за избавление от чумы, начат в 1631 Валтасаром Лонгеной. Освящен в 1687. Величествен, массивен, он расположен прямо у устья Большого Канала. Франческо Гварди (1712-1793) — художник, представитель венецианской школы.

историю, где временами прорывается сбивчивая, посложная и запуганная исповедь о том, как он как бы бросил писать сразу же после женитьбы на «Мадлен» Фромантена, вследствие, по его словам, привычки к морфину, отчего, по словам Вердюрена, *большая часть завсегдатаев салона его жены и знать не знает*, что муж когда-то что-то писал, и ей говорят о Шарле Блане, о Сен-Викторе, о Сент-Беве, о Бурти как о личностях, которым, думают они, он — он, Вердюрен! — бесконечно уступает. «Да, Гонкур, вы-то знаете, да и Готье это знал, что мои Салоны — штука посильнее этих жалких Старых мастеров, почитаемых шедевром в семье моей жены». Затем, сумерками, когда башни Трокадеро охвачены как бы последним воспламенением закатных бликов, в силу чего эти башни уже не отличить от столбиков, покрытых смородинным желе старыми кондитерами, беседа продолжается в коляске, что должна отвезти нас на набережную Конти, где и находится их особняк, по словам хозяина — бывший дворец венецианских послов, где, он говорит, есть курительная комната, которая как в Тысяче и одной ночи целиком перемещена из одного знаменитого палаццо, название которого я уже забыл, — палаццо, где был колодец, на бортике

которого изображено венчание Богоматери, как утверждает Вердюрен — из прекраснейших работ Сансовино, которая, как он говорит, пригодилась их гостям, дабы стряхивать с сигар пепел. И честное слово, когда мы приехали, в серо-зелености и неопределенности лунного света, поистине подобного тому, в котором классическая живопись купает Венецию, и в коем силуэттированный купол Института наводит на мысли о Салюте на картинах Гварди, меня охватила иллюзия, будто я у парапета Канале Гранде. И эту иллюзию укрепила конструкция особняка, которого второго этажа с набережной не видать, и напоминательное высказывание хозяина дома о том, что, как он утверждает, название улицы дю Бак[14] — дурак я, что сам не догадался, — произошло

[14] Примечания: 14

улицы дю Бак — или Паромной, Барочной улицы. Мирамьенки — «дочери милосердия», или, как у нас их принято называть, его сестры. Община их была основана в 1634 св. Винцентом де Полем. …что за возлюбовь охватывает меня… — неологизм, обозначающий повторное появление чувства любви, изобретен настоящим Гонкуром. …вывеску Маленького Дюнкерка… — Мелочная парижская лавка, располагавшаяся на углу улиц Менар и Ришелье. Габриель де Сент-Обен (1724-1780) — французский график и рисовальщик. …к Устрице и Сутягам… — Лафонтен, IX, 9. Гонкур (Пруст) допускает ошибку: басни Лафонтена в издании «Фермье Женеро» не выходили. Эрцгерцог Родольф (1858-1889) — сын Франца-Иосифа, героя Музиля, и Елизаветы, героини Висконти, его самоубийство с 17-летней баронессой Марией Вецерой вошло в светский фольклор. Обстоятельства этих выстрелов «в упор» проясняет запись в черновике: «Родольф, которому она была обручена». Однако, судя по всему, разговор происходит еще до

этих печальных событий, и последующую популярность Родольфа Гонкур предвосхищает. (Попав к Вердюренам, Сван узнает о недавних сложностях на похоронах Гамбетты (1882), при описании рокового вечера с Форшвилем упоминается, что «почти год Сван ходил только к Вердюренам». Т.е., Гонкур посетил Вердюренов году в 1883. Все равно остается неясность с упоминаемым ниже художником. Дело в том, что уже после разрыва со Сваном Вердюрены отправляются с ним в путешествие по Средиземноморью. Остается еще малая вероятность, что Сван, — как сообщает Пруст, — посещавший иногда (крайне редко) Вердюренов после брака с Одеттой, присутствует на вечере во времена свиданий автора с Жильбертой. Правда, в этом случае Гонкур мог бы описать и молодого автора «Поисков». Так что, это именно райские времена сонаты Вентейля и свиданий на улице Лаперуза). «Актриса Фостен» — роман Э. Гонкура (1882). На западе не понимают… — Гонкур вспоминает, что творчеству братьев не сопутствовал успех. Ниже об этом: заговор Сорбонны. Карл Великий является покровителем высших учебных заведений, праздники отмечают 28 января. Юн Чин — имеется в виду император Шицзун, третий из маньчжурской династии Цин (он же Инь Член, Юнчжэн, 1678-1735, годы правления 1722-1735).

от слова «барка», барки, на которой монахини прежних лет, Мирамьенки, переправлялись к службам в Нотр-Дам. Вот он, квартал, где бродило мое детство, когда тетка моя де Курмон здесь обитала, и что за возлюбовь охватывает меня, когда я вижу едва ли не впритирку к Вердюренову особняку вывеску Маленького Дюнкерка, одной из тех редких лавчонок, сохранившихся разве завиньеттировавшись, да в карандашных набросках да лессировках Габриеля де Сент-Обена, где любознательный XVIII-й век отпечатлевал эти праздные минутки, торгуя себе французскими и заграничными изяществами и «всем тем, что производится новейшего в искусстве», как написано в одном счете Маленького Дюнкерка, счете, оттиском которого одни мы, я полагаю, Вердюрен да я, обладатели, и который, все же — просто редчайший шедевр тисненой бумаги, на которой при Людовике XV-м совершались подсчеты, — бумага с шапкой, где море совершенно неясненное, судами нагруженное, волнисто и похоже на иллюстрацию одну в Издании Фермье Женеро, к Устрице и Сутягам. Хозяйка дома, что сейчас усадит меня рядом с собою, говорит мне любезно, что она украсила стол лишь японскими хризантемами, и хризантемы расставлены в

вазы, а вазы — редчайшие шедевры, и каждая в своем роде; сделанные из бронзы, они листками красноватой меди кажут как бы живое опадание цветка. Были там доктор Котар и жена его, польский скульптор Вырадобетски, коллекционер Сван, знатная русская дама, княгиня, имя которой на —оф я забыл, и Котар шепнул мне на ухо, что это она вроде в упор палила в эрцгерцога Родольфа, по словам которой выходит, что я как бы в Галиции и на севере Польши так известен, так известен, что девушка не оставляет надежды на руку свою, если не уверена, что ее воздыхатель — поклонник Фостен. «У вас на западе совсем этого не понимают, — оборонила в заключение княгиня, произведя на меня впечатление ну прямо незаурядного ума, — этого проникновения писателя в женскую интимность». Мужчина с бритыми губами и подбородком, бакенбардами, как у метрдотеля, снисходительно сыплющий остротами университетского преподавателя, снизошедшего до своих лучших учеников по случаю дня св. Карла, — это Бришо из Университета. По произнесении моего имени Вердюреном он и звуком не выдал, что знает наши книги, и это навело мне на душу сердитое уныние, возбужденное заговором, организованным против нас

Сорбонной, привносящей и в любезное жилище, где меня принимали, враждебное противоречие, намеренное умолчание. Мы проходим к столу, а там — необычайная вереница блюд, попросту шедевров фарфорового искусства, эти — ценителя которых услажденное внимание вкушает наиприятнейшую художественную болтовню, принимая нежнейшую пищу — тарелки Юн-Чин с оранжеватостью по краям, голубоватостью набухших лепестков речного ириса, и поперек, вот уж украска, заря да стая зимородков да журавлей, заря в тех утренних тонах, что ежедневно на бульваре Монморанси пробуждают меня, — саксонские тарелки слащавей в грациозке своего исполнения, в усыпленности, в анемии их роз, обращенных в фиолет, в красно-лиловые раскромсы тюльпана, в рококо гвоздики или незабудки, — севрские тарелки, обрешеченные тонкой гильошировкой белых своих желобочков, с золотой мутовкой или завязывающейся, на мучнистой плоскости дна, изящной выпуклостью золотой ленты, — наконец, все это серебро, где струятся люсьенские мирты, кои признала бы

Дюбарри[15]. И что, может быть, столь же редкостно, так это совершенно выдающееся качество кушаний, подаваемых здесь к столу, — пища приготовлена искусно, стряпана как парижане, необходимо сказать, забыли вкушать на великолепнейших обедах, она напомнила мне искушенных стряпателей в Жан д'Ор. Взять хотя бы эту гусиную печенку и забыть о том безвкусном муссе, который обычно под этим именем подается, — и немного осталось мест, где обыкновенный картофельный салат приготовлялся бы из такого же картофеля, упругого, как японские пуговицы слоновой кости, матового, как костяная ложечка, с которой китаянки льют воду на рыбу, которую только что поймали. Венецианское стекло предо мною — роскошные алеющие самоцветы, окрашенные необычайным леовийским, приобретенным у г-на Монталиве, и это — забава для воображения глаза, но также, с позволения

---

[15] Примечания: 15

Мари Жанна Дю Барри, графиня (1743-1793) — последняя любовница Людовика XV. В Лусьене, ныне Лувесьяне, недалеко от Парижа, находился ее замок. Признала бы, вероятно, благодаря Готьеру, о котором Гонкур вспомнит ниже. Жан д'Ор — замок на Маасе, который Гонкур посетил в 1881. ...леовийское...— разновидность бордо, г-н Монталиве — старший министр при Луи-Филиппе. Чин-Хон — Tchi-Hong — речь идет не об императоре, но о, вероятно, цзиндэчженьском, фулянском фарфоре той же маньчжурской династии. Лоренс Томас (1769-1830) — английский художник. Готьер — чеканщик (1740-1806), работал в Лусьене по заказам г-жи дю Барри.

сказать, для воображения того, что именовалось некогда брюхом — видеть несомого к столу калкана, у которого ничего общего с тухловатыми калканами, подаваемыми к наироскошнейшим пиршествам, растянутое путешествие коих отзывается проступанием в спинах костей их, но калкана, который подан не быв склеен тем тестом, что готовят под именем Белого Соуса столькие шеф-повара почтеннейших жилищ, но под настоящим Белым Соусом, изготовленным на масле по пять франков за фунт, видеть несомого калкана на прекрасной тарелочке Чин-Хона, пронизанной пурпурными царапинками заходящего солнца, над морем, где сквозит веселая навигация лангустов, в пунктирчиках шероховатых, столь необычно поданных, будто их размазали по трепещущим панцирям, а по краешку тарелочки — выловленная удочкой юного китайца рыбешка, что буквально восхищает перламутроблестящими оттенками серебряной лазури своего живота. И когда я сказал Вердюрену, что, должно быть, уж очень нежное удовольствие получает он, изысканно принимая пищу из этой коллекции, которую не каждый принц сегодня может позволить себе в своем доме, хозяйка меланхолически обронила: «Сразу видно, что вы его совсем

не знаете». И затем она рассказала мне, что ее муж — причудливый маньяк, которому безразлично изящество, «маньяк, — повторила она, — просто маньяк, у него аппетита больше к бутылке сидра, которую он будет распивать со всяким сбродом в прохладе нормандской фермы». И очаровательная женщина в истовой любови к колоритам местности рассказывает нам с воодушевлением, перехлестывающим края, о Нормандии, где они жили, Нормандии, которая как бы необъятный английский парк с душистыми крупными насаждениями в духе Лоренса, бархатистостью криптомерий и фарфорованной каймой розовых гортензий натуральных лужаек, мятьем сернистых роз, коих опадание на путях крестьян, где инкрустация двух обнявшихся грушевых деревьев напоминает нечто орнаментальное, наводит на мысли о небрежно клонящихся цветущих ветвях на бронзе канделябров Готьера, Нормандии, о которой отдыхающие парижане забыли знать, Нормандии, сокрытой оградой участка, забора, который, доверились мне Вердюрены, без труда кое-кого пропустит. На исходе дня, в сонливом погашении цветов, когда если что свет и излучает, то только море, море почти створоженное, голубоватое, как молочная сыворотка («Да что вы

в море понимаете, — неистово восклицала моя собеседница в ответ на слова, что Флобер де нас с братом возил в Трувиль, — абсолютно ничего, ничего, надо поехать со мной, без этого вы не узнаете ничего и никогда»), они возвращаются настоящими цветущими лесами тюлевых роз, которыми прикинулись рододендроны, их опьяняет запах сардинерии, что вызывает у ее мужа невыносимые приступы астмы, — «Да, — настаивает она, — отвратительные астматические припадки». Туда следующим летом они вернутся, приютят целую колонию художников в некоем восхитительном средневековом жилище, древнем монастыре, для них и сняли, за пустячок. И честное слово, когда я слушал эту женщину, которая, попав в такую изысканную среду, все равно сохранила в своей речи свежесть, присущую женщине из простонародья, которой слова вам покажут все как вы сами вообразили, у меня едва слюнки не потекли по всему тому житью — каждый работает в своей келье, в гостиной, такой огромной, что там два камина, все собираются перед завтраком для изысканнейших бесед, разгадывают шарады и играют в фанты, — и все это навело меня на мысль о шедевре Дидро:

Письмах к м-ль Волан[16]. И затем, после завтрака, все выходят, даже во дни непогод, палящим зноем, сверкающим ливнем, ливнем, линующим своим светлым процеживанием узловатости первых чудных аккордов столетних буков, зачинающих у ограды Зеленеющую Красоту, чтимую XVIII-м веком, и кустов, задержавших, ввиду цветущих бутонов и как взвесь на своих ветвях — капли дождя. Останавливаются послушать нежного шлепа, влюбленного в свежесть, снегиря, купающегося в милой крошечной ванне из Нимфенбурга, разумею венчик белой розы. Но стоило мне заговорить с г-жой Вердюрен о нормандских цветах и пейзажах, нежно пастелизуемых Эльстиром, как она бросила, сердито вскинув голову: «Так это ж я его всему научила, всему, да будет вам известно, и всем любопытным местечкам и всем мотивам, — и я поставила ему это на вид, когда он нас покинул, не так ли,

---

[16] Примечания: 16

Дени Дидро (1713-1784) — писатель, философ, Софи Волан — приятельница философа, которой он писал письма. Письма полны воодушевления образца эпохи Просвещения. В Нимфенбурге, баварском городе, расположен завод, выпускающий фарфор с середины XVIII в. Анри Фантен-Латур (1836-1904) — академический художник, «мастер цветов». Люксембургский — музей, располагавшийся в Люксембургском дворце. В 1939 он был преобразован в Национальный Музей Современного Искусства. Стивенсон Роберт Луис (1850-1894), двойники в романе «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» (1886).

Огюст? всему, что он изображал. Предметы-то он умел рисовать, это, надо отдать ему должное, можно за ним признать. Но он совершенно не понимал цветы, даже не мог отличить просвирняк от мальвы! И это ведь я его научила, — вы можете себе представить? — распознавать жасмин». И надо признать любопытным, что мастер цветов, коего почитатели искусства сегодня ставят выше всех и почитают даже больше Фантен-Латура, не сумел бы ни за что, быть может, не будь этой дамы, нарисовать жасмин. «Да, говорю я вам, жасмин; все розы, что он рисовал, это все у меня — или же я ему их приносила. Мы называли его господин Тиш; спросите у Котара, Бришо, у любого, считали ли его у нас великим человеком. Да он сам бы рассмеялся в ответ! Я его научила расставлять цветы; у него самого поначалу не получалось. Он не мог составить букет! Врожденного вкуса, чтоб отобрать, у него-то не было, и мне приходилось говорить ему: 'Нет, этого вы не рисуйте, это того не стоит, рисуйте вот что'. Ах! если бы он слушался нас и в отделке своей жизни, как в отделке своих цветов, если бы он не вступил в этот постыдный брак!..» И внезапно вспыхнувшие глаза, поглощенные мечтательностью, обращенной в прошедшее, не без нервического

подергиванья маниакально вытянутых фаланг из пышного бархата рукавов ее блузы — все это, окантовав страдальческую ее позу, походило на восхитительное полотно, никогда, полагаю я, не написанное, но в котором читались как затаенное возмущение, так и гневная обидчивость друга, оскорбленного во всей своей деликатности, женской стыдливости. И она рассказывает нам об удивительном портрете, сделанном Эльстиром для нее, портрете семьи Котаров, портрете, переданном ею в Люксембургский, когда она поссорилась с художником, — поведав, что это именно она подала художнику мысль нарисовать мужа во фраке, чтобы добиться всей этой прекрасной ясности белого пятна рубашки, и именно она выбрала бархатное платье для жены, платье, что как подлежащее в центре всей этой яркомигающести светлых нюансов ковров, цветов, фруктов, дымчатых платьев девочек, подобных пачкам балерин. Ей, ей принадлежит заслуга изобретения — причесываться, что ныне внесло свой вклад в славу художника, идея в целом будто состояла в том, чтобы изобразить женщину не разряженной, но застигнутой в интиме ее повседневности. «Я ему так значит и говорю: 'Женщина причесывается, вытирает лицо, ноги

греет и не думает, что на нее смотрят, — здесь же целая куча всяких интересных движений, и все это прямо-таки по-леонардовски!'» Но тут и Вердюрен отметил, как она разнегодовалась, что так вредно для столь, в сущности, нервной особы, как его супруга, и Сван приводит меня в восторг, указывая на черно-жемчужное колье на груди хозяйки дома, которое она приобрела совсем белым на распродаже у какого-то наследника г-жи де Лафайет, а этой последней колье, скорее всего, было подарено Генриеттой Английской, жемчуга же стали черными в результате пожара, который уничтожил часть дома, в котором жили Вердюрены, на одной улице, название которой я уже забыл, пожара, после которого был обнаружен ларчик, в котором хранились эти жемчуга, а они стали совсем черными. «Я знаю портрет с этими жемчугами, на плечах той самой г-жи де Лафайет, да, совершенно верно, с этими самыми жемчугами на ее плечах, — настаивает Сван при слегка удивленных восклицаниях гостей, — да, вылитые эти жемчуга на картине в коллекции герцога де Германта!» Коллекции, не имеющей равных в мире, восклицает Сван, на которую хорошо бы мне сходить посмотреть, на эту коллекцию, унаследованную знаменитым герцогом,

который был ее любимым племянником, от г-жи де Босержан, тетки его, от г-жи де Босержан и еще от г-жи д'Азфельд, сестры маркизы де Вильпаризи и принцессы Ганноверской, которого мы с братом так любили, когда он был очаровательным карапузом Базеном, ибо это есть имя герцога. Тут доктор Котар не без утонченности, проявившей в нем изысканность прямо-таки незаурядную, вернувшись к саге с жемчугами, сообщает нам, что катастрофы подобного рода производят в мозгу у человека искажения точь-в-точь схожие с теми, которые наблюдаются в неодушевленной материи, и поистине более философским манером, чем то сделали бы врачи, рассказывает о камердинере г-жи Вердюрен, чуть было не погибшем на ужасном том пожаре и в результате переродившемся совершенно, и изменившим даже свой почерк, да настолько, что первое письмо, полученное от него хозяевами в Нормандии, в котором им сообщалось о происшествии, было сочтено ими мистификацией какого-то шутника. И не только почерк, но и сам он, согласно утверждениям Котара, переродился, и из отпетого трезвенника стал такой омерзительной пьянчужкой, что госпожа Вердюрен вынуждена была его рассчитать. И показательное рассуждение переместилось, по

изящному мановению хозяйки дома, из столовой в венецианскую курительную залу, где Котар рассказал нам об известных ему подлинных раздвоениях личности, приводя в пример одного из своих пациентов, коего он любезно предложил привести ко мне, и каковому, по его словам, достаточно тронуть виски, чтобы пробудить в себе некую вторую жизнь, по ходу которой он ничего не помнит о первой, да так, что будучи в первой вполне порядочным человеком он был много раз арестован за кражи, совершенные им в другой, где он был попросту отвратительным негодяем. На это г-жа Вердюрен тонко заметила, что медицина могла бы помочь театру более правдивыми сюжетами, где путаница забавно зиждилась бы на ошибках, связанных с патологиями, и это, как нить за иглой, потянуло г-жу Котар рассказать, что нечто подобное уже написано, неким прозаиком, любимцем вечерних чтений детей ее, Стивенсоном из Шотландии, и услышав его имя Сван категорически заявил: «Но это совершенно замечательный писатель — Стивенсон, я вас уверяю, г-н Гонкур, выдающийся и равный величайшим». И когда, восхищаясь кессонами с гербами в плафонах, перевезенными из палаццо Барберини, я позволил себе выразить сожаление

в связи с прогрессирующим потемнением чаши, вызванным пеплом наших «гаванских», тогда Сван рассказал, что подобные пятна свидетельствуют, если судить по книгам, имевшимся у Наполеона I и принадлежащим теперь, несмотря на его антибонапартистские убеждения, герцогу де Германту, о том, что император жевал табак, а Котар, выказывая любознательность и проникновение воистину во все, заявил, что пятна эти объясняются вовсе не этой причиной, — «нет, вовсе нет», — авторитетно настаивал он, но привычкой сосать, даже на полях сражений, лакричную пастилку, чтобы успокоить боли в печени. «Ибо у него болела печень, это его и убило», — заключил доктор».

На этом я остановился — завтра пора было в путь; впрочем, в этот час, к еженощному труду, на который уходит половина нашей жизни, меня звал иной хозяин. Только закроешь глаза, и уже занят его работой. Каждое утро он вверяет нас другому владельцу, потому что в противном случае мы плохо справились бы со своей службой. Стоит сознанию пробудиться, и мы пытаемся узнать, что же мы делали у господина, завалившего своих рабов, прежде чем включить их в стремительную работу, — и самые хитрые,

когда обязанность исполнена, пытаются тайком подсмотреть. Но сон превосходит их в скорости и скрывает следы того, что нам хотелось бы видеть. И вот уже столько веков мы ничего не знаем об этой тайне.

Итак, я закрыл Дневник Гонкуров. Авторитет литературы! Мне захотелось встретиться с Котарами, выспросить у них кое-что об Эльстире, осмотреть лавочку Маленького Дюнкерка, если она еще существует, спросить, нельзя ли посетить особняк Вердюренов, где я когда-то ужинал. Но я испытывал смутное беспокойство. Конечно, я не мог скрыть от себя, что слушать я не умел, и, как только оказывался на людях, терял наблюдательность. При мне старуха не показывала жемчужного колье, я не слышал, чтобы об этом говорили. В повседневной жизни я встречался со всеми этими людьми, я часто ужинал с ними — Вердюренами, герцогом де Германтом, Котарами — и каждый из них казался мне столь же заурядным, как моей бабушке Базен, — едва ли она подозревала, что он и «дорогой племянник», юный восхитительный герой г-жи де Босержан[17] — одно и то же лицо; все они были мне

[17] Примечания: 17

В отличие от Гонкура, выдуманная Прустом мемуаристка, схожая в чем-то с г-жой де Севинье.

неинтересны, и я мог припомнить бесчисленные пошлости, переполнявшие их речи…

Как все это ночью звездочку зажжет![18]

На время я решил отказаться от любой критики в адрес литературы, которую я мог высказать из-за этих страниц Гонкура, прочитанных накануне отъезда из Тансонвиля. Даже если не принимать во внимание поразительное простодушие этого мемуариста, я все-таки мог утешить себя, отметив следующие моменты. Прежде всего (и это меня лично затрагивало), дневник дал мне горький урок: наблюдение мне не давалось, — однако эта неспособность была избирательной. Какая-то частица моего «я» могла и вслушиваться, и наблюдать, — но это существо было дискретно, оно оживало только в том случае, если проявлялось что-то нечастное, какое-то свойство, общее множеству вещей, и там оно находило и пищу свою, и усладу. Тогда-то этот персонаж наблюдал, но только на той глубине, где из наблюдения нельзя было извлечь выгоды. Так геометр, освобождая вещи от осязаемых качеств, видит лишь их линейный субстрат; то, что мне рассказывали, от меня ускользало, ибо меня интересовали не

[18] Примечания: 18
Гюго, Созерцания, III, 2.

столько сами рассказы, сколько манера изложения, только она проявляла что-то характерное, либо указывала на заурядность повествователей; это и стало отличительной особенностью моего поиска, и я получал неповторимое удовольствие, изыскивая что-то общее в одном человеке и в другом. Случалось же такое только тогда, когда я улавливал, что сознание, — дотоле дремавшее, даже под оболочкой внешней активности, разговора, оживленность которого скрывала от ближних тотальное духовное оцепенение, — с неожиданной радостью нападало на след, однако то, за чем оно устремлялось, например специфика салона Вердюренов в разных краях и временах, таилось в глубине, по ту сторону видимости, в некоторой обособленности. Поэтому-то очевидный, поддающийся описанию шарм тех или иных людей от меня ускользал, я не мог остановить на нем внимание, подобно хирургу, который под гладким женским животом видит грызущую его изнутри боль. Зря я ходил на приемы, я не видел гостей, потому что в те минуты, когда мне казалось, что я наблюдал за ними, я их ренгеновал. Из всего этого следует, что при соединении набросков, сделанных по ходу какого-нибудь ужина, рисунок этих линий обозначал скорее

ансамбль психологических законов, где сам по себе интерес к тому или иному гостю не занимал никакого места. Не теряли ли всякую значимость эти портреты, если, сами по себе, они и не были мне нужны? Например, если в живописи один портрет проявляет что-то истинное в плане объема, света, движения, то обязательно ли он будет хуже другого, явно несхожего с ним портрета той же самой персоны, в котором тысячи деталей, опущенные в первом, будут тщательно выписаны, — из второго портрета можно будет заключить, что модель была прекрасна, тогда как в первом она была изображена отвратительной, и второй может представлять ценность документальную и даже историческую, но не обязательно — истину искусства. К тому же, мое легкомыслие, как только я появлялся на людях, внушало мне желание нравиться, скорее забавляться, болтая, нежели наставляться, слушая, — если, конечно, я выходил в свет не для выяснения каких-либо художественных проблем и не для того, чтобы подкрепить ревнивые подозрения, занимавшие прежде мой ум. Но осмыслить предмет, интерес к которому не был пробужден во мне загодя какой-нибудь книгой, эскиз коего я не набросал бы заблаговременно сам, чтобы потом сопоставить

его с реальностью, я был неспособен. Сколько раз, и я хорошо знал об этом даже без страниц Гонкура, я не мог приковать внимание к предметам и людям, ради встречи с которыми впоследствии, когда их образ был предъявлен мне каким-нибудь художником, я готов был пройти, рискуя жизнью, многие лье. Тогда-то мое воображение и срабатывало, начинало живописать. И я с тоской вспоминал о том, кто досаждал мне год назад: «Неужели действительно невозможно его увидеть? Чего бы я только не отдал за это!» Читая статьи о людях, даже просто-напросто светских персонажах, которых называют «последними представителями общества, канувшего в прошедшее», иногда можно воскликнуть: «Подумать только, как величают и расхваливают это ничтожество! Как бы я жалел, что незнаком с ним, если бы только читал газеты и обозрения, если бы я не знал этого человека!» Но я был уже довольно искушен, чтобы отметить, наткнувшись в газетах на подобные фразы: «Какое несчастье, что в то время, когда я гонялся за Жильбертой и Альбертиной, я не заметил этого господина! Я его принял за светского зануду, за заурядного статиста, а он оказался Фигурой». И страницы Гонкура заставили меня сожалеть о таком положении дел. Из

них следовало, наверное, что в жизни мы узнаем о ничтожной цене литературы и всего того, что расхваливал писатель; но с тем же успехом я мог заключить, что, напротив, благодаря литературе стоимость жизни растет, и только в книге можно узнать, какая это ценность. На худой конец, можно было утешать себя и тем, что общество Вентейля и Бергота сложно было назвать очень приятным. Целомудренная буржуазность одного, невыносимые недостатки второго, вульгарная претенциозность Эльстира в юности (Дневник Гонкуров не оставлял сомнений, что он и был тем самым «господином Тишем», который доводил Свана до белого каления в салоне Вердюренов. Но какой гений не шокирует нас манерами своих собратьев по творческому цеху, прежде чем дойти, — как Эльстир, а это редкий случай, — до более высокого стиля? Не усеяны ли, в частности, бальзаковские письма вульгарными оборотами, которых, к примеру, Сван никогда бы и не произнес? И все-таки столь утонченный, столь чуждавшийся всякого рода ненавистной безвкусицы Сван, скорее всего, никогда не написал бы свою Кузину Бетту и Турского священника[19].)

[19] Примечания: 19

«Кузина Бетта» (1846), «Турский священник» (1832) — романы Бальзака.

— все это не доводы против них, ибо их гений был явлен миру в их творчестве. Неважно, чья это ошибка — мемуаристов, если они превозносят достоинства этих художников, или наша, если нам решительно не нравилось общение с ними; даже если ошибся автор воспоминаний, жизнь, сотворившая таких гениев, не уронит своей цены.

Было объяснение и другой крайности этого опыта — что самые интересные анекдоты гонкуровского Дневника, неисчерпаемая пища увеселений в одинокие вечерние часы, посвященные чтению, были рассказаны ему именно теми гостями, которые не вызвали во мне и малейшего интереса, тогда как страницы Дневника пробуждали к ним живое любопытство. Несмотря на наивность их автора, для которого занимательность тех или иных историй свидетельствовала об исключительности рассказчика, вполне вероятно, что и обыкновенные люди сталкиваются в жизни с чем-то незаурядным, либо могут узнать от других что-то занятное и поведать об этом в свою очередь. Гонкур умел слушать и умел видеть; я на это был неспособен. Впрочем, все эти факты надо рассматривать отдельно. Конечно, г-н де Германт не производил на меня впечатления «чистого образца юношеской прелести»,

которого моя бабушка так хотела увидеть воочию и которого она, с подачи Мемуаров г-жи де Босержан, считала примером неподражаемым. Но надо помнить, что Базену тогда было семь лет, что писательница приходилась ему теткой, а даже те мужья, что не прочь через несколько месяцев развестись, расхваливают своих жен. В одном из прелестнейших стихотворений Сент-Бева описывается «явление у фонтана» необычайно милой и одаренной девочки, которую звали мль де Шанплатре, — должно быть, ей тогда не исполнилось и десяти. Несмотря на почтение, питаемое гениальной поэтессой, графиней де Ноайль[20] к свекрови, герцогине де Ноайль, в девичестве Шанплатре, возможно, что портрет ее кисти очень сильно отличался бы от написанного Сент-Бевом пятьдесят лет назад.

Сильнее, быть может, волновало существование таких представителей общества, рассказы о которых предлагали нечто большее, нежели наша память, сумевшая удержать занимательный анекдот, хотя эти рассказы — в случае Вентейлей и Берготов — не давали ключа к их произведениям, потому что были не столько сотворены

[20] Примечания: 20

Анна Элизабет де Ноайль, княгиня Бранкован, графиня Матье (1876-1933). Одна из ведущих писательниц довоенной Франции.

ими, сколько, к нашему сильному удивлению, ведь мы считали их заурядностью, были ими вдохновлены. Добро еще, что гостиная, которая в музейном антураже, на картине, произведет на нас впечатление величайшей красоты со времен Ренессанса, была гостиной смешной мещаночки; а ведь не будучи с ней знаком и увидев ее на картине, я мечтал бы узнать ее в действительности, надеясь, что она расскажет мне о самых ценных секретах искусства художника, о которых его полотна умалчивают, ибо пышный шлейф бархата ее платья и кружева уже вошли в художественное полотно, сравнимое с лучшими работами Тициана. Я ведь уже тогда мог понять, что Бергот становится не тот, кто всех остроумней, образованней и изысканней, а тот, кто сумел стать зеркалом и отразить свою жизнь, сколь бы ни была она заурядна (современники не считали, что Бергот так же умен, как Сван, и столь же учен, как Бреоте), — а ведь с *большим основанием это можно сказать о моделях художника*. Когда в художнике, способном изобразить все, пробуждается чувство красоты, образцы элегантности и натура, в которой он откроет столько прекрасных мотивов, будут предоставлены ему людьми несколько более богатыми, нежели он

сам, — он найдет в их доме все, чего нет в мастерской непризнанного гения, продающего полотна за пятьдесят франков за штуку: гостиную с мебелью, охваченную красным шелком, много ламп, красивых цветов, красивых фруктов, прекрасных платьев, — предоставлены людьми довольно незначительными, о существовании которых подлинный большой свет и не подозревает, но у которых, как раз по этой причине, больше возможностей познакомиться с бедным художником, оценить, признать и покупать его полотна, нежели у аристократов, заказывающих портреты, подобно папе и главам государств, у академических живописцев. Не обнаружит ли потомство поэзию великосветского дома и прекрасных одеяний нашей эпохи в гостиной издателя Шарпантье[21] кисти Ренуара, а не на портрете принцессы де Саган или графини де Ларошфуко работы Кота или Шаплена? Художники, познакомившие нас с неподражаемыми образцами изящества, редко подбирали его элементы в домах самых изысканных представителей эпохи, последние не заказывают свои портреты у безвестных разносчиков красоты, оно не видно им

[21] Примечания: 21

Известный прогрессивный издатель; первый успех Ренуара в Салонах был связан с семейным портретом его (Ш.) жены и детей.

в полотнах за тенью устарелого шаблона грации, блуждающего в глазах публики подобно чисто субъективным образам, которые, как полагает больной, и правда перед ним летают. Но помимо того эти мои знакомые, заурядные модели, художника вдохновляли, они настаивали на некоторых улучшениях, меня восхищавших, и картина не просто отмечала присутствие тех или иных персонажей — это были друзья, которых хотелось вписать в полотна; все это наводит на вопрос, не из-за врожденного ли недуга моего, бесившего меня тем, что теперь я не мог встретиться снова с недооцененными мною лицами, или потому, что своим обаянием они были обязаны лишь иллюзорной магии литературы, мне не казались безынтересными фигурами все эти люди, о несостоявшемся знакомстве с которыми мы сожалеем, которых, например, Бальзак вывел в своих романах или которым, например, он посвятил эти романы в знак своего восхищения, люди, о которых Сент-Бев или Бодлер написали свои самые красивые стихи, тем паче — все эти Рекамье и Помпадур; и я стал читать другие книги, утешая себя тем, что теперь, из-за ухудшения самочувствия, пора уже было порвать с обществом, отказаться от путешествий, посещения

музеев, пора было в клинику лечиться.

Некоторые из этих мыслей смягчали чувство горечи, вызванное тем, что я лишен литературных дарований, некоторые его усиливали, но затем они больше не тревожили меня и это было довольно долго — впрочем, я совершенно забыл о своем намерении стать писателем и отправился лечиться в больницу, расположенную вдалеке от Парижа, где и пробыл до начала 16-го года, когда врачей там стало явно не хватать. Я вернулся для врачебного осмотра в Париж, и он мало походил на город, увиденный мною в первое возвращение, в августе 1914-го, — тогда я снова вернулся в больницу. В один из первых вечеров этого повторного приезда, в 1916-м, мне захотелось услышать, что говорят о войне, единственно волновавшем меня предмете, и после обеда я отправился к г-же Вердюрен, ибо она, купно с г-жой Бонтан, стала одной из королев военного Парижа, чем-то напоминавшего теперь

эпоху Директории[22]. Девушки — образование, словно после добавления некоторого количества дрожжей, по виду спонтанное, — день-деньской носили на голове, как современницы г-жи Тальен[23], высокие цилиндрические тюрбаны, облачившись с гражданской ответственностью в темные, очень «военные» прямые египетские туники поверх довольно коротких юбок; сандалии на их ножках напоминали котурны Тальма[24], или они натягивали высокие гетры, как те, что у «наших дорогих бойцов»; это затем, говорили они, что наших солдат надо чем-то порадовать, и поэтому, помимо «струящихся» платьев, на них были еще и безделушки, своими декоративными мотивами напоминающие о войне, — даже если материал поступил не из войск и в войсках не

---

[22] Примечания: 22

Директория — французское революционное правительство, последующее Террору и предшествующее Бонапарту (11.1795-11.1799). Верхняя палата парламента, из списков, представленных Нижней, выбирала пять Директоров. Последние назначали всех остальных и это способствовало расцвету всякого рода коррупции. Времени были также свойственны экстравагантные моды, свобода нравов, излишества досуга.

[23] Примечания: 23

(1773-1835) Жена (1794) Жана Ламбера Тальена, одного из руководителей термидорианской реакции. Прозвище г-жи — Нотр-Дам де Термидор.

[24] Примечания: 24

Франсуа Жозеф Тальма (1763-1826) — французский трагический актер.

использовался; вместо александрийского орнамента, наводившего на мысль о египетской компании, использовались кольца и браслеты из осколков снаряда 75-го калибра, зажигалки с двухпенсовой монеткой, которым солдаты в своих окопах ухитрялись придать столь прекрасную патину, что профиль королевы Виктории, казалось, был наметан самим Пизанелло[25]; это все потому еще, говорили они, что они постоянно вспоминают о наших бойцах, а если кто-то уже погиб, они так одеваются «в траурной скорби», которая «смешана с гордостью»; последнее-то и позволяло надеть шляпку из белого английского крепа (необычайно изящного, «оставляющего надежду» и неодолимую уверенность в окончательном триумфе), а также замену былого кашемира атласом и шелковым муслином, равно жемчуга — «в рамках той деликатности и сдержанности, о которых бессмысленно напоминать француженкам».

Лувр, да и все музеи были закрыты, и если заголовок газетной статьи сообщал о «сенсационной выставке», то можно было не сомневаться: речь шла не о картинах, а о платьях, — которым, впро-

[25] Примечания: 25

Виктория (1819-1901) — королева английская с 1837. Пизанелло, Антонио ди Пуччо ди Черрето (1395-1455), художник, медальер.

чем, уготовано было напомнить «обо всех этих утонченных радостях искусства, что парижанки едва не забыли». Итак, изящество и радость обретались вновь; элегантность, за отсутствием искусств, нуждалась в оправданиях, как это уже было в 1793-м, — тогда художники, выставлявшиеся в революционном Салоне, возглашали, что «напрасно наши аскетические республиканцы возомнили, будто нельзя заниматься искусством, поскольку вся Европа осадила территорию свободы». Так в 1916-м поступали кутюрье, не без гордости художников признававшие, впрочем, что «поиск нового, уход от банальности, утверждение индивидуального стиля, работа на победу, открытие для послевоенных поколений новой формулы красоты — вот поставленная задача, преследуемая ими химера, и в этом можно убедиться, посетив выставку, удобно расположившуюся на улице....., где желание затмить светлой веселой нотой (со сдержанностью, конечно, приличной обстоятельствам) печальные звуки нашей поры — кажется прямо-таки лейтмотивом. Уныние поры», воистину, «могло бы и унять женскую энергичность, если бы нам не приходило на ум такое количество высоких примеров выносливости и отваги. Так что, вспомнив

о наших бойцах, которые мечтают в окопах об уюте, об изящных нарядах далеких подруг, покинутых у очага, привнесем еще больше выдумки в создание платьев, отвечающих потребностям времени! В моде теперь, само собой, все английское, союзническое, и все в этом году просто без ума от платья-бочки; веселая непринужденность этой модели придает девушкам что-то забавное и вместе с тем на редкость изысканное. Так что одним из самых счастливых результатов этой печальной войны», добавляет очаровательный хроникер (мы думаем: взятие потерянных провинций, пробуждение национального чувства), «одним из самых счастливых результатов этой печальной войны станет созидание — без необдуманной роскоши, из пустяков, из ничего — нового типа изящества и элегантности. Платью из дома моделей, выпущенному во множестве экземпляров, на данный момент предпочитают платья на заказ, потому что они отвечают и духу, и вкусу, и личным предпочтениям каждой».

Вполне естественно, что благодаря бедствиям, порожденным войной, общему числу искалеченных, милосердие становилось «еще изощренней», — оно-то и обязывало дам в высоких тюрбанах выходить вечером на «чай» у стола

для бриджа, чтобы «обсудить положение на фронтах», пока за дверьми их ждал автомобиль и красивый офицер, болтавший с лакеем. Впрочем, новы были не только шляпки, растянувшие лицо до размеров чудного цилиндра. Новы были и лица. Эти дамы в шляпках явились бог весть откуда и являли собой цвет изысканного общества — одни уже шесть месяцев, вторые два года, а некоторые целых четыре. Им, впрочем, это отличие казалось столь же важным, как во времена моих первых выходов в свет для семейств вроде Германтов и Ларошфуко три или четыре столетия подтвержденного старшинства. Мадам, знакомая с Германтами года так с 1914-го, как на выскочку смотрела на представленную им в 1916-м, она приветствовала ее кивком старой дамы, разглядывала в лорнет, одной гримасой давая понять, что неизвестно даже, собственно говоря, была ли та когда-нибудь замужем. «Все это довольно отвратительно», — заключала дама 1914-го года, желавшая, чтобы цикл новых допущений закончился ею. Эти новые лица (казавшиеся молодым уже старыми, а для некоторых стариков, которые иногда из большого света выползали, достаточно узнаваемыми, чтобы их новизна была сносной) не только увеселяли общество

разговорами о политике и музыке в узком кругу, вдохновлявшем на такие беседы, необходимо было, чтобы именно они предложили эти темы, ибо для того, чтобы вещи казались новыми, даже если они стары (и даже если они действительно новы), как в искусстве, в медицине, так и в свете, нужны новые имена. (Кое в чем, впрочем, они действительно поражали новизной. Г-жа Вердюрен ездила во время войны в Венецию, но поскольку подобные люди избегали говорить «о печальном и чувствах», то если, по ее словам, что-то ее поразило, то было не Венецией, не Сан-Марко, не дворцами, одним словом, ничем из того, что мне нравилось, а она не ценила, а лишь огнями прожекторов в небе, и о прожекторах она давала сведения, подкрепленные цифрами. Так из столетия в столетие возрождается реализм — как реакция на искусство, доселе вызывавшее восхищение.) Салон г-жи де Сент-Эверт, как потрепанная этикетка, уже не никого мог привлечь ни величайшими артистами, ни влиятельнейшими министрами. Напротив, сбегались выслушать мнение секретаря первых, либо заместителей заведующих секретариатами вторых — к новым дамам в тюрбанах, чей крылатый и стрекочущий наплыв затопил Париж. Королева дам первой

Директории была юна и прекрасна, ее звали г-жа Тальен. У дам второй Директории королев было сразу две, они были безобразны и стары, их звали г-жа Вердюрен и г-жа Бонтан. Кто теперь мог упрекнуть г-жу Бонтан за роль ее мужа в деле Дрейфуса, столь жестоко раскритикованную в Эко де Пари? Вся Верхняя палата стала, к определенному моменту, ревизионистской, и бывшие ревизионисты, равно бывшие социалисты должны были, по необходимости, составлять партию социального порядка, веротерпимости и военной готовности. Кажется, прежде г-на Бонтана ненавидели, потому что антипатриоты именовались тогда дрейфусарами. Но теперь это название было забыто и заменено названием противника закона трех лет[26]. А г-н Бонтан как раз принимал участие в подготовке этого закона и, следовательно, являлся патриотом. Нововведения, преступные или только отчасти (впрочем, этот социальный феномен — только проявление более общего психологического закона) вызывают ужас лишь до тех пор, пока не претерпели процесса уподоб-

[26] Примечания: 26

«Закон трех лет» — после германских военных приготовлений был вынужденной контрмерой, увеличившей (с 1913) военную службу (сокращенную в 1905) с двух до трех лет. Закон был принят несмотря на сопротивление социалистов и радикал-социалистов.

ления, пока они не окружены успокаивающими деталями. Так было и с дрейфусарством, так было и с женитьбой Сен-Лу на дочери Одетты, — брак этот поначалу вызывал общее возмущение. Теперь у супругов Сен-Лу встречались «все видные люди», Жильберта сама могла бы вести себя, как Одетта, и вопреки тому к ней все равно бы «ходили», осудив ее разве, как дуэрья — неустоявшиеся моральные новшества. Теперь дрейфусарство было включено в один ряд с вещами почтенными и привычными. А что это такое, теперь, когда оно стало допустимым, заботило не больше, чем тогда, когда дрейфусаров порицали. Больше это не было shocking. Это было в порядке вещей. Едва ли кто вспоминал, что это вообще имело место, как по прошествии нескольких лет невозможно установить, был ли вором отец такой-то девушки, или не был. В крайнем случае, можно сказать: «Нет, это зять, либо вы говорите про однофамильца. Про него таких слухов я не припомню». К тому же, дрейфусарство дрейфусарству рознь, и тот, кого принимали у герцогини Монморанси, кто провел закон трех лет, был не так уж ужасен. Как говорится, «простится всякий грех». И это забвение, пожалованное дрейфусарству, a fortiori затронуло дрейфусаров. Впрочем, дрейфусаров теперь

нельзя было встретить и в политике, поскольку каждый, кто хотел войти в правительство, к этому времени дрейфусаром уже стал, и даже те, кто когда-то противостоял дрейфусарству в его шокирующих истоках, воплощали собой (в те времена, когда Сен-Лу катился по наклонной) антипатриотизм, безрелигиозность, анархию и т. п. Вот почему дрейфусарство г-на Бонтана, неуловимое и конститутивное, как дрейфусарство всех политических мужей, было заметно не более, чем кости под кожи. Никто не помнил, что он был дрейфусаром, потому что светские люди рассеяны и забывчивы, а также потому, что утекло много воды, и они делали вид, что утекло еще больше — одно из самых распространенных заблуждений тех лет заключалось в том, что довоенная пора отделена временем столь же далеким и долгим, как геологический период, — и даже Бришо, этот националист, упоминая о деле Дрейфуса, говорил: «В те доисторические времена…» (По правде говоря, глубина изменений, произведенных войной, была обратно пропорциональна величине затронутых умов; по крайней мере, начиная с определенного уровня. Ниже — просто дурни, искавшие удовольствий, их не особо тревожило, что где-то идет война. Но выше их — те,

кто жил внутренним миром, кто обращал мало внимания на важность событий. Склад их мыслей менялся чем-то не представляющим, на первый взгляд, большого значения, однако этот предмет опрокидывал строй времени, погружая их в другую пору жизни. Примером может служить красота страниц, на которые оно вдохновляет: песня птицы в парке Монбуасье, или ветерок, исполненный запахом резеды[27], — очевидно, не столь значимые события, как величайшие даты Революции и Империи. И, тем не менее, ценность страниц Шатобриана в Замогильных записках, вдохновленных ими, как минимум, на порядок выше.) Слова «дрейфусар» и «антидрейфусар» теперь не имеют никакого смысла, говорили те же люди, которых изумило бы и возмутило, если бы им сказали, что, возможно, через несколько веков, а может быть и раньше, слово «бош» будет звучать примерно так же, как сейчас — архивные словечки «санкюлот», «шуан» или «синий»[28].

---

[27] Примечания: 27

«Замогильные записки» виконта Франсуа Рене де Шатобриана (1768-1848); кн. III, гл. 1 и кн. IV, гл. 5. Тема памяти и «строя времен» будет развита ниже.

[28] Примечания: 28

Слово «бош» — французское обозначение принадлежности к нации, аналогичное нашему «ганс», «фриц». Санкюлоты, шуаны, синие — различные политические и социальные силы времен Французской революции. Пруст развивает метафору Директории.

Г-н Бонтан и слышать не хотел о мире, пока Германия не будет раздроблена, как в средние века, до безоговорочного отречения дома Гогенцоллернов, пока Вильгельму[29] не всадят в лоб пулю. Одним словом, он был из тех, кого Бришо называл «упертыми», а это был высочайший сертификат гражданской сознательности, который только могли присудить Бонтану. Само собой, первые три дня г-жа Бонтан чувствовала себя слегка неловко среди всех этих людей; представляя ее, г-жа Вердюрен отвечала слегка язвительно: «Графу, милочка моя», когда г-жа Бонтан ее спрашивала: «Вы ведь только что представили меня герцогу д'Осонвилю?», — либо по причине полной неосведомленности и отсутствия каких-либо ассоциаций между именем д'Осонвиля и каким-либо титулом, либо, напротив, чрезмерно склоняясь к ассоциациям с «Партией герцогов», в которую, как ей сказали, д'Осонвиль вошел

[29] Примечания: 29

Гогенцоллерны — бранденбургские курфюрсты 1415-1701, прусские короли 1701-1918, германские императоры 1871-1918. Вильгельм II Гогенцоллерн (1859-1941) — германский император и прусский король в 1888-1918. Ниже: «упертые» — jusqu'au-boutiste, то есть, буквально, те, которые пойдут до конца. Это слово живет во французском языке до сих пор.

как академик[30]. На четвертый день она уже занимала прочное положение в Сен-Жерменском предместье. Иногда вокруг г-жи Бонтан еще обнаруживались какие-то неведомые осколки иного мира, не более удивительные для тех, кто знал яйцо, из которого она вылупилась, чем скорлупки, приставшие к цыпленку. Однако на третьей неделе она с себя их стряхнула, а на четвертой, услышав от нее: «Я собираюсь к Леви», — уже никто не нуждался в уточнениях, всем было ясно, что речь идет о Леви-Мирпуа, и теперь ни одна герцогиня не смогла бы уснуть, не узнав от г-жи Бонтан или г-жи Вердюрен, хотя бы по телефону, что же там было в вечерней сводке, чего там не было, что там насчет Греции, куда пойдут войска, — одним словом, все те сведения, о которых общество узнает только завтра, а то и позже, которым г-жа Бонтан устраивала своего рода последний прогон. Сообщая новости, г-жа Вердюрен говорила «мы», подразумевая Францию. «Значит, так: мы требуем от греческого короля, чтобы он убрался с Пелопоннеса и т. д.; мы ему отправим и т. д.». И постоянно в ее речах возникало некое

[30] Примечания: 30

«Партии герцогов» принадлежали все дворяне — члены французской Академии. Г-н д'Осонвиль (1843-1924) — правнук г-жи де Сталь.

С. В. Г.[31] («я звонила в С. В. Г.») — аббревиатура, произносившаяся ею с тем же удовольствием, с которым еще не так давно дамы, незнакомые с принцем д'Агригент, буде речь заходила о нем, переспрашивали, ухмыляясь, чтобы щегольнуть своей осведомленностью: «Григри?», — в малороковые эпохи это удовольствие знакомо лишь свету, но в годину великих потрясений становится известным и народу. У нас, например, дворецкий, наставленный газетами, если речь заходила о короле Греции, мог переспросить, как сам Вильгельм II: «Тино?»; его фамильярность с королями была еще вульгарней, если клички придумывал он сам: когда говорили о короле Испании, он именовал его Фонфонсом[32]. Надо, однако, отметить, что по мере того, как увеличивалось число сиятельных особ, обхаживавших г-жу Вердюрен, сокращалось число тех, кого она именовала «скучными». Словно по мановению волшебной палочки «скучные», пришедшие

---

[31] Примечания: 31

Grand Quartier General — так называлось генеральное командование французских армий, куда входили генералы Жоффр, Нивель, Петен, де Пьерфо. В вольном переводе: Ставка Верховного Главнокомандующего.

[32] Примечания: 32

Тино — Константин I (1868-1923), сын Георгия I Греческого. Фонфонс — Альфонс XIII (1886-1941) из династии Бурбонов.

к ней с визитом или попросившие приглашения, моментально становились чем-то милым, интеллигентным. Одним словом, к концу года количество «скучных» сократилось в такой мере, что «боязнь и невозможность скучать», занимавшие видное место в разговорах и игравшие принципиальную роль в жизни г-жи Вердюрен, почти полностью отошли в прошедшее. Словно на склоне лет невыносимость скуки (она, впрочем, не испытывала ее в ранней молодости, согласно ее уверениям) причиняла ей меньшие страдания, подобно иным мигреням и нервическим астмам, которые к старости теряют силу. И, наверное, «тоска скучать», за недостатком скучных, окончательно оставила бы г-жу Вердюрен, если бы она не набрала новых скучных — из числа бывших верных.

Добавим, чтобы разделаться с герцогинями, посещавшими теперь г-жу Вердюрен: их влекло в ее салон, хотя они и не подозревали о том, то самое светское удовольствие, которое приводило к ней раньше дрейфусаров и при получении насыщало интерес к политике, позволяя посудачить о происшествиях, описанных в газетах. Г-жа Вердюрен говорила «приходите к пяти часам поговорить о войне», как раньше — «поговорить

о Процессе[33]», или, в промежутке, — «послушать Мореля».

Морель, кстати, не должен был там находиться, поскольку от призыва в армию никто его не освобождал. Правда, он до части не добрался и числился в бегах, но никто этого не знал.

Все осталось по-старому, хотя и казалось чем-то иным, и в свете по-прежнему прибегали к выражениям «благонамеренный», неблагонамеренный». Старые коммунары и сами когда-то были антиревизионистами, а последовательнейшим дрейфусарам теперь хотелось расстрелять всех, и в этом они были заодно с генералами, поскольку последние во времена Процесса были противниками Галифе[34].

На эти вечера г-жа Вердюрен приглашала и довольно свежих дам, известных благотворительностью, — поначалу они являлись в сверкающих нарядах и внушительных жемчужных ожерельях, и даже Одетта с ее массивным колье, также

[33] Примечания: 33
Имеется в виду дело Дрейфуса.

[34] Примечания: 34
Дрейфусары тяготели к пацифизму, а во времена Процесса Дрейфуса наибольшее количество их противников служило в военном ведомстве, сопротивлявшемся пересмотру этого дела, даже когда Галифе был военным министром (1899-1900).

выставленным напоказ, которая из подражания дамам Предместья была теперь в «военном фасоне», смотрела на них сурово. Но женщины умеют приспособиться. К третьему или четвертому посещению они осознали, что наряды, казавшиеся им шикарными, как раз и подпадали под вето, наложенное «шикарными» дамами, — и они забыли свои золотые платья и смирились с простотой.

Одной из салонных звезд стал «Кочерыжка»[35], — вопреки своим спортивным наклонностям, он все-таки добился освобождения от службы. Для меня он теперь был только автором замечательного произведения, постоянно занимавшего мой ум, и, случайно уловив пересечения между двумя потоками воспоминаний, я размышлял, не он ли послужил причиной бегства Альбертины. И, что касается мощей памяти об Альбертине, опять этот поперечный поток выводил меня на колею, затерявшуюся в далеком прошлом. Ибо я больше не вспоминал ее. Это

[35] Примечания: 35

Имеется в виду молодой племянник Вердюренов (впрочем, презиравший дядю за неумение одеваться), любитель спортивного времяпровождения. Также его можно было перевести «Впросаком». Читатель знакомится с ним во втором томе. В «Беглянке» Октав неожиданно воскресает как молодой и талантливый сочинитель скетчей и поклонник Альбертины, ищущий, в связи со всем этим, знакомства с автором. После смерти Альбертины он женится на Андре.

была колея памяти, тропа, на которую я уже не ступал. Тогда как сочинения «Кочерыжки» были для меня свежи, я натыкался на эту тропку, и мое сознание использовало ее.

Надо отметить, что дружбу с мужем Андре нельзя было назвать делом легким и приятным, что чувство привязанности, испытываемое к нему, сталкивалось с чинимыми им препонами. И правда, к этому моменту он уже сильно болел и старался избегать лишних усилий, если они, по его мысли, не сулили удовольствий. Исключение он делал только для незнакомцев, — наверное, его горячее воображение рисовало их как нечто совершенно особенное. Но друзей он знал слишком хорошо, — он знал, кем они были, кем они будут, и, казалось ему, они не стоят усталости, опасной для него и даже, быть может, смертельной. В целом, из него вышел довольно посредственный товарищ. И в его стремлении к новым людям сквозило что-то от бальбекской неистовой жадности — к спорту ли, игре, излишествам стола.

А г-жа Вердюрен постоянно хотела свести меня с Андре, не подозревая, что я с ней знаком. Впрочем, Андре редко приходила с мужем. Она стала мне добрым и искренним другом; верная эстетике мужа, который находился в оппозиции

к русским балетам, она говорила о маркизе де Полиньяк: «Он украсил дом Бакстом. Так ведь и не уснешь! Я так предпочла бы Дюбуфа[36]». Вердюрены, по причине фатального прогресса эстетизма, кончившего поглощением собственного хвоста, твердили, что не переносят ни «модерна» (тем паче «мюнхенского»), ни белых квартир, и испытывали привязанность лишь к старинной французской мебели с темным рисунком.

В то время я часто виделся с Андре. О чем мы только не болтали; но как-то раз я вспомнил имя Жюльетты, поднимавшемся из глубины воспоминания об Альбертине, словно таинственный цветок. Таинственный тогда, но сегодня ничего во мне не вызывавший; не то чтобы этот предмет был ничтожней того, о чем мы говорили, но иногда в некоторых наших мыслях происходит перенасыщение. Может быть, время, в котором мне грезилось сколько тайн, и действительно было таинственным. Но раз уж эти времена когда-нибудь прекратятся, не стоит жертвовать своим здоровьем и состоянием, чтобы раскрыть загадки, которые после не вызовут в нас любопытства.

---

[36] Примечания: 36

Бакст Лев Самуилович (1866-1924) — художник, график. Член «Мира искусства». Дюбуф (1853-1909) — художник и декоратор.

Многие удивлялись, что в эти времена, когда г-жа Вердюрен принимала у себя кого хотела, она пыталась заманить к себе окольными путями совсем уже потерянную из виду Одетту. Находили, что та сейчас ничего не прибавила бы блистательной среде, в которую превратился кланчик. Но длительная разлука, усыпляя злопамятство, пробуждает дружбу. К тому же, у феномена, силой которого умирающие произносят имена лишь самых давних друзей, а старики находят удовольствие в детских воспоминаниях, есть социальный эквивалент. Чтобы осуществить это начинание, возвращение Одетты, г-жа Вердюрен прибегла к услугам, разумеется, не «вернейших», но более ветреных завсегдатаев, посещавших оба салона. Она сказала им: «Я не понимаю, почему ее здесь больше не видно. Может быть, она со мной рассорилась, но я-то ее не обижала; к тому же, что я ей такого сделала? У меня она познакомилась с обоими своими мужьями. Пусть она знает: если захочет вернуться — двери открыты всегда». Эти слова, которые, наверное, дорого стоили бы гордости Патронессы, если бы не были продиктованы ее воображением, Одетте передали, однако к желаемому они не привели. Г-жа Вердюрен ждала Одетту, не чая увидеть, пока события, о которых

мы расскажем ниже, не привели к результату, которого не достигло посольство усердных-таки «неверных». Так порой недостаточно и легкого успеха, и полного провала.

Г-жа Вердюрен говорила: «Это несносно, я сейчас позвоню Бонтану, чтобы завтра приняли меры: опять зазернили весь конец статьи Норпуа, — видите ли, потому что он намекает, что Персена лиможнули[37]». Повальное тупоумие обязывало, чтобы каждый употреблял затасканные выражения, возвышаясь этим на фоне прочих и заверяя, что не отстал от времени, как мещанка, переспрашивавшая, если речь заходила о господах Бреоте, д'Агригент или де Шарлю: «Кто? Бабал де Бреоте, Григри, Меме де Шарлю?». Впрочем, недалеко от них ушли и герцогини, которые испытывали сходное удовольствие, повторяя «лиможнуться», ибо на фоне других герцогинь это слово их выделяло — в глазах несколько поэтичных простолюдинов; но они-то причисляли себя к духовной прослойке общества, а туда заносит также и многих буржуа. Духовным

[37] Примечания: 37

Зазернить — это слово, обозначает затемнение определенных частей печатного текста в цензурных целях. Впервые употреблено применительно к царской России. Лиможнуть кого-либо — отправить отдыхать, отставив с поста, в Лимож. Персен — французский генерал.

классам безразлично происхождение.

Впрочем, у этих телефонных «обзвонов» г-жи Вердюрен был существенный минус. Мы еще не рассказывали, что «салон» Вердюренов, верный себе по духу и плоти, переместился в один из самых больших дворцов Парижа, — недостаток угля и света крайне осложнял проведение вердюреновских приемов в их старом доме, необычайно влажном дворце Венецианских послов. Новый салон, впрочем, не был лишен привлекательности. Подобно тому, как в Венеции место, обрамленное водой, определяет форму дворца, как закуток в парижском саду вызывает подчас большее восхищение, чем провинциальный парк, тесная столовая во дворце г-жи Вердюрен превратила ослепительно белые прямоугольные стены в своего рода экран, на котором каждую среду, да и почти каждый день, проявлялись разнообразные примечательные фигуры, элегантнейшие женщины Парижа, полоненные роскошью и достатком Вердюренов, только возросшем в ту эпоху, когда разорились практически все богачи. Порядок приемов теперь изменился, однако они по-прежнему восторгали Бришо, — последний, по мере распространения связей Вердюренов, обнаруживал в их салоне все новые и новые

удовольствия, сбившиеся в этом маленьком пространстве, как рождественские подарки в чулке. Словом, иногда за ужином бывало так много гостей, что в столовой наверху становилось тесно, и стол накрывали в необъятной гостиной внизу, где «верные», всецело поглощенные лицемерной скорбью по камерному верхнему помещению (так во времена, когда приглашали чету Камбремеров[38], они говорили г-же Вердюрен, что «уж очень нас это стеснит»), скучившись отдельно (как некогда на маленькой железной дороге), в действительности испытывали чистый восторг, ощущая, как завидуют, как любопытствуют за соседним столом. В привычные мирные времена светская заметка, скромно появившаяся в Фигаро или Голуа, поведала бы несколько большему числу людей, чем могла вместить столовая Мажестик[39], об обеде Бришо с герцогиней де Дюра. Но на время войны светские хроникеры отменили этот жанр новостей (возместив его похоронами, цитацией и франко-американскими банкетами), и жизнь общественности пресеклась бы, если бы не было изыскано этого средства, инфан-

[38] Примечания: 38
В переводе Н. М. Любимова — чета Говожо.

[39] Примечания: 39
Отель в Париже.

тильного и условного, достойного далеких эпох, предшествовавших изобретению Гуттенберга, — отметиться за столом г-жи Вердюрен. После ужина поднимались в гостиную Патронессы, затем начинались «обзвоны». В то время в салоны нередко захаживали шпионы, и они брали на заметку сведения, сообщаемые болтливым Бонтаном — к счастью, всегда недостаточно точные и редко соответствовавшие действительности.

Еще до конца послеполуденных чаепитий, на исходе дня, вдали, в светлеющем небе виднелись коричневые пятнышки, которые синими вечерами можно было принять за мошкару, за птиц. Так если смотришь на гору издалека она кажется облаком. Но мы взволнованы: это облако необъятно, твердо и прочно. Волновался и я, потому что коричневая точка в летнем небе не была ни мушкой, ни птицей — это люди, охраняющие Париж, подняли в воздух аэроплан. (Воспоминание об аэропланах, которые мы видели с Альбертиной на нашей последней прогулке в окрестностях Версаля, к этому впечатлению было непричастно: это воспоминание для меня стало безразличным.)

К ужину рестораны были полны, и если на улице я встречал бедного отпускника, на неделю

ускользнувшего от постоянной смертельной опасности и готового вновь вернуться в окопы, если он останавливал на мгновение взгляд на освещенных стеклах, то я страдал, как в Бальбеке, когда рыбаки наблюдали за нашей трапезой, но страдал сильнее, ибо знал, что скуда солдата труднее скуды бедняка, потому что включает в себя ту и другую, и она трогательней, потому что безропотна и благородна; философски покачивая головой, без какой-либо неприязни, солдат, которому завтра на фронт, глядя на толкучку тыловых крыс, облепивших столики, говорит: «И не скажешь, что здесь война». В половине десятого еще никто не успел отужинать, но по приказу полиции внезапно тушили огни, и, в девять тридцать пять, тыловые крысы толклись по новой: они вырывали пальто у ресторанных лакеев, — там, где однажды туманным вечером я ужинал с Сен-Лу, — и насытившиеся пары устремлялись в загадочные сумерки залы, где им показывали волшебный фонарь, в помещения для спектаклей, где крутили теперь синема. Но после этого часа, тем, кто, как я в тот вечер, ужинал дома, а затем выходил встретиться с друзьями, Париж казался, по крайней мере в некоторых кварталах, еще темней, чем Комбре моего детства; чудилось,

будто идешь в гости к деревенским соседям. Ах! если бы Альбертина была жива, как славно было бы вечерами, когда я ужинал в городе, назначить ей свидание где-нибудь на улице, под аркадами! Поначалу я ничего не различал бы и волновался от предчувствия, что она не придет, а потом внезапно заметил, как от темной стены отделяется одно из ее милых серых платьев, что ее ласковые глаза уже видят меня, и мы могли бы, обнявшись, пойти гулять, никем незамеченные и непотревоженные, а затем вернуться домой. Увы, я был один; мне чудилось, что я иду к деревенскому соседу, — так когда-то Сван хаживал к нам в гости после ужина, не чаще встречая прохожих в сумерках Тансонвиля на маленькой бечевой дорожке к улице Святого Духа, чем теперь я, среди улиц, превратившихся из извилистых деревенских дорожек, из улицы Св. Клотильды — в улицу Бонапарта. Впрочем, поскольку фрагменты этих пейзажей, перемещенные временем суток, уже не были стеснены незримой рамкой, вечерами, когда ветер бил ледяным шквалом, мною овладевало чувство, будто я на берегу неистового моря, куда я так хотел попасть, — у самого моря, в Бальбеке, это чувство было не таким сильным; и даже другие явления природы, которых до сих

пор нельзя было увидеть в Париже, наводили на мысль, что мы только что сошли с поезда, приехав на каникулы в деревню: например, контраст света и тени, лежащих вечерами рядышком на земле, в лунном свете. В этом лунном свете виднелось то, что не увидишь в городах даже среди зимы; его лучи расстилались по не убиравшемуся больше рабочими снегу бульвара Османн[40], словно по льдам Альп. Силуэты деревьев, ясны и чисты, отражались на этом злато-голубом снеге столь же тонко, как на японских гравюрах или на втором плане картин Рафаэля; они тянулись по земле у корней дерева, как в лесу на закате, когда солнце затопляет лужайки, а деревья восстают через равные промежутки. И восхитительно нежный, тонкий луч, в котором вырастали тени этих деревьев, легкие как души, представлялся лучом райских чертогов, но не зеленым, а белым, сверкающим так ясно (потому что лунный свет падал на нефритовый снег), словно был соткан из лепестков груши в цвету. И, недвижимы, божества фонтанов, сжав в руке ледяную струю, казалось, были созданы из двойной материи, для исполнения которой художник обвенчал бронзу

[40] Примечания: 40
На бульваре Османн, 102, Пруст поселился в 1906.

с хрусталем. Этими чудесными ночами все дома были черны. Но, напротив, иногда весной, не считаясь с предписаниями полиции, особняк, либо только этаж особняка, или даже только одна комната этажа, не укрывшаяся за ставни, совершенно одинокая в непроницаемых потемках, виделась будто бросок чистого света, неустойчивое видение. И женщина, которую, подняв глаза выше, разглядишь в золоченом сумраке, принимала в этой ночи, в которой ты потерян, а она заключена, волшебные и смутные очертания восточного призрака. Потом идешь дальше и уже ничто не мешает оздоровительному однозвучному сельскому шарканью в темноте.

Кажется, я довольно долго не встречался с персонажами этого повествования. В 1914-м, правда, за два месяца, проведенных мною в Париже, я мельком виделся с г-ном де Шарлю и встретился с Блоком и Сен-Лу, — с последним только два раза. На второй раз, снова представ мне самим собой, он изгладил не очень-то приятные воспоминания, оставшиеся у меня от его тансонвильской неискренности, о чем я только что рассказал, и я опять признал его былые исключительные достоинства. Первая встреча была сразу же после объявления войны, — то есть, в начале после-

довавшей тому недели (Блок в это время делал крайне шовинистические заявления); когда Блок нас оставил, в рассказе Сен-Лу о том, что он уклоняется от службы, не было никакой иронии, и меня почти шокировала грубость его тона. (Сен-Лу приехал из Бальбека. Позднее я выведал окольными путями, что там им предпринимались некоторые тщетные усилия по поводу директора ресторана. Последний своим положением был обязан наследству, полученному от г-на Ниссима Бернара. Это был тот самый юный слуга, которому дядя Блока «покровительствовал». Однако богатство привело за собой добродетель. Так что тщетно Сен-Лу пытался его обольстить. Итак, в порядке компенсации, когда добродетельные юноши, взрослея, отдаются страстям, в которых они, наконец, нашли вкус, доступные молодые люди обретают принципы, и какой-нибудь де Шарлю приходит к ним, доверившись старым сплетням, но слишком поздно, и нарывается на неприятности. Все дело в хронологии.) «Да, — кричал он весело, — все, кто не на фронте, как бы они того ни объясняли, остались здесь только потому, что им неохота идти на смерть — это от трусости». И с тем же уверенным жестом, однако энергичнее, чем при словах о трусости других

людей, он добавил: «И если я не вернусь на службу, то это просто от трусости, и все тут!». Я уже не раз убеждался, что бравирование похвальными чувствами вовсе не обязательно прикрывает что-нибудь плохое; более новым средством является демонстрация дурного, чтобы, по крайней мере, не производить впечатление человека, что-то скрывающего. К тому же, для Сен-Лу эта линия поведения была привычной: в случае если он допустил какую-либо неловкость или промах, за которые его могли укорить, он вовсю об этом разглагольствовал, уверяя, что поступил так нарочно. Привычку эту, наверное, он перенял от кого-то из своих друзей — преподавателей Военной Школы, которыми он восхищался. Итак, мне не составило большого труда истолковать эту выходку как словесную ратификацию чувства, которое, так как оно определило поведение Сен-Лу и его неучастие в начавшейся войне, он находил не лишним разгласить. «Ты, кстати, слышал, — спросил он перед уходом, — что моя тетка разводится? Сам я об этом ничего не знаю. Об этом судачили время от времени, и я так часто слышал предсказания, что сначала дождусь, а уж потом поверю. Но от себя добавлю, что это вполне естественно. Дядя — само обаяние, не только для

света, но и для друзей, родных. Даже, в какой-то мере, он сердечнее тетки, — она, конечно, святая, но не упускает случая поставить это всем на вид. Но муж он, пожалуй, скверный: он постоянно ей изменяет, оскорбляет ее, плохо с ней обращается и отказывает в деньгах. Вполне естественно, что она с ним разведется, и этого достаточно, чтоб так оно и было; или наоборот: если такое событие естественно — это еще один повод, чтоб об этом думали и болтали. Потом, даже если б так оно и было, она долговато терпела. Теперь я хорошо знаю, что многое из того, что предсказывают и что опровергают, позже становится правдой». Это позволило мне спросить, стоял ли когда-нибудь вопрос о его женитьбе на м-ль де Германт. Его передернуло и он заверил меня, что никогда, что это один из тех светских слухов, которые время от времени неизвестно откуда возникают и потом так же рассеиваются; то, что эти слухи оказались ложными, не способствует осторожности тех, кто уверился, и как только появятся новые — о помолвках, разводах, о политике, — они им опять поверят и приступят к их распространению.

Но не прошло и двух дней, и я понял, что в истолковании слов Робера: «Все, кто не на фронте, трусы», я глубоко заблуждался. Сен-Лу сказал так,

желая блеснуть в разговоре, проявить психологическую оригинальность, пока не был уверен, что его ходатайство о добровольном вступлении в действующую армию будет утверждено. Но в то же время он прилагал все усилия, чтобы его прошение приняли, и тут он проявил не в той степени оригинальность (в смысле, вкладываемом им в это слово), сколь свою причастность нации французов Святого-Андрея-В-Полях[41], самому лучшему, что на тот момент было у французов Святого-Андрея-В-Полях, дворян, буржуа, простолюдинов, почтительных к дворянам или бунтующих против дворян, двух одинаково французских подразделений того же семейства, подтипа Франсуазы и подтипа Мореля, откуда вылетели две стрелы, сошедшиеся в одном направлении — к фронту. Блока привело в восторг трусливое признание националиста (каковым Сен-Лу никогда и не являлся), но стоило Сен-Лу спросить его, должен ли тот пойти на фронт сам, как Блок, в позе верховного жреца, ответствовал: «Миопия». Но несколько дней спустя Блок совершенно изменил свое мнение о войне; он пришел ко мне, обезумевши. Несмотря на «миопию», его

---

[41] Примечания: 41

Церковь Святого-Андрея-В-Полях: см. предыдущие тома эпопеи.

признали годным. Я провожал его, и тут мы встретили Сен-Лу, у которого как раз была встреча в Военном Министерстве с отставным офицером, г-ном де Камбремером, а последний должен был представить его какому-то полковнику. «Ах ты! что я тебе говорю — это ведь твой старый друг… Вы ведь с Канканом[42] давно знакомы, не так ли?». Я ответил, что я действительно с ним знаком, и с его женой также, но знакомством дорожу лишь отчасти. Но с того времени, как я подружился с этой четой, я так привык относится к его жене, как, вопреки всему, к женщине исключительной, досконально сведущей в Шопенгауэре, обладающей доступом в духовные сферы, абсолютно закрытые ее неотесанному супругу, что слова Сен-Лу меня прежде всего изумили: «Скажу по правде, жена у него идиотка. Но сам он — человек просто замечательный, одарен и все так же мил». Под «идиотией» жены Робер понимал, вероятно, ее страстное желание якшаться с большим светом, самое суровое осуждение света и встречающее. Под качествами мужа, наверное, он имел ввиду те, которые расхваливала его мать, когда ставила его выше других членов своей семьи. Его-то, по

[42] Примечания: 42
Канкан — прозвище г-на Камбремера.

крайней мере, не волновали герцогини; но говоря по правде этого рода «ум» столь же отличен от ума, присущего мыслителям, как признанный публикой «талант» от «способностей» нувориша, «умеющего делать деньги». Однако слова Сен-Лу не вызвали у меня неприятного впечатления, ибо напомнили, что претензия граничит с глупостью, а простота хоть и несколько скрыта, но приятна. Мне, правда, не довелось обнаружить эти качества в г-не де Камбремере. Но в действительности, если учитывать мнение других людей, человек состоит из множества несходных личностей, даже если забыть о разнице взглядов. Я знал только оболочку г-на де Камбремера. И его достоинства, о которых твердили другие, так и остались для меня неизвестны.

Мы проводили Блока, который попрекал Сен-Лу тем, что, в отличии от него, Блока, все эти «именитые высокородные отпрыски», щеголяющие при штабах, ничем не рискуют, тогда как у него, простого солдата 2-го класса, нет никакого желания «дырявить шкуру из-за Вильгельма». «Похоже, что император Вильгельм серьезно болен», — ответил Сен-Лу. Блок, как и все люди, околачивающиеся возле биржи, с необыкновенной легкостью воспринимал сенсационные

известия и потому воскликнул: «Говорят даже, что он умер». На бирже все монархи больны, а что до Эдуарда VII[43] или Вильгельма II, то они уже умерли; все осажденные города уже пали. «Правда, это пока скрывают, чтобы не ввергнуть бошей в отчаяние. Однако он умер вчера ночью. Мой отец узнал об этом из совершенно надежного источника». Постоянными сношениями с совершенно надежными источниками, которыми только, по счастью, и пользовался г-н Блок-отец, он был обязан своим «большим связям»; он получал оттуда секретные покуда новости о том, что «заграница растет», что «Де Бирс падает». Впрочем, если к указанному моменту рос курс Де Бирс, а «предложений» на «заграницу» не наблюдалось, если рынок первых был и «устойчивым», и «активным», тогда как вторых — «колеблющимся» и «неустойчивым», и держали их «в фондовом резерве», совершенно надежный источник оставался не менее надежным источником. Поэтому Блок известил нас о смерти кайзера с видом важным и таинственным, но также раздраженным. Особенно его взбесило, что Робер назвал Вильгельма импера-

[43] Примечания: 43
Эдуард VII (1841-1910) — король Великобритании.

тором. Я думаю, что и под резаком гильотины Сен-Лу и г-н де Германт не сказали бы иначе. Два этих светских мужа, останься они в одиночестве на необитаемом острове, где не перед кем обнаружить своих хороших манер, проявляли бы эту воспитанность, подобно латинистам, правильно цитирующим Вергилия. Сен-Лу никогда бы не смог, даже под пыткой у немцев, назвать «императора Вильгельма» иначе. И этот хороший тон, несмотря ни на что, есть свидетельство великих пут духа. Тот, кто не сумеет сбросить их, останется лишь светским человеком. Эта изящная посредственность, впрочем, прелестна — в особенности у всех, кто привержен ей из утаенного великодушия и скрытого героизма, — по сравнению с вульгарностью Блока, разом труса и фанфарона, выкрикивавшего Сен-Лу в лицо: «Ты не мог бы говорить просто: „Вильгельм“? Вот именно, ты трусишь, ты уже здесь ложишься перед ними ничком. Да!.. Хороши будут наши солдаты на фронте, они вылижут бошам сапоги. Вы, „ваш благородия“, только и умеете, что гарцевать на парадах. И точка».

«Бедняга Блок — он думает, что я только и делал, что гарцевал на парадах», — с улыбкой сказал Сен-Лу, когда мы распрощались с нашим

приятелем. И я прекрасно понимал, что вовсе не парады интересовали Робера, хотя в то время мне сложно было угадать его намерения, о которых я узнал позже, когда кавалерия осталась незадействованной и он служил как офицер пехоты, затем как пехотный егерь, а что было дальше… увидим ниже. Блок не разглядел патриотизма Робера только потому, что Робер его не выражал. Если Блок исповедовал нам страстный антимилитаризм после того, как его признали «годным», то до этого, рассчитывая, что его освободят от службы по миопии, он выкрикивал шовинистичнейшие лозунги. Сен-Лу на подобные заявления был неспособен; прежде всего, из-за своего рода нравственной чуткости, не позволявшей ему выражать слишком глубокие чувства и то, что все находят естественным. Моя мать не только без колебаний отдала бы жизнь за бабушку, но и сама невозможность сделать это причинила бы ей невыразимые страдания. При всем том мне трудно представить, оглядываясь назад, в ее устах фразу вроде «я за свою мать жизнь отдам». Столь же молчаливым в своей любви к Франции был и Робер, и в этом момент я находил в нем гораздо больше фамильных черт отца его, Сен-Лу (насколько я мог его себе представить),

нежели Германтов. От выражения подобных чувств его предохраняло своего рода нравственное достоинство ума. По-настоящему умные и серьезные труженики испытывают отвращение к тем, кто перекладывает свои действия в пустословие и набивает им цену. Мы не учились вместе ни в лицее, ни в Сорбонне, но независимо друг от друга ходили на лекции тех же преподавателей; я вспоминаю, как Сен-Лу смеялся над теми, кто — поскольку другие вели замечательные курсы, — желая прослыть гениями, давали амбициозное название своим теориям. Робер смеялся от души, когда мы об этом вспоминали. Естественно, мы не оказывали предпочтения Котарам и Бришо по инстинкту, но в конце концов преисполнились уважения к людям, которые в совершенстве изучили греческий или медицину и не находили возможным заниматься шарлатанством. Я уже говорил, что если все действия мамы подразумевали готовность отдать жизнь за бабушку, то даже в душе она никогда не смогла бы выразить словами этого чувства, и в любом случае она признала бы, что рассказывать о нем другим — это не только бесполезно и смешно, но даже возмутительно и позорно; точно так же невозможно было представить в устах Сен-Лу

фраз об экипировке, о поездках, которые ему предстояло совершить, о наших шансах на победу, о невысокой ценности российской армии, о том, как поступила бы Англия; мне сложно представить в его устах красноречивые слова, обращенные каким-нибудь достойнейшим министром к депутатам, аплодирующим стоя. Нельзя, однако, сказать, что в этом чисто отрицательном свойстве, запрещающем выражать лучшие чувства, не было «духа Германтов», действие которого мы много раз наблюдали на примере Свана. И если я находил в нем черты, только ему, Сен-Лу, и присущие, то при этом он оставался и Германтом, и среди многочисленных причин, воспламенявших его смелость, находились особые, каких не было у его донсьерских приятелей, влюбленных в свое ремесло юношей, с которыми я ежевечерне встречался за ужином, — из них многие встретили смерть, увлекая за собой солдат в битве на Марне[44] и в других боях.

Юные социалисты, которые могли присутствовать и в Донсьере во времена моих посещений, хотя я с ними не свел знакомства по той причине, что в окружении Сен-Лу они представлены не

[44] Примечания: 44

05-12.09.1914 на реке Марна французские войска под командованием ген. Ж. Жоффра остановили немецкое наступление.

были, теперь смогли удостовериться, что офицеры, принадлежащие этой среде, вовсе не были теми, кого «популо», офицеры, выслужившиеся из рядовых, франкмасоны, прозвали «аристо», то есть — высокомерными гордецами и низменными прожигателями жизни. И наоборот: тот же патриотизм офицеры из благородных в полной мере обнаружили у социалистов, которых они обвиняли в разгар дела Дрейфуса, когда я приезжал в Донсьер, в «безродности». Искренний и глубокий патриотизм военных застыл в четко определенной форме, которая представлялась им неприкосновенной, и нападки на нее их возмущали, тогда как патриоты независимые, без определенной патриотической религии, вроде радикал-социалистов, не могли понять, какая глубокая реальность заключена в том, что казалось им набором пустых и злобных фраз.

Вероятно, Сен-Лу, как и они, вынашивал в уме, как самую значимую часть своего существа, наиболее успешные со стратегической и тактической точки зрения маневры, исследовал их и определял, и как для них, так и для него жизнь тела стала чем-то относительно маловажным, — он легко мог пожертвовать ею ради этой внутренней части, их подлинного жизненного ядра, наряду

с которым личное существование ценилось не более, чем защитный эпидермис. В храбрости Сен-Лу проявились и более личные черты, — там легко можно было распознать его великодушие, благодаря которому в истоках нашей дружбы было столько очарования, и наследственный порок, позднее пробудившийся в нем, который, обусловленный интеллектуальными рамками, за которые Робер не вышел, привел к тому, что он испытывал отвращение ко всякого рода изнеженности и опьянялся любым примером мужества. Размышляя о жизни под открытым небом с сенегальцами, поминутно жертвовавшими собой, он (целомудренно, наверное) находил в ней какое-то головное сладострастие, — туда многое, наверное, вошло от презрения к «музицирующим господинчикам», — и это чувство, в реальности столь далекое от того, чем оно ему представлялось, не особо отличалось от наслаждений, вызываемых кокаином, к которому он пристрастился в Тансонвиле; героизм такого рода (так одно лекарство подмешивают к другому) приносил ему исцеление. В его смелости проглядывала, во-первых, этакая привычная для него двоякая учтивость, силой которой он, с одной стороны, расхваливал других, а сам, с другой, до-

вольствовался надлежащими поступками, особо о том не распространяясь, — в отличие от какого-нибудь Блока, который сам-то не делал ничего, но при встрече с Сен-Лу заявлял: «Естественно, вы драпанете»; во-вторых, он ни во что не ставил то, чем обладал, свое состояние, светское положение и даже свою жизнь, и готов пожертвовать ими. Одним словом, это было подлинное благородство. Но что только не смешалось в этом героизме — туда вошла и новая его наклонность, и не преодоленная им интеллектуальная посредственность. Усвоив привычки г-на де Шарлю, Робер унаследовал также, хотя и в довольно отличной форме, его идеал мужественности.

«Надолго мы теперь?» — спросил я Сен-Лу. — «Нет, я думаю, что война скоро кончится», — ответил он. Но, как всегда, его аргументы носили книжный характер. «Учитывая пророчества Мольтке[45], перечитай, — как будто я уже читал, — приказ от 28-го октября 1913-го года об управлении крупными частями; ты увидишь, что замена мирных резервов не организована, и даже не предусмотрена, — а без этого не обошлось бы при подготовке к долгой войне». Я подумал, что

[45] Примечания: 45

Мольтке (старший) Хельмут Карл (1800-1891), в 1871-1888 начальник германского генштаба.

упомянутый приказ свидетельствует не о краткосрочности войны, но о непредусмотрительности тех, кто его составлял — как относительно самого факта войны, ее прожорливости, ненасытности в самого разного рода материалах, так и относительно взаимосвязи различных театров боевых действий.

В стороне от гомосексуальности, мужчины, по природе отстоящие от нее дальше всего, в глубине души привержены некоему банальному идеалу мужественности, и если гомосексуалист — человек заурядный, этот идеал отразится на его настрое, — впрочем, он его быстро извратит. Этот идеал, проявившийся в некоторых военных и дипломатах, вызывает особенное раздражение. В самом примитивном своем виде это только неотесанность добряка, который, желая скрыть волнение при расставании с другом, — последнего, быть может, скоро убьют, — в душе уже разрыдавшись, хотя никто об этом не догадывается, проявляет его тем, что с виду все больше сердится; правда, в момент разлуки гнев сменяется вспышкой: «Ну, черт подери! идиот, обними же меня, и возьми-ка этот кошелек, он мне мешает, дурацкая твоя порода». Дипломат, офицер, мужчина, полагающий, что ценен только большой

государственный труд, хотя и не чуждающийся любви к «малышу», умирающему в миссии или батальоне от горячки или пули, привержен тем же идеалам мужественности, но служит им под формой более умелой, хитрой, но не менее отвратительной. Он не станет оплакивать «малыша», ему известно, что вскоре он будет печалиться о нем не больше, чем сердобольный хирург, который, конечно, грустит, не особо выказывая горе, если этим вечером умерла хорошенькая стойкая пациентка. Если наш дипломат еще и писатель, то повествуя об этой смерти о своем горе он писать не будет; во-первых, исходя из «мужской скромности», во-вторых, в силу артистической искушенности, чтобы выразить эмоцию, утаивая ее. С каким-то сослуживцем они заботится об умирающем. У них и в мыслях нет говорить о своем несчастье. Они болтают о делах миссии или батальона, и даже более обстоятельно, чем обычно. «Б. сказал мне: „Не забудьте о завтрашней встрече с генералом; постарайтесь, чтобы ваши солдаты были готовы“. Он, всегда такой приветливый, сегодня почему-то говорил сухо, — я заметил, что он старается не смотреть мне в глаза. Сам я тоже нервничал». Читателю становится ясно, что эта сухость в голосе, горе, не выставляемое напоказ

(все это было бы просто смешно, если б не было так безобразно и отвратительно), — это метод страдания у тех людей, которые не принимают его в расчет, для которых жизнь посерьезнее разлуки и т. п.; так что, описывая смерть, они лгут и уничижаются, как торговец глазированными каштанами, который под новый год бубнит всем подряд «с новым счастливым годом», и, пусть и зубоскаля, все-таки «поздравляет». Закончим рассказ об офицере и дипломате, дежурящих у больного: их головы покрыты, потому что они переносят раненого на чистый воздух; тот при смерти, в какой-то момент становится ясно, что все кончено: «Я подумал: нужно вернуться приготовить вещи для дезинфекции, но по неизвестной причине, в тот момент, когда доктор отпустил пульс, Б. и я не сговариваясь, — а солнце было в зените, может быть, нам стало жарко, — стоя над носилками, сняли фуражки». Читатель понимает, что не от палящего солнца, но взволнованные таинством смерти, два стойких мужа, не знающие слов нежности и грусти, обнажили головы.

Гомосексуальный идеал мужественности Сен-Лу, хотя и отличался, был столь же банален и лжив. Оттого, что подобные люди не отдают себе отчета, что в основе этих умствований, которым

они приписывают другое происхождение, лежит физическое желание, они не замечают этой лжи. Г-н де Шарлю ненавидел изнеженность. Сен-Лу восхищался смелостью молодых людей, опьянением кавалерийских атак, нравственным и интеллектуальным благородством чистой дружбы двух мужчин, когда один жертвует своей жизнью другому. Война, из-за которой в столицах не осталось никого, кроме женщин, что могло бы привести гомосексуалистов в отчаяние, является, помимо того, страстным гомосексуальным романом, если у гомосексуалиста хватает ума на измышление химер, но недостаточно для того, чтобы разгадать их происхождение и понять себя. Так что к тому времени, когда юноши из чисто спортивного подражательного духа (так раньше все играли в «чертика») шли на фронт добровольцами, Сен-Лу стал находить в войне много больше идеальных черт, чем в своих конкретных желаниях, несколько отуманенных идеологией; этот идеал подразумевал совместную службу с мужчинами в его вкусе в исключительно мужском рыцарском ордене, вдали от женщин, там, где он мог рисковать жизнью, спасая своего ординарца, и умереть, внушая фанатическую любовь своим солдатам. Равно, что бы в его смелости

ни таилось, тот факт, что он был знатным барином, снова и снова проявлялся в неузнаваемой и идеализированной форме представлений г-на де Шарлю, по мысли которого в их роде не осталось ничего женоподобного. Впрочем, подобно тому, как в философии и искусстве две аналогичные идеи интересуют нас только формой, в которой они развернуты, и могут значительно различаться в зависимости от изложения их, допустим, Ксенофонтом или Платоном, прекрасно понимая, сколь они друг на друга похожи, я бесконечно больше восхищался Сен-Лу, требующим назначения на самые опасные позиции, чем г-ном де Шарлю, презирающим светлые галстуки.

Я рассказал Сен-Лу о своем приятеле, директоре бальбекского Гранд-Отеля[46], согласно утверждениям которого в начале войны французские солдаты часто пускались, по его словам, в «дезертизмы», потому что их подкупил, как он сказал, «прусский милитарист»; в определенный момент он даже уверовал в синхронный десант в Ривбеле немцев, японцев и казаков, что было опасно для

[46] Примечания: 46

Директор бальбекского Гранд-Отеля — персонаж эпопеи, «космополит», «уроженец Монако», употреблявший «выражения неправильные, но казавшиеся ему изысканными», впервые появляется в романе «Под сенью девушек в цвету».

Бальбека, и потому, как он выразился, ему оставалось только «пролинять». Этот германофоб со смехом рассказывал о своем брате: «Он в траншеях, в двадцати пяти метрах от бошей!» — пока о нем не вспомнили, что и сам он бош, и не отправили его в концентрационный лагерь. «Кстати о Бальбеке, ты помнишь лифтера?» — спросил Сен-Лу, прощаясь со мной, словно бы не очень хорошо представляя, о ком речь, и рассчитывая на мою помощь в прояснении вопроса[47]. «Он пошел на фронт добровольцем и попросил у меня похлопотать, чтобы его вернули в авиацию». Вероятно, лифт надоел ему подъемом в ограниченной клети, и высоты лестниц Гранд-Отеля ему уже не хватало. Он собирался «двинуть галуны» не по линии консьержа, ибо наша судьба — это не всегда то, что мы мыслим. «Я обязательно поддержу его просьбу, — сказал мне Сен-Лу. — Я еще сегодня утром говорил Жильберте: никогда у нас не будет достаточно авиации. А так мы всегда заметим, что готовит противник. Авиация лишила бы его самого решительного преимущества при наступлении, преимущества неожиданно-

[47] Примечания: 47
В шестом томе Эме сообщает автору о мимолетном романе Сен-Лу и лифтера. Ниже: «двинуть галуны» — т.е., продвинуться по службе. Консьерж также увешан галунами.

сти: самой лучшей армией будет, наверное, та, у которой лучшие глаза. Кстати, добилась ли бедняжка Франсуаза увольнения племянника?» Но Франсуаза, долгое время пытавшаяся добиться освобождения племянника от призыва, когда ей сказали, что через Германтов можно ходатайствовать к генералу де Сен-Жозефу, с горечью ответила: «Что вы, это ни к чему не приведет, ничего с этим старым добряком не сделать, в том-то и беда, что он — патриотичен…» — и, коль скоро речь зашла о войне, сколько бы та ей боли не причиняла, сочла, что не *должно бросать «бедных русских»*, раз уж мы «осоюзились». Дворецкий был убежден, что война продлится не больше десяти дней и закончится безоговорочной победой Франции, и не осмеливался, чтобы его не опровергли события, — да у него на то и не хватило бы воображения, — предсказывать войну долгую, с неясным исходом. Но из этой безоговорочной и немедленной победы он старался, по крайней мере, извлечь все, что могло принести страдания Франсуазе. «Все эти беды оттого, что много развелось таких, которым не хочется в солдаты, этих шестнадцатилетних нытиков». Когда дворецкий говорил что-нибудь, что могло бы ее неприятно «задеть», он называл это «пульнуть косточку,

поставить закорючку, загнуть словцо». — «Шестнадцатилетних, Матерь Божья! — восклицала Франсуаза и добавляла, несколько недоверчиво: — Говорят ведь однако, что берут только после двадцати, а пока они дети». — «Естественно, у газет приказ такого не писать. Да!.. Из всей этой молодежи, которая пойдет на передовые, немногие вернутся. С одной стороны, хорошее кровопускание пойдет на пользу, это полезно время от времени и очень развивает торговлю. Да, к чертям собачьим, бывают парни слишком нежные, нерешительные, их сразу постреляют, двенадцать пуль под шкуру: бац! С одной стороны, это необходимо. Ну, а офицеры, им-то что, они получат свои песеты, а им того и надо». Франсуаза так бледнела от этих разговоров, что мы боялись, как бы дворецкий не довел ее до инфаркта и она не умерла.

Впрочем, она укоренилась в своих пороках. Однажды ко мне в гости пришла девушка, и едва я вышел зачем-то из комнаты, как эту престарелую служанку, с больными ее ногами, я увидел наверху стремянки, в гардеробе, — она была занята, как сказала, поисками каких-то моих пальто, чтобы посмотреть, не съела ли их моль; на деле она подслушивала. Она по-прежнему расспраши-

вала меня, несмотря на мою критику, прибегая ко всяким околичностям, например, оборотцу «потому что конечно». Не осмеливаясь спросить меня: «Есть ли у этой дамы свой дворец?» — она говорила, робко подняв глаза, словно добрая дворняга: «Потому что конечно мадам проживает в особняках…» — избегая прямого вопроса не столь из учтивости, сколь из желания скрыть свое любопытство. Затем, поскольку любимые слуги, — в особенности, если теперь они практически не оказывают нам услуг и не выказывают почтения, приличного своему сословию, — остаются, увы, слугами, и еще решительнее подчеркивают границы своей касты (которые мы хотели бы стереть) по мере того как склоняются к точке зрения, что перешли в нашу, Франсуаза частенько обращала ко мне («чтобы меня поддеть», — как сказал бы дворецкий) странные речи, которые никто кроме нее не произнес бы: со скрытой, но глубокой радостью, будто то было серьезной болезнью, будто у меня был жар, так что пот (а я этого не заметил) проступал на лице, она говорила: «Ну, вы вспотели!» — словно причиной был странный феномен; она улыбалась с легким презрением, будто речь шла о чем-то неприличном («вы уходите, но вы забыли повязать галстук»), — голосом,

однако, встревоженным, каким и расспрашивают о состоянии здоровья. Можно подумать, что на свете лишь я был в поту. К тому же, она забыла свою прекрасную речь. Преклоняясь перед бесконечно уступавшими ей существами, она переняла их гнусные выражения. Ее дочь, жалуясь на нее, как-то сказала (я не знаю, от кого она этого набралась): «Она всегда чего-нибудь скажет, то мол я плохо дверь закрыла, и те де, и те пе», — Франсуаза сочла, вероятно, что по недостатку образования она одна до сих пор не познакомилась с этим прекрасным словоупотреблением. И из ее уст, в которых некогда цвел чистейший французский, я слышал по многу раз на дню: «и те де, и те пе». Любопытно, впрочем, сколь мало варьируются не то чтобы выражения, но и мысли одного человека. Дворецкий любил возглашать, что у г-на Пуанкаре[48] намерения скверные, — не из-за денег, что вы, но потому что он непременно хочет войны, — и повторял это семь-восемь раз на дню перед все той же привычной и всегда столь же заинтересованной аудиторией. Ни одного слова не было изменено, ни одного жеста или интонации. Хотя эти изложения и длились

[48] Примечания: 48
Президент Франции (1913-1920).

не более двух минут, они были неизменны, как спектакль. Его ошибки во французском языке испортили язык Франсуазы в той же мере, что и ошибки ее дочери. По его версии, некогда г-н де Рамбуто[49] был страшно обижен, услышав, как герцог де Германт назвал общественные писсары «шалашами Рамбуто». Вероятно, в детстве он не расслышал «у», и так с ним это и осталось. Итак, он произносил это слово неправильно, но постоянно. Франсуаза, смущенная поначалу, в конце концов стала отвечать ему тем же, сетуя, что нету примерно такого же рода устройств для женщин. Ее смирение, ее восхищение фигурой дворецкого привели к тому, что она никогда не произносила «писсуары», но, — с легкой уступкой обычаю, — «писсары».

Она теперь не спала, не обедала, и слушала, как читает сводки, в которых она ничего не понимала, дворецкий, понимавший в них не больше, а последний, поскольку патриотическая гордость нередко перевешивала желание помучить Франсуазу, говорил с благодушным смешком, разумея немцев: «Дела теперь, должно быть, горяченькие,

---

[49] Примечания: 49
Общественный деятель, предложивший устроить кабинки.

наш старый Жоффр[50] сейчас им виды сделает...». Франсуаза не то чтоб очень хорошо понимала, о каких видах идет речь, но чувствовала, что эта фраза — выходка любезная и оригинальная, и особа благовоспитанная должна воспринимать ее с улыбкой, — и из вежливости, пожимая весело плечами, словно говоря: «Вечно он так», останавливала слезы улыбкой. По крайней мере, она была счастлива, что ее новый юный мясник, довольно боязливый, несмотря на свою профессию (начинал он, тем не менее, на скотобойне), еще не подпадал под призывной возраст. Наверное, чтобы его освободили от службы, она дошла бы и до военного министра.

У дворецкого и в мыслях не было, что новости отнюдь не хороши, что сообщение: «Мы отбились и нанесли тяжелый урон врагу» не означало, что мы приближаемся к Берлину, и эти битвы он праздновал, как новые победы. Меня, тем не менее, пугала скорость, с которой театр этих побед продвигался к Парижу, и тем сильнее меня удивило, что дворецкий, узнав из сводки, что бой был недалеко от Ланса, не выразил обеспокоенности, прочитав в газете уже на следующий

---

[50] Примечания: 50

Жоффр Жозеф Жак (1852-1931) — маршал, французский главнокомандующий (1914-1916).

день, что в итоге мы, к нашей выгоде, отступили к Жюи-ле-Виконт, в хорошо укрепленный район. Дворецкий хорошо знал, где находится Жюи-ле-Виконт — это было не так уж далеко от Комбре. Но читатели газет, подобно влюбленным, слепы. Обстоятельства их не интересуют. Они тешат свой слух сладкими редакторскими речами, словно словами любовницы. Терпят поражение и рады, потому что побежденными себя не считают, они считают себя победителями.

Впрочем, в Париже я пробыл недолго и довольно скоро вернулся в клинику. Хотя лечение, в принципе, заключалось в изоляции, мне все-таки передали, хотя и с некоторой задержкой, письмо от Жильберты и письмо от Робера. Жильберта писала мне (это было приблизительно в сентябре 1914-го года), что, сколь бы ни хотелось ей остаться в Париже, чтобы быстрее получать письма от Робера, постоянные налеты «таубов"[51] на Париж нагнали на нее такого страху, особенно за маленькую дочку, что на одном из последних поездов она сбежала из Парижа в Комбре, однако и тот не дошел до пункта назначения, и до Тансонвиля, «пережив ужасный день», она

[51] Примечания: 51
Tauben (голуби) — название немецких авиационных частей.

добиралась на какой-то крестьянской бричке. «И вот представьте, что ожидало вашу старую подругу, — писала мне Жильберта. — Я сбежала из Парижа, чтобы укрыться от немецкой авиации, мне казалось, что в Тансонвиле я буду в безопасности. Но не прошло и двух дней, и вдруг — вообразите себе такое: после сражения с нашими войсками около Ла-Фер немцы захватили весь район, к воротам Тансонвиля явился немецкий полк вместе со штабом, я была вынуждена разместить их, и никакой возможности уехать попросту не осталось — никаких поездов, вообще ничего». Действительно ли немецкие штабные отличались благовоспитанностью, или письмо Жильберты отражало заражение духом Германтов, по истокам своим баварцев, приходившихся родней древнейшей немецкой аристократии, но она твердила о прекрасном поведении офицеров и даже солдат, которые лишь попросили у нее «позволения сорвать пару незабудок, растущих у пруда», — это благое воспитание она противопоставляла разнузданности французских дезертиров, которые прошли через ее имение незадолго до прибытия немецких генералов и на своем пути разрушили все. Во всяком случае, если письмо Жильберты в какой-то мере отражало

дух Германтов, — другие его детали говорили о еврейском интернационализме, что, однако, как увидим ниже, было не так, — письмо, полученное мной примерно месяцем позже, от Робера, по духу принадлежало скорее Сен-Лу, нежели Германтам; в нем отразилась, помимо прочего, приобретенная им либеральная культура, и в целом оно было очень близко мне по духу. К несчастью, он ничего не говорил о стратегии, как во времена наших донсьерских бесед, и не сообщал, подтвердила ли война тогдашние его теории, или опровергла. Он только писал, что на протяжении 1914-го года «сменилось множество войн», и уроки каждой из них сказались на ведении последующих. Так, в частности, теория «прорыва» была дополнена положениями, согласно которым перед наступлением надлежит полностью развороти́ть артиллерией занятую противником местность. Но затем пришли к выводу, что напротив, по земле, изрытой снарядами, после такого разрушения невозможно продвигаться ни инфантерии, ни артиллерии. «И война, — писал он мне, — не ушла от законов старика Гегеля. Она пребывает в вечном становлении». Это было не совсем то, что я хотел бы знать. Но еще больше меня сердило, что он не

имел права называть имена генералов. Впрочем, и из скупых газетных сообщений я мог понять, что это войной руководят отнюдь не те генералы, которые вызывали у меня интерес в Донсьере — мне тогда хотелось узнать, кто из них принесет наибольшую пользу в бою. Жеслен де Бургонь, Галифе, Негрие были мертвы. По ушел с военной службы почти в начале войны. О Жоффре, Фоше, Кастельно, Петене[52] мы никогда не говорили. «Дорогой друг, — писал мне Робер, — я согласен, что выражения вроде „они не пройдут“ или „мы их сделаем“ неприятны, и у меня они давно уже навязли в зубах, как и „пуалю“[53] и прочее; вероятно, романа с такими словами не напишешь — они не лучше, чем грамматические ошибки и дурной вкус, здесь есть что-то противоречивое и дурное, и аффектация, и вульгарная претензия; мы вольны презирать их в той же мере что и людей, которые находят более остроумным говорить

---

[52] Примечания: 52

Негрие, Франсуа Оскар де (1839-1913), генерал. По (1848-1932) — генерал. Эта четверка принимала участие в войне 1870. Фош, Фердинанд (1851-1929) — маршал. Кастельно, Эдуард де (1851-1944) — генерал. Петен Анри Филипп (1856-1951) — маршал, главнокомандующий с 1917. Во время Второй Мировой войны возглавил вишистское правительство.

[53] Примечания: 53

Так «на гражданке» называли (букв.: 'косматый' или 'небритый') рядовых французских солдат, участвовавших в войне 1914-18 гг.; «gars qui n'a pas froid aux yeux» (Le Petit Robert).

«коко» вместо «кокаин». Но если бы ты их видел, особенно простолюдинов, рабочих, лавочников, которые даже не подозревают, какие они герои… Они, наверное, так и закончили бы жизнь у себя дома, ни о каком героизме не помышляя, — если бы ты видел, как они бегут под пулями, чтобы спасти товарища, выносят раненного командира, как они, умирая от тяжких ранений, улыбаются перед смертью, узнав от врача, что траншею у немцев отбили. Уверяю тебя, друг мой, здесь созидается замечательный образ французской нации, здесь можно лучше представить далекие исторические эпохи, которые на лекциях казались нам немного необычными. Эта эпопея так прекрасна, что ты, как и я, решил бы, что дело не в словах. Роден и Майоль[54] могли бы создать шедевр из страшной и неузнаваемой материи. Когда я прикоснулся к этому величию, я перестал вкладывать в «пуалю» тот же смысл, что и поначалу, я ничего забавного здесь не вижу, никакой отсылки, — как, например, в слове «шуаны». И мне кажется, что словом «пуалю» уже могут воспользоваться большие поэты, как словами «потоп», «Христос» или «варвары», исполненны-

[54] Примечания: 54
Майоль Аристид (1861-1944) — французский скульптор.

ми величия задолго до того, как их употребили Гюго, Виньи и другие. Я сказал, что здесь лучше всех — люди из народа, рабочие; однако здесь все герои. Бедняга Вогубер-младший, сын посла, получил семь ранений, и только потом погиб; если он возвращался из операции невредимым, то он, казалось, оправдывался, что это не по его вине. Он был прекрасным человеком. Мы с ним крепко сдружились. Несчастным родителям позволили приехать на похороны с тем условием, что они не наденут траура и, из-за бомбежки, ограничат прощание пятью минутами. Мать, — с этой коровой ты, кажется, знаком, — возможно и горевала, но на ней это не сильно отразилось. Но бедный отец был в ужасном горе. Я уже стал совсем бесчувствен, я привык уже видеть, как голову только что со мной беседовавшего товарища внезапно разрезает мина, а иногда и отрывает от туловища, однако я тоже не смог сдержаться, увидев отчаяние бедного Вогубера — он был совсем разбит. Генерал напрасно ему повторял, что его сын погиб смертью героя за Францию, — это только удвоило его рыдания, и он не мог оторваться от тела сына. Потом, — и это к тому, что надо привыкнуть к «не пройдут», — все эти люди, как мой бедный камердинер, как Вогубер,

остановили немцев. Ты, наверное, думаешь, что мы не сильно-то продвигаемся, но не следует спешить с выводами — в душе армия уже чувствует свою победу. Так умирающий чувствует, что все кончено. Теперь мы точно знаем, что победим, и нам это нужно, чтобы продиктовать справедливый мир; я не хочу сказать, что справедливый только для нас — справедливый для французов, справедливый для немцев».

Разумеется, благодаря «нашествию» ум Робера за свои рамки не вышел. Подобно недалеким героям и, на побывке — банальным поэтам, которые, говоря о войне, не дорастают до уровня событий, ничего в них не означивших, и остаются на уровне своей банальной эстетики, правилам которой они следовали и прежде, и твердят, как и десятком лет ранее, об «окровавленной заре», о «полете трепетном победы» и т. п., — так и Сен-Лу, что был и поумней, и артистичней, остался верен себе, и со вкусом описывал пейзажи, увиденные им во время остановки на опушке болотистого леса, словно наблюдал их за охотой на уток. Чтобы я мог лучше представить контраст света и сумрака, в котором «рассвет был исполнен очарования», он припоминал наши любимые картины, не страшась сослаться на страницу Ромена Роллана

и даже Ницше[55] — с вольностью фронтовика, который, в отличие от тех, кто оставался в тылу, был лишен страха перед немецким именем, равно им же присущего кокетства при цитации врага, как, например, проявленного полковником дю Пати де Кламом, когда он выступал свидетелем по делу Золя и мимоходом продекламировал при Пьере Кийаре[56], яром дрейфусарском поэте, которого, впрочем, не то чтоб очень знал, стихи из символистской драмы последнего — Безрукой девушки. Если Сен-Лу писал о какой-нибудь мелодии Шумана, то он упоминал лишь немецкое ее название, и говорил без обиняков, что на заре, когда на этой опушке он услышал птичий щебет, он был опьянен, словно бы пела птица из «возвышенного Siegfried», что он надеется послушать оперу после войны.

Вернувшись второй раз в Париж, я тотчас получил еще одно письмо от Жильберты, — она, вероятно, забыла о первом, или, по крайней мере, о том, что она там писала, ибо ее отъезд из Пари-

---

[55] Примечания: 55

Ромен Роллан попал в нехорошую компанию по причине своего пацифизма.

[56] Примечания: 56

Дю Пати де Клам (1853-1916) одним из первых обвинил Дрейфуса. Пьер Кийар — журналист (1864-1912).

жа задним числом был представлен несколько отличным образом. «Вы, может быть, не знаете, дорогой друг, — писала она мне, — что вот уже скоро два года, как я в Тансонвиле. Я появилась здесь одновременно с немцами; все хотели удержать меня от поездки. Меня, наверное, сочли за дурочку. „Как, — говорили мне, — вы в безопасности в Париже и вы уезжаете в захваченные районы как раз в тот момент, когда все пытаются оттуда сбежать“. Я не отрицаю, что все эти соображения не были лишены оснований. Но что поделаешь, у меня есть только одно достоинство, я не трусиха, или, если хотите, к чему-то я глубоко привязана; и когда я узнала, что мой милый Тансонвиль в опасности, я не захотела, чтобы его в одиночку защищал наш старый управляющий. Я поняла, мое место — там. К тому же, благодаря этому решению я смогла спасти не только замок, тогда как соседние, покинутые обезумевшими владельцами, почти все полностью разрушены, но и драгоценные коллекции, которыми так дорожил мой милый папа». Одним словом, теперь Жильберта была убеждена, что она уехала в Тансонвиль не от немцев в безопасное место, как она писала в 1914-м году, но, напротив, навстречу им, чтобы защитить от них свое имение. Впрочем,

немцы не задерживались в Тансонвиле, но через ее поместье постоянно проходили части куда более многочисленные, чем те, которые Франсуаза когда-то оплакивала на комбрейской дороге, и Жильберта вела, как она писала (на сей раз от чистого сердца) фронтовую жизнь. Газеты отзывались о ее поведении с наивысшими похвалами, стоял вопрос о ее награждении. Конец ее письма был детально точен. «Вы не представляете, что такое эта война, мой милый друг, и какую важность приобретает какая-нибудь дорога, мост, высота. Сколько я думала о вас, о том, как мы с вами гуляли по всем этим ныне опустошенным краям, о том, сколько очарования, благодаря вам, было в этих прогулках; думала во время жестоких боев за тот холм, ту дорогу, которые вы так любили, где мы так часто гуляли вместе! Вероятно, вы, как и я, не подозревали, что темный Руссенвиль и скучный Мезеглиз, откуда нам приносили почту, куда посылали за доктором, когда вы болели, когда-нибудь так прославятся. Так вот, мой дорогой друг, они навсегда обрели славу с тем же правом, что Аустерлиц или Вальми[57]. Битва за Мезеглиз длилась более восьми месяцев, немцы потеря-

[57] Примечания: 57

Вальми — французское селение, возле которого 20.09.1792 французская армия разбила австро-прусскую и роялистскую.

ли там больше шестисот тысяч человек, они разрушили Мезеглиз, но они его не взяли. Ваша любимая дорожка в кустах боярышника, которую мы прозвали «тропкой в горку», на которой, по вашим словам, вы в детстве почувствовали ко мне любовь, когда, поверьте мне, влюблена в вас была и я, — не могу даже сказать вам, какую она приобрела важность. Бескрайнее пшеничное поле, к которому она приводила, и есть та самая знаменитая отметка 307, которую вы, вероятно, часто встречали в сводках. Французы взорвали мостик через Вивону, который, по вашим словам, не пробуждал у вас живых воспоминаний, немцы навели другие, полтора года они удерживали одну часть Комбре, а французы другую…»

На следующий день после получения этого письма, то есть за два дня до прогулки в темноте, шума шагов в тянучке воспоминаний, — приехал с фронта Сен-Лу; он сразу же должен был вернуться и потому забежал ко мне лишь на минуту; его приход меня сильно взбудоражил. Франсуаза хотела было броситься за ним, надеясь, что он поможет освободить от службы робкого мальчика-мясника, который через год подпадал под призыв. Но она сама поняла, сколь это тщетно, ибо давно уже робкий убийца животных сменил

мясную. И то ли наша лавка боялась потерять клиентуру, то ли там были чистосердечны, но Франсуазе ответили, что неизвестно, где этот мальчик теперь служит, — впрочем, хорошим мясником ему никогда не стать. Франсуаза бросилась на поиски. Но Париж велик, мясные лавки бесчисленны, и она напрасно обегала многие из, она так и не нашла робкого и окровавленного юношу.

Он вошел в комнату, я осторожно вышел навстречу с каким-то сверхъестественным ощущением, — это чувство мы испытываем при виде отпускников, если наряду с другими гостями принимаем смертельно больного, который, тем не менее, еще может встать, одеться, выйти на прогулку. Казалось (в особенности поначалу, ибо те, кто, в отличие от меня, жил в Париже, привыкли к этому, а привычка отсекает в том, что мы много раз видели, корень глубокого впечатления и мысли, раскрывающей их истинное значение), есть что-то жестокое в этих солдатских отпусках. Раньше думали, что они не вернутся, что они дезертируют. И правда, они прибывают из мест, реальность которых, заверенная только газетами, представляется нам сомнительной; мы не в силах убедить себя, что кто-то участвует в этих титани-

ческих боях и возвращается с простой контузией плеча; они вот-вот уйдут на побережья смерти, и непредставимо, что они на какое-то время оказались рядом с нами; нас переполняет нежность, ужас и ощущение таинства, словно мы вызвали души умерших; мертвецы явились на мгновение, и мы ни о чем не осмеливаемся спрашивать их; впрочем, самое большее, они нам ответят: «Вы этого представить не сможете». Все это необычно настолько — в отпускниках, вырвавшихся из ада, в живых или мертвых, загипнотизированных или вызванных медиумом, — что единственное следствие соприкосновения с тайной, если это вообще возможно, только оттеняет незначимость слов. Таким был и мой разговор с Робером, к тому же получившим на фронте ранение, более величественное и загадочное для меня, чем отпечаток, оставленный на земле ногой великана. И я ни о чем не осмелился расспрашивать его, а он рассказывал только что-то простое. Этот разговор, к тому же, не сильно отличался от наших довоенных бесед, как будто люди, вопреки ей, остались прежними; не изменился и тон беседы, только тема, вот и все.

Я понял, что в войсках он мало-помалу изыскал возможность забыть, что в отношениях с

ним Морель вел себя так же некрасиво, как в отношениях с его дядей. Однако он по-прежнему испытывал к нему сильное чувство, и ни с того ни с сего вновь захотел с ним встретиться, хотя и постоянно откладывал встречу на потом. Я счел, что по отношению к Жильберте будет тактичнее, если я не скажу Роберу, что достаточно посетить г-жу Вердюрен, чтобы найти Мореля.

Я робко сказал Роберу, что в Париже война практически не чувствуется. Но он ответил, что даже здесь она иногда «просто потрясает». Он упомянул вчерашний налет цеппелинов, и спросил, видел ли я его, — так раньше он расспрашивал меня о каком-нибудь спектакле, представлявшем большой эстетический интерес. Еще на фронте можно понять, что есть своего рода шик во фразах: «Это прелестно, какая роза, какая бледная зелень!» — произнесенных в тот момент, когда может настичь смерть; но в Париже для Сен-Лу это было не очень уместно, по крайней мере, в разговоре о незначительном налете, который, однако, если смотреть на него с нашего балкона, внезапно разразился празднеством в ночной тиши, со взрывами защитных ракет, перекличками горнов, звучавших не только для парада, и т. п. Я говорил ему о том, как красиво ночью взлетают

самолеты. «Наверное, еще красивей те, что заходят на посадку, — ответил он. — Я согласен, это необычайно красиво, когда они взлетают, когда они вот-вот „пойдут созвездием“[58], повинуясь законам столь же точным, как те, по которым движутся звезды, — тебе это кажется всего лишь спектаклем, а на самом деле это сбор эскадрилий, они исполняют приказ и идут на преследование. Но разве не восхитительнее минута, когда они уже полностью слиты со звездами, а некоторые из них выскакивают, ложатся на след противника или возвращаются после сигнала отбоя, когда они заходят в «мертвую петлю», и даже звезды покидают свои места? И эти сирены, не кажется ли тебе, что в них есть что-то вагнерианское, — впрочем, это вполне подходящее приветствие для немцев, будто к их прибытию исполняют национальный гимн, Wacht am Rhein[59], так сказать, а кронпринц и принцессы уже заняли свои места в императорской ложе; и у меня возникает вопрос — это авиаторы, или, быть может,

[58] Примечания: 58
В связке.

[59] Примечания: 59
Die Wacht am Rhein — название патриотического стихотворения Макса Шнекенбургера, написанного в 1840 и положенного на музыку Карлом Вильгельмом в 1854; во время франко-германской войны 1870-71 гг. стала одной из любимейших песен прусской армии.

это взлетающие валькирии?» Ему, казалось, доставило удовольствие уподобление авиаторов валькириям, но тем не менее он объяснял это чисто музыкальными причинами: «Матерь Божья, да ведь эта музыка сирен явно из Полета Валькирий! Надо было дождаться немецких налетов, чтобы послушать Вагнера в Париже». Впрочем, с определенной точки зрения это сравнение было небезосновательно. С нашего балкона город выглядел угрюмым черным бесформенным чудищем, нежданно выползшим из бездны ночи к свету и небесам; авиаторы, один за другим, устремлялись на душераздирающий зов сирен, в то время как медленнее, — и коварней, тревожнее, чувствуя что-то невидимое еще и, может быть, почти достигшее своей цели, — непрестанно суетились прожекторы, нащупывая врага, охватывая его своими лучами, пока направленные ими самолеты не бросались в травлю, чтобы его уничтожить. И, эскадрилья за эскадрильей, авиаторы летели из города, перемещенного в небеса, словно валькирии. Однако клочки земли, на уровне зданий, были освещены, и я сказал Сен-Лу, что, будь он накануне дома, он мог бы, наблюдая небесное светопреставление, увидеть нечто подобное и на земле, как в Погребении

графа Оргаса Эль Греко, где два этих плана параллельны, — внизу персонажи в ночных рубашках разыграли замечательный водевиль, и каждый, по значительности своего имени, заслуживал упоминания в светской хронике какого-нибудь последователя Феррари[60], чьи сообщения так нас с Сен-Лу потешали, что мы в шутку составляли их сами. Так мы забавлялись и в тот день, хоть и по «военному» поводу — по случаю налета цеппелинов, но словно никакой войны и не было:

«Среди присутствующих: очаровательная герцогиня де Германт в ночной рубашке, неподражаемый герцог де Германт в розовой пижаме и купальном халате и т. д., и т. п.»

«Я не сомневаюсь, — сказал он мне, — что во всех больших отелях по коридорам в неглиже носились американские еврейки, прижимая к потрепанным грудям свои жемчужные колье, благодаря которым, по их расчету, они потом сочетаются браком с каким-нибудь разорившимся графом. Наверное, Отель Риц такими вечерами

[60] Примечания: 60

Франсуа Феррари — светский хроникер «Фигаро». Нужно отметить, что и сам Пруст печатал в «Фигаро» светскую хронику.

похож на Дом свободной торговли[61]».

«Ты вспоминаешь о наших донсьерских беседах. Какое это было прекрасное время. Какая пропасть нас от него отделяет. Вернутся ли когда-нибудь эти дни,

Суждено ль им встать из бездн, запретных нам,

Как восходят солнца, скрывшись на ночь в струи,

Ликом освеженным вновь светить морям?[62]

Но вспомним не только теплоту наших бесед, — сказал я ему. — Я пытался проверить их на истинность. Эта война перевернула все, и особенно, как ты уже указывал, само представление о войне; но опровергла ли она то, что ты говорил о наполеоновском, например, типе баталий, который, по твоим словам, будет наблюдаться и в войнах будущего?» — «Ни в коей мере! — ответил он, — наполеоновские сражения постоянно повторяются, и тем более в эту войну, в которой

---

[61] Примечания: 61

В Отеле Риц, помимо прочего, был ресторан, в котором Пруст встречался с друзьями после 1917 г. Дом свободной торговли — водевиль Фейдо, поставленный в 1894.

[62] Примечания: 62

«Балкон» из «Цветов зла» Бодлера. Пер. К. Бальмонта.

Гинденбург[63] — живое воплощение наполеоновского духа. Быстрые перемещения войск, уловки — например, когда он обрушивает удар соединенными силами на одного из своих противников, оставив только незначительное прикрытие перед другим (как Наполеон в 1814-м), либо глубоко продвигает диверсию, вынуждая противника удерживать силы на второстепенном фронте (такова уловка Гинденбурга у Варшавы, которая обманула русских — они перевели туда свои силы целиком и были разбиты на Мазурском Поозерье), его отходные маневры, которые напоминают Аустерлиц, Арколь, Экмюль[64], — все это он унаследовал от Наполеона, и перечислять здесь можно до бесконечности. Я добавлю только, что если ты в мое отсутствие попытаешься истолковывать события этой войны, не слишком полагайся на частную манеру Гинденбурга; в ней ты не найдешь ключа к его действиям, ключа к тому, что он готов сделать. Генерал похож на

---

[63] Примечания: 63

Гинденбург, Пауль фон (1847-1934) — генерал-фельдмаршал (1914), с августа 1916 начальник Генштаба, один из самых удачливых военачальников в истории. Президент Германии с 1925. Несмотря на переизбрание в 1932, фактически передал власть Гитлеру.

[64] Примечания: 64

Арколь — итальянская деревня близ Венеции, где 15-17.11.1796 Наполеон разбил австрийцев. Экмюль — здесь 22.04.1809 Наполеон победил опять-таки австрияков.

писателя, сочиняющего пьесу, книгу, сюжет которой, неожиданным прорывом в одном месте, тупиком в другом, вынуждает его полностью отклонить первоначальный план. Так как диверсия должна проводиться только в таком пункте, который представляет самостоятельное значение, представь, что диверсия удалась вопреки всем ожиданиям, тогда как главная операция захлебнулась, — в этом случае диверсия становится операцией первостепенной важности. Я полагаю, что Гинденбург, как в свое время Наполеон, попытается разделить двух противников — англичан и нас».

Я спросил Сен-Лу[65], подтвердила ли эта война то, что говорилось во времена наших донсьерских бесед о сражениях прошлого. Я напомнил ему разговоры, самим им уже забытые, — например, о том, что в будущем генералы повторят ход развития баталий прошлого. «Военные хитрости, — сказал я ему, — практически невозможны в операциях, подготовленных загодя с применением артиллерии. И то, что ты мне сейчас говорил об авиационной разведке, а этого ты, очевидно, не мог предвидеть, препятствует ис-

[65] Примечания: 65

Эти два абзаца повторяют друг друга; издания исключают из них то один, то другой. Мы следуем за теми, которые сохраняют оба.

пользованию наполеоновской тактики». — «Как ты ошибаешься! — воскликнул он, — эта война, конечно, отличается от других и сама по себе состоит из цепи последовательных войн, каждая из которых в чем-то отлична от предшествующих. Мы усваиваем новый вражеский прием, чтобы себя от него обезопасить, а противник снова берется за новации. Но так же обстоит дело и во всех искусствах, и то, что было создано прекрасным, останется прекрасным навечно, и, как и в любой другой области человеческой деятельности, приемы, проверенные опытом, всегда будут пользоваться успехом. Не далее как вчера была напечатана статья одного из самых толковых военных обозревателей Франции: „Чтобы освободить восточную Пруссию, немцы начали операцию мощной отвлекающей атакой далеко на юге, около Варшавы, пожертвовав десятью тысячами солдат для обмана противника. Когда они в начале 1915-го подготовили наступательную группировку эрцгерцога Евгения, то чтобы не поставить под угрозу Венгрию, они распустили слух, будто эта группировка будет задействована в операции против Сербии. Подобным образом, например в 1800-м, армия, которая должна была выступить против Италии, обычно упоминалась

в качестве резервной и, как говорили, предназначалась не для перехода через Альпы, а для поддержки армий, сражающихся на севере. Уловка Гинденбурга, атаковавшего Варшаву, чтобы замаскировать свое наступление на Мазурском Поозерье, следует наполеоновскому плану 1812-го года“. Как видишь, г-н Биду[66] слово в слово повторяет то, что я говорил раньше. И поскольку война не кончена, эти уловки будут повторяться еще и еще раз, и предугадать действия армий практически невозможно, ибо то, что однажды сработало, оказалось целесообразным и, следовательно, приведет к успеху и в будущем». И действительно, много времени спустя после этого разговора с Сен-Лу, когда внимание союзников было приковано к Петрограду, столице, на которую, как ожидалось, немцы начнут наступление, они собирали мощные силы, чтобы выступить против Италии. Сен-Лу привел мне целый ряд других примеров военных «стилизаций», или, если считать войну не искусством, но наукой, примеров применения постоянных законов. «Не знаю, можно ли назвать военное искусство наукой, здесь крылось бы противоречие, — добавил

[66] Примечания: 66
Анри Биду (1873-1943), журналист.

Сен-Лу. — Но если есть военная наука, то мнения ученых расходятся, они спорят и препираются между собой. Это многообразие — отчасти временное явление. То есть, оно свидетельствует не о заблуждениях, но о развитии истины. Обрати внимание, как во время этой войны менялась точка зрения на возможность прорыва. Поначалу в эту возможность верили, затем пришли к доктрине неуязвимости фронтов, затем к положению, согласно которому прорыв возможен, но опасен, что ни в коем случае нельзя производить передвижения вперед, не уничтожив предварительно цели (какой-то радикальный журналист даже заявлял, что обратное утверждение есть величайшая глупость, какую только можно помыслить), затем напротив, приходят к выводу, что возможно продвижение с весьма слабой артиллерийской подготовкой, а в итоге все сходятся на том, что необходимо пересмотреть доктрину неуязвимости фронтов в войне 1870-го, что для настоящей войны эта концепция ошибочна, следовательно, ее истинность относительна. Ошибочна в этой войне из-за того, что численность войск увеличилось, техника улучшилась, хотя поначалу все это наводило на мысль, что война долго не продлится, затем — что она будет

весьма долгой, и, наконец, снова заставило поверить в возможность решительных побед. Чтобы привести пример, Биду рассказывает о действиях союзников на Сомме, немцев под Парижем. Когда немцы наступали, то говорили так: местности и города не имеют значения, надо сокрушить боевую мощь противника. Затем, в свою очередь, немцы перенимают эту теорию в 1918-м[67], и тогда Биду неожиданно утверждает, будто взятие некоторых жизненно важных пунктов предопределяет победу. Он, впрочем, этим грешит: он указывал, что если Россию запрут у моря, она будет разбита, и что окруженной армии, будто в своего рода тюремном заключении, уготована гибель».

Следует отметить, что если война и не способствовала развитию ума Сен-Лу, то этот ум, пройдя эволюцию, в которой наследственность сыграла не последнюю роль, приобрел лоск, прежде за ним не наблюдавшийся. Как далеко друг от друга были два этих человека: юный блондин, любимец шикарных женщин или только старавшийся этим казаться — и говорун, доктринер, который безостановочно сыпал словами!

[67] Примечания: 67

Отметим, что собеседники встретились в 1916, за несколько дней до смерти Сен-Лу.

В другом поколении, на другом ответвлении рода, подобно актеру, взявшемуся за роль, уже сыгранную Брессаном или Делоне[68], он словно стал наследником — розовым, белокурым и золотистым (тогда как оригинал был двуцветен — угольно черен и ослепительно бел), — г-на де Шарлю. В каких бы он разногласиях с дядей он по вопросу войны ни был (так как он принадлежал к аристократической фракции, ставившей Францию превыше всего, а г-н де Шарлю был, по сути, пораженцем), — тем, кто не видел «творца роли», Сен-Лу демонстрировал процесс вхождения в амплуа резонера. «Кажется, Гинденбург — это открытие», — сказал я ему. «Старое открытие, — метко возразил он, — или будущая революция. Надо бы вместо того, чтоб нянчиться с врагом, не мешать Манжену, разбить Австрию и Германию и европеизировать Турцию, а не черногорить Францию». — «Но нам помогут Соединенные Штаты», — ответил я. — «Пока что я вижу только спектакль разъединенных государств. Почему бы не пойти на *большие уступки Италии перед угрозой дехристианизации Франции*?» — «Если бы твой дядя тебя слышал! — сказал я. — В сущности,

[68] Примечания: 68

Актеры: Брессан (1815-1886), Делоне Луи Арзень (1826-1903) — социетарий Комеди-Франсез.

тебя не сильно огорчили бы оскорбления, сыплющиеся на папу, и то, что он с отчаянием думает о вредных последствиях для трона Франца-Иосифа. Говорят, впрочем, что все это в традициях Талейрана и Венского конгресса». — «Эпоха Венского конгресса истекла, — возразил он мне, — секретной дипломатии пора противопоставить дипломатию конкретную. По существу, дядя мой — закоснелый монархист, он проглотит и карпов, как г-жа де Моле, и скатов, как Артур Мейер, лишь бы только карпы и скаты были по-шамборски. Из ненависти к триколору он готов встать и под тряпку красного колпака, которую он простодушно примет за белый стяг[69]». Разумеется, это было только словесами Сен-Лу, не обладавшего и в помине подчас глубокой оригинальностью своего

[69] Примечания: 69

Манжен Шарль (1866-1925) — генерал. В 1915 году, после оккупации Германией Сербии, англо-французские войска высадились в Салониках, однако никакие конкретные действия за этим не последовали. В 1916 Черногория была оккупирована Австрией. Соединенные Штаты помогли, объявив Германии войну 6 апреля 1917 года. Чтобы вывести Италию из Тройственного союза и вовлечь в войну на стороне союзников, ей были обещаны некоторые территории Австро-Венгрии; Италия 23.01.1915 объявила Австро-Венгрии войну. Венский Конгресс (09.1814-06.1815), конгресс глав и представителей практически всех государств Европы; победителям были присвоены некоторые территории, Франция лишилась приобретений; Талейран Шарль Морис (1754-1838) — выдающийся французский дипломат, возглавлял Временное правительство после отречения Наполеона, на Венском конгрессе представлял Францию в качестве министра Людовика XVIII. Папа (Бенедикт XV) был сторонником центральных империй (чему

способствовал австрийский католицизм). Мейер, Артур (1846-1924) — журналист, издатель. Согласно поговорке, можно «молчать, как карп», он же недотепа, глотать же «карпов» и «скатов» значит проглатывать пилюлю; бывает и говядина по-шамборски, пишет Дюма. Де Шарлю, верный памяти графа де Шамбор (1820-1883), последнего представителя старшей ветви Бурбонов, поддерживал отношения с графиней де Моле, и Артуром Мейером, в монархической ипостаси последнего. Из ненависти к триколору, то есть ненависти к республиканской Франции, он готов был примкнуть к тряпке «Красного колпака», последнее — название революционной и антимилитаристской газеты (фригийский колпак носили революционеры 1789 года). Газету обвиняли в измене. Под белым стягом (флаг Бурбонов) де Шарлю, сожалея о вреде трону Франца-Иосифа, шествовал бы в качестве монархиста.

дяди. И Сен-Лу по характеру столь же был очарователен и любезен, сколь барон — подозрителен и ревнив. Робер так и остался обворожительным и розовым, осененный шапкой золотистых волос, каким он был еще в Бальбеке. Дядя уступал ему только в приверженности духу Сен-Жерменского предместья, след которого отпечатлевался даже на тех, кто, согласно собственным представлениям, уже совершенно от этого влияния освободились, способствовал уважению к ним со стороны творческих людей неблагородного происхождения (чье подлинное цветение наблюдалось только рядом с дворянской средой, хотя они и платили за это столь несправедливыми революциями) и переполнял их дураковатым самодовольством. По этому смешению смирения и гордости, приобретенных причуд ума и врожденной властности, г-н де Шарлю и Сен-Лу разными дорогами, обладая противоположными взглядами, с промежутком в одно поколение стали умами, зажигавшимися всякой новой идеей, и говорунами, которых не остановит никакая помеха. Так что несколько заурядный человек мог бы счесть их, сообразно своей предрасположенности, и ослепительными, и занудными.

Я бродил по городу, вспоминая встречу с Сен-Лу,

и едва не вышел к мосту Инвалидов. Фонарей, из-за гота[70], было немного, но зажгли их рановато, потому что время, как батареи, которые перестают топить тогда-то, «перевели» раньше срока, когда еще довольно быстро темнело, и «перевели» уже на все теплое время года, — в озаренном ночными огнями городском небе, не знакомом с летними распорядками и не соблаговолившим уведомиться, что теперь в половину девятого уже девять тридцать, в его светлой голубизне, еще догорал день. Над теми городскими районами, где возвышаются башни Трокадеро, небеса представлялись огромным светло-бирюзовым морем, и после отлива выступала линия темных скал, или, наверное, обыкновенные рыбачьи сети тянущихся друг за другом легких облаков. Морем, бирюзовым в эти минуты, уносящим за собой людей, и не подозревающих о том, увлеченных необъятным вращением земли, втянутых в свои безумные революции и бесполезные войны, как та, что затопила Францию кровью в эти дни. Впрочем, когда всматриваешься в ленивые небеса, — слишком прекрасные, не соизволившие изменить расписание, голубоватыми тонами

---

[70] Примечания: 70

Гота — самолеты типа «Gotha», использовавшиеся немцами.

вяло продлившие поверх освещенного города долгий день, — подступает головокружение, и перед нами уже не необъятное море, но восходящая последовательность голубых ледников. И башни Трокадеро, в мнимой близости ступеням бирюзы, стоят в отдалении, подобно двум башенкам какого-нибудь швейцарского городка, что виднеются издали на фоне горных отрогов. Я повернул обратно, но когда я прошел мост Инвалидов, город погрузился в ночь, и на улицах стало темно; натыкаясь то здесь, то там на мусорные баки, сбившись с пути, машинально следуя лабиринту черных улиц, я вышел на бульвары. Город напоминал мне Восток; это ощущение, стоило вспомнить о Париже эпохи Директории, сменилось мыслями о Париже 1815-го. Как в 1815-м, по городу вышагивали разрозненные колонны в униформах союзников; среди них африканцы в красных шароварах, индусы в белых тюрбанах, — и их было достаточно, чтобы вместо Парижа, где я гулял, я ощутил себя в каком-то воображаемом восточном городе, одновременно точном в деталях, если учитывать костюмы и цвет лиц, и химерическом по своей обстановке, — так из

города, в котором жил, Карпаччо[71] создавал то Иерусалим, то Константинополь, соединив в нем загадочную и пеструю толпу, разношерстную, как эта толпа в Париже. Тут я увидел, что позади двух зуавов, — казалось, не обращавших на него и малейшего внимания, — плетется крупный, грузный человек в мягком фетре и длинном плаще; я бы затруднился сказать, какому имени это лиловое лицо может соответствовать, — имя какого художника или актера, равно славного бессчетными содомитскими похождениями, мне следует ему приписать. Во всяком случае, тот факт, что с этим человеком я не знаком, сомнения у меня не вызывал; меня немало удивило, что когда наши взгляды встретились, он смущенно, но решительно остановился и направился ко мне, — как будто этим показывая, что скрывать ему нечего и вы вовсе не застали его врасплох за тайным занятием. Секунду я колебался, кто бы это мог быть: это был г-н де Шарлю. Можно сказать, что эволюция его болезни (или — революция его порока) дошла до такой стадии, на которой изначально слабый личностный характер, древние его качества, уже полностью перекрывались

---

[71] Примечания: 71
Витторе Карпаччо (ок. 1455-ок. 1526) — венецианский художник.

шествовавшими наперекор болезненными или порочными склонностями, доставшимися ему по наследству. По мере сил, г-н де Шарлю отдалялся от себя прежнего, вернее, его закрывала тень человека, которым он становился, у которого было много общего не только с бароном, но и с целым рядом других гомосексуалистов, и за одного из них я его и принял в первую минуту, когда он плелся по бульвару за этими зуавами, ибо из всех личных черт г-на де Шарлю, высокоумного вельможи и творческой личности, у него осталось только общее для них всех выражение, и оно (по крайней мере, пока не приложишь усилий и не вглядишься) заглушало собой все.

Так по дороге к г-же Вердюрен я встретил г-на де Шарлю. Разумеется, теперь у нее барона, как раньше, я не застал бы, их ссора только усугубилась, и г-жа Вердюрен пользовалась даже нынешними событиями, чтобы его дискредитировать. Она давно уже говорила, что он — человек банальный и конченый, что от всех его так называемых дерзостей старьем несет, как от пошлейших пижонов, а теперь, поругивая «все его изыски», она оформила это осуждение одним словом: он, мол, «довоенный». По мнению кланчика, война отодвинула его в мертвое про-

шлое. Впрочем, все это говорилось в расчете на политический бомонд, как всегда плохо осведомленный, и г-жа Вердюрен твердила, что де Шарлю такая же «липа» в плане светского положения, насколько он «левый» по части какого бы то ни было интеллекта. «Он ни с кем не видится, никто его не принимает», — говорила она г-же Бонтан, которую убедить было легко. Впрочем, в действительности почти так оно и было. Положение г-на де Шарлю пошатнулось. Свет его интересовал все меньше и меньше, капризничая, он порвал с цветом общества, и, памятуя о своей социальной значимости, гнушался разве что не всеми, жил в полном одиночестве, которое, хотя и не было обусловлено бойкотом аристократии, как в случае покойной г-жи де Вильпаризи, в глазах публики по двум причинам выглядело еще более постыдным. Дурная репутация г-на де Шарлю, о которой теперь знал каждый, наводила неосведомленную публику на мысль, что с ним никто не встречается как раз поэтому, тогда как общение он пресек по собственному почину. Так что последствия его желчного нрава выглядели прямым результатом презрения со стороны людей, которые от этого нрава страдали. Помимо того, у г-жи де Вильпаризи была сильная опора:

семья. Г-н де Шарлю множил с семьей раздоры. Впрочем, родственники казались ему (особенно родственники из старого Предместья, Курвуазье) людьми, не представляющими интереса. Он и не подозревал (хотя барон, в отличие от Курвуазье, серьезно изучал искусство), что в самом бароне какого-нибудь Бергота, к примеру, больше всего интересовало именно родство его со старым Предместьем, способность барона описывать квазипровинциальную жизнь его кузин на улице Де Ла Шез вместо Пале-Бурбон и улицы Гарансьер.

Затем, заняв позицию не столь отвлеченную, сколь практическую, г-жа Вердюрен выразила сомнение в том, что де Шарлю — француз. «Какая точно у него национальность, не австриец ли он?» — спросила она простодушно. «Ни в коей мере», — ответила графиня Моле, которая первым делом повиновалась скорее здравому рассудку, чем злопамятству. «Ну, нет же, он пруссак, — возразила Патронесса. — Говорю же вам, я прекрасно помню, он много раз повторял нам: он наследственный член Палаты дворян Пруссии и Durchlancht». — «Однако королева Неаполитанская мне говорила…» — «Как, вы знаетесь с этой омерзительной шпионкой? — воскликнула г-жа Вердюрен, у которой все еще на памяти было,

по-видимому, пренебрежение, выказанное ей однажды свергнутой монархиней. — Мне это известно абсолютно точно, она только этим и живет. Если бы наше правительство было по-энергичней, всех бы их давно интернировали. Туда им и дорога! Во всяком случае, я советовала бы вам разорвать отношения с этой веселой публикой, потому что, как мне стало известно, министр внутренних дел положил уже на них глаз, и вы сами можете оказаться под подозрением. Ничто не лишит меня уверенности, что целых два года де Шарлю шпионил в моем доме». Вспомнив, вероятно, что в интересе германского правительства к обстоятельным отчетам о внутреннем устройстве кланчика можно усомниться, г-жа Вердюрен кротко и прозорливо, зная, что ценность сказанного ею только возрастет, если она не повысит голоса, продолжила: «Скажу вам, что с первого же дня я говорила мужу: „Что-то мне не нравится, как этот господин ко мне прокрался. Чем-то это подозрительно“. У нас был замок в глубине залива, на возвышенном месте. Он наверняка был завербован немцами, чтобы подготовить там базу для их субмарин. Тогда меня это удивляло, а теперь мне все ясно. Например, поначалу он никак не соглашался ехать на одном

поезде с другими моими верными. Я из излишней вежливости предложила ему комнату в замке. И нет же, он предпочел остановиться в Донсьере, где стояли войска. От всего этого за версту тащит шпионажем!»

С первым обвинением, выдвинутым против барона де Шарлю, что он старомоден, светское общество, признав правоту г-жи Вердюрен, согласилось легко. И в этом светская публика проявила неблагодарность, потому что г-н де Шарлю в какой-то мере стал ее поэтом, умело заполняя отведенное свету пространство поэзией, историей, красотой, живописностью, комическим и фривольной элегантностью. Но поскольку свет до этой поэзии не дорос, в своей жизни он ее не усматривал и предпочитал изыскивать ее в чем-нибудь ином, — они намного больше, чем г-на де Шарлю, ценили людей бесконечно ему уступавших, которые презирали, по собственным уверениям, свет и вместо того исповедывали социологические теории и политическую экономию. Шарлю самозабвенно пересказывал чьи-то характерные «словца», описывал подчеркнуто элегантные туалеты герцогини де Монморанси и называл ее бесподобной женщиной, — в результате светские дамы сочли его законченным

дураком, потому что, по их мнению, герцогиня де Монморанси — туповата и скучна, а платья созданы для того, чтобы их носить, а не для того, чтобы их обсуждать; дамы были на порядок умней и бегали то в Сорбонну, то в Палату послушать Дешанеля[72]. Одним словом, светская публика разуверилась в г-не де Шарлю, но не оттого, что его раскусили, — напротив, просто они не смогли оценить незаурядность его интеллекта. Говорили, что он «довоенный», что он отжил свое, ибо оценить человека по достоинству неспособны прежде всего те, кто судит по указке моды; они не исчерпали, даже не прикоснулись к сокровищнице лучших людей эпохи, и теперь следовало осудить их огульно, ибо таков этикет нового поколения, — впрочем, когда-нибудь наступит и их черед, и они будут понятны не более.

Что касается второго обвинения, в германизме, то светская публика, склонная к золотой середине, его отклонила, но в лице Мореля оно нашло жестокого и неустанного пропагандиста. Дело в том, что не только в газетах, но и в свете Морель удержал за собой положение, которое г-н де Шарлю, в том и другом случае, с таким

[72] Примечания: 72

Поль Дешанель (1856-1922) — президент Республики с февраля по сентябрь 1920.

трудом для него обеспечил и которого, немногим позже, не смог лишить, — и преследовал барона ненавистью тем более преступной, что, каковы бы ни были его отношения с ним, Морель узнал глубокую доброту барона, а о ней догадывались очень немногие. В отношениях со скрипачом г-н де Шарлю проявил столько великодушия, столько чуткости, и так ревностно исполнял свои обещания, что когда Чарли с ним расстался, барон вспоминался ему не человеком порочным (самое большее, он считал порок де Шарлю болезнью), но личностью с необыкновенно возвышенными представлениями, незаурядной чувствительностью, своего рода святом. Он и сам не отрицал этого, и уже после ссоры с бароном искренне говорил родным: «Ему вы можете доверить сына, он окажет только благотворное влияние». Так что, стараясь своими статьями причинить ему боль, он глумился не столько над пороком, сколько над добродетелью барона.

К очернению г-на де Шарлю он приступил незадолго до войны, в статейках, что называется, для посвященных. Одну, озаглавленную Злоключение старухи, или Преклонные лета баронессы, г-жа Вердюрен приобрела в количестве пятидесяти экземпляров и раздаривала знакомым, а

г-н Вердюрен, возглашавший, что и Вольтер не писал лучше, зачитывал вслух. Во время войны тон изменился. Разоблачались не только пороки барона, но и его так называемое германское происхождение: «Фрау Бош», «Фрау фон Бош» стали привычными прозвищами г-на де Шарлю. Отрывки поэтического характера напоминали название бетховенского танца: Аллеманда[73]. Затем две новеллы — Дядя из Америки и тетя из Франкфурта и Парень сзади, — читанные в корректуре кланчиком, вызвали радость самого Бришо, восклицавшего : «Лишь бы только нас не вымарала великая и могучая дама Анастасия[74]!»

Сами по себе статьи были несколько умней своих развеселых названий. Стиль их восходил к Берготу, но, быть может, только я об этом догадывался, и вот почему. Сочинения Бергота не оказали на Мореля никакого влияния. Оплодотворение было совершено настоль необычным и изысканным способом, что только по этой

[73] Примечания: 73

Аллеманда — танец, популярный при французском дворе с 16 века; во Франции считалось, что этот танец немецкого происхождения, о чем и свидетельствует название.

[74] Примечания: 74

В 1914-1918 годах обозначение цензуры. Чем это называние объяснялось, неизвестно.

причине я о нем расскажу. Я уже говорил об особой манере речи, присущей Берготу, о том, как он подбирал слова и произносил их. Морель, давным-давно встречавшийся с ним у супругов Сен-Лу, тогда же увлекся «подражаниями», и, совершенно изменив голос, употреблял те же, уловленные им слова. Теперь Морель имитировал речи Бергота на письме, не подвергая их той же транспозиции, которая была бы проделана в работах самого Бергота. Так как с Берготом мало кто общался, этот тон, отличный от стиля, никто не узнавал. Устное оплодотворение — явление столь редкое, что мне захотелось его здесь описать. Впрочем, родятся от этого лишь бесплодные цветы.

Морель служил при бюро прессы, но решил, — французская кровь кипела в его жилах, как комбрейский виноградный сок, — что числиться при бюро, да еще и во время войны — дело несколько несерьезное, и в результате выразил желание отправиться на фронт добровольцем, хотя г-жа Вердюрен приложила все усилия, чтобы убедить его остаться в Париже. Разумеется, тот факт, что г-н де Камбремер в его-то лета числится при штабе, вызывал у нее возмущение; она могла спросить о любом человеке, не посещающем ее

приемы: «Как же это ему удалось уклониться-то?» — и если ей отвечали, что он с первого дня увиливает на передовой, г-жа Вердюрен, либо не испытывая колебаний перед беззастенчивой ложью, либо от привычки к самообману, возражала: «Ну что вы, он так и сидит в Париже, гуляет разве иногда с министром, но это не так опасно, — это я вам говорю, я-то уж знаю, мне о нем рассказывал кое-кто, а он его самолично видел»; для верных, впрочем, все было иначе, уезжать им не дозволялось, так как г-жа Вердюрен причисляла войну к разряду «скучных», которые только и ждут, чтоб верные дали деру. Она старалась удержать их, и это доставляло ей двойное удовольствие — она встречалась с ними за ужином и, когда они еще не пришли или ушли уже, поносила их бездеятельность. Но еще надо было, чтобы верный пошел на это уклонение, и ее приводила в отчаяние выказанная Морелем строптивость: «Ваше поле боя — в вашем бюро, и этот участок фронта ответственнее, чем передовая. Надо стоять на своем посту и оставаться на месте. Люди делятся на солдат и дезертиров. Но ведь вы — солдат, и это известно всем. Не волнуйтесь, никто вас не упрекнет». В нескольких отличных обстоятельствах, когда мужчины

встречались еще не так редко и она принимала у себя не только женщин, если у кого умирала мать, она без застенчивости убеждала его, что он может посещать ее приемы, как и раньше. «Горе живет в душе. Если вы пойдете на бал (она балов не давала), то я первая буду вас отговаривать, но здесь, на моих средочках или в бенуаре, никто не удивится. Все ведь знают, как сильно вы горюете». Теперь мужчины встречались реже, трауры шли сплошной чередой, и в свет уже не выходили по другой причине — достаточно было и войны. Г-жа Вердюрен цеплялась за оставшихся. Она убеждала их, что они принесут больше пользы Франции, оставаясь в Париже, — так когда-то она им говорила, что покойный был бы очень рад, если бы узнал об их увеселениях. Все-таки мужчин у нее было маловато, может быть, она иногда жалела, что рассорилась с г-ном де Шарлю, что этот разрыв бесповоротен.

Но, хотя они и не встречались больше, г-жа Вердюрен по-прежнему устраивала приемы, а г-н де Шарлю потакал своим порокам — словно ничего не изменилось — с некоторыми, правда, небольшими отклонениями: например, Котар у г-жи Вердюрен, как персонаж из Острова Мечты, сидел в униформе полковника, довольно схо-

жей с формой гаитянского адмирала, а большая голубая лента на ее сукне напоминала ленточку Детей Марии[75]; г-н де Шарлю в городе, из которого мужчины зрелые, предмет его былых предпочтений, уже исчезли, вел себя как некоторые французы, которые на родине питали склонность к женщинам, но потом переселились в колонии: поначалу из необходимости, а затем войдя во вкус, он приобрел привычку к юным мальчикам.

К тому же, первая из этих отличительных особенностей довольно быстро изгладилась, ибо вскоре Котар умер «лицом к врагу»[76], как сообщили газеты, — он, впрочем, не уезжал из Парижа, а просто немного переусердствовал для своих лет; вскоре за ним последовал и г-н Вердюрен, смерть которого огорчила, по мнению многих, только Эльстира. Насколько это возможно, я изучил его работу с абсолютной точки зрения. Но он старел, и суеверно приписывал творчество той среде, которая поставляла ему натуру, а после, преобразованная алхимией впе-

---

[75] Примечания: 75

Остров Мечты — спектакль в Опера Комик. Дети Марии — католический приют для девочек.

[76] Примечания: 76

В пятом томе Пруст уже похоронил Котара.

чатлений в произведение искусства, вела к нему публику и поклонников. Он все больше склонялся к материалистической точке зрения, находя значимую часть красоты в самих вещах, — так он поначалу обожал в г-же Эльстир несколько грубоватый тип, и преследовал, пестовал его в своих полотнах и гобеленах. Со смертью г-на Вердюрена, казалось ему, исчез один из последних следов обреченной социальной прослойки, столь же быстро отцветающей, как и ее часть, мода, — но именно эти слои общества поддерживали искусство и заверяли его подлинность; то же отчаяние испытал бы художник Галантных Празднеств после Революции, погубившей «изящества» XVIII-го века, так огорчило бы Ренуара исчезновение Монмантра и Мулен де ла Галетт[77]; но сильнее всего его печалила потеря, с г-ном Вердюреном, глаз и мозга, которые обладали точнейшим *видением его живописи*, — в какой-то мере, в любящей памяти этих глаз его живопись и хранилась. Конечно, появились новые люди, и они тоже любили живопись, но это уже было другое искусство: они не получили, как Сван и Вердюрен, у Уистлера — уроков вкуса,

[77] Примечания: 77

Мулен де ла Галетт — открытое кафе на Монмантре, одна из самых известных картин Ренуара — «Бал в Мулен де ла Галетт» (1876).

у Моне — уроков истины, а только это давало право справедливо судить об Эльстире. Так что со смертью г-на Вердюрена он отчетливее почувствовал свое одиночество, хотя и рассорился с ним очень давно; Эльстир понимал, что с этой смертью, смертью частицы сущего, ускользнула и частица красоты его творений, частица мысли об этой красоте.

Что касается изменений, коснувшихся радостей г-на де Шарлю, то эти отклонения были спорадичны. Поддерживая бесчисленные связи с «фронтами», он не испытывал недостатка в достаточно зрелых отпускниках.

Узнай я во времена, когда я еще верил тому, что мне говорят, о провозглашении мирных намерений со стороны Германии, Болгарии, а затем и Греции, и я испытал бы сильное искушение им поверить. Но жизнь с Альбертиной и Франсуазой научила меня разгадывать скрытые мысли и замыслы, и теперь я не позволил бы ни одному, хотя и правдивому на первый взгляд слову Вильгельма II, Фердинанда Болгарского и Константина Греческого обмануть мой инстинкт, разгадывавший их козни[78]. Конечно,

---

[78] Примечания: 78

Фердинанд I Кобургский (1861-1948) — царь Болгарии (1908-1918).

мои ссоры с Франсуазой и Альбертиной были только частными раздорами, они касались жизни маленькой духовной клетки, человека. Но подобно телам животных и людей, соединениям клеток, каждое из которых по сравнению с одной клеткой велико, как Монблан, существуют и громадные скопления организованных индивидов, именуемые нациями; их жизнь только повторяет в увеличении жизнь составляющих, и тот, кто не сможет понять мистерии, реакций, законов элементов, произнесет лишь пустые слова, когда будет говорить о борьбе наций. Но поднаторев в психологии индивидов, мы увидим в соединенных и противостоящих друг другу колоссальных массах людей более мощную красоту, чем красота борьбы, рождающаяся в столкновении двух характеров; мы увидим их в таком масштабе, в котором большие человеческие тела выглядят инфузориями, коих, чтобы заполнить кубический миллиметр, понадобится более десятка тысяч. И вот уже несколько лет, как между огромной фигурой Франции, заполненной по всей площади миллионами крошечных многоугольников самых разнообразных форм, и фигурой Германии, заполненной еще *большим числом многоугольников*, разгорелась ссора. С

этой точки зрения тело Германии и тело Франции, тела союзников и врагов в какой-то мере вели себя как индивиды. И удары друг по другу наносились по правилам того бокса, о котором рассказывал мне Сен-Лу; и оттого, что (даже если рассматривать их в качестве индивидов) они были составными гигантами, ссора приобретала необъятные и сказочные размеры, она была подобна восстанию океанических волн, силящихся разбить вековые границы прибрежных скал, она походила на гигантские ледники, медленными и разрушительными колебаниями разбивающие вокруг себя горные отроги. Но вопреки тому, жизнь большинства лиц, описанных в нашем повествовании, не претерпела значительных изменений, особенно жизнь г-на де Шарлю и Вердюренов, словно поблизости не было немцев, ибо постоянная угроза, в этот момент нависшая надо всеми, оставляет нас в абсолютном безразличии перед лицом опасности, если мы ее себе не представляем. Люди по-прежнему предавались своим удовольствиям, даже не помышляя, что если этиолирующее и умеряющее воздействие внезапно прекратится, то деление инфузорий достигнет необыкновенных величин, то есть за несколько дней произведет скачок в множество миллио-

нов лье и превратит кубический миллиметр в массу, в миллион раз превосходящую солнце, одновременно уничтожив кислород и вещества, необходимые для жизни, и больше не будет ни человечества, ни животных, ни земли, — либо, не помышляя, что непоправимая и более чем вероятная катастрофа в эфире может быть вызвана неистовой и непрерывной активностью, скрытой от нас кажимой незыблемостью солнца, как и раньше обделывали свои делишки, не помышляя о двух мирах, один из которых слишком мал, а второй слишком велик, чтобы можно было заметить космические предзнаменования, нависшие из-за них над нами. Так Вердюрены по-прежнему давали ужины (вскоре одна г-жа Вердюрен, ибо г-н Вердюрен умер некоторое время спустя), а г-н де Шарлю предавался своим удовольствиям, и думать не думая, что немцы — остановленные кровавым, постоянно обновляющимся барьером — находились в часе автомобильной езды от Парижа. Впрочем, у Вердюренов об этом речь заходила, ибо у них был политический салон, где каждый вечер обсуждалось положение не только армий, но и флотов. Они и правда рассуждали о гекатомбах умерщвленных полков, утонувших пассажирах; но в результате какого-то обратного

вычисления, умножающего то, что затрагивает наше благополучие, и сокращающего то, что его не касается, смерть неведомых миллионов почти не огорчает нас, и едва ли дуновение ветерка способно расстроить нас сильнее. В это время г-жа Вердюрен никак не могла избавиться от мигрени, с которой раньше справлялась, поглощая рогалик и запивая его кофе с молоком[79], но в конце концов она выбила из Котара соответствующий рецепт и смогла заказывать булочку в уже упомянутом нами ресторане. Добиться такого от общественных властей было почти так же сложно, как звания генерала. Она приняла свой первый рогалик тем самым утром, когда газеты сообщили о гибели «Лузитании». Все еще куная его в кофе, и щелкая по газете, чтобы та держалась широко раскрытой и ей не пришлось оторвать вторую руку от тюрьки, она промолвила: «Какой ужас! Жутчайшие трагедии меркнут рядом с этим кошмаром!». Но смерть всех этих утопших, должно быть, уменьшилась в ее глазах до одной миллиардной, ибо пока она набитым ртом издавала свои безутешные восклицания, на

[79] Примечания: 79

Рогалик в военное время был недоступен даже всесильным и могущественным Вердюренам. Ниже: …сообщили о гибели «Лузитании» — завтрак г-жи Вердюрен состоялся 10 мая 1915 года.

ее лице, благодаря вкусному рогалику, наверное, столь действенному при мигренях, застыло сладостное удовлетворение.

В жизни г-на де Шарлю изменилось не многое, однако по целому ряду причин — в худшую сторону; у него не только отсутствовало страстное желание дождаться французской победы, он хотел, хотя и не признаваясь в том, если и не триумфа Германии, то, по меньшей мере, чтобы она не была разбита, а об этом мечтали все. Объяснялось это тем, что в ссорах совокупностей индивидов, именуемых нациями, эти сообщества в какой-то мере ведут себя как отдельные люди. Логика их поступков скрыта в глубинах души и постоянно переплавляется страстью, как логика людей, столкнувшихся лицом к лицу в любовной или домашней ссоре, в ссоре сына с отцом, кухарки с хозяином, жены с мужем. Виновный между тем уверен в своей правоте — как это было в случае Германии, — и тот, кто прав, выдвигает иногда, защищая правое дело, аргументы, которые кажутся ему неопровержимыми только потому, что они отвечают его страсти. В этих ссорах индивидов убежденность в полной правоте не важна ни одному из противников, вернее всего быть именно этой стороной, и сторонний наблюдатель

никогда не поддержит ее с той же верой. Однако применительно к нациям, индивид, если он действительно — часть нации, это только клетка индивида-нации. Пропаганда — бессмысленное понятие. Объяви французам, что завтра Франция будет разбита, и ни одного из них не охватит то же отчаяние, как при известии, что сейчас его убьет «берта»[80]. Подлинную пропаганду мы осуществляем сами, с помощью надежды, и это — форма инстинкта самосохранения нации, если речь идет о ее частичке. Чтобы слепо поддерживать несправедливое дело индивида-Германии, или — чтобы не терять веры в правоту индивида-Франции, немцам вовсе не обязательно было лишаться рассудка, а французам — рассудком обладать: достаточно было стать патриотом. Г-н де Шарлю обладал редкими духовными качествами — состраданием, великодушием, способностью к чувству, самопожертвованию, но в порядке компенсации, по разнообразным причинам, среди которых и мать, герцогиня Баварская, могла сыграть не последнюю роль — патриотизма у него не было. Он был плоть от плоти Франции и

[80] Примечания: 80

Берта Крупп была дочерью Круппа, славного немецкого фабриканта; одно из его дальнобойных детищ было названо «grosse bertha». С марта 1918 немцы обстреливали Париж.

плоть от плоти Германии. Если бы и я не был подвержен патриотизму, не входил бы, как клетка, в тело-Францию, быть может, я судил бы об этой ссоре несколько иначе. В детстве, когда я исправно верил тому, что мне говорили, я бы, конечно, услышав о чистосердечных заявлениях германского правительства, не подверг их сомнению; но по прошествии многих лет я узнал, что наши мысли не всегда согласуются со словами; и я не только как-то из лестничного окна открыл для себя такого де Шарлю, которого я не знал[81], но еще на примере Франсуазы, а затем и, увы, Альбертины, я наблюдал, как складываются суждения и намерения, прямо обратные словам, и, тот же самый сторонний наблюдатель, я не позволил бы ни одному, на первый взгляд — правдивому заявлению императора Германии или короля Болгарии обмануть мой инстинкт, мгновенно разгадывавший, как и в случае Альбертины, их тайные козни. Но в конечном счете, сейчас я могу только предполагать, каким бы я был, не являйся я актером, не будь я частью актера-Франции, ибо в ссорах с Альбертиной мой грустный взгляд и опущенные плечи были задействованы в игре,

[81] Примечания: 81
На страницах четвертого тома.

я был страстно заинтересован в своей партии, и я не мог достичь отстраненности. Отстраненность г-на де Шарлю была абсолютной. Итак, поскольку он был только зрителем, все наверное склоняло его к германофильству, раз уж, не будучи французом на деле, он жил во Франции. Он был достаточно тонок, дураки во всех странах преобладают; сложно поверить, что, живи он в Германии, немецкие дураки, отстаивая с глупостью и страстью несправедливое дело, его не взбесили бы; но поскольку он жил во Франции, дураки французские, с глупостью и страстью отстаивающие дело справедливое, выводили его из себя. Логика страсти, будь она даже на службе самого правого дела, никогда не убедит того, кто этой страстью не охвачен. Г-н де Шарлю остроумно опрокидывал любое ложное умозаключение патриотов. А удовлетворение, с которым слабоумный отстаивает свою правоту и надежду на успех, может вывести из себя кого угодно. Г-на де Шарлю бесил торжествующий оптимизм людей, не знавших, как он, Германии, ее мощи, людей, которые раз в месяц предсказывали безоговорочную победу в следующем и в конце года были не меньше уверены в новых пророчествах, словно они не проявили уже столько раз это ложное, но

уже забытое ими легковерие, и твердили, если им об этом напоминали, что «это не одно и то же». Однако де Шарлю, обладавший многими познаниями, к сожалению, не был сведущ в Искусстве «не одного и того же», противопоставленного хулителями Мане тем, кто говорил им: «То же самое говорили о Делакруа».

К тому же, г-н де Шарлю был сострадателен, сама мысль о побежденном причиняла ему боль, он всегда был на стороне слабого и не читал судебных хроник, чтобы не переживать всей своей душой тоску осужденного, не страдать оттого, что невозможно умертвить судью, палача и толпу, осчастливленную известием, что «правосудие совершилось». В любом случае, он был уверен, что Францию уже не победят, но помимо того он знал, что немцы страдают от голода и, по-видимому, рано или поздно будут просить пощады. Эта мысль удручала его, потому что он жил во Франции. К тому же, его воспоминания о Германии были в далеком прошлом, тогда как французы, говорившие о разгроме Германии с неприятной ему радостью, — это были люди, недостатки которых были ему известны, а их лица — антипатичны. В подобных случаях больше жалеют незнакомых, кого можно только вообразить, а не

тех, кто живет рядом с нами в пошлой повседневности жизни, — если только мы с ними не одно целое, если мы не плоть от плоти этого целого; и патриотизм сотворил это чудо — мы переживаем за свою страну, как за свою сторону в любовной ссоре. Война была благодатной почвой для всходов бешенства г-на де Шарлю, оно возбуждалось в нем в мгновение ока и длилось недолго, хотя и, злобствуя, он весь предавался неистовству. Когда он читал в газетах триумфальные заявления хроникеров, каждый день представляющих Германию поверженной, — «Зверь затравлен и доведен до бессилия» (в то время как дело обстояло прямо противоположным образом), — их бодрая и кровожадная глупость доводила его до белого каления. В те времена в газетах работали известные люди, они считали, что таким образом они «исполняют свой долг», — Бришо, Норпуа, и даже Морель с Легранденом. Г-н де Шарлю мечтал, как он встретится с ними и осыплет их едчайшими сарказмами. Он был хорошо осведомлен о пороках тех лиц, которые, полагая, что про них никто ничего толком не знает, с особым удовольствием распространялись на тему сексуальных пристрастий суверенов «захватнических империй», Вагнера и т. д. Его переполняло страст-

ное желание столкнуться лицом к лицу с ними и ткнуть их носом в их собственный порок — перед всеми, и оставить этих сплетников побежденными, обесчещенными и трепещущими.

Помимо того, у барона де Шарлю были и личные основания для германофильства. Одно из них заключалось в следующем: как человек светский, он много вращался в обществе, среди людей, достойных уважения, людей чести, среди тех, кто не пожмет руку сволочи, — он знал их сдержанность и твердость, ему было известно, как бесчувственны они к слезам человека, изгоняемого из их круга, с которым они откажутся стреляться, даже если их «моральная чистота» приведет к смерти матери паршивой овцы. И сколь бы, вопреки своей воле, он не восхищался Англией, в особенности тем, как она вступила в войну, эта безукоризненная Англия, неспособная на ложь, препятствовала поступлению в Германию зерна и молока, — и все же она оставалась нацией людей чести, эталоном чести; но вместе с тем барону было известно, что люди порочные, сволочь, подобно некоторым персонажам Достоевского, в чем-то могут оказаться и лучше, и я никак не мог понять, почему он отождествлял их с немцами, — мало ведь лжи и хитрости, чтобы

увериться, что именно здесь кроется добрая душа, а наличия последней, кажется, немцы не проявили. И еще одна черта дополнит эту германофилию г-на де Шарлю: он был обязан ею, что может показаться странным, своему «шарлизму». Он считал немцев довольно безобразными, может быть потому, что они слишком уж близки были ему по крови, и в то же время он был без ума от марокканцев, но особо — от англосаксов, казавшихся ему ожившими статуями Фидия. Наслаждение не приходило к нему без одной жестокой мысли, силы которой я к тому времени еще не знал: возлюбленный представлялся ему дивным палачом. И говоря что-нибудь плохое о немцах, он вел себя, как в часы сладострастия, в том смысле, что, наперекор своему сострадательному характеру, он восхищался обольстительным злом, попирающим добродетельное безобразие. Описываемые события по времени совпадают с убийством Распутина, — и что в этом убийстве было поразительнее всего, так это необычайно сильная печать русского колорита: оно было совершено за ужином, как в романах Достоевского (впечатление было бы еще сильней, если бы публика узнала некоторые факты, превосходно известные барону), — дело в том, что жизнь не

оправдывает наших ожиданий, и в конце концов мы уверяемся, что литература не имеет к ней никакого отношения; мы ошеломлены, когда драгоценные идеи, поведанные нам книгами, без особых на то оснований, не страшась искажений, переносятся в повседневность, что, в частности, в этом ужине, убийстве, русских событиях — воплотилось «что-то русское».

Война затянулась, и те, кто еще несколько лет назад провозглашал, ссылаясь на «достоверные источники», что мирные переговоры уже начались, что уточняются условия, и не думали извиняться перед вами за ложные сведения. Они забывали эти новости и с чистым сердцем распространяли другие, которые забудутся ими не менее быстро. Это было время постоянных налетов гота, воздух трещал от бдительной вибрации — сонора французских аэропланов. Но иногда отзывалась сирена, словно душераздирающий зов валькирии — единственная немецкая музыка, доступная в военное время, а затем пожарные объявляли, что тревога окончена, и неподалеку сигнал отбоя, как шалун-невидимка, через равные промежутки повторял добрую весть, сотрясая воздух радостными воплями.

Г-на де Шарлю удивляло, что даже такие люди,

как Бришо, до войны тяготевшие к милитаризму, ругавшие Францию за «недостаточную военизацию», ныне ставили Германии в вину не только ее милитаризм, но даже преклонение перед армией. Правда, когда речь зашла о перемирии с Германией, их мнение изменилось и теперь они небезосновательно изобличали пацифистов. Но тот же Бришо, несмотря на ухудшение зрения, согласился на своих лекциях рассказывать о книгах, выходивших в нейтральных странах, и превозносил один швейцарский роман, в котором высмеивались зародыши милитаризма: два ребенка глазели на драгуна, и в их восхищении было что-то символическое. Этой шутке было чем не понравиться г-ну де Шарлю и по другим причинам, поскольку драгун, по его мысли, чем-то мог быть и прекрасен. Но особенно его удивляло, что Бришо восхищается этой книгой, — и дело было не в самой книге (ее барон не читал), а в изменении умонастроя Бришо за время войны. Тогда все, что совершал военный, было в порядке вещей: и нарушения генерала Буадеффра, и ложь, и махинации полковника дю Пати де Клама, и вранье полковника Анри[82]. Какой из ряда вон

[82] Примечания: 82

Юбер Жозеф Анри (1846-1898) — полковник, одна из ключевых фигур дела Дрейфуса.

выходящий переворот взглядов (но в действительности это было только другим лицом той же благородной патриотической страсти, обязывавшей милитариста, каковым Бришо являлся в своей борьбе с дрейфусарством, стать разве что не пацифистом, поскольку теперь пацифизм был задействован в борьбе со сверхмилитаристской Германии, которой он — тот же человек — противостоял) заставлял теперь Бришо восклицать: «О, изумительное зрелище, достойное привлечь юность века — века, исполненного грубости, знакомого только с культом силы: драгун! Не может вызывать сомнения тот факт, что поколение, взращенное на культе этих неприкрытых проявлений грубой силы, вырастет грубой солдатней»? И Шпиттелер[83], символически противопоставив своего героя отвратительной концепции сабли превыше всего, выслал во глуби лесов оклеветанного и осмеянного, одинокого мечтательного персонажа, Глупого Студента, в лице которого автору прекрасно удалось воплотить нежность, увы, вышедшую из моды, — можно сказать, скорее забытую, если ужасное царствование их старого Бога не прервется, — прелестную

[83] Примечания: 83

Карл Шпиттелер (1845-1924) — швейцарский немецкоязычный писатель. Ноб. пр. 1919.

мягкость мирных времен.

«Вы знакомы, — сказал мне г-н де Шарлю, — с Котаром и де Камбремером. Всякий раз, как я встречаюсь с ними, они говорят, что германцам необычайно не хватает понимания психологии. Между нами: верите ли вы, что раньше психология их сильно заботила, и сейчас они могут хоть чем-то подтвердить этот интерес? Но я не преувеличиваю. Как только речь заходит о каком-нибудь великом немце, о Ницше, Гете, Котар говорит вот что: „с привычным непониманием психологии, присущим тевтонской расе“. В войне, конечно, есть и такое, что меня огорчает намного сильнее, но согласитесь, это несколько выводит из себя. Норпуа поумней, я это признаю, хотя он заблуждается с самого начала. Но что вы скажете об этих статьях, призывающих к всеобщему оптимизму? Мой дорогой друг, вам так же хорошо известны несомненные качества Бришо, как и мне, я очень люблю его, даже вопреки схизме, отлучившей меня от его маленькой церковки, вследствие чего я теперь встречаюсь с ним гораздо реже. Словом, я уважаю этого замечательно образованного профессора и говоруна, я признаю, что в его возрасте, — при том, что он так сдал в последние годы, и это налицо, — с его стороны

очень трогательно это его „возвращение“, как он выражается, „на службу“. Но в конце концов, доброе намерение — это одно, а талант — это другое; а Бришо совершенно лишен таланта. Я вместе с ним преклоняюсь перед величием этой войны. Но более всего мне странно, что Бришо, с его слепой любовью к истории (он ведь, кстати, даже не в силах был иронизировать над Золя, находившим больше поэзии в быту рабочих, в руднике, чем в исторических дворцах, над Гонкуром, ставившим Дидро выше Гомера, а Ватто выше Рафаэля), постоянно твердит, что Фермопилы и даже Аустерлиц — это ничто по сравнению с Вокуа[84]. Одним словом, на сей раз публика, хотя и оказавшая сопротивление модернизму в литературе и искусстве, последовала за модернистами от военного ведомства, потому что так мыслить принято, ну и, главным образом, потому что на слабые умы действует не красота, а масштабность действия. Кстати о Бришо, не видели ли вы Мореля? Мне говорили, что он снова хочет со мной встретиться. Ему нужно сделать первый

[84] Примечания: 84

Фермопилы — переход в гористой местности, где в 480 до н. э. в сражении с персами погиб спартанский царь Леонид. Аустерлиц — 20.11.1805, не самое славное сражение в русской истории, Вокуа — местность на Мезе, бои там велись с 1914 по 1918.

шаг, я старше, и не мне начинать[85]».

К несчастью, уже завтра — в порядке предвосхищения расскажем об этом, — г-н де Шарлю лицом к лицу столкнется с Морелем на улице; последний, желая возбудить ревность барона, возьмет его под руку, расскажет ему более или менее правдоподобные истории, и когда растерявшийся де Шарлю поймет, что ему просто необходимо провести этот вечер с Морелем, что Морель не должен уйти от него, тот, заметив какого-то товарища, неожиданно распрощается с г-ном де Шарлю; барон, надеясь, что эта угроза, — которую он, разумеется, никогда не исполнил бы, — вынудит Мореля остаться, крикнет ему вслед: «Берегитесь, я отомщу», — а Морель, смеясь, похлопает по плечу и обнимет удивленного товарища.

Конечно, слова г-на де Шарлю о Мореле показывали, до какой степени любовь, — и из них вытекало, что чувство барона еще длилось, — раскрепощает воображение и восприимчивость (а заодно легковерность), одновременно усмиряя

[85] Примечания: 85

Чуть ниже барон опять «неожиданно» вспомнит о Мореле, и автор укажет, что до этого речь о Мореле не заходила. Количество нестыковок (Морель-дезертир — Морель-доброволец и проч.) не должно удивлять читателя: работа над романом не была доведена до конца.

нашу гордыню. И когда барон добавил: «Этот мальчик без ума от женщин и только о них и думает», — он был куда ближе к истине, нежели думал сам. Эти слова объяснялись самолюбием, любовью, желанием уверить других, что привязанность Мореля к барону не была продолжена другими чувствами того же рода. Но я-то знал кое-что, о чем барону никто никогда не расскажет, что Морель как-то сошелся с принцем де Германтом за пятьдесят франков, и ничему из того, что говорил де Шарлю, я не верил. И если де Шарлю проходил мимо Мореля (за исключением тех дней, когда, в нужде покаяться, Морель оскорблял барона, чтобы потом грустно промолвить: «О, простите, мой поступок и правда мерзопакостен»), восседающего с товарищами на террасе кафе, и они гоготали, указывая на барона пальцем, и отпускали эти шуточки, которыми привечают старого инвертита[86], я не сомневался, что все это понарошку, что отведи барон в сторону любого из этих насмешников, и они сделают все, о чем бы тот ни просил. Но я заблуждался. Если во всех классах единое движение приводит к гомосек-

[86] Примечания: 86

Здесь и ниже под инверсией, инвертитами и проч. подразумевается гомосексуализм, гомосексуалисты и т. д. Мы переносим это слово в качестве нейтрального обозначения.

суализму людей типа Сен-Лу, ранее совершенно к этому не склонных, то одно движение в противоположном направлении отрывает от этих наклонностей тех, кому они более всего привычны. Иных изменили запоздалые религиозные сомнения, потрясения, испытанные во время громких скандалов, или страх несуществующих болезней, которыми их вполне искренне стращали родственники, подчас консьержи, иногда лакеи, либо, неискренне, ревнивые любовники, посредством сего полагавшие сберечь юношу только для себя, хотя этим они напротив отрывали его как от себя, так и от прочих. Вот почему бывший бальбекский лифтер теперь ни за злато, ни за серебро не принял предложений, которые показались бы ему теперь столь же тягостными, как происки врага. Морель отказывал всем без исключения, и г-н де Шарлю, не подозревая о том, говорил правду, подтверждавшую его иллюзии и разрушавшую его надежды, — а объяснялось это тем, что через два года после разрыва с бароном Морель полюбил женщину, с нею и жил; последняя, как более волевой человек, чем он, предписала ему безоговорочную верность. Так что Морель, который был готов сойтись с принцем де Германтом за пятьдесят франков, еще в те

времена, когда де Шарлю осыпал его золотом, не согласился бы теперь и за пятьдесят, и за любую другую сумму, предложи ему кто хоть пятьдесят тысяч. За отсутствием чести и бескорыстия, «жена» внушила ему страх перед тем, что «люди говорят», и, ухарствуя, он не брезговал похвальбой, что плевать ему было на любые деньги, когда ему предлагали их на определенных условиях. Так в расцвете человеческой породы игра разнообразных психологических законов восполняет все то, что в том или ином смысле привело бы к самоуничтожению — от полносочия или усыхания. Что-то похожее бывает с цветами, в мире которых подобное благоразумие, выявленное Дарвином, упорядочивает типы оплодотворения, успешно противопоставляя одним другие.

«Вот что странно, — добавил г-н де Шарлю пробивавшимся у него иногда слабоватым резким голосом. — Мне рассказывают, что некоторые люди день-деньской наслаждаются жизнью, пьют прекрасные коктейли, но твердят, что до конца войны им не дотянуть, что их сердцу не хватит сил, что они только и думают о своей внезапной смерти. Сильнее всего впечатляет, что так оно и получается. Как это любопытно! Может, это объясняется питанием, ведь все, что они едят, на

редкость отвратительно состряпано; может быть, они слишком ревностно цепляются за свои пустые обязанности и нарушают щадящий режим? Но вообще-то меня удивляет количество этих странных преждевременных смертей, — преждевременных, по крайней мере, если принять во внимание волю усопшего. Так о чем же я… ах да, что Норпуа без ума от этой войны. Но как своеобразно о ней говорится! Прежде всего, вы заметили, как эти новые „словца“ размножаются, как они, наконец, изнашиваются от ежедневного употребления, — ибо воистину: Норпуа неутомим, я полагаю, что смерть моей тетки Вильпаризи вдохнула в него новую жизнь, — как тотчас же их меняют на другие общие места? Некогда, помнится, вас забавляли подобные фигуры речи — что являются, какое-то время держатся на плаву, а потом снова исчезают: „тот, кто сеет ветер, пожнет бурю“; „собаки лают, караван проходит“; „сделайте мне хорошую политику, и я сделаю вам хорошие финансы, как говорил барон Луи“; „есть некоторые симптомы, и было бы преувеличением считать их трагическими, но необходимо отнестись к ним серьезно“; „работать на прусского короля“ (последнее, впрочем, неизбежно воскресло). А я-то думал, что они

свое давно отжили! И тут возникают „клочок бумаги“, „хищные власти“, „известная Kultur — убивать женщин и беззащитный детей“, „победа достанется, как говорят японцы, тому, кто продержится на четверть часа дольше другого“, „германо-туранцы“, „научное варварство“, „если мы хотим выиграть войну, как сильно выразился Ллойд Джордж“, наконец, это можно и не принимать в счет, „войска боевитые и лихие“. Да и синтаксис милейшего Норпуа за время войны претерпел столь же глубокие изменения, как производство хлеба и скорость транспорта. Заметили вы, что этот милейший человек, когда его тянет объявить свои желания чем-то уже свершающимся, не осмеливается, тем не менее, чтобы его не опровергли события, употреблять будущее время, и приспособил для этой цели, как обозначение будущего, глагол „мочь“?». Я признался г-ну де Шарлю, что не совсем понимаю, о чем он говорит.

Следует отметить, что герцог де Германт не разделял пессимизма своего брата. К тому же, он в еще большей степени был англофилом, чем де Шарлю — англофобом. Он считал г-на Кайо предателем, тысячу раз заслуживающим расстрела. Когда брат просил его привести дока-

зательства, г-н де Германт отвечал, что если бы следовало осуждать только тех, кто подписался под бумагой: «Я предал», предательство никогда не понесло бы наказания. На тот случай, если мне не представится возможности обратиться к этому вновь, я замечу также, что года через два герцог де Германт, воодушевленный кристальным антикайоизмом, встретится с английским военным атташе и женой его, прекрасно образованной парой, — он подружится с ними, как во времена дела Дрейфуса с тремя очаровательными дамами, — и с первого же дня его изумит, что, буде речь заходит о Кайо, осуждение которого он считал делом решенным, а преступление очевидным, в ответ от образованной, очаровательной пары он слышит следующее: «Но скорее всего его оправдают, его вина совершенно не доказана». Г-н де Германт попробует сослаться на слова г-на де Норпуа, брошенные ошеломленному г-ну Кайо в лицо: «Вы — Джолитти Франции, да, господин Кайо, вы — Джолитти Франции»[87]. Но очаровательная и образованная пара улыбнется,

[87] Примечания: 87

Жозеф Кайо (1863-1944), министр финансов с 1906 по 1909, проводил политику, схожую с политикой Джованни Джолитти (1842-1928), многократно избиравшимся премьер-министром Италии лидером итальянской Либеральной партии; во время войны Кайо подозревали в коллаборационизме.

г-на де Норпуа подвергнет осмеянию, приведет примеры его маразма, и в заключение отметит, что это в Фигаро написано, что Норпуа так сказал, глядя на «ошеломленного» г-на Кайо, но в действительности, скорее всего, г-н Кайо в ответ ухмылялся. Мнения г-на де Германта не замедлят перемениться. Приписать это изменение влиянию какой-то англичанки в 1919-м было не до такой степени неправдоподобно, — тогда англичане не называли немцев иначе, чем «гансами», и требовали жестокого наказания виновных, — как пророчество, что мнение англичан о немцах также претерпит изменение, что в их стране будут принимать постановления, ущемляющие интересы Франции и способствующие поддержке Германии.

Вернемся к г-ну де Шарлю: «Дело в том, — ответил он, — что „мочь“ в статьях Норпуа стало формой будущего времени, то есть, обозначением желаний Норпуа, как и, впрочем, желаний каждого из нас, — добавил он, быть может, не вполне искренне. — Если бы этот глагол не указывал на будущее время, то, говоря по строгости, следовало бы думать, что он употребляется применительно к какой-нибудь стране в своем изначальном смысле, — например, всякий раз, как Норпуа

говорит: „Америка не смогла бы остаться безразличной к этим постоянным нарушениям права“, „двуглавая монархия не смогла бы не прийти к раскаянию“, — ясно, что подобные фразы отражают желания Норпуа (как и мои, как и ваши), но, в конце концов, вопреки всему этот глагол может еще сохранять и свое старое значение, и страна так же может „не мочь“, Америка может „не мочь“, монархия „двуглавая“[88] может «не мочь» (несмотря на извечное «непонимание психологии»). Но всякие колебания отпадают, когда Норпуа пишет: «эти систематические опустошения не могли бы не убедить нейтралов», «Поозерье не могло бы не упасть в короткий срок в руки союзников», «результаты этих нейтралистских выборов не смогли бы отразить мнения подавляющего большинства». Но ведь факт, что эти «опустошения», «районы» и «результаты» — предметы неодушевленные, и «не мочь» они не способны. Благодаря этой формуле Норпуа попросту обращается к нейтралам с предписанием (которому, с сожалением должен признать, они вряд ли последуют) выйти из нейтралитета или Поозерью больше не принадлежать «бо-

[88] Примечания: 88
Австрия.

шам» (г-н де Шарлю произносил слово «бош» с той же отвагой, как некогда в трамвае заводил речь о мужчинах, испытывающих тяготение к представителям своего пола). К тому же, вы заметили, с каким лукавством, уже с 1914-го года, Норпуа начинает свои статьи, обращенные к нейтралам? Первым делом он возглашает, что, конечно же, не *должно вмешиваться в политику Италии (или Болгарии*, или Румынии и т. д.) Они сами должны принять независимое решение, отвечающее исключительно их национальным интересам, следует ли им выйти из нейтралитета. Но если эти первые сентенции статьи (то, что некогда называлось вступлением) столь замечательно беспристрастны, то дальше этого на порядок меньше. «Тем не менее, — продолжает Норпуа, — ясно, что одним с боями достанутся определенные материальные преимущества — и это будут нации, ставшие на стороне Права и Справедливости. Народам, следовавшим политике наименьшего усилия, не поставившим свою шпагу на службу союзникам, не следует ожидать, что они будут вознаграждены союзниками, что им пожалуют территории, откуда веками раздавался стон их угнетенных братьев». Теперь, сделав первый шаг — посоветовав вступить в вой-

ну, Норпуа уже не останавливается ни перед чем, и его указания касаются уже не самого вопроса, а времени вступления; они все менее и менее прикрыты. «Конечно, — продолжает он, изображая, как он сам сказал бы, доброго апостола», — самих Италии и Румынии дело — определить час и форму, в которой они вступят в войну. Им надо, однако, принять во внимание, что, слишком затягивая, они рискуют упустить время. Уже копыта русских кавалеристов заставили содрогнуться Германию, зашедшуюся в невыразимом ужасе. И совершенно ясно, что народы, пришедшие «под аминь», что уже не за горами, не будут иметь тех же прав на вознаграждение, которое они могут еще, поспешив… и т. п.». Это как в театре, когда говорят: «Последние билеты вот-вот будут проданы. К сведению неторопливых». Рассуждение тем паче глупое, что он его повторяет раз в полгода, время от времени обращаясь к Румынии: «Пришел для Румынии час узнать — хочет она или нет реализовать свои национальные чаяния. Пусть она подождет еще, и будет уже слишком поздно». На протяжении трех лет, что он это говорит, «слишком поздно» не только не наступило, но не уменьшается и число таких обращений к Румынии. Так же он понукает Францию и проч.

к интервенции в Грецию в качестве протектирующих сил, потому что договор, связывавший Грецию с Сербией, она не сдержала. Ну, по совести говоря, не воюй сейчас Франция, и не будь ей нужна помощь или благожелательный нейтралитет Греции, разве возникла бы сама мысль об интервенции в качестве «протектората», или хотя бы какие-нибудь негативные чувства из-за того, что Греция не выполнила своих обязательств по отношению к Сербии, — не умолкает ли он, как только речь заходит о столь же очевидных нарушениях со стороны Румынии и Италии, не исполнивших — небезосновательно, надо полагать, — как и Греция, своих обязательств (не столь жестких и требовательных, как говорят) по отношению к Германии? Истина в том, что эти люди следят за миром через призму своей газеты, да и что им еще остается, если сами они лично не знакомы с людьми, о которых речь, и если сами они в этих событиях не участвуют. Во времена этого дела[89], которое, помнится, вас странным образом увлекло, — в ту эпоху, о которой теперь все говорят, что мы отделены от нее веками, да и наши военные философы подтверждают, что

[89] Примечания: 89
Дела Дрейфуса, имеется в виду.

все связи с прошлым разорваны, — я был просто шокирован, когда узнал, что мои родственники охотно принимают старых антиклерикальных коммунаров, — быть может, представленных их любимой газетой антидрейфусарами, — и поносят благородного генерала: католика, но ревизиониста. И так же меня шокирует, когда я узнаю, какое отвращение питают французы к императору Францу-Иосифу. Как они раньше его боготворили! И небезосновательно — мне ли об этом не знать! я хорошо с ним знаком, а он всегда рад принять меня по-родственному. О! я не писал ему уже всю войну, — воскликнул он с таким видом, будто смело сознается в ошибке, за которую (и он это прекрасно знал) никто бы его укорять не стал. — Хотя нет, в первый год, и только раз. Что поделаешь, я по-прежнему его уважаю, но на фронте много моих молодых родственников, они несомненно сочли бы, что постыдно поддерживать переписку с главой воюющей против нас нации. Что поделаешь! упрекай меня, кто хочет, — воскликнул он, будто отважно отвергая мои упреки, — но я не хочу, чтобы в настоящий момент в Вену пришло письмо, подписанное именем де Шарлю. Если б я и решился пожурить старого императора, то только за одно, что мо-

нарх его ранга, глава одного из самых старых и именитых европейских домов, позволил себя провести этому дворянчишке, — хотя и довольно смышленому, но в сущности обыкновенному выскочке Вильгельму Гогенцоллерну. Подобные странности меня немало шокируют в этой войне». Но поскольку, стоило ему вернуться к аристократической точке зрения, преобладавшей у него, по сути, над любой другой, г-н де Шарлю впадал в крайнее ребячество, тем же тоном, каким он говорил бы о Марне или Вердене, он заявил, что будущим историкам этой войны не следует упускать из виду кое-что чрезвычайно любопытное и важное. «Так, в частности, — сказал он, — по всеобщему невежеству никто так и не удосужился заметить примечательного факта: несмотря ни на что великий магистр Мальтийского ордена, а он чистый бош, по-прежнему пребывает в Риме, где, как Великий магистр, он пользуется привилегией экстратерриториальности. Это любопытно!» — воскликнул он, словно говоря: «Видите, встретившись со мной, вы не потеряли вечер даром». Я поблагодарил его, и на лице его проступила скромность человека, не требующего оплаты. «Так что это я вам говорил? Ах да, что с подачи газет французы теперь

ненавидят Франца-Иосифа. По поводу Константина Греческого и царя Болгарии[90] публика колеблется между отвращением и симпатией, потому что поочередно пишут то о том, что они на стороне Антанты, то о том, что они на стороне «центральных империй», как сказал бы Бришо. И Бришо постоянно повторяет нам, что «час Венизелоса[91] вот-вот пробьет». Я не сомневаюсь, что г-н Венизелос — это замечательный политик, но кто знает, совпадают ли желания греков с желаниями г-на Венизелоса? Он хотел бы, твердят нам, чтобы Греция сдержала свои обязательства по отношению к Сербии. Еще следовало бы узнать, каковы были ее обязательства, и были ли они более строгими, чем те, которые Италия и Румыния сочли возможным нарушить. Нас заботит, каким образом Греция соблюдает свои договоры и свою конституцию, хотя это, несомненно, не привлекло бы нашего внимания, если б не было в наших интересах. Не будь войны, разве заметили

---

[90] Примечания: 90

Болгария присоединилась к «центральным» империям в октябре 1915 года. Царю Болгарскому Фердинанду I Саксен-Кобургскому это в 1918 стоило трона.

[91] Примечания: 91

Элифтериос Венизелос (1864-1936) — премьер-министр Греции 1910-1915, 1917-1920, 1924, 1928-1932, 1933. Сторонник нейтралитета, тогда как Константин выступал за союз с Германией.

бы государства-«гаранты» роспуск Палат[92]? Мне становится ясно, что греческого короля лишают опор, чтобы выставить его вон или взять под арест — когда армия уже не придет ему на помощь. Я говорил вам, что публика судит о короле Греции и короле Болгарии только по газетам. Да и что им остается, если они с ними незнакомы? Но я с ними многократно встречался, я хорошо знал Константина Греческого еще диадохом[93] — он был просто прелесть. Я всегда думал, что император Николай питал к нему сильное чувство. В благом смысле, разумеется. Принцесса Христина об этом распространялась открыто, но она злючка. Что до царя Болгарии, то он просто плут, это у него на лбу написано, но очень умен — замечательный человек. Он меня очень любил».

Г-н де Шарлю таил в себе бездну обаяния, но становился невыносим, когда обращался к подобным темам. Он говорил об этом с тем самым удовольствием, что раздражает в больном, бравирующем своим добрым здравием. И я часто

---

[92] Примечания: 92

Из-за разногласий с Константином о военному вопросу Венизелос дважды уходил с поста премьер-министра, несмотря на убедительные победы не выборах.

[93] Примечания: 93

Т. е. наследником престола.

думал, что «верным» на бальбекской узкоколейке, которые так жаждали услышать от него признание, от чего он уклонялся, по-видимому, становилось неловко от подобного рода маниакального, болезненного хвастовства, они дышали с трудом, словно в комнате больного или пред морфинистом, доставшим на ваших глазах свою шприцовку, и именно они, утомленные количеством пикантных тайн, пресекли поток излияний. Вероятно, их еще раздражала голословность его обвинений, тогда как в этом специальном реестре (в который, как известно, он и сам был зачислен) себя-то он пропускал, охотнее включая в него всех прочих. К тому же, де Шарлю был умен, и в этой области создал своеобразную ограниченную философию (в основе которой лежало, быть может, несколько курьезов, умилявших Свана «в жизни»), объясняющую мир посредством подобных особенных причин, — в пределах которой, как бывает всякий раз, когда отдаются своему пороку всецело, он не только опускался ниже своего умственного уровня, но и был чрезвычайно упоен собою. И степенный благородный барон расплывался в глуповатой улыбке, произнося следующее: «Так как имеются основательные подозрения этого рода насчет

Фердинанда Кобургского в отношении императора Вильгельма, здесь можно углядеть еще одну причину, по которой царь Фердинанд встал на сторону „захватнических империй“[94]. Матерь Божья, тут все ясно, мы ведь относимся к сестрам со снисхождением, и не отказываем им ни в чем. Я нахожу, что это было бы очень неплохим объяснением альянса Болгарии и Германии». И над этим глупым объяснением г-н де Шарлю долго смеялся, как будто он действительно находил его очень хитроумным, хотя, будь оно даже основано на действительных фактах, оно было бы столь же несерьезно, как рассуждения барона о войне, а судил он о ней то как феодал, то как рыцарь Св. Иоанна Иерусалимского[95]. Но закончил он более справедливым замечанием: «Удивительно, — сказал он, — что публика говорит о войне и людях только то, что пишут в любимой газете, и при этом все убеждены, что высказывают свое личное мнение».

И в этом г-н де Шарлю был прав. Надо было видеть, рассказывали мне, г-жу де Форшвиль в те секунды молчания и нерешительности (словно

---

[94] Примечания: 94
Абзацем выше он еще (вместе с публикой) «колеблется».

[95] Примечания: 95
Этот орден был основан в Палестине в 1058.

они ей были нужны даже не для составления фразы, а для определения личного мнения), после которых она произносила — с таким видом, будто выражает сокровенное чувство: «Нет, я не верю, что они возьмут Варшаву»; «у меня нет впечатления, что это протянется еще одну зиму»; «вот уж чего бы я не хотела, так это непрочного мира»; «что мне внушает опасение, если уж вам угодно знать мое мнение, так это Палата»; «и все-таки я считаю, что возможно прорваться». И когда Одетта это говорила, в ее лице разливалось томное выражение, нараставшее до предела при словах: «Я не хочу сказать, что немецкая армия сражается плохо, но им недостает того, что называется лихостью». Произнося «лихость» (или даже просто «боевитость»), она словно бы замешивала что-то рукою, подмигивая, как молодой ликомаз, употребляющий цеховой термин. На ее языке, однако, тем сильнее отпечатлевалось восхищение Англией, что теперь ей не нужно было довольствоваться, как некогда, ссылками на «наших соседей по ту сторону Ла Манша», или всего-навсего «наших друзей англичан», ибо теперь она могла именовать их «нашими верными союзниками». Стоит ли упоминать, что по любому поводу она употребляла выраженье

«fair play», — чтобы напомнить, что англичане сочли немцев нечестными игроками, и «что нужно — так это выиграть войну, как говорят наши бравые союзники». А английские солдаты, само собой, служили поводом помянуть зятя — как нравится ему жить вместе с австралийцами, шотландцами, новозеландцами и канадцами. «Мой зять теперь знает арго всех бравых tommies, к нему прислушиваются даже представители самых далеких dominions, и он накоротке не только с генералом и командующим базой, но и с самым простеньким private».

Пусть этот рассказ о г-же де Форшвиль (пока я иду бульварами с г-ном де Шарлю) позволит мне еще одно, более пространное, но уместное при описании эпохи отступление, затрагивающее отношения г-жи Вердюрен с Бришо. Де Шарлю осмеивал бедного Бришо безжалостно (потому что Шарлю был очень умен и, более или менее осознанно, германофил), но намного сильнее Бришо третировали Вердюрены. Конечно, они были шовинистами, и в силу того статьи Бришо могли бы прийтись им по душе, — они, к тому же, не многим уступали писаниям, услаждавшим вкус г-жи Вердюрен. Тем не менее, у нас на памяти, что уже в Распельере Бришо из великого

человека, коим слыл поначалу, превратился для Вердюренов если и не в козла отпущения, как Саньет, то по меньшей мере в мишень их едва прикрытых насмешек. В то время, правда, он был верным среди верных, и это гарантировало ему долю выгод, молчаливо предусмотренных уставом кланчика для основоположников и ассоциированных членов. Но по мере того, как, быть может, благодаря войне, или в результате быстрой, наконец-то осуществившейся кристаллизации, когда все необходимые элементы светскости, хотя и сокрытой ранее, насытили салон Вердюренов, и последний открывался новому обществу, а верные, поначалу — наживка для этой публики, приглашались все реже и реже, — подобного рода процессы стали затрагивать и Бришо. Несмотря на Сорбонну, несмотря на Институт, его довоенная слава не выходила за пределы салона Вердюренов. Стоило ему, правда, взяться за писание статей, выходивших едва ли не ежедневно, — начиненных теми фальшивыми бриллиантами, что он частенько рассыпал без счета для верных, но с другой стороны богатых глубокой эрудицией, которую, как настоящий «сорбонщик», в сколь бы занятную форму он ее не облекал, Бришо не старался скрыть, — как

восхищенный «большой свет» обратил на него внимание. В кои-то веки свет снизошел к далеко не ничтожному человеку, способному привлечь внимание подлинной плодовитостью ума и богатыми запасами памяти. И пока три герцогини намеревались посетить прием г-жи Вердюрен, три другие оспаривали честь принимать у себя за ужином великого человека, — он без колебаний посещал одну из них, не чувствуя себя чем-либо связанным, ибо г-жа Вердюрен, — ее раздражал успех его статей в Сен-Жерменском предместье, — старалась не допустить его присутствия, если он мог встретиться в кланчике с какой-нибудь блистательной особой, с которой он не был знаком еще и которая поспешила бы его к себе заманить. Так что публицистический дар (в котором он с опозданием проявил, снискав почет и превосходное жалование в награду, те же самые способности, всю жизнь расточавшиеся им задарма в безвестности салона Вердюренов, — ибо статьи не стоили ему *больших усилий*, столь он был речист и умен, чем его болтовня) привел бы и, некоторое время казалось, уже привел Бришо к бесспорной славе… если бы не г-жа Вердюрен. Конечно, статьи Бришо были далеки от совершенства, которое приписывал им свет.

Вульгарность человека поминутно проступала в педантизме ученого. И наряду с ничего не говорящими образами («немцы не смогут больше смотреть в лицо статуе Бетховена; Шиллер, должно быть, перевернулся в своей могиле; чернила, которые парафировали нейтралитет Бельгии, едва ли высохли; Ленин говорит, а его слова носит ветер степи»), там были и тривиальности вроде: «Двадцать тысяч заключенных, вот это цифра; наше командование будет смотреть в оба; мы хотим победить, вот и все». Но сколько во всем этом было намешано знаний, ума, сколько там было справедливых размышлений! Г-жа Вердюрен, однако, всегда бралась за статьи Бришо с тайным злорадством, рассчитывая найти в них что-нибудь несуразное, и читала с пристальнейшим вниманием, чтобы быть уверенной наверняка, что от ее глаз ничто не ускользнуло. К несчастью, кое-что находилось. Восторженнейшая цитация и в самом деле малоизвестного автора, по крайней мере, того его произведения, на которое Бришо ссылался, инкриминировалась последнему как доказательство несносного педантизма, и г-жа Вердюрен с нетерпением ждала ужина, чтобы вызвать раскаты смеха гостей. «Ну, что вы скажете о сегодняшней бришовской статье? Я

подумала о вас, когда прочла цитату из Кювье[96]. Мне кажется, он сошел с ума». — «Я еще не читал статьи», — отвечал Котар. — «Как, вы еще не читали? Вы не представляете, какого удовольствия вы лишились. Это смешно *до смерти*». — И, довольная в глубине души, что никто еще статьи не читал, что она сама может пролить свет на ее нелепости, г-жа Вердюрен приказала дворецкому принести Тан[97] и прочла статью вслух — с пафосом выкрикивая простейшие фразы. Весь вечер после ужина продолжалась антибришовская кампания, но с мнимыми оговорками. «Я не говорю об этом слишком громко, — сказала она, кивая в сторону графини Моле, — некоторые на него не налюбуются. Светские люди куда наивней, чем принято считать». Г-жа Моле, для которой эта фраза была произнесена достаточно громко, чтобы она поняла, что говорят о ней, но пониженным тоном, чтобы показать, что не хотят быть услышанными ею, трусливо отреклась от Бришо, которого в действительности она уподобляла

---

[96] Примечания: 96

Бришо процитировал Жоржа Кювье (1769-1832), зоолога.

[97] Примечания: 97

Le Temps — вечерняя газета, сыгравшая значительную роль при Третьей республике.

Мишле[98]. Она признала правоту г-жи Вердюрен, но, чтобы закончить разговор чем-то, что казалось ей неоспоримым, добавила: «Вот чего у него не отнять, так это что очень хорошо он пишет». — «Вы находите? Что хорошо он пишет, вы так считаете? — переспросила г-жа Вердюрен. — А я так нахожу, что это свинья писала», — эта эксцентрика возбудила смех светской публики, к тому же, г-жа Вердюрен, будто сама испугавшись слова «свинья», произнесла его шепотом, зажав рукой рот. Бришо только разжигал ее бешенство, потому что проявлял наивное удовлетворение успехом, хотя подчас был расстроен, что цензура — он говорил об этом по своей привычке употреблять новые слова, чтобы показать, что он не слишком уж академичен, — «зазерняла» его статьи. В присутствии Бришо она не то чтоб очень ясно давала понять (разве была угрюма — это предупредило бы человека более проницательного), как низко она ценит писания Ломаки[99]. Правда, как-то раз она заметила, что ему не стоит так часто употреблять местоимение «я». Он и правда этим грешил — во-первых, оттого, что

---

[98] Примечания: 98
Жюль Мишле (1798-1874) — французский историк.

[99] Примечания: 99
Прозвище Бришо.

по профессорской привычке он часто прибегал к выражениям вроде «я согласен с тем, что», равно «я признаю, что», «я допускаю, чтобы»: «Я хочу, чтобы громадная протяженность фронтов привела и т. д.», — но еще потому, что, старый воинствующий антидрейфусар, учуявший германские приготовления задолго до войны, он частенько ненароком проговаривался: «Я разоблачал с 1897-го»; «Я предупреждал в 1901-м»; «Я поставил этот вопрос ребром в моей брошюрке, которую теперь сложно найти (habent sua fata libelli)»; эта привычка в нем укрепилась. Он густо покраснел от выговора г-жи Вердюрен, произнесенного, к тому же, язвительным тоном. «Вы правы, мадам. Кое-кто, кто любил иезуитов не больше, чем г-н Комб, хотя к его книге и не писал предисловия наш сладостный учитель прелестного скептицизма, Анатоль Франс, — последний, кажется, был моим неприятелем… в допотопные времена, — говорил, что „я“ всегда отвратительно[100]». С того времени Бришо заменял первое лицо безличными конструкциями, но читатель

[100] Примечания: 100

Эмиль Комб (1835-1921) — премьер с 1902 по 1905, проводил антиклерикальную политику, к его книге Une campagne laique написал предисловие Анатоль Франс. ..."я» всегда отвратительно — комментаторы Плеяды отсылают к фр. 136 Паскаля. В другом комментарии без каких-либо объяснений отсылка к книге самого Пруста.

по-прежнему чувствовал, что автор говорит о себе и остановиться не может, что он разжевывает понятнейшие фразы, строит статьи на одном отрицании — и всегда под сенью безличной конструкции. Например, если Бришо говорил, как то было в другой статье, что немецкие войска выдохлись, он начинал статью так: «Здесь не скрывают правду: говорят, что немецкие армии утратили доблесть. Но никто не говорил, что они не имеют больше сил. И еще меньше сказали бы, что они бессильны совсем. Но не в большей степени можно сказать, что земля завоевана, если нету и т. д.» Короче, только изложив все, что он «не сказал бы», припомнив то, что он говорил несколько лет назад, и что Клаузевиц, Жомини, Овидий, Аполлоний Тианский[101] и прочие говорили много или мало веков тому, Бришо с легкостью собрал бы материал для большого тома. И жаль, что он его не напечатал, ибо эти насыщенные

---

[101] Примечания: 101

Карл фон Клаузевиц (1780-1831) — немецкий теоретик военного искусства, генерал-майор прусской армии (1818). В 1812-1814 на русской службе. Его своего рода поэма «О войне» стала классикой. Антуан Анри (Генрих Вениаминович) Жомини (1779-1869) — военный теоретик, российский генерал от инфантерии (1826). В русские войска попал, потерпев поражение с наполеоновскими. Аполлоний Тианский (1 в. н. э.) — неопифагореец, маг, чудотворец, пророк, ему был известен язык рыб и птиц, людей и животных, он мог появляться сразу в нескольких местах, в конце концов воскрес, однако его религия не прижилась

статьи теперь трудно достать. Представители Сен-Жерменского предместья, наставленные г-жой Вердюрен, высмеивали Бришо у нее в гостях, но по-прежнему, стоило только уйти подальше от кланчика, восхищались Бришо. Затем смеяться над ним вошло в моду, как раньше модно было испытывать восхищение, и те же самые дамы, которые по-прежнему читали его статьи и в глубине души интересовались им, умеряли восторги и высмеивали его на публике, чтобы не показаться менее утонченными, чем остальные. Никогда еще в кланчике не говорили столько о Бришо, но на сей раз лишь смеха ради. Для новичков критерием ума служило их отношение к статьям Бришо; если с первого раза пришедший не угадывал, то не упускали случая указать ему, по какому принципу распознаются умные люди.

«В конце концов, мой дорогой друг, все это отвратительно, и уныние вызывают не только скучные статьи. Говорят о вандализме, о разбитых статуях. Но уничтожение такого количества прекрасных юношей, этих несравненных полихромных статуй, — разве это не вандализм? Разве город, в котором не останется красивых людей, не будет похож на город, где разбили всю скульптуру? Какое я получу удовольствие, отобедав в

ресторане, где меня обслужат старые замшелые шуты, напоминающие отца Дидона[102], или, хуже того — бабки в чепчиках, один вид которых наводит на мысль, что я попал в бульонную Дюваля? Да, мой друг, я думаю, что у меня есть основания так говорить, потому что прекрасное — это все-таки то, что воплощено в живой материи. Велика радость, если тебя обслуживают существа рахитические, очкастые, у которых дело о непригодности на лице! Теперь все не так, как раньше, и если в ресторане захочется успокоить глаза на каком-нибудь красавце, надо смотреть не на официантов, а на посетителей. Но слугу-то ведь можно было снова увидеть, хотя они частенько менялись, а поди тут узнай, кто это, когда сюда снова придет этот английский лейтенант, который тут, быть может, первый раз и которого, наверное, завтра убьют? Когда Август Польский, как рассказывает очаровательный Моран, автор замечательной Клариссы[103], обменял один из своих полков на коллекцию китайского фарфора, он совершил, на мой взгляд, дурную

---

[102] Примечания: 102

Анри Дидо (1840-1900) — доминиканский проповедник.

[103] Примечания: 103

Пруст написал предисловие к книге Поля Морана Tendres Stocks в 1921, в эту же книгу входила и Кларисса.

сделку. Представьте только, все эти огромные ливрейные лакеи по два метра ростом, украшавшие монументальные лестницы наших лучших друзей — все они убиты, а пошли они на фронт в основном потому, что им сказали, что война не продлится и двух месяцев. Да, они не знают, как я, силы Германии, доблести германской расы», — сказал он, забывшись. И добавил, заметив, что слишком уж выдал свои взгляды: «Я боюсь за Францию не столько из-за Германии, сколько из-за самой войны. В тылу воображают, что война — это гигантский матч бокса, в котором все мы, благодаря газетам, принимаем участие издалека. Но в действительности все обстоит иначе. Это болезнь, которая, когда вам кажется, что вы ее одолели, проявляется по-другому. Сегодня будет освобожден Нуайон, а завтра уже не будет ни хлеба, ни шоколада, а послезавтра тот, кто еще чувствовал себя довольно спокойно и думал, что пойдет в случае надобности под пули, чего он себе совершенно не представляет, потеряет голову, прочитав в газете, что люди его возраста уже подпадают под призыв. Что же касается уничтожения таких уникальных монументов, как Реймский собор, то меня намного сильнее печалит гибель огромного числа архитектур-

ных ансамблей, благодаря которым и в самой крохотной французской деревушке можно было обнаружить что-то поучительное и прелестное».

Я тотчас вспомнил о Комбре, но раньше мне казалось, что я сильно потеряю в глазах г-жи де Германт, если она узнает о том, сколь незавидное положение занимала там моя семья. Я спрашивал себя, не узнали ли об этом Германты и Шарлю либо от Леграндена, либо от Свана, Сен-Лу или Мореля. Но само умолчание было не столь мне тягостно, как ретроспективные разъяснения. Мне хотелось только одного, чтобы г-н де Шарлю не вспомнил о Комбре.

«Сударь, я не хочу сказать ничего плохого об американцах, — продолжил он, — их великодушие неистощимо, и так как в этой войне оркестр выступает без дирижера и каждый входит в танец, когда захочет, а американцы вступили, когда мы уже почти дошли до конца, у них еще остался задор, остывший у нас за эти четыре года. Даже до войны они любили нашу страну, наше искусство, они дорого платили за наши шедевры. Много их там теперь. Но это искусство, так сказать, беспочвенно, как выражался г-н Баррес[104], в нем нет

[104] Примечания: 104

Морис Баррес (1862-1923), автор, помимо прочих, книги «Беспочвенники» (или «Вырванные с корнем»).

ничего общего с тем, что составляло неизъяснимую прелесть Франции. Замок поясняет церковь, а сама она, как место паломничества, толкует наш эпос. У меня нет нужды превозносить славу моих предков и рассказывать, на ком они женились, да и не об этом речь. Но недавно, по делам семейным, я посетил мою племянницу Сен-Лу, проживающую теперь в Комбре, — хотя между мной и этой четой в последнее время наступило некоторое охлаждение. Комбре — совсем маленький городок, похожий на множество других. В храме, на витражах, были изображены наши предки, как дарители, на других были наши гербы. Там был наш придел, там были наши могилы. Эту церковь разрушили французы и англичане, потому что немцы использовали ее в качестве наблюдательного пункта. Этот сплав уцелевшей истории и искусства, сама Франции, погибает, и это еще не конец. Я, разумеется, не настолько глуп, чтобы по семейным соображениям ставить на одну доску разрушение церкви в Комбре с разрушением Реймского собора, этого готического чуда, который, как ни в чем не бывало, воскресил чистоту линий античных статуй, — или собора в Амьене. Я не знаю, поднята ли еще сегодня рука

святого Фирмина[105]. Если нет, то сильнейшее утверждение веры и силы духа из этого мира уже исчезло». — «Его символ, мсье, — ответил я. — Я тоже, как и вы, поклоняюсь некоторым символам. Но было бы абсурдно приносить в жертву символу означенную им реальность. *Должно поклоняться соборам лишь до тех пор*, пока для их сохранения нам не придется отвергнуть выраженные ими истины. Поднятая рука св. Фирмина замерла словно в военном приказе: пусть нас уничтожат, если того требует долг. Нельзя приносить людей в жертву камням, красота которых лишь ненадолго закрепила человеческие истины». — «Я понимаю, что вы хотите сказать, — ответил г-н де Шарлю, — и со стороны г-на Барреса, который слишком часто, увы, отправлял нас в паломничество к страсбургской статуе и могиле Деруледа[106], было очень мило и трогательно заметить, что сам Реймский собор не так дорог, как жизнь наших пехотинцев. Это высказывание выставляет в довольно смешном

[105] Примечания: 105

Св. Фирмин († 287 или 303) — первый амьенский епископ.

[106] Примечания: 106

Поль Дерулед (1846-1914) — основатель и президент «Лиги Патриотов»; его сменил Баррес, последним было организовано «паломничество» к могиле Деруледа от страсбурской статуи.

свете ругань наших газет по поводу командовавшего там немецкого генерала, который заявил, что Реймский собор не представлял для него той же ценности, что и жизнь немецкого солдата. Впрочем, больше всего раздражает и удручает тот факт, что все твердят одно и то же. Германские промышленники заявляют, что Белфорт необходим для защиты нации от наших реваншистских поползновений исходя из тех же, по сути, причин, из-за которых Баррес требует Майнца, чтобы защитить нас от нового вторжения бошей. Почему восстановление Эльзас-Лотарингии не послужило для французов предлогом, чтобы объявить войну, однако служит предлогом, что ее продолжать, чтобы каждый год начинать ее заново? Вы, кажется, считаете, что отныне победа Франции обеспечена, и я этого желаю от всего сердца, не сомневайтесь. Но с тех пор, как не без основания, а может быть и ошибочно, союзники уверились в победе (со своей стороны, я удивлен такому расчету, но сколько я уже видел бумажных, пирровых побед, о цене которых нам никто не говорит), а боши эту уверенность потеряли, стало заметно, что Германия старается ускорить мир, а Франция пытается продлить войну, — справедливая, и имеющая основания произнести

слова справедливости Франция! но ведь есть еще и «старая добрая Франция», и она должна найти слова сострадания, хотя бы ради своих детей, чтобы весенние цветы украшали не только могилы. Будьте искренни, мой дорогой друг, вы сами излагали мне теорию, согласно которой вещи существуют только силой вечно возобновляемого творения. Сотворение мира не имело места единожды для всего, говорили вы мне, оно по необходимости должно совершаться каждый день[107]. Итак, если вы последовательны, вы не должны исключать войну из этой теории. Наш бесподобный Норпуа напрасно пишет (употребляя один из своих риторических аксессуаров, столь же дорогих для него, как «рассвет победы» и «генерал Зима»): «Теперь, когда Германия захотела войны, кости в игре», — истина в том, что новая война объявляется каждое утро. Стало быть, тот, кто хочет ее продолжить, столь же виновен, как тот, кто начал, и, быть может, вдвойне, потому что последний, по-видимому, не предвидел всех ее ужасов. Никто ведь не скажет, что такая долгая война, даже если она должна

[107] Примечания: 107

Теория «вечного сотворения мира» в других местах Прустом не излагалась. Мамардашвили в этой связи вспомнил положение «красота спасет мир», которое вскользь упоминает один из персонажей Достоевского.

привести к победе, окажется безвредной. Трудно говорить что-либо об операции, прецеденты которой, равно последствия, неизвестны. Есть ведь такие новшества, что вызывают общее опасение. Наиболее дальновидные республиканцы полагают, что безумием было проводить отделение церкви. Оно, однако, прошло, «как письмо по почте». Дрейфус реабилитирован, Пикар[108] — военный министр, и никто об этом не кричит. Но как они только не страшатся общего переутомления от этой непрерывной, многолетней войны! Что сотворят люди после? эта усталость исчезнет, или сведет их с ума? Все это может плохо обернуться, если не для Франции, то по меньшей мере для правительства, — может быть, даже для общественного устройства. Вы мне как-то советовали прочесть восхитительную Эме Квани Морра[109]. Я бы очень удивился, если бы какая-нибудь сегодняшняя Эме Квани не ожидала от войны, ведомой Республикой, того, что она

[108] Примечания: 108

Жорж Пикар (1854-1914) — генерал, первым заподозривший Эстерхази в предательстве.

[109] Примечания: 109

Эме де Квани (1769-1820) — монархистка, «заставившая Талейрана предать Наполеона и служить монархии» (Ларусс), автор «Мемуаров», опубликованных в 1902 Шарлем Морра, впоследствии написавшем о ней книгу. Последний (1868-1952) — один из основателей «Аксьон франсез», — писатель, всю жизнь испытывавший тяготение к фашизму.

ждала от войны, которую в 1812-м вела Империя. Если такая Эме действительно существует, то сбудутся ли ее ожидания? Я бы этого не хотел. Вернемся к самой войне: начал ли ее император Вильгельм? Я в этом сильно сомневаюсь. Но даже если он и начал ее, то чем его поступок хуже деяний Наполеона; мне это отвратительно, но я удивлен, что трепетные поклонники Наполеона находят это «ужасным», — и эти-то люди, когда объявили войну, восклицали, как генерал По: «Я ждал этого дня сорок лет. Это счастливейший день моей жизни». Видит Господь, возмущался ли кто-нибудь сильнее меня, когда в общество были допущены все эти националисты, милитаристы, когда любителей искусства обвиняли в том, что их занятия несут гибель Родине, потому что всякая культура, не исповедующая войну, тлетворна. Едва ли теперь светский человек идет в счет наряду с генералом. Одна сумасбродка чуть было не представила меня г-ну Сивето-ну[110]. Вы скажете мне, что я хотел защитить жалкие светские приличия. Но несмотря на всю их кажущуюся никчемность, они уберегли нас от многих эксцессов. Я всегда питал уважение

[110] Примечания: 110
Габриель Сиветон — депутат-националист.

к тем, кто защищает грамматику или логику. Лет через пятьдесят мы поймем, что эти дисциплины спасли нас от многих бед. Однако наши националисты — это законченные германофобы, это самые «упертые» политики. Но за последние пятнадцать лет их философия сильно изменилась. На деле они ратуют за продление войны. Но это, видите ли, ради истребления агрессора и во имя мира. Ибо теперь воинственная культура — которая казалась им столь прекрасной всего-то пятнадцать лет назад, — приводит их в ужас, они уже не просто обвиняют Пруссию в том, что там преобладает военный элемент, они постоянно твердят, что военные культуры были разрушителями всего, что теперь кажется им ценным, — не только искусств, но даже светскости. Достаточно обращения одного из этих критиков в национализм, и он неожиданно становится миролюбцем. Он убежден, что в любой воинственной культуре женщина играет приниженную роль. Только попробуй ему сказать, что «Дамы» средневековых рыцарей и Беатриче Данте были, быть может, вознесены так же высоко, как героини г-на Бека[111]. Наверное, скоро мне придется ужинать за

[111] Примечания: 111
Анри Бека (1837-1899) — драматург.

одним столом с русским революционером или одним из наших генералов, занятых войной, потому что они ее боятся, ну и чтобы покарать народ, культивирующий идеал, который они сами считали единственным тонизирующим средством чуть больше десяти лет назад. Несчастного царя чтили еще совсем недавно, потому что он созвал гаагскую конференцию[112]. А теперь все приветствуют свободную Россию, и уже никто не помнит, что позволяет ее славить. Так вращается колесо мира. И, однако, фразы, которые говорят в Германии, так похожи на те, что говорятся во Франции, что можно подумать, будто немцы нас цитируют, — сами-то они не признают, что «сражаются за существование». Когда я читаю: «Мы будем биться с жестоким и беспощадным врагом до тех пор, пока не будет заключен мир, который впредь защитит нас от любой агрессии, чтобы кровь наших бравых солдат не была пролита напрасно», или же: «кто не с нами, тот против нас», я не знаю, принадлежит эта фраза императору

[112] Примечания: 112

Несчастный царь — Николай II — созвал гаагскую конференцию в 1899. Следует помнить об условности времени в романе: герои беседуют, как сообщалось выше, в 1916 году. Ниже: никто не помнит — не совсем ясно, что имеет в виду барон: либо гаагские инициативы Николая II, либо отречение Николая, но в этом случае фрагмент должен датироваться 1917 годом.

Вильгельму или г-ну Пуанкаре, потому что тот и другой в нескольких вариантах произносили ее раз по двадцать, — хотя, по правде говоря, я должен признать, что император в данном случае подражал президенту Республики. Франция не продержалась бы в этой долгой войне, если бы по-прежнему была слаба, и Германия не спешила бы ее завершить, если бы не ослабла. Она не так сильна, как раньше, но сильна еще, и вы в этом убедитесь».

У него вошло в привычку громко выкрикивать слова — от нервозности, оттого, что он искал выхода своим впечатлениям, от которых ему, не преуспевшему в каком-либо искусстве, надо было избавиться, как авиатору от бомб, сбрасывая их хоть в пустоту, даже если его слова никого не досягали, и тем более в свете, где они также падали наудачу, где его слушали из снобизма, по привычке, и, поскольку он тиранил аудиторию, можно сказать — подневольно и из страха. К тому же, на бульварах это выступление было призвано продемонстрировать презрение к окружающим, ради которых он в той же мере понижал голос, сколь отклонялся от собственного пути. И его голос резал слух, обращал на себя внимание, и, главное, люди оборачивались, до них доходил

смысл его фраз, — они могли принять нас за пораженцев. Я сказал об этом г-ну де Шарлю и только вызвал припадок веселья. «Согласитесь, это было бы довольно забавно, — ответил он, и затем воскликнул: — В конечном счете, неизвестно, не попадет ли кто-нибудь из нас в завтрашнюю хронику происшествий. Почему бы меня, собственно, не расстрелять в Винсеннских рвах? Нечто подобное случилось с моим двоюродным дедом, герцогом Энгиенским[113]. Жажда благородной крови сводит чернь с ума, она проявляет в этом *большую утонченность*, чем львы. Знаете, для этих животных, чтобы броситься на г-жу Вердюрен, достаточно ссадины на ее носу. Что по молодости мы называли «пиф[114]!» И он принялся хохотать во всю глотку, словно мы были одни в гостиной.

Я замечал, как в сумраке, вслед за шествием г-на де Шарлю, проявлялись какие-то довольно подозрительные типы, — они скапливались

[113] Примечания: 113

Венсен — предшествующая Версалю резиденция французских монархов недалеко от Парижа. Замок впоследствии был использован в качестве тюрьмы. Герцог Энгиенский (1772-1804), Луи Антуан Анри — принц, последний представитель дома Конде, был расстрелян по приказу Наполеона по ложному доносу о заговоре.

[114] Примечания: 114

«Нос», «пятак». В пятом томе барон уже вспомнил «времена молодости» (ткнув пальцем в нос гардеробщика и сказав: «Пиф!»).

немного позади и я не мог решить, угоднее ли ему, чтобы я предоставил его самому себе, или же мне следует сопровождать его и дальше. Так, встретив старика, склонного к частым эпилептиформным припадкам, и поняв из непоследовательности его поведения, что, по-видимому, приступ неминуем, мы спрашиваем себя, нуждается ли он в нас, как возможном подспорье, или, скорее, мы опасны ему как свидетели, от которых он хотел бы скрыть припадок, одно присутствие которых, быть может, — тогда как полный покой помог бы ему справиться с затруднениями, — приближает падучую. Но в случае больного степень вероятности предполагаемого события узнается по походке — он пишет кренделя, как пьяница. Тогда как в случае г-на де Шарлю эти многочисленные расходящиеся обстоятельства, предзнаменования вероятного инцидента, — хотя я не был уверен, стремится он к нему, или опасается, что мое присутствие помешает его осуществлению, — представлялись какой-то хитроумной мизансценой, в которой был задействован не сам барон, шествовавший прямолинейно, но целый круг фигурантов. Но судя по всему он все-таки предпочел избежать столкновений и утащил меня за собой в поперечную улицу, где было еще

темней, чем на бульваре, но тем не менее и там на нас постоянно сыпались, если только не к нему они сбегались, солдаты всех армий и наций, — юношеский прилив, преодолевший, в утешение г-ну де Шарлю, бешеную стремнину, что унесла парижских мужчин на передовую в первые дни после мобилизации. Г-н де Шарлю, не смолкая, восхищался мелькавшими перед нами блестящими униформами, превратившими Париж в какой-то космополитический центр, какой-то порт, столь же правдоподобный, как ведута художника, который выстроил несколько зданий, чтобы на их фоне собрать самые разнородные и яркие костюмы. В его уважении и привязанности к дамам, которых обвиняли в капитулянтстве, ничего не изменилось, — как раньше к дамам, замеченным в дрейфусарстве. Он сожалел только, что, унизившись до политики, они дали повод «газетным пересудам». Его отношение к ним было прежним. Ибо легкомыслие барона носило систематический характер, и происхождение, в совокупности с красотой и прочими достоинствами, было чем-то нетленным, а война, как и дело Дрейфуса, — формой грубой и мимолетной. Расстреляй они герцогиню де Германт за попытку сепаратного мира с Австрией, в его глазах она

нисколько не потеряла бы своего благородства и, для него, опозорилась бы не больше, чем Мария Антуанетта, приговоренная к гильотине. В такие минуты г-н де Шарлю, великодушный, как своего рода Сен-Валье или Сен-Мегре[115], говорил без обиняков, жестко, торжественно, его речь была смела, ни единой нотой не отзываясь жеманством, изобличающим людей его пошиба. И все-таки, почему никто из них не может говорить нормально всегда? Даже теперь, когда его голос гудел басовыми тонами, он фальшивил, словно нуждаясь в настройщике. Впрочем, г-н де Шарлю потерял голову в буквальном смысле этого слова, он часто поднимал ее, сожалея, что не взял с собой бинокля, который, впрочем, не сильно бы ему помог — из-за позавчерашнего налета цеппелинов, разбудившего бдительность общественных властей, было много солдат прямо в небесах. Я заметил аэропланы несколькими часами раньше, они казались мне какими-то насекомыми, коричневыми пятнышками на фоне голубого вечера, а теперь их занесло в темноту, в которой затухали мерцающие фонари, словно тлеющие головешки. Может быть, мы потому испытываем сильное

[115] Примечания: 115
Мария Антуанетта (1755-1793) — королева, жена (1770) Людовика XVI.

ощущение красоты, глядя на эти мерцающие земные звезды, что смотрим на небо, а обычно мы не часто поднимаем к нему глаза. Теперь на Париж, как в 1914-м на Париж, беззащитно ожидавший удара врага, падал неизменный древний свет мертвенно и волшебно ясной луны, струившей на еще нетронутые монументы бесполезную красоту своего сияния, — но так же, как в 1914-м, и более многочисленные, чем тогда, помигивали многочисленные огоньки, то с аэропланов, то от прожекторов Эйфелевой башни; ими управляла умная, дружеская и неусыпная воля, и я испытывал ту же признательность, то же чувство покоя, что и в комнате Сен-Лу, в одной из келий военного монастыря, где в расцвете юности готовились, не колеблясь, пожертвовать своей жизнью ревностные и дисциплинированные сердца. После недавнего налета, когда небо было подвижней земли, оно затихло, как море после бури, но, как море, оно еще не успокоилось совсем. Аэропланы взлетали, как ракеты, соединяясь со звездами, и прожекторы медленно чертили в разрезанном небе, словно бледную звездную пыль, блуждающие млечные пути. Теперь аэропланы выстроились среди созвездий, и благодаря этим «новым звездам» могло пригрезиться, что мы

очутились в другом полушарии. Г-н де Шарлю выразил свое восхищение авиаторами и, так как он мог теперь свободно выражать свое германофильство, равно другие своим склонности (в то же время отрицая то и другое), добавил: «Однако немцы, которые летают на гота, восхищают меня не меньше. И еще на цеппелинах — представьте, какая смелость нужна для этого! Ведь это просто-напросто герои. Какой от них, спрашивается, вред, — ведь лупят же по ним батареи? Вы боитесь гота?» Я ответил, что нет, хотя, может быть, я был неправ. Наверное, когда леность приучила меня откладывать работу со дня на день, я вообразил, что так же обстоит дело со смертью. Как можно бояться пушки, если сегодня нас не убьют? Впрочем, поскольку мысли о падающей бомбе и возможной смерти были отдельны, они не добавляли ничего трагического в созданную моим воображением картину полета немецких летательных аппаратов, пока как-то вечером я не увидел, что, сброшенная с одного трясущегося, разрезанного на моих глазах валами туманного неспокойного неба аэроплана, который, хотя мне и была известна его смертоносность, представлялся мне только чем-то звездным и небесным, бомба летит прямо на нас. Ибо подлинная реаль-

ность опасности воспринимается только в этой, несводимой к уже известному новизне, которая и зовется впечатлением, и оно часто, как в этом случае, выражено одной линией, описывающей интенцию со скрытой мощью искажающего ее исполнения, тогда как на мосту Согласия, под грозным, затравленным аэропланом, светлые струи прожекторов преломлялись о небо, словно то были отраженные в облаках фонтаны Елисейских полей, площади Согласия и Тюильри, и это тоже были линии, преисполненные прозорливой охранительной волей могущественных и мудрых людей, которым, как ночью в донсьерской казарме, я был благодарен за то, что их сила без каких-либо оговорок взяла на себя заботу о нас.

Ночь была так же прекрасна, как в 1914-м, и Парижу грозила та же опасность. Свет луны, казалось, растягивал ласковое магниевое свечение, позволяя запечатлеть напоследок ночные образы прекрасных ансамблей Вандомской площади, площади Согласия, — и страх, который вызывали во мне разрывы бомб, что вот-вот могли разрушить эти ансамбли, придавал их еще нетронутой красоте какую-то полноту, словно бы они натужились загодя, подставляя ударам беззащитную архитектуру. «Вам не страшно? — повторил г-н

де Шарлю. — Парижане не чувствуют опасности. Мне говорили, что у г-жи Вердюрен званые ужины каждый вечер. Я об этом знаю только понаслышке, мне о них ничего не известно, я с ними полностью порвал», — добавил он, опустив не только глаза, как будто прошел телеграфист, но также голову, плечи, подняв кисти в жесте, выражавшем если и не «я умываю руки», то по меньшей мере «не могу вам ничего сказать» (хотя я у него ничего и не спрашивал). «Я знаю, что Морель часто ее посещает, — сказал он мне (он упомянул его впервые). — Говорят, он очень раскаивается и хочет со мной помириться», — добавил он, выказывая и легковерность человека из Предместья («Ходят упорные слухи, что Франция и Германия вовсю устанавливают контакты, и более того — переговоры уже начались»), и влюбленного, которого не убедили и самые жестокие отказы. «Во всяком случае, если он хочет помириться, ему нужно сказать об этом, я старше, чем он, и не мне делать первые шаги». Несомненно, говорить об этом было бессмысленно, это было очевидно. Но он был не совсем искренен, и этим привел меня в замешательство; было ясно: говоря, что первые шаги следует делать не ему, он напротив совершал их, рассчитывая, что я

вызовусь их примирить.

Мне известна эта наивная либо притворная легковерность влюбленных, или тех, кто у кого-то не принят, кто приписывает предмету своих стремлений желание, последним не проявленное — несмотря на целый ряд докучных ходатайств. Но я понял также по неожиданной взволнованности, с которой г-н де Шарлю выразил это желание, беспокойству, задрожавшему в глубине его глаз, что помимо заурядной банальной настырности там было и нечто другое. Я не ошибся, и я расскажу сейчас о двух фактах, впоследствии мне это доказавших (для второго из них, последовавшего за смертью г-на де Шарлю, мне придется на много лет забежать вперед. Однако, его смерть наступит много позже, и мы еще встретимся с ним, когда он переродится в совершенно иного человека, ничем не схожего с нашим знакомцем, — особенно, когда мы встретимся с ним в последний раз, в те времена, когда он окончательно забудет Мореля). Итак, где-то года через два или три после той прогулки по бульварам я встретил Мореля. Я сразу же вспомнил о г-не де Шарлю, я подумал, что встреча с Морелем доставит ему огромное удовольствие и попытался упросить скрипача посетить барона, хотя бы один раз. «Он сделал вам столько

добра, — сказал я Морелю, — к тому же, он уже стар и скоро может умереть, пора забыть о старых перебранках и помириться». Морель, казалось, был полностью со мной согласен относительно того, что примирение желательно, но не менее категорично отказывался хотя бы раз посетить г-на де Шарлю. «Вы не правы, — сказал я ему. — Чем ваш отказ объяснить: упрямством, леностью, злобой, неуместной гордыней, добродетелью (не сомневайтесь, она не пострадает), кокетством?» Скрипач скривил лицо — это признание ему, несомненно, дорого стоило, и, дрожа, ответил: «Ничего подобного, добродетель я в гробу видал, а злоба: наоборот, мне его почти жаль, и не из-за кокетства, тут кокетничать нечего, не от лени, я иногда вообще баклуши бью, — нет же, это… только никому не говорите и вам-то говорить это лишнее, я просто, просто… просто боюсь!» И его передернуло. Я признался, что не совсем его понимаю. «Не спрашивайте меня, не будем больше об этом говорить, вы не знаете его, как я, — можно сказать, что вы его не знаете вообще». — «Но что он вам сделает? Тем более, раз между вами теперь не будет никакой ссоры, он постарается обращаться с вами как можно обходительней. К тому же, его доброта вам известна». — «Черт! знаю ли я,

как он добр. Сама деликатность и порядочность! Но оставьте меня, не говорите мне об этом больше, я вас умоляю, в этом стыдно признаться, но я боюсь!» Второй факт относится к тому времени, когда г-н де Шарлю был уже мертв. Мне прислали несколько завещанных им сувениров и письмо в тройном конверте, написанное по меньшей мере за десять лет до кончины. Он серьезно болел, составил завещание, а после выздоровел, чтобы потом скатиться до того состояния, в котором он предстанет нашим глазам в день утреннего приема у принцессы де Германт; письмо, забытое им в сейфе, с завещанными друзьям вещами, пролежит там семь лет, — семь лет, за время которых он окончательно забудет Мореля. Написанное тонким и твердым почерком, письмо гласило:

«Мой милый друг, пути Провидения неисповедимы. Подчас его орудием служат пороки посредственного человечишки, чтобы уберечь от искушения праведничью высоту. Вы знаете Мореля, откуда он вышел, до каких вершин я хотел вознести его — иными словами, до своего уровня. Вы знаете, что он предпочел вернуться не к праху и пеплу, из которого всяк человек, как истинный феникс, может возродиться, но к грязи, кишащей гадюками. Он пал, и это предостерегло

меня от падения. Вы знаете, что на моем гербе тот же девиз, что и у Спасителя: Inculcabis super leonem et aspidem, что там изображен муж, попирающий стопами ног своих льва и змея — они изображены там как щитодержатели[116]. Но если я и смог раздавить собственного льва, льва в своей душе, то только благодаря змее, ее осмотрительности, которую я только что слишком легко назвал пороком, ибо глубокая мудрость Евангелия делает из него добродетель, — по крайней мере, добродетель для других. Наша змея, шипя с такими гармоническими модуляциями, когда ее чаровали — и немало очаровавшись, к тому же, — в своих пресмыкательствах не только не утратила музыкальности, но и сохранила некоторую необъятную добродетель, которую ныне я почитаю божественной — Благоразумие. И если я не признаюсь Вам, в чем оно, божественное, заключалось, что помогло ему устоять перед моими призывами, когда я передавал ему, чтоб он пришел ко мне, то я не получу покоя в этом мире и надежды на прощение в следующем. Здесь он проявил себя инструментом божественной

[116] Примечания: 116

super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis leonem et draconem, Пс. 90:12, 13. Щитодержатели (геральд.) — фигуры, обычно животных, поддерживающие щит, герб и т. п.

мудрости, ибо я решил, что он не уйдет от меня живым. Кому-то из нас суждено было погибнуть. Я решился его убить. Господь внушил ему премудрость, чтобы уберечь меня от преступления. Я не сомневаюсь, что решающую роль здесь сыграло заступничество архангела Михаила, моего святого покровителя, и я молю его простить мне, что не вспоминал о нем столько лет и дурно ответствовал на его бесчисленные благодеяния, его помощь в моей борьбе со злом. Я обязан этим служителю Господню, и говорю в полноте веры моей и рассудка моего: Отец Небесный наставил Мореля не приходить. Итак, теперь умираю я. Преданный вам, semper idem,

П. Г. Шарлю»

Я понял, чего боялся Морель; конечно, в этом письме много было и спеси, и литературщины. Но признание было правдивым. И Морель знал лучше меня, что «симптомы, как у буйных», как говорила г-жа де Германт о своем девере, не ограничивались, как я полагал до этого момента, краткими вспышками показного и бездейственного бешенства.

Но вернемся назад. Мы шли по бульварам с г-ном де Шарлю, только что подрядившим меня на своего рода посредничество в замирении

между ним и Морелем. Не услышав ответа, он продолжил: «Я, впрочем, не знаю, почему он не играет; сейчас, в военное время, не устраивают концертов, но ведь есть же танцы, ужины, женщины изобрели Амбрин[117] для кожи. Мы отмечаем праздниками эти, — если немцы еще продвинутся, — последние дни наших Помпей. Только крах избавит их от легкомыслия. Если лава какого-нибудь германского Везувия (немецкие морские орудия не менее ужасны, чем вулкан) настигнет их за туалетом, то их прерванные движения застынут на века, и много столетий спустя дети будут рассматривать в учебниках г-жу Моле, накладывающую последний слой румян, прежде чем отправиться к золовке, или Состен де Германт, только что нарисовавшую фальшивые брови. Это будет материалом для лекций всяких Бришо будущего — легкомыслие эпохи десять веков спустя! материя самых основательных исследований, особенно если она законсервирована целиком — вулканической лавой или ее подобием, тем, что остается после

[117] Примечания: 117

Первое значение — духи из эссенции амбры, получаемой из фекалий кашалота, чрезвычайно популярные в конце 19 в. Либо — крем из амбры искусственной, не столь благовонной смеси парафина и янтарной смолы.

бомбардировки. Какие документы будут предоставлены грядущим историкам, когда удушливые газы, вроде испущенных Везувием, и обвалы, вроде тех, что погребли Помпеи, сохранят в целости жилища опрометчивых коллекционеров, не успевших отправить в Байонну[118] статуи и картины! Впрочем, чем это не Помпеи частями — уже год, каждый вечер, как эти люди лезут в подвалы, но не для того, чтобы приложиться к старой бутылке мутон-ротшильда или сент-эмильона, но дабы припрятать драгоценности, как священники Геркуланума, застигнутые смертью, когда они выносили священные вазы? Всегда есть какая-то привязанность к предмету, который принесет смерть владельцу. Париж не был основан Гераклом, как Геркуланум. Но что за сходства! и прозрение присуще не только нашему времени — каждая эпоха владела этим даром. Если мне приходит на ум, что завтра нас, возможно, ждет участь городов у подножия Везувия, то помпейские жители чувствовали, что им угрожает судьба проклятых городов Библии. На стене одного помпейского дома нашли изобличительную надпись: «Содом, Гоморра"». Я не знаю, от

[118] Примечания: 118

Байонна — город на юго-западе Франции, расположен на берегу океана, вдалеке от театра военных действий.

упоминания ли о Содоме и мыслей, которые оно пробудило в нем, или вспомнив о бомбежке, но г-н де Шарлю поднял на мгновение глаза к небу, но тотчас опустил их к земле. «Я восхищаюсь всеми героями этой войны, — сказал он. — Вы только подумайте, дорогой мой, в начале войны я, несколько опрометчиво, называл английских солдат заурядными футболистами, излишне надменными, чтобы померяться силами с профессионалами — и какими профессионалами! итак, даже с эстетической точки зрения, они — прямо-таки греческие атлеты, вы понимаете, греческие, милейший, молодые люди Платона, — или, точнее, спартанцы. Один мой друг поехал в Руан, где их лагерь, и увидел чудеса, просто чудеса, чудеса невообразимые. Это больше не Руан, это другой город. Конечно, там остался и старый Руан, с изнеможденными святыми собора. Разумеется, все это так же прекрасно, но совершенно иначе. И наши пуалю! Не могу вам даже сказать, как я очарован нашими пуалю, молодыми парижатами, вот как этот вот — вот, что идет с разбитным видом, миной шустрой такой, забавной. Частенько я их останавливаю, болтаю с ними, — какое остроумие, какой здравый рассудок, — а парни из провинции! какие они милые, какие славные, с

их раскатистым "р" и местечковым арго! Я много жил в деревне, ночевал на фермах, я понимаю их язык. Но восхищаясь французами, мы не должны принижать наших врагов, иначе мы умалились бы сами. Вы не знаете, каков немецкий солдат, вы не видели, как он марширует на параде в ногу, гуськом по своей unter den Linden. Вспомнив об идеале мужественности, эскиз которого был набросан им еще в Бальбеке, — со временем, впрочем, этот идеал принял более философические формы, но по-прежнему подразумевал те же абсурдные заключения, выдававшие подчас, даже если минутой ранее барону удавалось подняться надо всем этим, слишком слабую основу простого светского, хотя и интеллигентного человека, — он продолжил: „Представляете, великолепный молодец, солдат бош — это существо сильное, здоровое, он думает только о величии своей страны. Deutschland uber alles — это не так глупо; а мы, — пока они готовились, мужали, — мы погружались в дилетантизм“. Для г-на де Шарлю это слово обозначало, по-видимому, что-то связанное с литературой, ибо, вероятно, вспомнив тотчас, что я любил словесность и когда-то намеревался ею заняться, он хлопнул меня по плечу (оперевшись, он причинил мне такую

же боль, как, когда я проходил военную службу, удар по лопатке „76-го“, и сказал, будто смягчая укоризну: „Да, мы скатились в дилетантизм, все мы, и вы тоже, и вы можете, как и я, сказать: mea culpa — мы все были слишком дилетантами“. Из-за нежданности этого упрека, оттого, что у меня не хватило духу возразить, и, к тому же, я испытывал почтение к моему собеседнику и был растроган его дружеской добротой, я, как ему и хотелось, поддакнул, — мне бы стоило еще постучать кулаком в грудь, что было бы совсем глупо, ибо я и в черном сне не упрекнул бы себя в дилетантизме. „Ладно, — сказал он мне, я вас оставлю (группа, сопровождавшая его издали, рассеялась) — я пойду спать, как и положено пожилому человеку; тем паче, война изменила все наши привычки, — один из этих идиотских афоризмов, так любимых Норпуа“. Впрочем, мне было известно, что солдаты ждут г-на де Шарлю и дома, ибо он перестроил свой особняк в военный госпиталь, повинуясь, полагаю, не столько причудам своей фантазии, сколь своему доброму сердцу.

Наступила тихая прозрачная ночь; Сена, струившаяся сквозь круглые пролеты арок и их отражений, напоминала мне о Босфоре. И то ли

символ нашествия, предсказанного пораженцем де Шарлю, то ли символ союза наших мусульманских братьев с французскими армиями, луна, узкая и изогнутая, как цехин, возвела над парижским небом восточный полумесяц.

Однако еще с минуту, прощаясь, г-н де Шарлю тряс мне руку, едва не раздавив ее, — немецкая привычка людей, подобных барону, — и, как сказал бы Котар, «массировал» ее так некоторое время, словно бы ему хотелось придать моим суставам гибкость, вовсе ими не утраченную. У некоторых слепых осязание, в определенной мере, восполняет зрение. Я не знаю, какое чувство оно заменяло у барона. Он хотел, наверное, только пожать мне руку, как ему хотелось разве посмотреть чуть-чуть на сенегальца, прошедшего в сумраке, не соблаговолившего заметить, какое восхищение он вызвал. Но в обоих случаях барон хватал через край, греша избытком контакта и взглядов. «Разве в этом — не весь восток Декана, Фромантена, Энгра, Делакруа? — вопрошал он, остолбенев. — Знаете, если я и интересовался вещами и людьми, то только как художник, как философ. Впрочем, я слишком стар. Но какое несчастье, что — чтобы придать картине завер-

шенность — один из нас не одалиска!»[119]

Когда я распрощался с бароном, мое воображение преследовал не Восток Декана, даже не Восток Делакруа, — это был древний Восток Тысячи и одной ночи, так мною некогда любимой книги, и, погружаясь мало-помалу в сеть темных улиц, я размышлял о халифе Гарун Аль-Рашиде, ищущем приключений в глухих кварталах Багдада. Но от жары и ходьбы мне сильно хотелось пить, а все бары уже давно закрылись, и встретившиеся мне редкие такси, ведомые левантинцами или неграми, из-за нехватки горючего даже не утруждали себя ответом на мои призывы. Единственным местом, где я мог бы попить и набраться сил для возвращения домой, был какой-нибудь отель. Но с тех пор, как гота бомбили Париж, на довольно удаленной от центра улочке, куда я забрел, закрылось все. Закрылись магазины, ибо лавочники разъехались (за недостатком служащих или от испуга) по деревням, оставив по себе объявления, написанные, как правило, от руки, где сообщалось, что открытие ожидается не скоро, и, впрочем, само по себе еще под вопросом. На дверях других заведений тем же манером

[119] Примечания: 119

Александр Габриель Декан (1803-1860) — живописец и график. Картины на восточную тему. Не одалиска, увы, — сенегалец, конечно же.

извещалось, что они открыты два раза в неделю. Чувствовалось, что нужда, запущенность и страх поселились в этих кварталах. Тем сильнее было мое удивление, когда в длинной череде заброшенных домов нашелся такой, где, казалось, довольство и богатство одолели запустение и нищету. Свет за закрытыми ставнями, затененный согласно предписаниям полиции, свидетельствовал, однако, что об экономии здесь не заботятся. И ежесекундно хлопала дверь, кто-нибудь выходил, входил новый посетитель. Наверное, местные коммерсанты исходили черной завистью — владельцы этого отеля выручали деньги не малые; и я ощутил жгучий интерес, когда заметил, что метрах в пятнадцати от меня, то есть слишком далеко, чтобы я смог разглядеть его в кромешной тьме, мелькнул вышедший оттуда офицер.

Что-то, однако, меня удивило, — причем не лицо его, которого я не разглядел, и не форма, скрытая широким плащом, — скорее, пугающая диспропорция между общим числом различных точек траектории, по которой двигалось его тело, и секундами, на протяжении которых оно их миновало; это походило на попытку бегства из окружения. Так что я подумал, хотя я не узнал его наверняка, не об осанке, не о стройности,

не о походке, не о быстроте Сен-Лу, но о своего рода повсеместности, так сильно отличавшей его от других. Военный, способный занимать за короткий отрезок времени многие точки в пространстве, не заметив меня исчез в поперечной улице, а я остался, спрашивая себя, надо ли мне заходить в этот отель, скромный фасад которого вызвал у меня сомнения, был ли этим человеком Сен-Лу.

Мне невольно пришло на память, что не так давно без каких-либо веских оснований Сен-Лу обвинили в шпионаже, потому что его имя фигурировало в перехваченном письме немецкого офицера. Впрочем, справедливость была восстановлена военными властями. Но против воли я сопоставлял это воспоминание с тем, что увидел. Может быть, в этом отеле встречались шпионы? Офицер уже исчез, в отель входили рядовые разных армий, и это только усилило мои подозрения. К тому же, я испытывал сильную жажду. Вероятно, здесь можно было утолить и ее и, несмотря на связанное с ним волнение, мое любопытство. Итак, не только пробужденный этой встречей интерес подтолкнул меня к маленькой лестнице в две-три ступени, ведущей к распахнутой, из-за жары, наверное, двери в своего рода вестибюль.

Я сразу понял, что ничего не узнаю, потому что, стоя в тени на лестнице, я несколько раз услышал, как спрашивали комнату, однако ответ был неизменен: все заняты. Очевидно, комнаты в шпионском гнезде могли получить только свои, и простому моряку, объявившемуся чуть позже, поспешили выдать ключи от номера 28.

Незамеченный в темноте, я разглядел нескольких солдат и двух рабочих, преспокойно болтавших в душной комнатке, вульгарно украшенной женскими фотографиями из журналов и иллюстрированных обозрений. Они тихо болтали, причем в патриотическом духе: «Что поделаешь, все там будем», — сказал один. «Не, я-то уверен, что меня не убьют», — ответил другой на не расслышанное мною пожелание; ему, как мне показалось, завтра пора было на передовую. «Ну, я так думаю, в двадцать два и только полгода постреляв, это чересчур», — воскликнул он, и в его голосе еще сильнее, чем желание долгой жизни, сквозила убежденность, что он рассуждает здраво, словно бы оттого, что ему исполнилось только двадцать два, у него больше шансов выжить, что умереть в таком возрасте просто невозможно. «А Париж — это неслабо; не скажешь, что здесь война, — сказал другой. — Ну что, Жюло, ты все

так же насчет пороха?» — «Само собой, я так хочу туда попасть и накостылять всем этим гнусным бошам». — «Да ну, Жоффру только бы по женам министров и таскаться, ничего он больше не делает». — «Достали уже трепаться, — сказал авиатор, который был немного старше своих собеседников, обернувшись к рабочему, автору этой реплики, и добавил: — Я бы вам советовал не трещать так на первой линии, пуалю вас быстро отделают». Банальность этих разговоров не побуждала меня слушать их и дальше, я думал уже то ли уйти, то ли войти внутрь, и вдруг услышал слова, заставившие меня содрогнуться, и от моего равнодушия не осталось и следа: «Вот дела, патрон-то не вернулся; черт, поди пойми, где он сейчас возьмет цепи-то». — «Да ведь того привязали уже». — «Да привязать-то привязали, да привяжи меня так, я бы мигом развязался». — «Но замок-то закрыт». — «Закрыть-то закрыт, так накрайняк и откроется. Плохо, что цепочки не очень длинные. Что ты мне объясняешь, я вчера его всю ночь лупил, у меня все руки были в кровище». — «Ты его сегодня?» — «Не, не я. Морис. Но я завтра, патрон обещал». — Теперь я понял, зачем понадобились крепкие руки моряка. Сюда не пускали мирных буржуа не только потому,

что в этом отеле угнездились шпионы. Здесь совершится чудовищное преступление, если никто вовремя не предотвратит его и не арестует виновных. Во всем этом, однако, в тихой и грозной ночи, было что-то от сновидения, что-то от сказки, и, исполненный гордости поборника справедливости и сладострастия поэта, я решительно вошел внутрь.

Я слегка тронул шляпу; присутствующие, не особо обеспокоившись, более или менее вежливо ответили на мое приветствие. «Не скажете ли, к кому мне обратиться. Мне нужна комната и чтобы принесли воды». — «Подождите минутку, патрон вышел». — «Но ведь шеф наверху», — заметил один из собеседников. — «Ты же знаешь, его тревожить нельзя». — «Вы думаете, мне дадут комнату?» — «Да, конечно». — «43-й, должно быть, свободен», — сказал молодой человек, уверенный, что его не убьют, потому что ему двадцать два года. И он слегка подвинулся на диване, освобождая мне место. «Открыли бы что ли окно, дымища-то здесь!» — сказал авиатор; и действительно, каждый курил трубку или сигарету. «Да, но закройте тогда ставни, знаете же, что нельзя светить из-за цеппелинов». — «Не будет больше цеппелинов. В газетах написали, что они все

попадали». — «Не будет больше, не будет больше — да ты что об этом знаешь? Вот посидишь, как я, год и три месяца в окопе, собьешь свой пятый бошевский самолет, тогда и говори. Не надо верить газетам. Они вчера летали на Компьень, убило мать с двумя детками». — «Мать с двумя детками!» — с глубоким состраданием и огнем в глазах воскликнул молодой человек, рассчитывавший, что его не убьют; его волевое и искреннее лицо очень располагало к себе. — «Что-то нет весточки от Жюло-старшего. Его крестная не получала от него письма уже с неделю, и это первый раз он ей так долго не пишет». — «Это кто это, его крестная?» — «Эта дама, у которой клозет чуть ниже Олимпии[120]». — «Он с ней спит?» — «Что ты такое говоришь? Она дама замужняя, вся такая очень важная. Она ему денег посылает каждую неделю, потому что добрая. О! это шикарная женщина». — «А ты-то его знаешь, старшего Жюло?» — «Знаю ли я его! — пылко ответил молодой человек двадцати двух лет. — Да мы с ним кореша. Таких как он, на свете не сыскать, и друг хороший — всегда поможет. Да… Вот беда-то, если с ним стряслось чего». — Предложили партию в кости,

[120] Примечания: 120

Крестная — женщина, опекающая солдата. Олимпия — трактир.

и молодой человек лихорадочно засуетился; он бросал кости, вытаращив глаза, и выкрикивал номера — можно было догадаться, что у него темперамент игрока. Я не расслышал, что ему сказали, но он воскликнул с досадой: «Жюло — кот[121]? Это говорят, что кот. Да какой он к черту кот! Я сам видел, как он своей бабе платил, — да, видел. То есть, я не говорю, что Жанна Алжирка ему совсем ничего не давала, но она ему не давала больше пяти франков, а баба была при борделе и получала по пятьдесят франков в день. Брать по пять франков, так это надо быть полным идиотом. И теперь, как она на фронте, жизнь у нее тяжелая, согласен, но она получает сколько хочет, и не посылает она ему ничего. Жюло — кот? Много таких, кого можно назвать котами, если уж так посмотреть. Он не то что не кот, он дурачина самый натуральный». Старший, обязанный патроном, наверное, по возрасту, блюсти некоторую воздержанность, слышал, возвращаясь из уборной, только конец разговора. Он не удержался и бросил на меня взгляд; казалось, он был явно недоволен впечатлением, каковое могла произвести на меня эта беседа. Не обра-

[121] Примечания: 121
Сутенер.

щаясь непосредственно к двадцатидвухлетнему молодому человеку, намеревавшемуся, по-видимому, изложить теорию продажной любви, он сказал как бы вообще: «Вы разговариваете слишком уж громко, окно открыто, а некоторые люди в это время спят. Что, не ясно? Если патрон сейчас вернется, то вам не поздоровится».

В ту же секунду дверь и открылась; все замолкли, полагая, что это патрон, но это был только шофер, иностранец; его приветствовали с радостью. Однако, заметив прекрасную часовую цепочку, красовавшуюся на его куртке, двадцатидвухлетний молодой человек бросил на него вопросительный и веселый взгляд, затем нахмурил брови и подмигнул, многозначительно кося в мою сторону. И я понял, что первый взгляд означал: «Ну что, стащил-таки ее? Поздравляю». А второй: «Ничего не говори при этом типе, мы его не знаем». Тотчас вошел патрон, он тащил за собой несколько метров толстых железных цепей, — ими можно было сковать несколько каторжников, — весь в поту, и сказал: «Тяжело мне, дармоеды, — помочь нельзя, что ли?». Я спросил комнату. «Только на несколько часов, я не нашел экипажа и немного болен. И хотел бы, чтобы мне принесли пить». — «Пьер, иди в

погреб, посмотри черной смородины и скажи, чтоб приготовили номер 43. Опять 7-й звонит. Они говорят, что они больны. Больны они, мать их за ногу… коко нанюхались, вот и поехали, пора их на хрен отсюдова. Отнес пару простынь в 22-й? Хорошо. Вот 7-й звонит, сбегай, посмотри. Ну, Морис, чего копаешься? Знаешь ведь, что тебя ждут, марш в 14-бис. И живехонько!» Морис быстро вышел за патроном, уносившим цепи и несколько раздосадованным, что они попались мне на глаза. «Что ж ты так поздно», — спросил двадцатидвухлетний у шофера. — «Что „поздно“? Мне еще час. Запаришься ходить-то. Мне только в полночь». — «Так чего ж ты пришел?» — «Для Памелы прекрасной», — ответил восточный шофер, и смех обнажил его красивые белые зубы. — «А-а», — протянул двадцатидвухлетний. Вскоре меня провели в комнату 43, но там было так неуютно, а мое любопытство было столь велико, что, выпив «смородины», я спустился по лестнице, затем, передумав, вернулся, и, пройдя выше этажа, на котором находилась комната 43, дошел до самого верха. И тут из одной комнаты в конце коридора послышались приглушенные стоны. Я живо пошел туда и приложил ухо к двери. «Я прошу вас, смилуйтесь, смилуйтесь

ради Бога, отвяжите меня, не бейте меня так больно, — говорил кто-то. — Я ноги вам целую, умоляю вас, я больше не буду… Сжальтесь надо мной…». — «Нет, сволочь, и раз уж ты орешь и ползаешь на коленях, сейчас мы прикуем тебя к кровати — и не будет тебе пощады!» — и я услышал, как щелкнула плеть, вероятно, с железными струнами, ибо тотчас последовал крик боли. Я заметил, что в этой комнате было слуховое окошко, которое забыли закрыть; крадучись в сумраке, я проскользнул к нему, и увидел перед собой прикованного к кровати, подобно Прометею на скале, получающего удары, наносимые ему Морисом, плетью, действительно со стальными крючьями, уже окровавленного, покрытого синяками, свидетельствовавшими, что пытка была не первой, г-на де Шарлю. Внезапно дверь отворилась, туда вошел кто-то, но по счастью меня не заметил, — это был Жюпьен. Он приблизился к барону, вид его выражал почтение, он хитровато улыбался: «Итак, я вам не нужен?» Барон попросил его вывести на минутку Мориса. Жюпьен выставил того вон, не церемонясь. «Нас не могут услышать?» — спросил барон у Жюпьена, заверившего, что не могут. Барон знал, что у Жюпьена, с его умом, скорее, литераторского склада, не было никакой

практической смекалки, что в присутствии заинтересованных лиц он выражался намеками, никого не вводящими в заблуждение, и употреблял прозвища, известные всему свету.

«Секунду», — перебил Жюпьен, услышав звонок из комнаты номер 3. Это был депутат от «Аксьон Либераль»[122], он уходил. Жюпьену не нужно было смотреть на табло, потому что он узнал его колокольчик; обычно депутат приходил после завтрака. В этот день расписание изменилось по причине брака его дочери, совершившегося в полдень в Сен-Пьер-де-Шайо. Итак, он пришел только вечером, но торопился уйти пораньше, потому что жена тревожилась за него, если он возвращался поздно, особенно теперь, когда бомбежки участились. Жюпьену хотелось проводить его до дверей, чтобы засвидетельствовать почтение, испытываемое им к званию депутата, — без какого-либо личного, впрочем, интереса. Ибо хотя этот депутат и отвергал крайности «Аксьон Франсез» (однако, он не способен был понять и

[122] Примечания: 122

«Аксьон Либераль», преимущественно католическая организация, вошла в Национальный Блок в 1919. Ниже: Сен-Пьер-де-Шайо — церковь в Париже.

строчки Шарля Морра или Леона Доде[123]) и был накоротке с министрами, любившими посещать его охоты, Жюпьен не осмелился бы просить его и о малейшей поддержке в своих распрях с полицией. Он знал, что если заговорит об этом с удачливым и трусливым законодателем, то это не убережет и от самого безобидного «шмона», но приведет к потере щедрейшего из клиентов. Проводив до дверей депутата, — который, нахлобучив шляпу на нос, поднял воротник и заскользил, как в своих депутатских речах, спрятав лицо, — Жюпьен поднялся к г-ну де Шарлю, и сказал: «Это был г-н Эжен». В доме Жюпьена, как в клиниках, людей звали по имени, спеша добавить на ухо, чтобы удовлетворить любопытство завсегдатая и повысить престиж заведения, их настоящую фамилию. Иногда, правда, Жюпьену не было известно, кем являлся его клиент, и тогда он пускался в фантазии, заверяя, что это — такой-то биржевик, дворянин, артист; ошибки мимолетные, забавлявшие тех, на чей счет Жюпьен заблуждался. В конце концов, он смирялся с окончательным неведением, кто был г-ном

[123] Примечания: 123

Леон Доде (1868-1942), журналист и писатель, сын Альфонса Доде. И Морра, и Доде принимали активное участие в создании «Аксьон Франсез», полуфашистской, полукатолической группировки.

Виктором. Жюпьен привык также, чтобы угодить барону, поступать несколько противоположно порядку, заведенному в иных собраниях: «Я сейчас представлю вам г-на Лебрена» — и на ухо: «Он просит называть себя г-ном Лебреном, но в действительности это русский великий князь». Жюпьен чувствовал, что этого еще недостаточно, чтобы представить г-ну де Шарлю приказчика из молочной. Потому он бормотал, подмигивая: «Это — молочник, но вообще-то, на самом-то деле, один из опаснейших бандитов Бельвиля» (надо было видеть, как игриво Жюпьен произносил: «бандит»). И словно бы этой рекомендации не хватало, он присовокуплял «свидетельства славы». «Несколько раз он был осужден за кражи и ограбления, сидел во Фрезне за драки (тем же игривым тоном) с прохожими, потому что он их слегка изувечил; он был в штрафном на лимпопо[124]. И убил своего сержанта!»

Барона даже несколько раздражало, что в этом заведении, по его же поручению и купленном фактотумом де Шарлю, где Жюпьен с помощником и заправлял делами, по вине дяди м-ль д'Олорон все более или менее хорошо знали, кто

[124] Примечания: 124

Бельвиль — парижский пригород. Фрезна — тюрьма недалеко от Парижа. Лимпопо — bat'd'Af — штрафной африканский батальон.

он такой, как его зовут (многие, правда, считали имя «де Шарлю» кличкой и путались в произношении; в итоге порукой чести барона была не столько сдержанность Жюпьена, сколько глупость его подопечных). Но барон предпочел довериться заверениям Жюпьена и, успокоенный тем, что их не могут услышать, сказал ему: «Я не хотел говорить при этом малыше — он очень мил и старается вовсю. Но мне кажется, что он недостаточно груб. Он приятно выглядит, но называет меня сволочью, словно повторяет урок». — «Нет, никто ему ничего не говорил, — ответил Жюпьен, не замечая, что это утверждение неправдоподобно. — Он, кстати, привлекался по делу об убийстве консьержки из Ла Вилетт». — «Да? Это довольно любопытно», — ответил барон, улыбаясь. — «У меня там, кстати, как раз один мясник, мужик с бойни, и на него похож, — попал сюда чисто случайно. Желаете попробовать?» — «О да, охотно». Я видел, как вошел мясник с бойни, он действительно чем-то был похож на Мориса, однако интереснее всего было то, что в облике двух этих молодых людей было что-то общее — тот тип внешности, который я лично никогда не выделял среди прочих, однако этот типаж, как я сейчас понял, читался и в облике Мореля, — они чем-то

были схожи если и не с самим Морелем, каким он представлялся мне, то по меньшей мере с лицом, которое глаза, смотревшие на Мореля под иным углом, чем мои, составляли из его черт. Стоило мне только создать в уме, отыскав эти черты в памяти, схематический портрет Мореля, каким он виделся другому, и я понял, что эти юноши, один — приказчик-ювелир, второй — служащий отеля, были смутными его подобиями. Следует ли из этого, что, по крайней мере, в некоторых своих склонностях г-н де Шарлю хранил верность одному облику, что то же самое желание, остановившее выбор на двух этих юношах, когда-то подтолкнуло его и к Морелю на перроне донсьерского вокзала, что все они походили на эфеба, чьи очертания, вырезанные в глазах де Шарлю, как в сапфире, придавали взгляду барона какую-то особенность, так сильно испугавшую меня в нашу первую бальбекскую встречу? Или же любовь к Морелю этот тип и определила, и он стремился к нему, чтобы утешиться в разлуке, подыскивая напоминавших его мужчин? И еще я подумал, что, быть может, между ним и скрипачом, вопреки тому, что можно было подумать, никогда ничего не было помимо чисто дружеских отношений, что г-н де Шарлю заставлял Жюпьена отыски-

вать юношей, чем-то схожих с Морелем, чтобы, благодаря им, вкусить иллюзию наслаждения с Морелем. Правда, если вспомнить, что г-н де Шарлю для скрипача сделал, это предположение может показаться неправдоподобным, — если бы мы не знали, что любовь не только заставляет нас приносить величайшие жертвы любимому существу, но иногда вынуждает нас жертвовать и самим нашим желанием, — оно, впрочем, почти не исполнимо, если предмет страсти чувствует, что наша любовь сильнее. И неправдоподобие этой догадки, коего она, на первый взгляд, не лишена (хотя все равно, конечно, не соответствует действительности), почти полностью развеется, если мы учтем глубоко страстный характер, нервический темперамент г-на де Шарлю, в этом пункте схожий с характером Сен-Лу, — в истоке его отношений с Морелем эта чувственность могла сыграть ту же роль, только в более негативной форме, что, поначалу, в отношениях его племянника с Рашелью. Для того, чтобы отношения с возлюбленной (и это может распространяться на любовь к юноше) остались платоническими, могут найтись и другие причины, помимо добродетели женщины и нечувственной природы любви, которую она вдохнула. Подчас любящий

излишне нетерпелив, его переполняет влечение и он не всегда находит в себе силы, чтобы притворяться равнодушным в ожидании того момента, когда получит все, чего хочет. Его натиски постоянны, он ежедневно пишет возлюбленной, пытается встречаться с ней почаще, и унывает, если она ему отказывает. Но стоит ей понять, что ее общество, ее дружба представляются значительными благами тому, кто их лишен, и она сделает все возможное, чтобы не предоставлять их впредь, и, пользуясь той минутой, когда разлука с ней уже непереносима, когда он будет готов положить войне конец любой ценой, она предпишет ему мировую, первым условием которой будут платонические отношения. Впрочем, за время, предшествующее этому соглашению, влюбленный, — постоянно тоскуя, алча письма и взгляда, — забывает и думать о физическом обладании, желание которого истерзало его поначалу, но иссякло в ожидании и уступило место потребностям другого порядка, более мучительным, впрочем, поскольку они не удовлетворены. Так позднее мы получаем удовольствие, которое в первые дни надеялись извлечь из ласк, в совершенно искаженном виде: в дружеских словах, обещании побыть рядом, и эти слова — после

измучившей нас неопределенности, иногда после взгляда, омраченного тенью отчуждения, так отдаляющего от нас человека, что нам кажется: мы никогда его уже не увидим, — в значительной мере разряжают обстановку. Женщина догадывается и просто счастлива, что вовсе не нужно отдаваться тому, в ком она ощутила, — если мужчина несколько излишне нервничал поначалу, разыскивая ее, — неисцелимое желание обладать ею. Женщина радуется, что, не отдавая ничего, она получает гораздо больше, чем обычно получала отдаваясь. Так самые нервные люди приходят к вере в добродетель своего идола. И этот ореол, который они выписывают вокруг нее, это, стало быть, только производное — хотя и несколько опосредованное — их чрезмерной любви. В этой горячке женщина становится в один ряд с некоторыми поневоле коварными лекарствами: снотворными, морфином. Сильнее всего они нужны вовсе не тем, кто, благодаря им, вкусит глубокий сон и подлинные услады. Не он купит их ценой злата, обменяет на них все, чем владеет. Это будет уже другой человек (возможно, тот же самый, но изменившийся по прошествии лет), медикамент не принесет ему ни сна, ни неги, — но если снадобья нет под рукою, у него

одно желание: остановить мучительную тревогу любой ценой, даже ценой жизни.

Вернемся к г-ну де Шарлю, история болезни которого, если не учитывать полового сходства, относится к общим законам любви. Что с того, что его род был древней Капентингов, на что ему было богатство, любовь изысканнейшего общества: барон тщетно говорил ничтожному Морелю, как когда-то и мне: «Я принц, я желаю вам блага», — если бы Морель решился не уступать ни пяди, в выигрыше, опять-таки, он бы и остался. Для того, чтобы ему «не захотелось», ему хватило бы, наверное, почувствовать себя любимым. Точно так же важные особы боятся снобов, изо всех сил пытающихся с ними сдружиться, мужчины — гомосексуалистов, женщины — чрезмерно влюбленных. Г-н де Шарлю не только располагал всеми мыслимыми благами, но и наверняка предоставил бы большую их часть Морелю. Однако, все это разбилось об упорство. И здесь г-н де Шарлю опять чем-то напоминал немцев, — к которым, к тому же, он принадлежал по крови, — одержавших в этой войне, как о том чересчур охотно распространялся барон, победы на всех фронтах. Но что дали немцам эти победы, если после каждой из них союзники все более реши-

тельно отказывали им в том, чего им, собственно, было нужно — в Мире? Так Наполеон вступил в Россию и великодушно предписал властям выйти к нему навстречу. Но никто не явился.

Я спустился по лестнице и вернулся в маленький вестибюль, где Морис, не знавший, позовут ли его еще (Жюпьен на всякий случай велел ему подождать), перебрасывался картами с одним из своих товарищей. Они были крайне взволнованы найденным ими на полу Военным крестом[125] — они не знали, кто его потерял, кому отослать, чтобы избавить владельца от взыскания. Затем речь зашла о великодушии какого-то офицера, пошедшего на смерть, чтобы спасти ординарца. «Есть все-таки добрые люди среди богатых. Я бы с удовольствием пошел на смерть ради такого типа, как он», — сказал Морис, питавший предрасположенность к жутким поркам барона, вероятно, исключительно по механической привычке, вследствие плохого образования, нужды в деньгах и некоторой склонности зарабатывать их способом, доставляющим меньше хлопот, чем работа, и, наверное, более прибыльным. Но по-

[125] Примечания: 125

Croix de guerre — военный крест — военная награда, присуждавшаяся в двух войнах за исключительную отвагу как французам, так и иностранцам.

мимо того, — и барон не напрасно опасался, — у этого мальчика было слишком доброе сердце и он, казалось, был изрядно отважен. На его глазах чуть не выступили слезы, когда он заговорил о смерти офицера, — и двадцатидвухлетний юноша был взволнован не меньше. «Да, это шикарные ребята. Для нас, парни, невелика потеря, но для барина, у которого куча слуг, который что ни день, то клюкнет перед ужином, это сильно. Все, конечно, можно выстебать, но когда такие типы умирают, это действительно нечто. Господь Бог не должен был допустить, чтобы такие богачи погибали — во-первых, они жуть как полезны для рабочего. Только за одного такого парня надо всех немцев передавить, до последнего, и за то, что они сделали в Левене[126], за отрезанные детские ручки — да и не знаю я, я не лучше других, но я бы лучше пустил бы пулю в глотку, чем подчинился таким варварам, как они; это не люди, это настоящие варвары, скажи еще, что не так». Все эти юноши, короче говоря, были патриотами. Правда, один из них, слегка раненный в руку, был не на высоте остальных, — он вскоре должен вернуться на фронт: «Черт возьми, неудачная

[126] Примечания: 126

Левен — бельгийский город, во время Первой Мировой войны претерпел значительные разрушения.

рана получилась» (из-за нее не увольняли), — так некогда г-жа Сван говорила: «Я ухитрилась подхватить докучную инфлюэнцу».

Дверь хлопнула вновь: это был шофер, он ходил прогуляться. «Как, уже все? Что-то ты недолго», — произнес он, заметив Мориса, который, по его представлению, еще должен был лупить «Человека в цепях», нареченного так по аналогии с названием газеты того времени[127]. — «Ты-то гулял, тебе не долго, — ответил Морис, уязвленный тем, что наверху он „не подошел“. — А вот ты пошлепай вовсю, как я, в такую жару! Если бы не пятьдесят франков, что он дает...» — «И потом, мужик здорово болтает, сразу видно, что с образованием. Говорил он, как скоро все это закончится?» — «Он говорил, что никак с ними нельзя покончить, что война кончится, но никто не победит». — «Черт бы драл, да никак он бош...» — «Я, кажется, предупреждал, что вы слишком громко треплетесь, — сказал старший, заметив меня. — Вам больше не нужна комната?» — «Да пошел ты, тоже мне тут начальник нашелся». — «Да, не нужна, я пришел расплатиться». — «Вам

[127] Примечания: 127

«Человек в оковах» — или «Человек в цепях», газета Клемансо, переименованная (из «Свободного человека») после запрета (Клемансо пророчил о неизбежности войны с восточным соседом).

лучше заплатить патрону. Морис, иди-ка поищи». — «Мне неудобно вас беспокоить». — «Это меня не беспокоит». — Морис вышел и вернулся, сказав: «Патрон спускается». — Я дал ему два франка за усердие. Он расплылся от удовольствия. «Спасибо большое. Я их отправлю братишке в лагерь[128]. Нет, он не очень бедствует. Все зависит от лагеря».

В это время двое чрезвычайно элегантных клиентов в белых костюмах, пальто и при галстуках — двое русских, почудилось мне по их легкому акценту, — встав на пороге, раздумывали: войти, иль не войти. Видимо, пришли они сюда впервые, наверное, им рассказывали об этом месте, и, казалось, они колебались между желанием, соблазном и великим страхом. Один из них, красавец-юноша, повторял другому уже две минуты, с улыбкой слегка подначивающей, слегка вопросительной: «Ну, в конце концов — наплевать?» Но сколь бы он ни говорил этим, что, в конце концов, последствия безразличны, вероятно, не настолько уж ему было «наплевать», ибо за этими словами следовало не движение внутрь, но новый взгляд, та же улыбка и то же

[128] Примечания: 128
Для военнопленных в Германии, имеется в виду.

«ну, в конце концов — наплевать?» «В конце концов — наплевать» — это один из образчиков восхитительного языка, несколько отличного от употребляемого нами обычно; в этой речи волнение отклоняет то, что мы хотим сказать, и вместо того составляет совершенно иную фразу, всплывающую из неизвестного озера, где и живут эти выражения, не связанные с нашей мыслью, — этим она, собственно, и разоблачается. Помнится, как-то раз у Альбертины, — поскольку Франсуаза, не замеченная нами, вошла в ту минуту, когда моя подруга была, совершенно нагая, рядом со мною, — вырвалось против воли, чтобы предупредить меня: «Смотри-ка, милая Франсуаза». Франсуаза, которая к тому времени видела уже не очень ясно и только-то прошла через комнату, довольно далеко от нас, конечно же ничего не заметила. Но столь необычные слова, «милая Франсуаза», которые Альбертина не произнесла бы никогда в жизни, сами указывали на свой скрытый смысл, и Франсуаза почувствовала, что Альбертина бросила их наугад от волнения, и, не нуждаясь в пристальном зрении, чтобы понять все, пробормотала на своем говорке: «Путана». Другой раз, много лет спустя, когда Блок, ставший к тому времени отцом семейства, выдал одну из

своих дочерей за католика, один невоспитанный человек сказал ей, де он, кажется, слышал, что отец у нее еврей, и спросил, какая у нее девичья фамилия. Молодая дама, урожденная м-ль Блок, произнесла фамилию на немецкий лад, как сказал бы герцог де Германт: «Блох».

Патрон, — вернемся на сцену отеля (куда двое русских решились-таки войти: «в конце концов — наплевать»), — еще не пришел, но тут явился Жюпьен, сетуя, что слишком уж громко говорят, что соседи могут донести. Но заметив меня, он остолбенел: «Выйдите все на лестницу». Присутствующие уже встали, когда я ему ответил: «Было бы проще, если бы юноши остались здесь, а мы бы с вами на минутку отлучились». Волнуясь, он за мной последовал. Я объяснил ему, отчего я здесь. Доносились голоса клиентов, спрашивавших у патрона, не может ли он свести их с ливрейным лакеем, служкой, чернокожим шофером. Все профессии интересовали старых безумцев, войска всех армий, союзники всех наций. Некоторые испытывали особую тягу к канадцам, подпав — быть может, неосознанно, — под очарование их акцента, столь легкого, что невозможно разобрать, что он напоминает: старую Францию или Англию. По причине юбок, а также оттого, что

некоторые озерные грезы совпадают с подобными мечтами, шотландцы были нарасхват. И так как во всякое безумие вплетается что-то личное, подчас его усугубляя, старик, уже удовлетворивший, наверное, все свои прихоти, настойчиво требовал свести его с каким-нибудь увечным. Слышались медленные шаги по лестнице. По болтливости, ему присущей, Жюпьен не удержался и рассказал мне, что спускается барон, что допустить нашу встречу ни в коем случае нельзя, но если мне угодно войти в комнату, смежную с передней, в которой находились молодые люди, то он тотчас откроет маленькое окошко, — эта хитрость была придумана им для де Шарлю, чтобы тот мог наблюдать, не будучи никем замечен, и сейчас, сказал мне Жюпьен, ради меня этот трюк будет обращен против барона, «только ни звука». Он втолкнул меня в темноту и оставил. Впрочем, других комнат в его распоряжении не было, ибо отель, несмотря на военное время, был переполнен. Ту, откуда я только что вышел, уже занял виконт де Курвуазье, — он оставил Красный Крест в *** на два дня и решил часок поразвлечься в Париже перед встречей в замке Курвуазье с виконтессой, которой он скажет, что не смог попасть на ранний поезд. Он не подозре-

вал, что в нескольких метрах от него находится де Шарлю, не более о том догадывался и барон, который никогда не встречался с кузеном у Жюпьена, а последний не сумел разузнать тщательно скрываемого имени виконта.

Вскоре и правда явился барон, шагая с трудом от ран, к которым, впрочем, ему пора уже было привыкнуть. Хотя увеселения подошли к концу и оставалось только выдать причитающуюся плату Морису, он обвел кружок юношей взором и нежным, и пытливым, рассчитывая на дополнительное удовольствие по ходу расшаркиваний — совершенно платонических, но любовно неторопливых. И в это резвом легкомыслии, которое он выказывал перед немного смутившим его гаремом, в этих покачиваниях головой и туловищем, этих томных взглядах, так поразивших меня, когда я впервые увидел его в Распельере, я снова признал грацию, доставшуюся ему в наследство от какой-нибудь бабки, мне лично незнакомой; она затенялась в повседневной жизни его мужественным лицом, но, если он хотел понравиться низкой среде, кокетливо распускалась желанием вести себя, как добрая матрона.

Жюпьен рекомендовал юношей благосклонности барона, божась, что все они «бельвильские

коты», что они за луидор отправятся и с собственной сестрой. Впрочем, Жюпьен врал и говорил правду разом. Они были и лучше, и чувствительней, нежели обрисованный Жюпьеном образ, они не принадлежали дикому племени. Впрочем, те, кто их таковыми считает, ожидает от этих негодяев, простодушно с ними беседуя, той же наивности. Так что, сколь бы садист ни воображал себя в обществе убийц, не столь уж порочные их души от этого не сатанеют, и остается только поражаться *лжи* подобной публики, потому что на самом деле они вовсе не «убийцы», а просто не прочь заработать «деньгу», — их отец, мать и сестра поочередно воскресают и умирают, потому что «убийцы» запутались, развлекая клиента и стараясь ему понравиться. Клиент же, со своей произвольной концепцией жиголо, восхищением бесчисленными убийствами, в которых тот повинен, по наивности удивляется, он сбит с толку уловленными противоречиями и ложью.

Все, казалось, были знакомы с г-ном де Шарлю, и он подолгу задерживался подле каждого, разговаривая с ними, как ему казалось, на их языке, — разом жеманясь, напирая на арго, а также распространяясь на тему распутства и испытывая от этого садистическое удовольствие.

«Какая мерзость, я тебя видел возле Олимпии с двумя фанерами. Они тебе давали капусту. Во как ты меня надуваешь». К счастью, тот, к кому была обращена эта фраза, не успел объявить, что ни за что не взял бы «капусты» от женщины, — это, наверное, охладило бы восторг г-на де Шарлю, — и опротестовал только конец фразы, сказав: «Не, я вас не надуваю». Эти слова доставили г-ну де Шарлю живое удовольствие и, вопреки его воле, настоящее лицо показалось из-под напускной маски; он обернулся к Жюпьену: «Как мило он это сказал. И как это прекрасно сказано! Словно бы это было правдой. В конце концов, откуда знать, истина это или нет, если уж он заставил меня в это поверить? Какие у него прелестные глазки! Смотри, я сейчас влеплю тебе два жирных поцелуя в наказание, мальчонка. Ты вспомнишь обо мне в окопах. Тяжеловато там приходится?». — «О! Матерь Божья, когда граната пролетает над ухом…». Юноша принялся подражать свисту гранат, гулу самолетов и т. п. «Но уж лучше выстоять, и будьте уверены, мы дойдем до конца». — «До конца! Еще бы следовало узнать, до какого конца», — меланхолически бросил барон, поскольку был «пессимистом». — «Вы что,

не знаете, что Сара Бернар[129] сказала в газетах: «Франция пойдет до конца. Французы готовы умереть все до последнего"». — «Я ни секунды не сомневался, что французы все до единого решительно пойдут на смерть, — сказал г-н де Шарлю, словно то было простейшей аксиомой на свете, хотя у него самого подобного намерения не было. Он просто хотел изгладить произведенное им, когда он забылся, впечатление пораженца. — Я в этом не сомневаюсь, но я спрашиваю себя, до какой степени мадам Сара Бернар уполномочена говорить от имени Франции. Но, кажется, я незнаком с этим очаровательным, этим прелестным молодым человеком!» — воскликнул он, увидев кого-то, — он его не узнал, а быть может никогда и не видел. Он раскланивался с ним, как с принцем в Версале, и чтобы, пользуясь случаем, получить оптом бесплатное удовольствие (когда я был маленьким, и мама брала меня с собой к Буасье или Гуаш[130], я подобным образом уносил с собой, в подарок от одной из продавщиц, конфету, извлеченную из какой-нибудь стеклянной вазы, меж которыми они восседали), сжав руку оча-

[129] Примечания: 129
Сара Бернар (1844-1923), актриса. Легкая ее тень падает на Берма.

[130] Примечания: 130
Буасье и Гуаш — парижские поставщики.

ровательного юноши и долго ее, на пруссацкий манер, разминая, он таращил на него глаза, расплывшись в застывшей улыбке, — так некогда, когда освещение было плохим, улыбались у фотографа: «Сударь, я очарован, я восхищен, я очень рад познакомиться с вами. У него прелестные волосы», — добавил он, повернувшись к Жюпьену. Затем он подошел к Морису, чтобы вручить пятьдесят франков, но сначала взял его за талию: «Ты никогда не говорил мне, что зарезал консьержку из Бельвиля». И г-н де Шарлю захрипел от восторга, нависая прямо над лицом Мориса: «Что вы, господин барон, — сказал жиголо, которого забыли предупредить, — как вы могли в это поверить? — либо действительно этот факт был ложен, либо правдив, но подозреваемый находил его, однако, отвратительным и склонен был отрицать. — Убить себе подобного?.. Я понимаю еще, если мужика, боша например, потому что война, но женщину, и к тому же — старую женщину!..» Барона от провозглашения этих добродетельных принципов словно холодным душем окатило, он сухо отодвинулся от Мориса, выдав ему, однако, деньги, — но с раздосадованным выражением одураченного человека, который не хотел бы устраивать шума и платит, но не рад. Получа-

тель только усилил дурное впечатление барона, выразив благодарность следующим манером: «Я завтра же вышлю их старикам и только немножко братку оставлю, он сейчас на фронте». Эти трогательные чувства столь же разочаровали г-на де Шарлю, сколь взбесило их выражение — незамысловатое, крестьянское. Жюпьен иногда говорил им, что надо все-таки быть поизвращенней. И тут один, с таким видом, будто исповедует что-то сатаническое, рискнул: «Знаете, барон, вы мне не поверите, но когда я еще был маленьким, я подглядывал в дырку замка, как мои родители цалуются. Вот ведь порочен я был, н-не п-п-правда ли? Вы скажете, что это я вам мозги пудрю, а вот и нет — все так оно и было». И г-на де Шарлю привела в уныние и раздосадовала эта фальшивая потуга на извращенность, разоблачившая лишь изрядную глупость и, сродни ей, невинность. Впрочем, ему не пришелся бы по вкусу и отъявленный бандит, и убийца: такие люди не рассуждают о своих злодеяниях; садист часто испытывает (сколь бы добр он ни был, тем более — как барон) жажду зла, которую злодеи, пускающиеся в тяжкие с другими целями, удовлетворить не в состоянии.

Тщетно молодой человек, поздновато сознав

ошибку, рассказывал, что шпиков он терпеть не может и даже отважился предложить барону: «Забьем, что ли, стрелочку» (назначим, то есть, свидание): очарование рассеялось. Чувствовалась «липа», как в книжках авторов, тщащихся употреблять арго. Впустую юноша детально описывал «неприличия», что вытворял он со своей подругой. Г-на де Шарлю поразило только, как недалеко они в этом зашли. Впрочем, дело было не только в неискренности. Ничто не ограничено сильнее, чем наслаждение и порок. В этом случае, несколько изменив смысл выражения, можно сказать, что вращаешься в том же порочном круге.

Если г-на де Шарлю в этом заведении звали принцем, то о другом завсегдатае, чью кончину оплакивали жиголо, говорили так: «Как его звать — не знаю, но был он, похоже, аж бароном», — речь шла о принце де Фуа (отце приятеля Сен-Лу). Его жена считала, что он, по большей части, проводит время в своем клубе, на деле же он не выползал от Жюпьена — болтая, рассказывая светские анекдоты проходимцам. Это был большой, красивый мужчина, как и его сын. Поразительно, что г-н де Шарлю, — может быть, потому, что встречался с ним только в свете, — не

знал, что де Фуа разделяет его наклонности. Даже говорили, что он их сообщил и своему сыну, в то время еще студенту (другу Сен-Лу), — что, вероятно, ложь. Напротив, будучи лучше всех осведомлен о нравах, отец пристально следил за его знакомствами. Однажды некий мужчина, — из низкой, впрочем, среды, — преследовал юного принца де Фуа до самых дверей отцовского особняка, бросил записку в окно, и ее подобрал отец. Но преследовавший, хотя и не был вхож, с аристократической точки зрения, в то же общество, что и г-н де Фуа-отец, был одного с ним круга, так сказать, с другой стороны. Он без труда нашел посредника среди общих дружков и заставил г-на де Фуа замолчать, доказав ему, что его сын сам спровоцировал выходку. И это возможно. Ибо принц де Фуа мог уберечь сына от дурных знакомств, но не смог уберечь от наследственности. Впрочем, что касается этой самой стороны, принц де Фуа-младший, как и его отец, пребывал в абсолютном неведении о нравах людей своего круга, хотя и зашел дальше всех с представителями другого.

«Как он прост! Вот уж не скажешь, что барон», — повторяли завсегдатаи, стоило г-ну де Шарлю с Жюпьеном выйти: барон все сетовал на добродетель юноши. Судя по недовольной

физиономии Жюпьена (ему, впрочем, следовало вымуштровать юношу заблаговременно), фальшивому убийце предстояла изрядная выволочка. «Это же полная противоположность тому, что ты мне рассказывал, — воскликнул барон, чтобы Жюпьен на следующий раз извлек урок. — У него на лице написано: он очень добродушен, он испытывает уважение к своей семье». — «У него, однако, трения с отцом, — возразил Жюпьен. — Они живут вместе, но прислуживают в разных барах». Конечно, по сравнению с убийством, это было довольно незначительным проступком, но Жюпьена застали врасплох. Барон ничего не ответил, ибо ему хотелось, в отношении удовольствий, получать их в готовом виде, и вместе с тем — сохранить иллюзию, что никакой инсценировки здесь нет. «Это подлинный бандит, он вам так сказал, чтобы вас обмануть, — вы слишком наивны!» — оправдываясь, добавил Жюпьен, но этим только задел самолюбие г-на де Шарлю.

«Да, на ужин он тратит не меньше миллиона — и каждый день, каждый день», — сказал молодой человек двадцати двух лет; такое суждение не казалось ему неправдоподобным. С грохотом подкатила коляска г-на де Шарлю. В эту секунду я заметил, как из соседней комнаты, медленно

ступая, появилась дама в черной юбке, как мне показалось — довольно пожилая; ее сопровождал солдат, видимо, вышедший с нею. К своему ужасу я сразу же разглядел, что это был священник — столь редко встречающееся, а во Франции просто невероятное явление, как дурной поп. Видимо, мимоходом солдат подшучивал над своим спутником, высмеивая несоответствие поведения одеянию, и последний степенно, сентенциозно, с поднятым вверх пальцем доктора теологии, изрек: «Что делать, я не (я ожидал: „святой“) ангел». Впрочем, он спешил и уже прощался с Жюпьеном, — последний, проводив барона, собирался было подняться, но заметил, что дурной священник, по забывчивости, не заплатил за комнату. Юмор никогда не оставлял Жюпьена: он затряс кружкой, в которую собирал плату с клиентов, и, позванивая ею, крикнул: «На нужды прихода, господин аббат!» Отвратительный персонаж извинился, выдал плату и исчез. Жюпьен зашел за мной в темное логово, где я не осмелился и шелохнуться. «Выйдите на минутку в вестибюль, там сейчас отдыхают мои мальчики, а я пока поднимусь и закрою комнату, будто вы ее нанимали, — это будет совершенно естественно». Патрон был там, я ему заплатил. В

эту минуту вошел молодой человек в смокинге, он властно спросил: «Могу я завтра иметь Леона без четверти одиннадцать вместо того, чтоб в одиннадцать, потому что я завтра завтракаю не дома?» — «Это зависит, — ответил патрон, — от того, насколько его задержит аббат». По-видимому, этот ответ не устраивал молодого человека в смокинге, — он думал уже было поносить аббата, но его гнев ухватился за иное, когда он заметил меня; вышагивая прямо на патрона, он шипел: «Что? это кто? что это значит?» — голосом тихим, но взбешенным. Патрон, раздосадованный чрезвычайно, воскликнул, что мое присутствие не имеет никакого значения, что я просто один из постояльцев. Молодого человека в смокинге, казалось, это объяснение не утешило. Он безостановочно повторял: «Это отвратительно, этого не должно быть, вы же знаете, что я этого не переношу, из-за вас ноги моей здесь больше не будет». Все-таки исполнение этой угрозы не было неотвратимо, ибо удалился он в неистовстве, но повторяя, что Леон должен постараться освободиться к 10.45, на два с половиной часа, если это возможно. Жюпьен спустился и вышел вслед за мной на улицу. «Мне не хотелось бы, чтобы вы думали обо мне плохо, — этот дом приносит

мне не так уж много дохода, ведь приходится принимать и обыкновенных постояльцев, — а с ними только просаживаешь деньги. Здесь — полная противоположность кармелитам, и порок подкармливает добродетель[131]. Нет, если я и взял этот дом, — или, вернее, если я и заставил взять его того управляющего — вы его видели, то только чтобы угодить барону, развлечь его на старости лет». Жюпьен имел в виду не только садистические сцены, свидетелем которых мне довелось стать, и не просто удовлетворение порока. Барон и для разговора, для общества, игры в карты, предпочитал людей простого склада, тянувших из него деньги. Наверное, снобизм в сволочной среде *должно рассматривать как и любой другой*. Впрочем, два этих «снобизма» долгое время уживались вместе, чередуясь между собой в г-не де Шарлю, — он никого не находил достаточно изысканным для своих светских отношений и вполне аморальным для иных. «Я ненавижу усредненность, — говорил он, — буржуазная комедия напыщенна, а мне надо

[131] Примечания: 131

Кармелиты — монашеский нищенствующий орден, названный так по горе Кармел; основан в Палестине около 1155. После переместились в Европу, где стали довольно популярны. Добродетель — имеются в виду обыкновенные постояльцы.

то ли принцесс классической трагедии, то ли грубоватого фарсу. Никакой середины — Федра или Паяцы[132]». Но в конце концов равновесие между двумя этими «снобизмами» нарушилось. Может, от старческой усталости, или потому, что его чувственность приспособилась к самым незамысловатым отношениям, барон жил теперь с «мужичьем», освоив таким образом, и не подозревая о том, наследие великих предков — герцога де Ларошфуко, принца д'Аркур, герцога де Берри, которые, как показал нам Сен-Симон, проводили жизнь в обществе лакеев, разделявших их увеселения, тянувших из них бесчисленные суммы, — и заходили в этом так далеко, что посетители испытывали неловкость, застав этих знатных бар в пылу товарищеского сражения в карты, а то и просто попойки с прислугой. «Но главное, я поступил так, чтобы уберечь его от бед, — добавил Жюпьен, — потому что барон, знаете ли, это большое дитя. Даже теперь, когда у него есть все, чего он только может захотеть, он еще иногда отправляется куда глаза глядят и ищет себе неприятностей. В такое время его щедрость может дорого обойтись. Недавно барон

---

[132] Примечания: 132
«Паяцы» — комедия Теофиля Дюмерсана (1831).

чуть до смерти не напугал несчастного посыльного, — он ему, знаете ли, послал огромные деньги, чтобы тот пришел к нему на дом! (На дом, какая неосторожность!) Этот мальчик, — он, правда, любил только женщин, — успокоился, когда понял, чего от него хотят. Ведь когда барон предлагал ему деньги, он принял его за шпиона. И он испытал сильное облегчение, узнав, что от него требуют выдать не родину, а тело, что, может быть, не более морально, но менее опасно и, главное, не так сложно». Слушая Жюпьена, я думал: «Какое несчастье, что г-н де Шарлю не романист, не поэт, и не потому, что он смог бы описать пережитое, — ситуации, в которые, на поводу своего вожделения, попадает такой человек, как де Шарлю, постоянно рождают вокруг его имени скандалы, заставляют его относиться к жизни всерьез, и, когда барон предается удовольствиям, заставляют прочувствовать их, и он не может остановиться, замереть на иронической и отстраненной точке зрения: к нему беспрерывно несется поток горестей. А так, всякий раз, как он признается в чем-то, он подвергается оскорблениям, а то и рискует оказаться в тюрьме». Пощечины — воспитание не только детей, но и поэтов. Будь г-н де Шарлю романистом, этот дом

Жюпьена, — в таких пропорциях сокращавший риск, по меньшей мере (опасность полицейского «шмона» оставалась) риск, связанный с тем, что, завязывая отношения на улице, барон не всегда был уверен в предрасположенности человека, — стал бы для него бедой. Но в искусстве г-н де Шарлю был только дилетантом, он и не помышлял писать, и этого дара у него не было.

«Но я должен вам признаться, — продолжил Жюпьен, — что особые угрызения совести из-за этого барыша не мучают. Теперь уж не скроешь, что мне это нравится, что этим я занимаюсь всю жизнь. Разве нельзя за это получать деньги, если ничего преступного я здесь не вижу? У вас хорошее образование, и вы мне скажете, что Сократ не брал за уроки плату. Но профессора в наше время так не думают, да и медики, художники, драматурги, театральные директоры. Только не думайте, что из-за этакого ремесла я общаюсь исключительно со сбродом. Конечно, глава подобного заведения, как куртизанка, принимает исключительно мужчин, — но какие это замечательные мужчины, как они не похожи на всех остальных! У них, при том же положении в обществе, намного утонченней вкус, они чувствительнее и любезнее, чем все другие. Я уверяю

вас, что скоро этот дом превратится в литературное агентство и бюро новостей». Но у меня в ушах еще звенели удары, которыми осыпали барона де Шарлю.

Стоит получше узнать г-на де Шарлю — его надменность, пресыщенность светскими удовольствиями, его увлечения безродными людьми последнего разбора, легко переходящие в страсти, — и становится ясно, что барон ценил свое состояние (тогда как для выскочки оно представляло бы интерес только потому, что позволило бы ему выдать дочку за герцога и приглашать высочеств на охоты) за возможность ощутить себя хозяином в каком-нибудь заведении, и, может быть, нескольких, где он всегда мог подыскать юношей в своем вкусе. Наверное, дело было даже не в пороке; он был наследником целой вереницы вельмож, принцев крови и герцогов, которые, как нам поведал Сен-Симон, «не встречались ни с кем из тех, коих возможно упомянуть», и проводили дни, сражаясь в карты с лакеями и проигрывая им огромные суммы.

«Пока что, — ответил я Жюпьену, — это не поддается сравнениям, здесь хуже, чем в сумасшедшем доме. Безумие ваших завсегдатаев словно выставлено на сцену, оно целиком наружу, это

подлинный Пандемониум[133]. Я, как халиф из Тысячи и одной ночи, спешил на помощь избиваемому человеку, но мне была показана другая сказка этого произведения, в которой женщина, превращенная в собаку, сама нарывается на удары, чтобы обрести былую форму». Казалось, Жюпьена потрясли мои слова: он понял, что я видел порку барона. Он притих на мгновение, а я пока остановил проходивший фиакр; неожиданно (он не получил никакого образования, но уже не раз, повстречавшись со мной или Франсуазой во дворе, удивлял нас замысловатостью своей речи) он с усмешкой обратился ко мне: «Вы вспомнили две сказки из Тысячи и одной ночи. Но я знаю сказку из другой книги, которую я видел у барона (он намекал на перевод Сезама и Лилий[134], посланный мною г-ну де Шарлю). Если как-нибудь вечером вам захочется посмотреть на — не скажу сорок, но десять разбойников, вы только придите сюда; чтобы узнать, на месте я, или нет, посмотрите наверх, я включу свет и открою окно, это значит, что я дома, что можно

[133] Примечания: 133

Пандемониум — «воображаемая столица ада» (Ларусс).

[134] Примечания: 134

Эта книга Рескина, на название которой намекает Жюпьен, действительно была переведена Прустом. Перевод опубликован в 1906.

войти; вот вам и «сезам» ко мне. Я говорю только о Сезаме. Что касается лилий, если именно это вас интересует, я советую вам поискать их в других местах». И, довольно лихо салютовав мне, ибо аристократическая клиентура и шайка юношей, возглавляемая им, как пиратом, приучила его к некоторой непринужденности, он было собрался проститься со мной, как вдруг разорвалась бомба, о которой не предупредили сирены; он посоветовал не спешить. Вскоре послышалась пальба заграждения, такая сильная, что стало ясно: совсем рядом, прямо над нами летят немецкие самолеты.

В мгновение ока на улицах стало черным-черно. Правда, иногда вражеский самолет, летящий очень низко, освещал точку, куда он собирался бросить бомбу. Я уже не узнавал улиц, по которым шел. Я вспомнил тот день, когда, на пути в Распельер, я встретил, словно божество, при виде которого моя лошадь встала на дыбы, самолет. Я подумал, что теперь у встречи был бы иной исход, что злое божество меня убило бы. Я ускорил шаги, чтобы сбежать от него, как путешественник, преследуемый приливом. Я шел по кругу черных площадей, откуда уже не мог выйти. Наконец, в огнях пожара я вышел на дорогу

к дому; в эти минуты безостановочно трещали удары пушек. Но думал я о другом. Я вспоминал о доме Жюпьена, быть может, стертом уже в прах, ибо бомба упала где-то неподалеку, когда я только оттуда вышел, — доме, на котором г-н де Шарлю мог бы пророчески начертать: «Содом», как это уже сделал, с тем же предвосхищением, или, быть может, уже по ходу вулканического извержения, в начале катастрофы, неизвестный житель Помпей. Но что такое сирены, что такое гота для тех, кто предается своим удовольствиям? Охваченные страстью, мы почти не думаем о социальной и природной обстановке. Бушует ли на море буря, раскачивается ли вовсю наша лодка, хлынули ли с неба потоки, сученые ветром, — мы, в лучшем случае, лишь на секунду останавливаем на этом мысль, чтобы устранить причиненные ими затруднения, — в этом необъятном пейзаже, где мы так малы — и мы, и тело, к которому мы стремимся. Сирена, возвещающая бомбежку, беспокоила завсегдатаев Жюпьена не больше, чем потревожил бы их айсберг. Более того, физическая опасность избавляла их от страха, мучительно истомившего за долгое время. Было бы ошибкой думать, что шкала страхов соотносима с внушающими их опасностями. Можно

больше страшиться бессонницы, чем опасной дуэли, бояться крысы, а не льва. На протяжении нескольких часов полицейские агенты заботились только о столь незначительном предмете, как жизнь горожан, и им не грозило бесчестье. Многих даже больше, чем моральная свобода, прельщала темнота, внезапно упавшая на улицы. Иные же из помпейцев, на которых уже пролился огнь небесный, спускались в коридоры метро, черные, как катакомбы. Они знали, что там они не одиноки. Ибо для некоторых искушение темнотой неодолимо, — облекая вещи во что-то новое, она упраздняет подготовительные этапы наслаждений и сразу вводит нас в сферу ласк, которая обычно открывается лишь какое-то время спустя. Будь предметом устремлений женщина или мужчина, даже предположив, что сближение становится проще, и совсем необязательны любезности, которые долго тянулись бы в гостиной, — по крайней мере, если дело происходит днем, — вечером, даже на столь слабоосвещенных улицах, как теперь, прозвучит только прелюдия, и только глаза впиваются в несозревший плод, — боязнь прохожих, самого встретившегося существа, позволяет только смотреть, только говорить. В темноте все эти

старые игры упразднены, руки, губы, тела могут войти в игру первыми. Можно сослаться на темноту и ошибки, порождаемые ею, если мы нарвемся на отпор. Если к нам благосклонны, то этот немедленный ответ не удаляющегося, приближающегося к нам тела, дает понять, что та (или тот), к которой мы безмолвно обратились, лишена предубеждений и исполнена порока, и наше счастье разрастается, мы впиваемся в плод, не зарясь и не испрашивая разрешений. Но темнота упорствует; погруженные в новую стихию, завсегдатаи жюпьеновского дома чувствовали себя путешественниками, — они наблюдали особый природный феномен, что-то похожее и на прилив, и на затмение, и вместо организованного и безжизненного удовольствия вкушали нечаянную встречу в Неведомом, справляя, в раскатах вулканических взрывов, во чреве дурного помпейского места, тайные обряды в сумерках катакомб.

Несколько мужчин из тех, кто не думал спасаться бегством, собрались в зале жюпьеновского дома. Они не знали друг друга, хотя и вышли из примерно той же общественной прослойки, имущей и аристократической. В каждом было что-то отталкивающее, должно быть, сказывались по-

блажки все более низким удовольствиям. Лицо огромного мужчины сплошь блестело красными пятнами, как у пьяницы. Я узнал, что раньше он не пил, хотя с радостью подпаивал юношей. Но чтобы не призвали в армию (хотя, судя по виду, шестой десяток он уже разменял), как человек уже изрядно толстый, он принялся пить, не просыхая, чтобы, перевалив за отметку ста килограммов, получить освобождение от службы. Теперь это подсчет стал страстью, и где бы его ни оставили, искать следовало у виноторговца. Но в разговоре, хотя и не блистая умом, он мог проявить богатую эрудицию, воспитанность и культуру. Я разглядел и другого мужчину, совсем еще молодого, редкостной физической красоты, также вхожего в большой свет. Стигматы порока еще не проступили на его лице, но, что волновало не меньше, чувствовались внутри. Высокий, с очаровательным лицом, в разговоре он мог блеснуть умом, в выгодную сторону отличавшем его от соседа-алкоголика, и можно было не преувеличивая говорить о его редких качествах. Но что бы он ни сказал, всегда на лице проявлялось выражение, которое подошло бы и совершенно иной фразе. Словно бы, в совершенстве овладев сокровищницей человеческой мимики, он про-

рос в другом мире и расположил эти выражения в нарушенном порядке, лиственные улыбками и взглядами без какой-либо связи с тем, что хотел сказать. Я надеюсь, если он еще жив, а это всего скорей так, что на нем сказывалось не длительное заболевание, но преходящая интоксикация.

Нас, наверное, удивило бы, взгляни мы на визитные карточки этих людей, что они занимают высокое положение в обществе. Но тот или иной порок, и величайший из всех — отсутствие силы воли, невозможность устоять перед отдельным пороком, ежевечерне приводил их обратно, в укромные комнатки, и если иные светские дамы раньше и знали их имена, то их лица мало-помалу стирались в памяти — эти мужчины больше не посещали светских дам. Их по-прежнему приглашали, но привычка вела обратно, в дурное место. Да они, впрочем, почти этого и не скрывали, в отличие от ублажавших их юных лакеев, рабочих и т. п. Объяснить это просто, даже если оставить в стороне множество других вероятных причин. Посетить подобное заведение промышленному рабочему, лакею — все равно что женщине, которую считали порядочной, забежать разок в дом терпимости. Иные сознавались, что как-то туда заглянули, но наотрез отрицали, что ходили и

после, и потому лгал и сам Жюпьен, либо спасая их репутацию, либо оберегаясь от конкуренции: «Что вы! Он ко мне не пойдет, он сюда и не подумает прийти». В свете это не так страшно: светские люди другого склада, не посещающие такие места, не подозревают об их существовании и не очень-то интересуются вашей жизнью. Но если туда приходил какой-нибудь монтер, товарищи начинали за ним шпионить, чтобы никому не было повадно ходить туда из страха, что об этом узнают.

По пути домой я размышлял, как быстро наши привычки выходят из-под опеки сознания — оно пускает их на самотек, словно забывая о них, и мы удивляемся, когда, глядя со стороны и полагая, что они подчиняют себе всю личность, узнаем о поступках людей, чьи моральные и умственные качества развились независимо друг от друга, совершенно разными путями. Наверное, дурное воспитание, а то и полное отсутствие такового, вкупе со склонностью зарабатывать если и не наименее тяжким трудом (в конце концов, есть много занятий поспокойнее, но иногда больные, своими маниями, ограничениями и лекарствами, вгоняют себя в непереносимое существование, что их болезням, зачастую и неопасным, которые

они таким способом пытаются одолеть, едва ли удалось бы), то во всяком случае сколь можно менее хлопотным, привели этих «юношей» к роду деятельности, которому, если можно так выразиться, они предавались с чистым сердцем за не то чтобы большие деньги, и который не приносил им никакого удовольствия, а поначалу, должно быть, внушал отвращение. Тут, конечно же, можно было бы говорить об их окончательной испорченности, но на войне они зарекомендовали себя бравыми солдатами, несравненными «удальцами», да и в гражданской жизни они порой выказывали если и не абсолютную добропорядочность, то доброе сердце. Они давно уже не сознавали, что в жизни морально, что аморально, ибо жили жизнью своей среды. Подобным образом, при изучении определенных периодов древней истории, у нас вызывают немало удивления люди, по отдельности вполне добрые, которые в массе без колебаний участвуют в убийствах и человеческих жертвоприношениях, — им это, вероятно, казалось естественным. Тот, кто прочтет историю нашей эпохи две тысячи лет спустя, найдет в ней не меньше трогательных и чистых убеждений, приспособившихся к чудовищно тлетворной жизненной среде.

Впрочем, помпейские сцены в доме Жюпьена неплохо смотрелись бы на фоне последних лет французской Революции, — они напоминали эпоху Директории, и вот-вот, казалось, все повторится. Уже, предвосхищая мир, хоронясь в темноте, чтобы не столь явно нарушать предписания полиции, беснуясь всю ночь, плясали новые танцы. Помимо того, новые художественные воззрения, не в той мере антигерманские, как в первые годы войны, вносили струю свежего воздуха в удушающую интеллектуальную атмосферу, — но чтобы осмелиться их выразить, надлежало аттестовать гражданское самосознание. Профессор написал замечательную книгу о Шиллере, ее заметили газеты. Первым делом об авторе сообщалось, словно то было цензорским разрешением, что он сражался на Марне, у Вердена, пять раз упоминался в приказе, а оба сына его погибли. Тогда-то уж и расхваливали ясность и глубину его работы о Шиллере, которого разрешалось считать великим, лишь бы только его называли не «великим немцем», а «великим бошем». Для цензуры это слово было паролем, и статью сразу пропускали в печать.

С другой стороны, немного я знал людей, возможно что никого, наделенных умом и чувством,

как Жюпьен; это восхитительное «пережитое», соткавшее духовную основу его речи, далось ему не в коллеже, не в университете, которые образовали бы из Жюпьена выдающегося человека, тогда как большинству светских юношей они не приносят ровным счетом никакой пользы. Врожденный рассудок, природный вкус, редкие случайные книги, без руководства прочтенные им на досуге, выработали его правильную речь, в которой распускалась и цвела гармония языка. Но ремесло, которому он посвятил свою жизнь, может по праву считаться и одним из самых доходных, и одним из самых презренных. И как маломальское чувство собственного достоинства, уважения к себе не уберегли чувственность барона де Шарлю, сколь бы ни пренебрегал он в своем аристократическом высокомерии тем, что «люди говорят», от такого рода удовольствий, которые оправдало бы, наверное, только полное безумие? Но он, как и Жюпьен, должно быть, так давно укоренился в привычке разделять мораль и поступки (впрочем, это случается и на другой стезе — иногда у судьи, иногда у государственного мужа и т. п.), что она уже могла поступаться мнением морального чувства, развиваясь, усугубляясь день ото дня, пока сей добровольный

Прометей не призвал Силу, чтобы та приковала его к Скале из чистой материи[135]. Я понимал, что заболевание г-на де Шарлю вступило в новые круги, что скорость эволюции недуга, с тех пор, как я узнал о нем, если судить по наблюдавшимся мною различным его этапам, неуклонно возрастала. Бедный барон, должно быть, не так уж далек был от финальной черты, от смерти, даже если бы она не предварялась, сообразно предсказаниям и пожеланиям г-жи Вердюрен, тюрьмой, что в его возрасте только приблизило бы кончину. Но все-таки я неточно выразился, когда сказал: к Скале из чистой материи. Возможно, в этой чистой Материи уцелело что-то от духа. Этот сумасшедший вопреки всему знал, что сошел с ума, и, жертва безумия, в эти минуты по большей части актерствовал, ибо прекрасно сознавал, что юноша, который его лупит, не страшней мальчишки, которому в «войнушке» выпало играть «пруссака», на которого в напускной ненависти и подлинном патриотическом пылу набрасывается детвора. Жертва безумия, вобравшего что-то и от личности г-на де Шарлю. Даже в рамках этих аномалий человеческая природа (как то бывает

[135] Примечания: 135
См. Эсхила.

в страстях, во время путешествий) потребностью в истине раскрывает свою жажду верить. Франсуаза, когда я рассказывал ей об одной церкви в Милане — городе, куда она, вероятно, не попадет уже никогда, — или Реймском соборе — и даже о соборе в Аррасе! — которые теперь она уже не увидит, поскольку они в той или иной мере разрушены, завидовала тем, кому зрелище этих сокровищ было доступно, богачам, и восклицала с ностальгическим сожалением: «Ах, как это, наверно, было красиво!» — она-то, прожившая в Париже столько лет и так и не заинтересовавшаяся собором Нотр-Дам. Дело в том, что Нотр-Дам был частью Парижа, города, где протекала будничная жизнь Франсуазы, куда, стало быть, мечтания нашей старой служанки — да и мои, если бы изучение архитектуры не исправило мои комбрейские наитья, — вместились бы с трудом. Нашим возлюбленным присуща некая греза, и мы стремимся за ней, хотя и не всегда ее осознаем. Моя вера в Бергота, в Свана внушила мне любовь к Жильберте, моя вера в Жильбера Плохого разожгла мою любовь к г-же де Германт. И какая просторная морская ширь таилась в самой печальной моей любви, самой ревнивой, глубже всех, наверное, личной, любви к Альбертине!

Впрочем, именно из-за этого личного, сводящего с ума, страсти, в какой-то мере, суть аномалии. (Да и чем наши телесные болезни, те, по меньшей мере, что как-то сопряжены с нервной системой, отличаются от личных привычек и частных страхов, усвоенных органами и суставами, которым та или иная погода потому и внушает ужас, столь же необъяснимый и столь же упорный, как влечение иных мужчин, например, к женщинам в пенсне, наездницам? И кто сможет сказать, с какой долгой и неосознанной мечтой связано это желание, снова и снова пробуждающееся при виде наездницы, — грезой столь же неосознанной и таинственной, как, например, влияние на человека, всю жизнь страдавшего астматическими кризами, какого-нибудь города, такого же как все, в котором он впервые вздохнул свободно?)

И эти аномалии подобны страстям, когда болезненный изъян перекрывает и охватывает все. Но и в самой безумной из них мы еще различим любовь. В упрямстве г-на де Шарлю, который требовал, чтобы на его руки и ноги наложили кольца крепчайшей стали, настаивал на брусе возмез-

дия[136], чтобы его приковали и, если верить Жюпьену, на самых жутких аксессуарах, которых не выпросишь и у матросов — потому что они применялись для наказаний, вышедших из употребления даже на борту кораблей, что славились когда-то суровой дисциплиной, — в глуби всего этого затаилась его греза о мужественности, о которой свидетельствовали и дикие его выходки, и, в душе, цельная миниатюра, не видная нам, но, как сквозь окна, отбрасывавшая тени — креста и феодальных пыток, украшавших его средневековое воображение. Именно в этом состоянии он говорил, бывало, придя к Жюпьену: «Сегодня тревоги не будет, ибо я пожжен уже огнем небесным как житель Содома». Он притворялся, что боится гота, не испытывая и тени страха, чтобы у него был еще один повод, как только завоют сирены, ринуться в убежище, в метро, где он мог бы еще раз вкусить удовольствие ночных прикосновений, неясных грез о средневековых подземельях, о каменных мешках. В целом это его желание, — чтобы его оковали, били, — в своем безобразии обнаруживало столь же поэтическую

[136] Примечания: 136

Понятие из морского дела, обозначающее железную перекладину, к которой наказанного приковывали кандалами. Ниже комната 43, несомненно, описка.

грезу, как у иных — желание съездить в Венецию, содержать балерин. И г-н де Шарлю так вжился в нее, что Жюпьену пришлось продать деревянную кровать, стоявшую в комнате 43, чтобы эта мечта воплотилась в реальность, и заменить ее на железную, потому что последняя как нельзя лучше подходила цепям.

Раздался сигнал отбоя, я как раз добрался до дома. Будто сорванец обсуждал тушение пожаров. Франсуаза с дворецким поднималась из подвала. Она думала, что я погиб. Она сказала, что заходил Сен-Лу, — он хотел узнать, не у нас ли он потерял утром военный крест. Он только-только заметил, что креста нет, и прежде чем вернуться в часть, решил наудачу проверить. Они с Франсуазой обыскали все, но ничего не нашли. Франсуаза полагала, что, должно быть, он потерял крест его еще до того, как зашел ко мне, потому что, как ей показалось (она даже могла поклясться), утром на нем креста не было. В чем и ошибалась. Вот она, ценность свидетельских показаний и мемуаров. Да это и не имело большого значения. Сен-Лу уважали офицеры и любили солдаты, дело уладилось бы легко. Впрочем, если судить по весьма сдержанным отзывам, Сен-Лу произвел на Франсуазу с дворецким впечатление довольно

посредственное. Наверное, Сен-Лу приложил столько же усилий, сколько, при уклонении от военной службы, сын дворецкого и племянник Франсуазы, но с обратной целью, чтобы оказаться в полной опасности — и небезуспешно. Но, судя по себе, Франсуаза и дворецкий не могли в это поверить. Они были убеждены, что богачи не вылезают из укрытий. Впрочем, даже если бы они доподлинно знали о героической смелости Робера, на них она не произвела бы впечатления. Он не употреблял слова «боши», хвалил немцев за отвагу, не объяснял изменой то, что мы не победили в первый же день. А этого-то им и хотелось услышать, это и казалось им храбростью. Так что, хотя я и застал их за поисками креста, я понял, что они охладели к Роберу. Я догадывался, где этот крест потерян (но если Сен-Лу и искал таких утех в тот вечер, то только для того, чтобы скоротать время, ибо, испытывая сильное желание повидаться с Морелем, он использовал все свои военные связи, чтобы узнать, при какой части тот числится, и получил на этот момент лишь сотни противоречивых ответов), и посоветовал Франсуазе и дворецкому лечь спать. Но последний не спешил проститься с Франсуазой, поскольку, благодаря войне, им был изыскан

более действенный способ причинять ей мучения, чем изгнание монахинь и дело Дрейфуса. После того вечера, на протяжении нескольких дней, проведенных мною в Париже до отъезда в другую клинику, всякий раз, стоило только пройти где-нибудь поблизости, я слышал, как дворецкий говорит ошеломленной Франсуазе: «Они не торопятся, это понятно, ждут, когда груша созреет, но тут-то они и возьмут Париж, и этот день будет ужасен». — «Господи Боже, пресвятая Дева Мария! — восклицала Франсуаза, — вот ведь недостаточно им покорить несчастную Бельгию. Как она страдала, когда они ее полонили». — «Да, Франсуаза, но вы забудете о Бельгии, когда они придут сюда». — Война сбросила в газеты, как на народный базар, массу новых слов, не научив простонародье, правда, их произношению, и дворецкий продолжал: «Не могу понять, отчего весь мир так туп… Вот увидите, Франсуаза, они готовят новую атаку, и ее машаб затмит собой прямо все». — Протестуя если не из жалости к Франсуазе и стратегического здравого смысла, то по крайней мере грамматического, объясняя им, что произносить надо «масштаб», я только и добился, что это дурацкое слово Франсуазе повторяли всякий раз, как я заходил на кухню,

ибо не меньшее удовольствие, чем мучения его подружки, ему доставляла возможность поставить хозяину на вид, что хотя он всего-то бывший комбрейский садовник и простой дворецкий, но все-таки добрый француз по кодексу св. Андрея-В-Полях, а в Декларации прав человека написано, что он может произносить «машаб» со всей своей независимостью и никто ему не указ, коли уж это не по службе, и значит после Революции не смей ему выговаривать, теперь у нас с ним права равные. Итак, мне было противно слышать, как он говорит Франсуазе об операции «больших машабов» — с упорством, призванным продемонстрировать, что это произношение объясняется не невежеством, но здраво обдуманной волей. Он несколько путал правительство с прессой в некоем недоверчивом «они», и повторял: «Они говорят нам о потерях у бошей и ничего не говорят о наших, а у нас, поди, потери в десять раз больше. Они говорят, что боши выдыхаются, что кушать у них нечего, а я так думаю, что кушать у них в сто раз больше, чем у нас. Довольно вешать нам лапшу на уши. Если бы покушать у них было нечего, то они не дрались бы так, как недавно, когда они наших поубивали десять тысяч молодых парней младше двадцати лет». Итак, он

поминутно преувеличивал германские триумфы, как когда-то триумфы радикалов, и в то же время расписывал их зверства, чтобы эти триумфы приносили еще больше мучений Франсуазе, поминутно восклицавшей: «Ах! Силы Небесные! Матерь Божья!»; иногда, чтобы расстроить ее чем-нибудь иным, он говорил: «Да и сами мы не лучше: что они натворили в Бельгии, то мы натворили в Греции. Вот увидите: мы настроим против себя всех и придется сражаться с целым миром», — дело, правда, обстояло точно наоборот. Если приходили хорошие новости, он отыгрывался и уверял Франсуазу, что война продлится, судя по всему, тридцать пять лет, и, предусматривая возможность заключения мирного договора, предсказывал, что последний продержится только несколько месяцев, а потом начнутся такие сражения, что теперешние покажутся детскими потасовками, и тогда-то уж ничего не останется от Франции.

Казалось, что победа союзников если и не близка, то практически предрешена, и я с сожалением должен признать, что дворецкий был весьма этим раздосадован. Ибо он сократил «мировую», как и все остальное, до размеров войны, которую втихую вел против Франсуазы (однако, несмот-

ря на все это, горячо им любимой — так любят человека, ежедневно побивая его в домино и наслаждаясь его гневом), и добился своей победы еще тогда, когда Франсуаза, к его вящему неудовольствию, произнесла следующее: «Ну вот и все, сейчас они отдадут нам еще больше, чем мы им в 70-м». Впрочем, ему казалось, что роковой срок близок, и какой-то неосознанный патриотизм способствовал его вере (как и жертв того же миража, французов, как и моей вере, когда я болел), что победа (мое исцеление) наступит завтра. Опережая события, он предсказывал Франсуазе, что, может быть, победа и наступит, но это будет еще хуже, потому что потом сразу же начнется революция, а затем опять последует вторжение. «Ох уж эта чертова война, только боши смогут быстро от нее оправиться, Франсуаза, они и так заработали на ней сотни миллиардов. Жди тут, чтобы они дали нам хоть су — какая чушь! Об этом разве что в газетах напишут, — добавил он из осторожности, чтобы отразить все факты, — чтобы народ остудить; говорят же они уже три года, что война завтра кончится». Франсуазу очень сильно взволновали эти слова, потому что поначалу она больше верила оптимистам, нежели дворецкому, и вскоре убедилась, что война, которая должна

была, как полагала Франсуаза, кончиться через две недели, хотя «бедная Бельгия» была «полонена», продолжилась, чего не предсказывали, феноменом «фиксации фронтов», — а в этом она не разбиралась; к тому же, один из бесчисленных ее «крестников», которым она отдавала все, что зарабатывала у нас, рассказывал о тех или иных замалчиваемых обстоятельствах. «Все это опять свалится на трудяг, — заключил дворецкий. — Отнимут твою земельку, Франсуаза». — «Боже милостивый!..» — Но этим отдаленным бедствиям он предпочитал более близкие и поглощал газеты в надежде известить Франсуазу о каком-нибудь поражении. Плохих вестей он ждал как пасхальных яиц, рассчитывая, что они будут достаточно нехороши, чтобы ошеломить Франсуазу, но вместе с тем самому ему не принесут существенного ущерба. Так, например, он с восторгом наблюдал, как Франсуаза прячется в подвале от цеппелинов, — потому что сам-то он верил, что в таком большом городе, как Париж, в наш дом попасть бомбой сложно.

Впрочем, временами на Франсуазу накатывал комбрейский пацифизм. Она едва не усомнилась в «немецких зверствах». — «В начале войны нам говорили, что эти немцы — убийцы, грабители,

настоящие бандиты, бббоши...» (Умножая «б» в слове «боши», она, видимо, полагала, что обвинение немцев в убийствах в конечном счете вполне допустимо, но мысль о том, что они — боши неправдоподобна в силу своей чрезмерности. Сложно было понять, какой чудовищный и таинственный смысл вкладывала Франсуаза в слово «бош», поскольку речь шла о начале войны, и потому что произносила она это слово довольно нерешительно. Ибо сомнение в том, что немцы действительно были преступниками, могло быть плохо обоснованным, но противоречия в нем, с логической точки зрения, не было. Но как можно было сомневаться в том, что они были бошами, если это слово в разговорной речи обозначает именно немцев? Наверное, она пересказывала грубые фразы, тогда ею услышанные, в которых особое ударение падало на слово «бош»). «Я во все это верила, — говорила она, — но только берет меня теперь сомнение, не такие ли мы точно плуты». — Эта богохульная мысль была подспудно внушена Франсуазе дворецким, — ибо последний заметил, что его подруга благосклонна к греческому королю Константину, и во всех красках расписывал, как его морят голодом, чтобы он отрекся от престола. Потому отречение суверена

сильно взволновало Франсуазу, она даже провозгласила: «И ничем мы их не лучше. Будь мы в Германии, мы бы то же самое и натворили».

Правда, я не часто виделся с ней в те дни, потому что она то и дело убегала к своим кузенам, о которых мама мне как-то сказала: «Знаешь, а они богаче тебя». В те времена мы узнали о множестве высоких поступков, совершавшихся по всей стране, которые покажут векам, если историк обессмертит их память, величие Франции и ее духа, ее величие по чину Св.-Андрея-В-Полях, которое проявилось в тысячах тыловиков, и в неменьшей степени, чем в солдатах, павших на Марне. Племянника Франсуазы убили у Берри-о-Бак[137]. Также он приходился племянником и этим миллионерам, кузенам Франсуазы, содержавшим раньше кафе, — они давно уже сколотили состояние и отошли от дел. И его, совсем еще юного владельца маленького ресторанчика, убили, — его мобилизовали в двадцать пять лет, и он, оставив присматривать за кафе молодую жену, рассчитывал вернуться к делам через несколько месяцев. И погиб. Тогда произошло следующее. Франсуазины кузены-миллионеры,

---

[137] Примечания: 137
Деревня недалеко от Реймса.

по сути, никем не приходившиеся молодой вдове их племянника, вернулись из своей деревни, в которой жили уже лет десять, и опять взялись за работу, не оставляя себе и су; и каждое утро, с шести часов, жена кузена Франсуазы, миллионерша, одетая «как ее служанка», помогала племяннице и кузине по браку. И года три они с утра до половины десятого вечера, не отдыхая и дня, полоскали бокалы и подавали напитки. В этой книге все факты вымышлены и не «выведено» ни одного реального лица, все было изобретено мною сообразно потребностям повествования, и я должен во славу моей родины сказать, что франсуазины родственники-миллионеры, оставившие уединение, чтобы помочь беспомощной племяннице — это реальные лица. И так как я не сомневаюсь, что их скромность не будет оскорблена, поскольку они никогда не прочтут этой книги, я с ребяческим удовольствием и глубоким волнением, не имея возможности привести имена стольких других, благодаря которым Франция выстояла, чьи поступки столь же достойны, впишу сюда их настоящее имя: они зовутся, — таким французским именем, — Ларивьерами. Если и были какие-то мерзавцы-уклонисты, как требовательный молодой человек, встретившийся

мне у Жюпьена, которого только и заботило, чтоб он «имел Леона к 10.30-ти, потому что завтракает в городе», то их жизнь искуплена тысячами французов Св.-Андрея-В-Полях, всеми этими доблестными солдатами, к которым я приравниваю Ларивьеров.

Чтобы Франсуаза посильнее разволновалась, дворецкий откопал где-то старые номера Твоего Чтения[138]; на обложке одного из них (это были довоенные выпуски) была изображена «германская императорская семья». «Вот он, наш завтрашний хозяин», — сказал дворецкий, показывая ей «Вильгельма». Франсуаза вытаращила глаза, затем заметила женщину, изображенную рядом, и заключила: «Да тут и Вильгельмесса!»

Что касается Франсуазы, ее ненависть к немцам была исключительной; она уравновешивалась только той, что внушали ей наши министры. Я не знаю, чьей смерти она жаждала больше — Гинденбурга или Клемансо.

Мой отъезд из Парижа был на некоторое время отложен — я получил горестно потрясшее меня известие и был неспособен отправиться в путь. Я узнал о смерти Робера де Сен-Лу — его убили

---

[138] Примечания: 138

Lectures pour tous, иллюстрированный ежемесячный журнал, выходивший с 1898.

через два дня после возвращения на фронт, когда он прикрывал отступление своих солдат. Ненависти к какому-либо народу у него вообще не было (что касается императора, то по каким-то причинам личного свойства, возможно, совершенно вздорным, он считал, что Вильгельм II пытался предотвратить войну, а не развязать). Да и ко всему германскому: последнее, что я от него услышал шесть дней назад, было началом песни Шумана, — он напел ее на лестнице по-немецки, и так громко, что, испугавшись соседей, я попросил его замолчать. Он был прекрасно воспитан, и уже по привычке избегал всякой хвалы, брани, фразы, а перед лицом врага, как и в момент мобилизации, он не пытался спасти жизнь, — из-за того же своего обыкновения стушевываться перед другими, просматривавшегося во всех его манерах, — например, он сам закрывал дверцу фиакра, сняв шляпу, когда я, скажем, уезжал от него, а он выходил меня проводить. Много дней я просидел в комнате, размышляя о нем. Я вспомнил его первый приезд в Бальбек: в белом шерстяном костюме, с его зеленоватыми глазами, подвижными, как море, он пересекал холл перед большой столовой с окнами на пляж. Я вспомнил, каким удивительным человеком

он мне показался тогда, как сильно я захотел с ним сдружиться. Мое желание осуществилось сверх всех ожиданий, хотя поначалу эта дружба не доставляла мне ровным счетом никакого удовольствия, и только потом я смог осознать, что за этим блеском скрывались и восхитительные качества, и кое-что еще. Все это, и первое, и второе, он раздаривал, не считаясь, и даже в последний день, бросившись на траншею, — из великодушия, чтобы все, чем он владел, могло послужить другим, — так однажды он пробежал по спинке ресторанного дивана, чтобы меня не потревожить. В целом, я довольно редко виделся с ним, и это было в разных местах, в разных ситуациях, разделенных долгим временем, — в бальбекском холле, в ривбельском кафе, в кавалерийской казарме, на донсьерских ужинах с офицерами, в театре, где он влепил пощечину журналисту, у принцессы де Германт, — и оттого он словно бы оставил мне от своей жизни более яркие, более четкие отпечатки, от своей смерти — более светлое горе, чем то, что оставляют люди, любимые нами сильнее, потому что с последними мы общались чаще, и их образ, живущий в нашей памяти — только своего рода средняя величина бесконечности образов, различимых

нечувствительно, и у нашей пресыщенной привязанности к ним не остается, как в отношении тех, с кем количество наших встреч было, против нашей воли, ограничено, а сами встречи редки и коротки, иллюзии, что была возможна и более близкая связь, которой, правда, помешали обстоятельства. Спустя несколько дней после того, как я впервые увидел его, гнавшегося за своим моноклем по бальбекскому холлу, и решил, что он необычайно высокомерен, я впервые встретил, на бальбекском пляже, другую живую форму, и она теперь тоже существовала не более, чем в виде воспоминания, — это была Альбертина, попиравшая песок, безразличная ко всему и морская, как чайка. Я столь быстро влюбился, что ради ежедневных прогулок с нею так и не уехал из Бальбека повидаться с Сен-Лу. Однако в истории моих отношений с ним есть и свидетельство о том, что на время я разлюбил Альбертину, ибо если я сколько-то и прожил у Робера в Донсьере, то только из-за печали, что меня не покидает чувство к г-же де Германт. Его жизнь, жизнь Альбертины, столь поздно узнанные мной, и обе в Бальбеке, и так быстро окончившиеся, едва пересекались; но это его, твердил я себе, чувствуя, как проворные челноки лет ткут нити между,

казалось, наиболее удаленными друг от друга воспоминаниями, это его я посылал к г-же Бонтан, когда меня покинула Альбертина. И потом я узнал, что их жизни таили в себе схожую тайну. Тайна Сен-Лу причиняла мне теперь, быть может, больше страданий, чем тайна Альбертины, потому что Альбертина теперь стала для меня совсем чужой. Но ничто не могло утешить меня в мысли, что их жизнь окончилась так рано. Они часто тревожились обо мне: «Ведь вы болеете». И вот, они мертвы, а я теперь сопоставляю разделенные небольшим отрезком последние образы, — перед траншеей, у реки, — с первыми, в которых, даже в случае Альбертины, если что-то и представляло для меня ценность, то только отблеск солнца, садящегося в море.

Смерть Сен-Лу сильней опечалила Франсуазу, чем смерть Альбертины. Она безотлагательно взялась за роль плакальщицы и перебирала воспоминания о покойном в причитаниях, безутешном погребальном плаче. Она кичилась своей скорбью, ее лицо высыхало и она отворачивая голову лишь тогда, когда я случайно выказывал свое горе; ей хотелось сделать вид, что она ничего не заметила. Ибо, как натуру нервическую, нервозность ближних, вероятно, слишком

похожая на собственную, ее раздражала. Теперь она охотнее давала понять, что у нее слегка шею поламливает, голова кружится, что она ушиблась. Но стоило мне упомянуть о какой-нибудь своей болезни, и к ней возвращалось стоическая степенность, она делала вид, что не слышит. «Бедный маркиз», — говорила она, хотя и не могла удержаться от мысли, что он предпринял, наверное, и невозможное, чтобы остаться в тылу, и, раз уж призвали, чтобы избежать опасности. «Бедная мать, — говорила она о г-же де Марсант, — как она, наверное, плакала, когда узнала о смерти своего мальчика! Если б она только могла на него посмотреть, но, наверно, лучше, чтоб она его не видела, а то ведь ему нос разнесло пополам, всего разворотило». Глаза Франсуазы увлажнялись, но сквозь слезы пробивалось жестокое любопытство крестьянки. Наверное, Франсуаза искренне сострадала г-же де Марсант, но ей было жаль, что она не знает, во что эта скорбь вылилась и не может натешиться зрелищем и печалью сполна. И поскольку ей все-таки нравилось поплакать, и чтобы слезы не остались незамеченными мною, она всхлипывала, заходясь: «Вот уж выпало мне на долюшку!» Она жадно выискивала следы горя на моем лице, и я говорил о Робере суховато. И,

быть может, из духа подражания, потому, что она слышала, что так говорят, ибо в буфетных, как в салонах, бродят свои клише, не без удовольствия, впрочем, беднячки, она повторяла: «От смерти-то его денежки не спасли, умер, как все, и больше они ему не пригодятся». Дворецкий обрадовался возможности и поведал Франсуазе, что, конечно, это печально, но почти не важно наряду с теми миллионами, что постоянно погибают вопреки усилиям правительства скрыть эти факты. Но на этот раз дворецкому не удалось растравить скорбь Франсуазы, как он уже было рассчитывал; последняя отрезала: «Ну, это правда, что они тоже умирают за Францию, но я-то их не знаю; а всегда больше трогает, когда это люди-то знакомые». И Франсуаза, любившая поплакать, добавила: «Вы посмотрите и скажите мне, если о смерти маркиза напишут в газете».

Робер задолго до войны грустно говорил: «Давай обо мне не будем — я обречен». Намекал ли он на порок, успешно им доселе ото всех скрытый, силу которого он, только узнав его, быть может, преувеличивал, подобно детям, вкусившим любви, или даже до того, испытавшим удовольствие в одиночестве, которые думают, что, как растениям, им придется умереть тотчас после того, как

они рассеяли свою пыльцу? Может быть, это преувеличение также объяснялось, — для Сен-Лу, как для детей, — представлением о грехе, с которым еще не сжились, совершенно новым ощущением, почти ужасная сила которого вскоре пойдет на убыль? Или же у него было, — подтверждаемое, если в том была нужда, довольно ранней смертью отца, — предчувствие преждевременной кончины? Конечно, в такие предчувствия сложно поверить. Но похоже, что и смерть подчиняется действию каких-то законов. Наверное, дети умерших слишком поздно или слишком рано почти поневоле обречены погибнуть в те же года, первые — влача до сотни немощи и неизлечимые болезни, вторые — несмотря на счастливое и бодрое существование — сраженные к неотвратимому, раннему сроку столь своевременной и случайной болезнью (определенные глубокие корни которой, возможно, заложены в их темпераменте), что она покажется нам лишь необходимой формальностью для осуществления конца. И вполне вероятно, что сама по себе преждевременная смерть, — как смерть Сен-Лу, до такой степени, впрочем, обусловленная его характером, что я и не счел нужным говорить об этом особо, — была в какой-то мере предопреде-

лена заранее; известная богам, неведомая людям, она была приоткрыта наполовину неосознанной, наполовину осознанной печалью (и на этой последней стадии о ней рассказывают другим с той искренностью, что встречается при предсказании несчастий, которые, в глубине души, мы надеемся избежать, — однако не менее от того неотвратимых), неотделимая от того, кто ее несет, кто постоянно в глубине души ее чувствует — как родовой девиз и роковое число.

Наверное, он был прекрасен в свои последние минуты. Он всегда в этой жизни, даже сидя или вышагивая по гостиной, словно сдерживал атакующий порыв, скрывая за улыбкой неукротимую волю, таившуюся в сужавшейся книзу голове; и вот он атаковал. Расставшись с библиотекой, феодальная башня вернулась к войне[139]. И в смерти этот Германт снова стал самим собой, то есть частью своего рода, в котором он растворился, и где он был только Германтом, как это символически выявилось на его похоронах в комбрейской церкви Св. Илария, затянутой черными занавесями, когда выступила красная, над короной, без инициалов и титулов, заглавная «Г» Германтов,

[139] Примечания: 139

Ранее Пруст сравнивал Сен-Лу с «башней феодального замка, в которой поместили библиотеку».

которой в смерти он стал.

Незадолго до погребения (его похоронили не сразу) я написал Жильберте. Наверное, мне следовало написать и герцогине де Германт, но я подумал, что смерть Робера будет воспринята ею с тем же безразличием, которое она не постеснялась выказать по случаю смерти многих других людей, сыгравших, казалось, большую роль в ее жизни, — может быть, думал я, исходя из германтского своего духа, она даже попытается продемонстрировать, что относительно уз родства особых предрассудков у нее нет. Я слишком страдал, чтобы писать всем. Некогда я считал, что она и Робер относятся друг к другу с любовью в светском смысле этого слова, то есть при встречах говорят что-то милое, то, что чувствуют в этот момент. Но за ее спиной Робер без колебаний величал ее идиоткой, а о самой герцогине мне было известно, что если она и испытывала иногда, при встречах с ним, эгоистическое удовольствие, то была не способна приложить даже самые небольшие усилия и использовать свое влияние, чтобы в чем-нибудь ему помочь, и даже отвести от него несчастье. Злоба, с которой она отказала рекомендовать его генералу де Сен-Жозеф, когда Робер должен был вернуться в Марокко, свиде-

тельствовала, что преданность, проявленная ею во время его женитьбы, была только своего рода компенсацией, почти ничего ей не стоившей. Я очень сильно удивился, узнав, что, — так как к моменту смерти Робера она болела, — от нее довольно долго, под самыми вздорными предлогами, вынуждены были прятать почту, чтобы она не узнала о его смерти и чтобы смягчить ее возможное потрясение. Мое удивление только возросло, когда мне сообщили, что после того, как ей все-таки сказали правду, герцогиня плакала весь день, заболела и долго — больше недели, а это для нее много, — была безутешна. Узнав о ее горе, я был растроган. В свете стали говорить, и теперь я и сам мог подтвердить это, что между ними была большая дружба. Но вспоминая, сколько ей сопутствовало мелких колкостей, нежелания оказать помощь, я думал: какой, в сущности, пустяк — большая дружба в свете.

Впрочем, несколько позже, в обстоятельствах исторически более важных (хотя они и не волновали меня в такой степени), г-жа де Германт показала себя, как мне лично показалось, с еще более выгодной стороны. Как мы помним, она еще в девичестве была неимоверно дерзка с русской императорской семьей, и в замужестве

говорила с ними всегда с такой вольностью, что ее иногда обвиняли в недостатке такта; но, быть может, она одна после русской революции доказала свою беспримерную преданность русским великим князьям и княгиням. Еще за год до войны она изводила великую княгиню Владимир, постоянно называя графиню де Гогенфельсен, морганатическую супругу великого князя Павла, «великой княгиней Павлой»[140]. Тем не менее, русская революция еще не разразилась, а наш посол в Петербурге, г-н Палеолог («Палео» для дипломатического света, у которого, как у любого другого, свои, так сказать, остроумные сокращения), был измучен депешами от г-жи де Германт, требовавшей вестей от великой княгини Марии Павловны. Долгое время, и едва ли не ежедневно,

[140] Примечания: 140

…великую княгиню Владимир…— имеется в виду жена вел. кн. Владимира Александровича (1847-1909), брата Александра III, Мария Павловна (1854-1920). Чтобы подоплека с «Павлой» не была затуманена моими оригинальными находками, оставляю так, как в тексте. Вел. кн. Павел Александрович (1866-1919), брат вел. кн. Владимира, в 1902 женился на Ольге Валерьяновне Карнович (1866-1929); она стала графиней Гогенфельсен только в 1904, потому, собственно, и неприятно было вел. княгине «Владимир» слышать, что ту называют «вел. княгиней Павлой». У герцогини де Германт, с ее точки зрения, были основания бесить кн. Марию Павловну: в 1905 ее муж был командующим войсками гвардии и Петербургского ВО, 9 января войска открыли огонь по его приказу. Палеолог Морис-Жорж (1859-1944), посол Франции в России с 1914 по 1917. Оставил мемуары.

эта принцесса получала знаки симпатии и уважения исключительно от г-жи де Германт.

Сен-Лу если и не своей смертью, то по меньшей мере поступками, ей предшествовавшими, принес кое-кому более серьезные огорчения, нежели г-же де Германт. Дело в том, что на следующий же вечер после того, как я виделся с ним, дня два спустя после того, как барон[141] крикнул Морелю: «Я отомщу за себя», хлопоты, предпринятые Сен-Лу с целью найти Мореля, привели к тому, что генерал, под чьим началом числился Морель, понял, что Морель дезертировал; он приказал найти его и арестовать, и чтобы извиниться за наказание, которому должны были подвергнуть интересовавшего его человека, написал Сен-Лу. Морель и не сомневался, что его арест вызван ссорой с г-ном де Шарлю. Ему вспомнились слова: «Я отомщу за себя», он подумал, что в этом и заключалась месть, и попросил позволить ему сделать кое-какое заявление. «Конечно, — сказал он, — я дезертировал. Но моя ли вина, если меня наставили на дурной путь?» Он рассказал несколько историй, связанных с г-ном де Шарлю и г-ном

[141] Примечания: 141

Барон встретил Мореля на улице на следующий день после утренней встречи Первого лица с Сен-Лу и вечерней с бароном — так сообщалось ранее

д'Аржанкуром, с которым он также был в ссоре, поведанные ему теми с двойной откровенностью любовников и инвертитов, — рассказы, по правде говоря, самого Мореля напрямую не затрагивали, однако привели к аресту разом г-на де Шарлю и г-на д'Аржанкура. Сам арест, наверное, каждому из них причинил меньше страданий, чем известие о том, что второй был соперником, — ранее они этого не знали; следствие выявило и то, что соперников — безвестных, ежедневных, подбиравших Мореля на улицах, — было очень много. Впрочем, вскоре их освободили. Мореля тоже выпустили, потому что письмо, отправленное Роберу генералом, было возвращено с пометкой: «Выбыл, погиб на поле боя». Ради покойного генерал приказал попросту вернуть Мореля на фронт; последний, избежав сопутствующих опасностей, проявил на фронте отвагу и по окончании войны вернулся с крестом, который когда-то г-н де Шарлю тщетно пытался для него выхлопотать, и который ему, косвенными образом, принесла смерть Сен-Лу. Впоследствии я частенько раздумывал, вспоминая этот крест, оставленный у Жюпьена, что если бы Сен-Лу выжил, он легко бы смог «пройти» на выборах, последовавших войне, среди оставленных ею всплесков глупости и пены славы, когда

оторванный палец, отменяя вековые предрассудки, позволял вступить, блистательным браком, в аристократическую семью, а военного креста хватало, даже если он был выслужен в канцелярии, чтобы с триумфальным преимуществом пройти в Палату депутатов, если не во Французскую Академию. После избрания Сен-Лу, по причине его «святого» семейства, г-н Мейер пролил бы потоки слез и чернил. Но все-таки он слишком искренне любил народ, чтобы завоевывать его голоса, хотя народ простил бы ему, конечно, за его старинное дворянство, демократические идеи. Сен-Лу, наверное, с успехом излагал бы их перед палатой авиаторов. Конечно, этим героям он был бы понятен, как и некоторым редким благородным умам. Но стараниями напудренного Национального Блока выудили и старых политических каналий, которых переизбирают всегда. Те, кто не смог войти в палату авиаторов, чтоб хотя бы пройти в Академию, клянчили поддержки у маршалов, президента Республики, председателя Палаты и т. п. Сен-Лу не так сильно понравился бы им, как другой завсегдатай Жюпьена, депутат от «Аксьон Либераль», чье переизбрание прошло вне конкуренции. Он по-прежнему носил форму территориального офицера, хотя вой-

на кончилась давно. Его избрание с радостью приветствовали газеты, «поддерживавшие» его кандидатуру, благородные и богатые дамы, носившие теперь только рубища — из чувства приличия и боязни налогов, тогда как биржевики без останову скупали бриллианты, — не столько для жен, сколь от потери веры в ценные бумаги какого-либо государства; они прятались в этом очевидном достатке, и акции Де Бирс росли от тысячи франков. Это безумие несколько раздражало, но критические замечания в адрес Национального Блока несколько поутихли, когда неожиданно явились жертвы большевизма, великие княгини в лохмотьях, мужей которых убивали скопом, а сыновей побивали камнями, морили голодом, заставляли работать среди кричащей толпы, бросали в колодцы, потому что считали, что у них чума и они заразны. Те,

которым удалось сбежать, появились:[142]

Я перебрался в другую клинику, но меня там не вылечили, как и в первой; прошло много времени, прежде чем я ее оставил. Я возвращался железной дорогой в Париж, и мысль, что я лишен литературных дарований, посетившая меня впервые еще на стороне Германтов, и с еще большей печалью во времена ежевечерних прогулок с Жильбертой, до ужина ночью в Тансонвиле, мысль, которая, накануне отъезда из этого поместья, по прочтении мною нескольких страниц дневника Гонкуров, показала мне суетность, лживость литературы, что было не так горестно, быть может, но намного мрачней, ибо я понимал ее уже не как следствие присущей мне немощи, но как прямое указание на несуществование иде-

---

[142] Примечания: 142

..."святого» семейства... — Saint-Loup, Святой Волк. Вероятно, в фамилии содержится «отсылка» к св. Христофору, чей иконографический образ в Византии представляет собой человека с песьей головой. Рака с его мощами находится в аббатстве Сен-Дени. Мейер же был монархист и католик. Палата авиаторов. Пруст иронизирует: имеются в виду, как можно понять, ветераны, но интересно то, что авиатор в Палате был только один. Национальный Блок занял на выборах в ноябре 1919 года три четверти мест в Палате. Правительство, сформированное Блоком, действовало до 1924 года. Блок состоял из католиков и ветеранов. «Напудренность», или «посыпанность мукой», помимо прочих смыслов, отсылает к басне Лафонтена (кн. 3, басня 18), «Кот и старая крыса»: «Ce bloc enfarine»; что по-нашему звучит как «куль с мукой». Ниже: форма территориального офицера — то есть, на фронте он не был, но поскольку это было выгодно политически, по-прежнему носил военную форму.

Де Бирс. «Эко де Пари» от 13.12.1919 котирует акции компании 1275, тогда как та же газета 11.12.1914 дает 255. …мужей убивали скопом… — не совсем понятное выражение в тексте. Комментарий в «Плеяде» вежливо указывает, что источники Пруста не разысканы. Те, которым удалось сбежать, появились… — предложение не закончено автором.

ала, в который я верил, эта мысль, так долго не приходившая мне на ум, поразила меня с новой и еще более скорбной силой. Это случилось, помнится, когда поезд остановился в открытом поле. Солнце освещало верхушки деревьев, стоявших вдоль железнодорожной колеи. «Деревья, — думал я, — вам больше нечего мне сказать, мое охладевшее сердце вас уже не слышит. Вокруг нетронутая природа, а мои глаза с равнодушием и скукой следят за линией, отделяющей светлую листву от темнеющих стволов. Если я когда-то и считал себя поэтом, то теперь я знаю: я не поэт. Может быть, на новом отрезке моей высохшей жизни люди вдохнут в меня то, что уже не говорит природа. Но года, когда у меня еще были силы воспеть ее, упущены навсегда». Однако утешая себя, что возможное наблюдение за обществом заменит мне невозможное вдохновение, я знал, что я всего лишь подыскиваю утешение, что оно ничего не стоит. Если бы у меня и правда была художественная натура, какую только радость не вызвали у меня эти деревья, освещенные садящимся солнцем, или поднимающиеся почти до ступенек вагона цветки на насыпи; их лепестки можно было сосчитать, но от описания их оттенков, как во многих хороших книгах, я бы

воздержался, — разве можно внушить читателю неиспытанное удовольствие? Позднее с тем же равнодушием я смотрел на золотые и оранжевые блестки, просеянные окнами дома; затем, ближе к вечеру, я смотрел на другой дом, вылепленный, казалось, из какого-то розового, довольно странного вещества. Но я производил эти констатации в том же непробиваемом безразличии, словно гулял по саду с дамой и разглядел стеклянное оконце, а немного дальше — предмет из какой-то материи, сходной с алебастром, и хотя ее непривычный цвет не разогнал мою вялую тоску, я из вежливости к этой даме, и чтобы сказать что-нибудь, заверить, что этот цвет я заметил, указывал мимоходом на цветное стекло и кусок штукатурки. Так для очистки совести я все еще отмечал про себя, будто для какого-то спутника, способного испытать больше радости, чем я, огненные отсветы рам, розовую прозрачность дома. Но компаньон, которому я указывал на все эти любопытные детали, по характеру был не так восторжен, как большинство людей, весьма склонных такими пейзажами восхищаться, ибо он отмечал эти цвета без тени ликования.

Несмотря на мое долгое отсутствие в Париже, старые знакомые, так как мое имя осталось в

их списках, по-прежнему исправно посылали мне приглашения; я нашел одно — на чаепитие у Берма в честь дочери и зятя, и второе — на утренник у принца де Германт; печальные размышления, не оставлявшие меня в поезде, были не меньшим доводом в пользу того, чтобы туда отправиться. Стоит ли лишать себя светских развлечений, думал я, если эта знаменитая «работа», которую я уже столько лет ежедневно откладываю на завтра, мне не дается, — может быть, я для нее не предназначен и она вообще не соотносится с реальностью. Однако этот довод был абсолютно негативен, он только обесценивал причины, которые могли удержать меня от посещения завтрашнего концерта. Но пойти туда меня подтолкнуло имя Германтов, давно не приходившее мне на ум, чтобы теперь, покоясь на карточке приглашения, обрести для меня очарование и смысл, которыми я наполнял его в Комбре, когда, возвращаясь Птичьей улицей, я рассматривал снаружи темный лак витража с Жильбером Плохим, государем Германта. И Германты снова представились мне людьми, у которых нет ничего общего с остальной светской публикой, людьми несравнимыми с ними, как и с любым живым человеком, будь он хоть ко-

ролем, они казались мне существами, которые возникли из скрещения кислого, порывистого воздуха сумеречного Комбре, где прошло мое детство, с прошлым, различимым в маленькой улочке, в высоте витража. Мне захотелось пойти к Германтам, словно это приблизило бы меня к детству, глубинам памяти, в которых оно таилось. И я перечитывал приглашение, пока взбунтовавшиеся буквы, составляющие имя столь же знакомое, сколь и таинственное, как имя Комбре, не рассыпались и не растворились перед моими усталыми глазами, словно имя неведомое. Мама как раз собиралась на чаепитие к г-же Сазра, заранее зная, что там будет очень скучно, и я без колебаний отправился к принцессе де Германт.

Добираться мне пришлось на экипаже, потому что принц де Германт переехал из своего старого особняка в новый великолепный дворец, выстроенный на авеню дю Буа. Это одна из ошибок светских людей: они не понимают, что если уж им угодно, чтобы мы верили в них, нужно, чтобы для начала они сами в себя поверили, или, по крайней мере, проявили уважение к символам нашей веры. Во времена, когда я верил, даже если точно знал, что дело обстоит противоположным образом, что Германты живут в подобных двор-

цах по наследственному праву, проникнуть во дворец чародея или феи, попытаться открыть перед собой двери, которые не подчинятся, если не произнести волшебного заклинания, казалось мне делом столь же затруднительным, как попытка добиться приема у самого чародея, самой феи. Не было ничего для меня проще, чем поверить, что старый слуга, принятый на службу накануне, а то и предоставленный Потелем и Шабо, был сыном, внуком, а то правнуком служивших семье задолго до Революции; я с бесконечной готовностью называл портретом предка полотно, купленное минувшим месяцем у Бернхейма младшего[143]. Но очарование не передается, воспоминание не разделить, и от самого принца де Германта, теперь, когда он разбил основания моей веры, переехав на авеню дю Буа, сохранилось немногое. Плафоны, падения которых я опасался, когда произносили мое имя, под которыми я до сих пор испытывал бы что-то от былых страхов, былого очарования, нависали над гостями какой-то безразличной для меня американки. Само собой, не в вещах заключена их сила, и раз уж мы сами наделяем их ею, какой-нибудь юный

[143] Примечания: 143

Потель и Шабо содержали рестораны в Париже. Бернхейм младший — коллекционер и торговец полотнами.

студент-буржуа, должно быть, испытывал в этот момент перед особняком на авеню дю Буа те же чувства, что когда-то я пережил перед старым дворцом принца де Германта. Просто он был еще в возрасте верований, который я уже миновал, и я потерял уже этот дар, — так, взрослея, мы уже не усваиваем молоко, как дети. Поэтому-то взрослые вынуждены, из некоторой осторожности, пить молоко маленькими глотками, тогда как дети сосут его сколько хотят, не перехватывая дыхания. По крайней мере, в переезде принца де Германт для меня было хорошо уже то, что экипаж, в котором я предался этим размышлениям, проезжал по улицам, ведущим к Елисейским полям. Они тогда были худо вымощены, но как только коляска попала в эти места, мои мысли прервала необычайная плавность, ощущаемая нами, когда колеса катятся ни с того ни с сего легче, мягче, — бесшумно, словно открылись ворота парка и мы заскользили по аллеям, покрытым мелким песком и усыпкой листвы. Физически ничего не произошло; но вдруг я почувствовал, как внешнее противодействие устранилось, потому что больше не нужно было применяться и внимать, что, даже если мы не отдаем себе в том отчета, происходит при встрече с новым: ведь улицы,

которыми я проезжал, были теми же, давно забытыми улицами, по которым я ходил когда-то с Франсуазой к Елисейским полям. Где идти, знала сама земля; ее противодействие сошло на нет. И, как авиатор, который только что тяжело катился по земле, внезапно «оторвавшись», я медленно вознесся к молчащим вершинам воспоминания. Эти улицы Парижа всегда будут представляться мне в каком-то ином свете, нежели другие. Проезжая угол улицы Руаяль, где стоял раньше уличный торговец фотографиями, от которых Франсуаза была без ума, где я сворачивал сотни раз, я понял, что экипажу только и осталось, что повернуть самому. Я пересек не улицы, исхоженные сегодняшними гуляками, я пересек ускользающее, нежное и грустное прошлое. Впрочем, оно состояло из многих прошедших, и я с трудом мог понять причину моей грусти, — объяснялась ли она встречами с Жильбертой, когда я боялся, что она не придет, близостью дома, куда, сказывали мне, Альбертина ходила с Андре, значению философской тщеты, которое приобретает миллионы раз исхоженная в какой-нибудь страсти дорога, — страсти уже умершей и не принесшей плода, как, например, тот пыл, в плену которого я поспешно, лихорадочно выбе-

гал из дому после завтрака, чтобы посмотреть на совсем еще свежие, сморщенные от клея афиши Федры и Черного домино[144]. Мне не очень-то хотелось слушать концерт у Германтов целиком, и когда экипаж достиг Елисейских полей, я попросил остановиться; я чуть было не вышел, чтобы немного пройтись, но рядом остановилась другая коляска, и моим глазам предстало поразительное зрелище. Сгорбленный мужчина с неподвижным взглядом, скорее усаженный, нежели сидевший в глубине, чтобы держаться прямо, прилагал такое же количество усилий, как ребенок, попроси того вести себя сдержанно. Из-под соломенной шляпы выбивались необузданные дебри добела седых волос; белая борода, вроде тех, что лепит снег к статуям в общественных садах, струилась с подбородка. Рядом с Жюпьеном, готовым для него разорваться на части, сидел г-н де Шарлю, только-только оправившийся от апоплексического удара, о котором меня не известили (я знал только, что он ослеп. Но речь шла о преходящем расстройстве. Он снова видел ясно); будто действием некоего химического реактива в нем проявился невиданный доселе, — если только

[144] Примечания: 144

«Черное домино» — спектакль в Опера Комик. Федру же играла Берма.

раньше барон не красился: теперь ему это могли запретить, чтобы избежать переутомления, — сверкающий металл, низвергавшийся прядями в космах и бороде, перенасыщенных им, словно гейзеры, и это чистое серебро одновременно придавало старому поверженному принцу шекспировскую величественность короля Лира. Глаза не остались в стороне от тотальной конвульсии, металлургического истощения головы, и в результате побочного действия того же феномена потеряли блеск. Сильнее всего впечатляло то, что утраченное сверкание было как-то связано с его духовным благородством, что физическая и даже интеллектуальная жизнь г-на де Шарлю пережили аристократическую гордость, составлявшую с ним, как казалось раньше, единое тело. В это время, — наверное, также направляясь к Германтам, — проезжала в виктории г-жа де Сент-Эверт; раньше барон считал, что она недостаточно для него изысканна. Жюпьен, заботившийся о нем, как о дитяти, шепнул ему на ухо, что г-жа де Сент-Эверт с ним знакома. И тотчас с невероятным усилием, но не меньшим прилежанием больного, желающего показать, что он способен на тяжелые еще для него движения, г-н де Шарлю снял шляпу, нагнулся вперед и склонил голову — столь

же почтительно, как будто перед ним проезжала не г-жа де Сент-Эверт, но королева Франции. Может быть, затруднительность подобного приветствия и была побудительной причиной, ибо г-н де Шарлю знал, что он еще больше растрогает мучительным, и стало быть вдвойне похвальным для больного действием, равно и вдвойне лестным для той, кому поклон предназначался, — больные, как и короли, особо подчеркивают свою любезность. Может быть, движения барона свидетельствовали о расстройстве координации, последствиях заболевания костного и головного мозга, и жесты не соответствовали его намерениям. Мне в этом почудилась квазифизическая мягкость, равнодушие к жизненным реалиям, отмечаемые у тех, кого смерть уже осенила своим крылом. Не столь отчетливо изменение было засвидетельствовано серебряными залежами в шевелюре, сколь неосознанным светским смирением, переворачивавшим социальные устои, склоняющим перед г-жой де Сент-Эверт, — как оно склонило бы его голову и перед последней американкой (которая теперь самолично смогла бы, наконец, убедиться в любезности барона, практически недоступной ей доселе), — воплощение неприступнейшего снобизма. Ибо барон еще

жил и думал, его мысль не была поражена. Это приветствие барона, услужливое и почтительное, более внятно, чем хор Софокла об униженной гордости Эдипа, чем сама смерть и любая траурная речь, говорило, как хрупка, как преходяща любовь к земным почестям, любая земная гордость. Г-н де Шарлю, который ранее не согласился бы и ужинать с г-жой де Сент-Эверт, теперь приветствовал ее почти земным поклоном.

Быть может, он попросту забыл о ранге лица, с которым здоровался (удар мог вычеркнуть статьи социального кодекса, как и любую другую область памяти: это-то и объясняло сам факт приветствия), и, из-за некоординированности движений, в этом подобострастном обличье выразилось его сомнение — не та былая высокомерная неуверенность, — относительно личности проезжающей дамы. Он приветствовал ее с вежливостью детей, которые робко выходят на зов матери, чтобы поздороваться с гостями. Вот он и стал ребенком, правда, без детской гордости.

Принимать знаки уважения г-на де Шарлю было пределом снобизма г-жи де Сент-Эверт, как для барона — в этих знаках ей отказывать. Но эта недоступность, исключительность, только ему и

присущая, как он когда-то внушил той же г-же де Сент-Эверт, была им же одним махом и уничтожена, когда он прилежно и кротко, с боязливым усердием приподнял шляпу, откуда заструились — покуда его голова была почтительно непокрыта с выразительностью какого-нибудь Боссюэ[145] — потоки серебряных косм. Жюпьен помог барону спуститься, я поздоровался с ним, он что-то затараторил, но так неразборчиво, что я не разобрал и слова, и когда я переспросил его в третий раз, он нетерпеливо дернул руками; я удивился, потому что лицо его было по-прежнему невозмутимо — но, возможно, это объяснялось последствиями паралича. Однако стоило мне освоиться с этим прошептываемым словесным пианиссимо, и я понял, что его болезнь не отразилась на душе. Впрочем, в бароне жили два человека, если не считать других. Ум горевал все время, что довелось дойти до афазии, что барон то и дело произносит какое-то слово или звук вместо другого. Но как только ему на деле случалось ошибиться, второе, подсознательное «я»

---

[145] Примечания: 145

Боссюэ, Жак Бенинь, 1627-1704, французский писатель и епископ. Описание г-на де Шарлю в предыдущем абзаце перекликается с «Похоронной речью» Боссюэ на смерть Генриетты Английской. Упоминаемый ниже Авранш — реальный городок в Нормандии, расположенный, по-видимому, недалеко от Бальбека.

г-на де Шарлю, столь же жаждавшее возбуждать зависть, как первое — сострадание, и к тому же не пренебрегавшее кокетством, подобно дирижеру, у которого сбились музыканты, немедленно останавливало начатую фразу, и с бесконечной изобретательностью увязывало что-то выскочившее со словом, в действительности сказанным вместо другого, но которое он будто бы, в итоге, выбрал. В целости была даже память, откуда, — впрочем, не без жеманства, довольно для него изнурительного, — он извлекал старые пустячные воспоминания обо мне, чтобы показать, что сохранил, или восстановил, ясность своего ума. И не пошевельнув головой, глазами, ни единым отзвуком не изменив голоса, он сказал мне, в частности: «Смотрите-ка, на столбе такая же афишка, как в Авранше, когда я увидел вас впервые, — то есть нет, в Бальбеке». И действительно, рекламировался тот же продукт.

Поначалу я с трудом различал, что он говорит, — так в комнате с закрытыми занавесями на первых порах не видно ни зги. Но как глаза привыкают к сумраку, мой слух освоился с этим пианиссимо. Мне показалось, кроме того, что в разговоре оно постепенно крепло, — может быть, слабость голоса в какой-то мере объясня-

лась нервной боязнью, рассеивавшейся, когда его отвлекали и он больше не думал об этом, а может напротив, слабость действительно соответствовала его состоянию, и если он какое-то время и говорил громко, то только в мимолетном и, скорее, зловещем напускном возбуждении, о котором посторонних предупреждали: «Ему уже лучше, не напоминайте ему о болезни», — тогда как оно напротив усиливало болезнь, незамедлительно бравшуюся за свое. Как бы то ни объяснялось, в эти минуты барон (даже принимая во внимание мое привыкание) бросал свои слова с большей силой, подобно приливу, мечущему в ненастье сученые волны. И осколки недавнего удара бряцали в его словах, словно булыжники. Впрочем, беседуя со мной о былом, наверное, чтобы показать, что у него не отшибло еще памяти, он воскрешал его в несколько траурном порядке, хотя и без печали. И он перечислял усопших родных и близких, но, чувствовалось, не столько сожалея, что они умерли, сколько радуясь, что ему довелось их пережить. Казалось, воспоминание об их кончине позволяло ему ясней осознать собственное выздоровление. С разве что не триумфальной жестокостью, в приглушенных могильных тональностях, он

монотонно бросал, слегка заикаясь: «Аннибал де Бреоте, мертв! Антуан де Муши, мертв! Шарль Сван, мертв! Адальбер де Монморанси, мертв! Босон де Талейран, мертв! Состен де Дудовиль, мертв!» Слово «мертв» словно падало на этих покойников, как лопата самой тяжкой земли, будто могильщик хотел закопать их поглубже.

Герцогиня де Летурвиль решила пропустить утренник принцессы де Германт, поскольку только что оправилась от долгой болезни; она проходила мимо нас и, заметив барона, о недавнем ударе которого она ничего не слышала, подошла поздороваться. Но она и сама недавно болела, и потому, не особо проникаясь страданиями больного, и не в силах их вынести, испытывала какое-то нервное раздражение, что не исключало, быть может, глубокого сострадания. Заметив, что барон еле-еле, да и то с ошибками, произносит некоторые слова, с трудом двигает рукой, она взглянула сначала на меня, потом на Жюпьена, словно требуя от нас объяснения этому шокирующему феномену. Мы промолчали, и она пристально посмотрела на самого г-на де Шарлю, — с грустью, но не без упрека. Словно она укоряла его за то, что встретила на людях в таком непотребном виде, будто он вышел без галстука

или без ботинок. Барон еще раз ошибся, и столь же горестно, сколь и возмущенно герцогиня крикнула: «Паламед!» — тоном вопросительным и раздраженным, со злостью излишне нервных людей, которые, если мы их и впустим тотчас, раз уж им так сложно обождать минутку-другую, и извинимся, что еще не совсем одеты, ответят не столь оправдываясь, сколь обвиняя: «Стало быть, я вас потревожил!», словно это преступление потревоженного. Наконец она нас оставила, сокрушенно повторив барону: «Не пора ли вам, барон, домой?».

Мы с Жюпьеном решили пройтись, а г-н де Шарлю, чтобы отдохнуть, пристроился на какой-то скамье и с трудом вытащил из кармана книгу — молитвенник, как мне показалось. Я же охотно расспросил бы Жюпьена в подробностях — что со здоровьем барона. «С радостью поболтаю с вами, сударь, — сказал мне Жюпьен, — но далеко нам лучше не ходить. Слава богу, теперь барону лучше, но я боюсь оставлять его одного надолго. Он каким был, таким и остался, слишком уж он добрый — отдаст все, что попросят. А еще он прыток, как юноша, и глаз с него лучше не спускать». — «Тем более, что он снова при своих; когда мне сказали, что он ослеп, я был сильно огор-

чен». — «Да, действительно, паралич охватил и глаза, он вообще ничего не видел. Представляете, когда его лечили, а это ему так, кстати, помогло, он несколько месяцев не видел ничего, будто слепорожденный». — «И по этой причине в некоторых ваших услугах он больше не нуждался?» — «Что вы! Представьте себе: только мы куда-нибудь заходим, и он сразу спрашивает, что из себя представляет слуга, тот или этот. Я его уверял, что все на редкость уродливы. Но он все-таки чувствовал, что постоянно такого не бывает, что иногда я привираю. Видите, какой шалунишка! Может, нюх у него на них какой-то, может, он их по голосу — я не знаю. Тогда он меня немедленно отправлял с каким-нибудь поручением. Как-то раз, — вы уж извините, что я вам рассказываю, но раз уж вы были в Храме Бесстыдства, мне от вас скрывать нечего (впрочем, Жюпьен частенько выбалтывал чужие секреты, испытывая при этом малосимпатичное удовольствие), — я возвращался с одного из этих, так называемых, неотложных дел, и очень спешил, потому что понимал: что-то тут не так; и только я подошел к комнате барона, как услышал: „Но как?“ И барон в ответ: „Что? значит, в первый раз?“ Я стучать не стал и сразу вошел — и каков был мой ужас! Барона обманул

голос, — а он был и правда покрепче, чем обычно в эти годы (тогда барон вообще ничего не видел), и он-то, который раньше любил только зрелых мужчин, ласкал мальчишку, которому не было и десяти!»

Говорили, что в те дни он едва ли не ежедневно впадал в душевное уныние и не то чтобы бредил, но исповедывал, не таясь, свои взгляды, обычно утаиваемые — свою германофилию, например, — при третьих лицах, о строгости взглядов которых да и самом присутствии он забывал. Война давно кончилась, а он все еще сокрушался, что немцы побеждены (к ним он себя причислял), и заявлял не без гордости: «Все-таки сложно представить, что мы своего не отхватим, — мы уже доказали, что именно мы способны на самое серьезное сопротивление, что именно у нас крепчайшая дисциплина». Или же его признания были другого характера, и он неистово восклицал: «Пусть лорд X или принц де ** не приходят сюда повторять, что они мне тут вчера наговорили, — я еле держусь, чтобы не крикнуть им: „Да ведь вы сами такие; и не меньше, между прочим, чем я"“. Стоит ли упоминать, что когда г-н де Шарлю был, как говорится, „не в себе“, и выкрикивал свои германофильские и прочие признания, приближенные

лица, Жюпьен или герцогиня де Германт, уже по привычке прерывали эти неосторожные слова и давали друзьям менее близким, но более болтливым интерпретацию несколько натянутую, но зато пристойную.

«Бог ты мой! — воскликнул Жюпьен, — я же говорил, не нужно уходить далеко, вот он уже беседует с юным садовником. До свиданья, сударь, будет лучше, если я с вами распрощаюсь. Нельзя и на секунду оставить моего больного — теперь это просто большой ребенок».

Я вышел из экипажа, на этот раз поблизости от особняка принцессы де Германт, и снова подумал о той усталости, скуке, с которой накануне я пытался разглядеть линию, отделявшую, в красивейших, как говорят, местах Франции, полоску тени на коре. Конечно, вчерашние умозаключения сегодня не действовали на мои чувства столь же жестоко. Они остались теми же. Но едва ли не каждый раз, стоило мне ощутить, что я оторвался от своих привычек, выходя в другой час, в другом месте, я испытывал живую радость. Сегодня это было совершенно пустое удовольствие — посещение утреннего приема г-жи де Германт. Но теперь я знал, что мне не предначертано ничего, кроме пустых удоволь-

ствий, и с какой стати я должен отказываться от них? Я повторял, что при описании я не ощутил ровным счетом никакого воодушевления — что, конечно, не единственный, но первый признак таланта. Тогда я попытался вытащить из памяти другие «снимки», в особенности — сделанные ею в Венеции, но это слово только нагнало на меня скуку, словно то была выставка фотографий, и у меня уже не было ни вкуса, ни таланта на описание виденного мною давно, как вчера, когда у меня не нашлось сил выразить, что предстало моему кропотливому и тусклому взгляду. Пройдет минута, и мои друзья, давно не видевшиеся со мною, потребуют от меня прервать уединение, пожертвовать им своим досугом. Больше у меня не было никаких причин отказывать им, поскольку теперь я знал, что я ни на что не способен, что литература никогда не принесет мне радости, — либо по моей вине, ибо я лишен этого дара, либо из-за нее самой, если она и правда не исполнена действительности, как я верил. Мне вспомнились слова Бергота: «Вы больны, но пожалеть вас сложно — у вас есть духовные радости», — как он во мне ошибался! Как мало было радости в этой бесплодной ясности! К тому же, я расточал эту радость, если она и была — только

не духовная, — на женщин, так что, ссуди мне Судьба еще столько же лет жизни, без недуга, она бы только растянула это существование, и какой был смысл тянуть его дальше, тем более — еще много лет. Что касается «духовных радостей», то разве можно так называть эти холодные констатации, безрадостно схваченные моим взглядом, отмеченные моим точным рассуждением, так и не принесшие плода?

Но как раз в те минуты, когда нам кажется, что все потеряно, до нас и доходит спасительная весть; мы ломились во все двери, но они никуда не вели, ни о чем не догадываясь, мы толкаем единственную, которой суждено нас вывести, которую мы тщетно проискали бы еще сотни лет, и вдруг она отворяется. Копаясь во всех этих печальных мыслях, я вошел во двор особняка Германтов; по рассеянности я не заметил тронувшегося экипажа, и на крик вожатого едва успел метнуться в сторону; отступив, я нечаянно споткнулся о довольно плохо отесаный булыжник у стены каретника. Но в то мгновение, когда, восстановив равновесие, я поставил стопу на окатыш, несколько сильнее вдавленный, чем первый, мое уныние рассеялось, и это было то же самое блаженство, которое, в прежние годы моей

жизни, пробудили во мне деревья на прогулке в коляске вокруг Бальбека, как показалось мне, узнанные мною[146], вид колоколен Мартенвиля, вкус печенья «мадлен», размоченного в настое, и столько других уже описанных мною ощущений, все, что, как слышалось мне, воплотили собой последние работы Вентейля. Как в ту минуту, когда я распробовал мадлен, тревоги о будущем и интеллектуальные сомнения рассеялись. И даже те, которые относились к моим литературным дарованиям и реальности литературы как таковой, только что мучившие меня, испарились словно по волшебству. Не было никаких новых рассуждений, я не отыскал новых решительных аргументов, а препятствия, только что неодолимые, потеряли свое значение. Но на этот раз я решил не смиряться, что мною так и не понята природа этого действия, как это было, когда я распробовал мадленку, размоченную в настое. Блаженство, только что испытанное мною, походило на изведанное во вкусе мадлен, — но тогда я отложил поиск глубоких корней этого ощущения на потом. В воскрешенных образах была чисто материальная разница; глубокая лазурь засти-

[146] Примечания: 146
Этот эпизод описан в романе «Под сенью девушек в цвету».

лала глаза, чувство свежести, ослепительного света охватило меня и, пытаясь его уловить, я не смел и шелохнуться, как тогда, когда ощутил вкус мадлен, — выжидая, что рассказ этого чувства сам достигнет моего сердца; я так и стоял, рискуя вызвать смех многочисленной толпы шоферов, переступая с щербатого булыжника на покатый. Всякий раз, только физически повторяя этот шаг, я не извлекал из него никакой пользы; но если бы мне удалось забыть о приеме у Германтов и обрести то, что я чувствовал, поставив стопы на камни, то меня снова коснулось бы ослепительное и смутное видение, словно говорившее мне: «Не упускай меня, пойми меня, пойми загадку счастья, которое я тебе дарю». И я тотчас узнал ее: это была Венеция; я никогда не мог приблизиться к ней, пытаясь ее описать, и не более меня приближали к ней все эти «снимки», хранимые памятью, — но ощущение, испытанною на двух неровных плитках баптистерия Сан-Марко, вернуло мне ее с остальными, скучившимися сегодня в этом чувстве; они таились, выжидая, на своем месте в ряду забытых дней, покуда внезапный случай не вырвал их властно оттуда. Вкус мадленки напомнил мне Комбре. Но почему, когда я восстанавливал образ Комбре, образ Венеции,

меня переполняла радость, в чем-то очень определенная, — и ее, безо всяких других мотивов, было достаточно, чтобы смерть утратила для меня свое значение? Все еще прислушиваясь к себе, я решил сегодня же найти ответ и вошел в особняк Германтов, потому что мы всегда ставим выше внутренних нужд наши мнимые роли; сегодня это была роль приглашенного. Я поднялся на второй этаж, дворецкий попросил меня подождать в маленькой гостиной-библиотеке, смежной с буфетной, пока не доиграют этот отрывок; принцесса запретила открывать двери во время исполнения. И в эту секунду то, что подарили мне два неровных булыжника, укрепила вторая весть, воодушевляя меня упорствовать в труде. Дело в том, что лакей, тщетно старавшийся не произвести шума, стукнул ложечкой о тарелку. Блаженство в том же обличье, что и испытанное мною на неровных плитках, переполнило меня; впечатления были еще теплей, но они были другими: смешанными с запахом дыма, успокоенными свежестью лесной опушки; я понял, что таким милым предстал мне тот же хоровод деревьев, который вчера показался несколько скучноватым для наблюдения и описания, перед которым, сжимая в руке взятую с собой в дорогу

бутылку пива, — почудилось мне на мгновение, в своего рода забытьи, — я и стою; это было подобье стука ложечки о тарелку, внушившего мне это забытье, пока я не опомнился, и стука молотка в руках у рабочего, прилаживавшего что-то к колесу поезда, когда он стоял на опушке. Такое ощущение, что знаки, благодаря которым в этот день я мог рассеять уныние и обрести веру в словесность, должны были умножиться в сердце; дворецкий, уже давно служивший у принца де Германт, узнал меня и принес мне в библиотеку, чтобы мне не ходить в буфетную, печенье и стакан оранжада, я вытер рот салфеткой, которую он мне подал; тотчас, словно персонаж Тысячи и одной ночи, который, сам того не ведая, в точности исполняет обряд и вызывает послушного, ему лишь видимого джинна, готового перенести его в далекие страны, перед моими глазами проплыло еще одно лазурное видение; лазурь была чиста и солона, она раздувала голубоватые сосцы; впечатление было настолько сильным, что пережитое мною мгновение показалось мне подлинным; я еще сильней обеспамятел, чем в тот день, когда спрашивал себя, действительно ли меня примет сейчас принцесса де Германт, или же сейчас все рухнет; мне почудилось, что

еще чуть-чуть, и слуга откроет окна на пляж, что все зовет меня выйти, прогуляться вдоль мола в часы прилива; дело в том, что салфетка, которой я вытер рот, была так же жестко накрахмалена, как та, которой я с таким трудом вытерся возле окна в первый день нашего пребывания в Бальбеке, — и теперь, в библиотеке особняка Германтов, она разворачивала, вернувшись в свои рубцы, свои складки, оперение океана, зеленого и голубого, как хвост павлина. Я наслаждался не только этими красками, но цельным мгновением жизни, проявившей их, и к ним, наверное, — которыми я не насладился в Бальбеке от какой-то усталости, быть может, и грусти, — и стремившейся; теперь она, освободившись от всякой незаконченности во внешнем восприятии[147], чистая и бесплотная, переполняла меня весельем. Отрывок концерта мог закончиться с минуты на минуту, мне нужно будет войти в гостиную. Так что я изо всех сил старался, как можно скорее, вникнуть в природу этих тождественных радостей, только что, три раза за несколько минут, расчувствованных мною, чтобы воспользоваться наконец уроком, который необходимо из них

[147] Примечания: 147
Букв.: от имперфекта во внешней перцепции.

извлечь. Я не остановился на огромной пропасти между настоящим впечатлением от предмета, и впечатлением искусственным, составленным нами при сознательной попытке воссоздать этот предмет; я помнил, с каким безразличием Сван думал о днях, когда он был любим, — потому что за этими словами он не видел их, он видел что-то другое, — и внезапную скорбь, которую вызвали в нем несколько тактов Вентейля, ибо, благодаря этим тактам, те дни предстали ему сами по себе, какими он их ощущал; я прекрасно понимал, что то, что пробудилось во мне, когда я почувствовал неровность плит, жесткость салфетки, вкус мадлен, никоим образом не примыкало к моим воспоминаниям о Венеции, о Бальбеке, о Комбре, когда в моем распоряжении был только шаблонный набор воспоминаний; я понял, отчего называют жизнь посредственной, хотя иногда она была столь прекрасна, — потому что, когда мы судим ее и обесцениваем, мы основываемся на чем-то отличном от нее самой, на образах, ничего от нее не сохранивших. Помимо того, я мимоходом отметил, что отличие между каждым реальным впечатлением (они свидетельствуют, что однородная картина не имеет к жизни никакого отношения), вероятно, объясняется тем, что

даже незначительное слово, сказанное нами в какой-либо отрезок жизни, и самые незначимые наши поступки окружены и несут на себе отсвет вещей, логически из них не выводимых, потому что они отделены от этих вещей интеллектом, для работы которого они бесполезны, — но и поступок, и простейшее ощущение (будь то розовый вечерний блик на покрытой цветами стене сельского ресторана, чувство голода, страсть к женщине, наслаждение роскошью, будь то голубые волюты утреннего моря, обступившего музыкальные фразы, слегка выступающие из него[148], как плечи ундин) заперты в них словно в тысячах закупоренных ваз, каждая из которых заполнена совершенно несхожими цветами, запахами, температурами; не считая того, что эти вазы расставлены по всей высоте наших лет, на протяжении которых мы безостановочно меняемся, душой или мыслью, они расположены на разной высоте, и мы чувствуем, как разнятся эти атмосферы. Правда, эти-то изменения для нас и неощутимы; но между внезапно всплывшим воспоминанием и нашим сегодняшним состоянием (как и между двумя воспоминаниями о

[148] Примечания: 148
Речь идет об утренних концертах на набережной.

разных годах, местах, часах) расстояние таково, — даже если не принимать во внимание их неповторимое своеобразие, — что они несоотносимы. Они так и не сойдутся, если воспоминание, по милости забвения, не протянет между ними какой-либо нити, не свяжет себя одним звеном с настоящей минутой, если оно останется на своем месте, в своих годах, если оно сохранит свою удаленность, одиночество в полости далекой долины, на пике какой-то высоты; и тогда память внезапно наполнит новым воздухом наши легкие, и это будет воздух, которым мы уже дышали когда-то, это будет чистейший воздух, который поэтам не удастся разлить в Раю, потому что и там мы не придем к этому глубочайшему обновлению, — над этим чувством властен только тот воздух, которым мы уже дышали, ибо настоящие раи суть потерянные раи. Заодно я отметил, что при создании произведения искусства, для которого, казалось, я уже созрел, хотя это произошло подсознательно, я встречу большие трудности. Ибо если бы я и взялся за изображение ривбельских вечеров, когда в столовой, открытой на сад, жара падала, распадалась и скрадывалась, когда последние отблески еще освещали розы у стены ресторана, пока в небесах виднелись еще послед-

ние акварели дня, — я должен буду исполнить эти последовательные части в веществе отличном от того, которое подошло бы воспоминаниям об утреннем береге моря, о днях в Венеции, — в веществе четком, новом, прозрачном, звучащем особо, емком, освежающем и розовом. Я быстро пробежал эти мысли, с *большим упорством стремясь*, — чем тогда, когда я искал причину блаженства и достоверности, с которой оно нисходило, — к некогда отложенному поиску. И я угадал эту причину, сравнивая различные блаженства; общее меж ними было то, что я испытывал их разом в этом мгновении и былом; в конце концов прошедшее переполняло настоящее, — я колебался, не ведая, в котором из двух времен я живу; да и существо, наслаждавшееся во мне этими впечатлениями, испытывало их в каком-то общем былому и настоящему веществе, в чем-то вневременном, — это существо рождалось, когда настоящее и прошедшее совпадали, только тогда, когда оно оказывалось в своей единственной жизненной среде, где оно дышало, питалось эссенцией вещей, то есть — вне времени. Этим и объясняется, что в тот момент, когда я подсознательно узнал вкус мадленки, мысль о смерти оставила меня, поскольку существо,

которым я тогда стал, было вневременным, и, следовательно, его не тревожили превратности грядущего. Это существо всегда являлось мне вне реального действия и непосредственного наслаждения, всякий раз, когда чудо аналогии выталкивало меня из времени. Только это чудо было в силах помочь мне обрести былые дни, Потерянное Время, тогда как усилия памяти и интеллекта неизбежно терпели крах.

И наверное слова Бергота о радостях духовной жизни представлялись мне только что ложными, потому что «духовной жизнью» я называл логические рассуждения, в действительности не имевшие никакого отношения к ней и к тому, что сейчас во мне ожило; и жизнь, и мир наводили на меня такую скуку оттого, что я их оценивал сообразно мнимым воспоминаниям; но теперь я чувствовал сильный позыв к жизни, — стоило только возродиться во мне, с трех попыток, подлинному мгновению прошлого.

Только мгновению прошлого? В этом было нечто большее: то, что принадлежит прошлому и настоящему, и превосходит то и другое. Сколько раз в моей жизни реальность разочаровывала меня, ибо, когда я воспринимал ее, воображение — единственный орган наслажде-

ния прекрасным, — не могло примениться к ней в силу неумолимого закона, согласно которому воображению доступно лишь то, что утрачено. И вот непреложность этого сурового запрета внезапно ослабла, приостановилась; это была чудесная уловка природы, она высекала искры из ощущения — из стука вилки и молотка, даже названия книги, — разом в прошлом, благодаря чему мое воображение могло им наслаждаться, и в настоящем, в котором физическое сотрясение моих чувств шумом, прикосновением полотна, возбуждало воображение тем, чего оно обычно лишено, — ощущением реальности, и благодаря этой увертке мое сознание могло достичь, изолировать, закрепить — длительность вспышки — то, чего ему не удавалось никогда: немного времени в чистом виде. И это существо, возродившееся во мне, когда, содрогаясь от счастья, я услышал шум одновременно ложки, касавшейся тарелки, и молотка, стучавшего о колесо, испытал неровность плиток на мостовой двора Германтов и баптистерия Сан-Марко, это существо питалось только эссенцией вещей, только там оно находило свое довольствие, свои услады. Оно чахло, вникая в настоящее, недоступное чувствам, рассуждая о прошедшем, иссушенном разумом, ожидая гря-

дущего, сооруженного желанием из фрагментов настоящего и былого, лишенных к тому же реальности, ибо наша воля сохраняет из них лишь то, что согласуется со своекорыстным, слишком уж человеческим окончанием, предписываемым нами грядущему. Но пусть уже слышанный когда-то шум, пусть аромат, которым мы когда-то дышали, снова станут собою, разом в прошлом и настоящем, — реальны, но не действенны, идеальны, но не абстрактны, — и тогда сразу же освободится обычно скрытая вечная сущность вещей, и наше подлинное «я» пробудится от мертвого забытья, подчас слишком долгого, в котором это «я», однако, не погибло окончательно; оно оживет, оно получит принесенное ему небесное письмо. Минута, свободная от временного порядка, воссоздает в нас, чтобы мы ее ощутили, свободного от времени человека. И он, конечно, уверует в эту радость, даже если логически она невыводима из простого вкуса мадлен; слово «смерть» для него не имеет смысла; что ему, стоящему вне времен, бояться грядущего?

Но этот мираж, приблизивший ко мне мгновение прошлого, несоотносимое с настоящим, этот мираж не длился. Конечно, виды сознательной памяти можно растягивать, она утомляет нас не

более, чем просмотр книжки с картинками. Так когда-то, впервые отправившись к принцессе де Германт, на залитом солнцем дворе нашего парижского дома я лениво пролистывал площадь возле церкви в Комбре, бальбекский пляж, словно поясняя иллюстрациями прошедший день, просматривая тетрадь с акварелями, сделанными в разных местах, — и составляя каталог картин памяти, с эгоистическим удовольствием коллекционера, я думал: «Все-таки, что-то прекрасное в жизни я видел». Тогда моя память чувствовала какое-то отличие воспоминания от ощущений; но она только распределяла между ними однородные элементы. Напротив, в трех этих только что воскрешенных воспоминаниях я не то чтобы не пытался приукрасить представление о своем «я», я почти сомневался в реальности этого «я». Так же, как в тот день, когда я обмакнул мадлен в горячий настой, в центре плоскости, где я находился, — будь она, как тогда, моей парижской комнатой, или как сегодня, как сейчас, библиотекой принца де Германт, а до того двором его особняка, — в моем «я», излучая маленькую окружность, оживало чувство (вкус размоченного мадлен, металлический звук, окатыш под ногами), оно было присуще и плоскости,

где я был, и другой (комнате тетки Леонии, вагону железной дороги, баптистерию Сан-Марко). Стоило мне подумать об этом, и в пронзительном шуме водопровода, напоминавшем долгие крики, испускаемые летними вечерами на бальбекских просторах прогулочными кораблями, я ощутил (как случилось уже однажды в большом парижском ресторане, когда я посмотрел за окно роскошной столовой — полупустой, горячей, летней) нечто большее, чем схожесть с бальбекскими вечерними впечатлениями, когда, — так как на всех столах уже покоились скатерти и серебро, а огромные стеклянные рамы широко распахнулись на дамбу, не отделенную никаким промежутком, никакой стеклянной или каменной «гущей», солнце медленно опускалось в море, где начинали кричать корабли, — чтобы присоединиться к Альбертине и подружкам, гулявшим по дамбе, мне надо было только перешагнуть через деревянную раму, едва доходившую мне до щиколотки, и, потяни за нее только, как в петлях, чтобы отель проветривался лучше, заскользили бы сразу все стекла. К этому ощущению не примешивалось мучительное воспоминание о любви к Альбертине. Ибо мучительна только память о мертвых. Но мгновение — и их не стало, и даже у

их могил мы чувствуем только красоту природы, тишину, чистоту воздуха. К тому же, водопроводный шум только что возродил во мне не просто отголосок, двойник былого ощущения, но и само это чувство. В этом случае, как и во всех предшествующих, ощущение силилось воссоздать вокруг себя то, что его окружало, а настоящее, занявшее его место, всем постоянством своей массы противостояло вторжению в парижский дворец нормандского пляжа, железнодорожной насыпи. Приморская бальбекская столовая, с ее камчатым полотном, приготовившимся, как покров жертвенника, к встрече солнечного заката, силилась поколебать основательный особняк Германтов, выломать его двери, от нее дрожали диваны вокруг меня, как прежде — столы парижского ресторана. Каждый раз в этих воскрешениях далекое место, нарождавшееся вокруг общего ощущения, на мгновение сплеталось, подобно борцу, с действительным. Всегда настоящее побеждало; всегда покорялось казавшееся мне самым прекрасным; прекрасным настолько, что я замирал в восторге на неровной мостовой, как перед чашкой чая, силясь в эти секунды, когда они появлялись, удержать их, или вернуть, если они от меня ускользали, — эти Комбре, Вене-

цию, Бальбек, вторгающиеся и выталкиваемые, пробуждающиеся, чтобы затем покинуть меня в толще новых, но пронизанных прошлым мест. И если настоящее побеждало не сразу, то мне чудилось, что я потерял сознание; ибо в то мгновение, когда длятся воскрешения былого, они до такой степени тотальны, что не просто скрывают от нас комнату, чтобы мы увидели дорогу, обсаженную деревьями, или прилив, — они раздувают наши ноздри воздухом далеких мест, наша воля уже колеблется между различными планами, которые эти места предлагают нам на выбор, наше сознание заполонено ими, или, по крайней мере, оно путается среди них и настоящим, в том же неуверенном забытьи, которое мы испытываем иногда, задремав, перед несказанным видением.

Так что существо, три или четыре раза воскресшее во мне, быть может, только что соприкоснулось со множеством неподвластных времени фрагментов существования, — однако это созерцание, хотя его предметом была вечность, было мимолетно. Но я успел понять, что плодотворна и правдива только радость этих минут. Все остальное нереально, и в этом убеждает, во-первых, невозможность удовлетворения, как в случае, к примеру, светских удовольствий,

самое большее — причиняющих недомогание, вызванное поглощением гнусной пищи, или в случае дружбы, этой симуляции, ибо художнику известно, что, исходя из моральных соображений и отказавшись от часа работы ради болтовни с другом, он приносит реальность в жертву чему-то несуществующему (ибо иллюзия дружбы возникает только в этом милом безумии, в которое мы впадаем по ходу жизни, но которое, в глубине души, мы сравниваем с ошибкой сумасшедшего, возомнившего, что мебель ожила и разговаривает с ним), — во-вторых, грусть, приходящая вслед за удовлетворением желания, испытанная мною после знакомства с Альбертиной, когда после некоторых, хотя и незначительных затруднений, перенесенных мною, чтобы чего-то добиться — познакомиться с этой девушкой, достигнутое не показалось мне ценным, потому что я этого добился. И даже более глубокие удовольствия, которые я мог испытать в любви к Альбертине, в действительности я испытывал только в пропорции, обратной тоске, снедавшей меня, когда Альбертины не было со мной рядом, а если я был уверен, что скоро она придет, как в тот день, когда она возвращалась из Трокадеро, я не испытывал ничего, помимо смутной досады, — тогда как я все

более воодушевлялся, с возрастающей радостью углубляясь в стук ножа, вкус настоя, вталкивающих в мою комнату — комнату тетки Леонии, а за ней весь Комбре, и две его стороны. Итак, теперь я решил посвятить себя созерцанию сущности вещей, уловить его — но как? посредством чего? В ту секунду, когда жесткость салфетки перенесла меня в Бальбек, когда мое воображение было поглощено этим мгновением — и не только видом утреннего моря в тот день, но и запахом комнаты, скоростью ветра, легким голодом, колебаниями: куда отправиться на прогулку, — и все это, связанное с плотностью ткани, словно крылья тысячи ангелов, вращалось тысячу раз в минуту, — в ту секунду, когда неровность двух плиток оживила чахлые и скудные образы, оставленные в памяти Венецией и Сан-Марко, во всех направлениях и всех измерениях, и все ощущения, испытанные там мною, покуда я увязывал площадь с церковью, пристань с площадью, канал с пристанью, и со всем увиденным мир желаний, видимый только духом, я испытывал соблазн если, из-за времени года, и не отправиться на новые прогулки к венецианским водам, так и оставшимся для меня вечно вешними, то по меньшей мере вернуться в Бальбек. Но и на секунду я не остано-

вился на этой мысли. К этому времени я уже знал, что страны отличаются от картин, которые мы представляем по их именам, что лишь в мечтах и во снах предо мной простиралась местность, созданная из особо чистой материи, ни в чем не схожей с обыденными, видимыми, осязаемыми предметами, — вещества, созданного из мечтаний. Но даже относительно образов другого порядка, образов памяти, я понимал, что красота Бальбека не открылась мне, когда я там жил, что его красота в памяти разнилась с открытой мною во второй приезд. Я уже много раз наталкивался на невозможность встречи в реальности с тем, что хранилось в моей душе; ибо я обретал Потерянное Время не на площади Сан-Марко, и не во второй мой приезд в Бальбек, и не тогда, когда я вернулся в Тансонвиль, чтобы повидаться с Жильбертой, и поэтому путешествие — только приводившее меня еще раз к иллюзии, что эти впечатления сами по себе существуют где-то вне меня, на углу какой-нибудь площади, — не могло мне помочь. Я не хотел повторять ошибку и на этот раз, ибо для меня сейчас речь шла о том, чтобы узнать в конце концов, возможно ли исполнить неосуществимое, — вопреки разочарованию, настигавшему меня как только

я оказывался один на один с местностью или человеком, хотя однажды отрывок из концерта Вентейля уверил меня в обратном. Я не собирался, стало быть, повторять этот опыт еще раз, я давно уже понял, что этот путь никуда не ведет. Впечатления, которые я пытался уловить, могли только рассеяться при соприкосновении с непосредственным наслаждением; оно не могло их породить. И единственный способ подойти к ним вплотную требовал, чтобы я попытался узнать их точней, — там, где они находились, то есть во мне самом, чтобы я осветил их до глубин.

Жизнь в Бальбеке и жизнь с Альбертиной не доставила мне удовольствий, я смог испытать их лишь задним числом. Одним словом, заключение, выведенное мною из разочарований прожитого куска жизни, гласило, что жизненная реальность коренится в несколько отличной материи, чем действие. Однако, оно не сближало между собой по прихоти, следуя обстоятельствам моего существования, различные огорчения. Я ясно сознавал, что разочарование в путешествии, разочарование в любви не столь разнятся между собой, как кажется, что они — изменчивый облик, принимаемый, смотря по обстоятельствам, в которых оно проявляется, нашим бессилием

реализоваться в физическом наслаждении, реальном действии. Вспоминая вневременную радость, которую пробуждали во мне стук ложки, вкус мадленки, я думал: «Разве она отличается от счастья, которое находил во фразе сонаты Сван — обманутый собой, растворивший его в любовном удовольствии, ибо он так и не сумел обрести его в художественном созидании, — разве это не счастье, испытанное мною, когда я вник в еще более внеземной, чем такты сонаты, красный и мистический зов септета, о котором Сван так и не узнал, умерев, как многие другие, прежде чем им открылась истина? Впрочем, истина не дала бы ему ничего, ибо если эти такты и олицетворяли зов, то не вдыхали в него силы, и они не могли сделать Свана писателем».

Тем не менее, перебрав в уме эти воскрешения памяти, я догадался, что хотя и несколько отличным образом, но временами уже в Комбре на стороне Германтов смутные впечатления пробуждали мою мысль, как и эти воспоминания, — только они таили не былое ощущение, а новую истину, драгоценный образ, и я пытался раскрыть его с теми же усилиями, что и при воспоминании, словно самые прекрасные наши мысли подобны оперным ариям, снова и снова

приходящим нам на ум, хотя мы никогда их не слышали, и мы силимся расслышать их, записать. Я обрадовался этому воспоминанию, потому что оно показывало, что уже тогда во мне проявилась основная черта моего характера, — но вместе с тем огорчился, ибо понял, что с той поры я так и не преуспел на этой стезе, а ведь уже в Комбре я внимательно отмечал в душе образ, настоятельно требовавший его заметить, — облако, треугольник, колокольню, булыжник, — и чувствовал, что под этими знаками таится нечто совершенно отличное, что я должен постараться раскрыть и его и выраженную им мысль, как дешифруют иероглифические знаки, которые когда-то считали картинками, изображающими предметы. Конечно, эта расшифровка трудна, но только с ее помощью можно прочесть истину. В тех истинах, которые разум выхватывает в просветах залитого солнцем мира, есть что-то не столь глубокое и необходимое, как в истинах, которые против нашей воли вручает нам жизнь во впечатлении, — оно материально, потому что вошло в наши чувства, но мы можем высвободить из него дух. Но в целом, идет ли речь о впечатлениях, вроде испытанного мною при виде мартенвильских колоколен, или о напоминани-

ях, подобных тем, что укрылись в неровности двух ступеней, во вкусе мадлен, — следует истолковывать ощущения как знаки законов и идей, надо попытаться мыслить, то есть — вывести из мрака то, что чувствуешь и претворить чувства в духовный эквивалент. Это средство, судя по всему — единственное, может ли оно быть чем-то еще, кроме произведения искусства? И в мой ум уже спешили следствия этих мыслей; ибо, идет ли речь о напоминаниях вроде стука вилки, вкуса мадлен, или об истинах, вписанных с помощью обликов, смысл которых я отыскивал в сознании, где — то в виде колоколен, то в виде диких трав, они представали путаной и цветистой рукописью, — их первым свойством было то, что они не оставляли мне свободы выбора, ибо они были даны в исконном виде. Я понимал, что это было печатью их подлинности. Я не искал двух неровных плиток во дворе, где споткнулся. Но случайность и неизбежность, с которой было встречено ощущение, свидетельствовали об истинности воскрешенного ими прошлого и выдвинутых им образов; мы чувствуем, что приближаемся к свету, и мы испытываем радость, обретая действительность. И это же ощущение отвечает за правду всей картины, приводя за

собой вереницу родственных впечатлений — с той безошибочной пропорцией света и сумрака, выражения и умолчания, воспоминания и забвения, которая недоступна сознательной памяти и наблюдению.

Что же касается глубинной книги с ее неведомыми знаками (мне казалось — выпуклыми знаками, и мое внимание, исследуя подсознательные пучины, скоро будет выискивать и огибать их, как ныряльщик, промеряющий дно), то в их прочтении мне никто не сможет помочь, никто не подскажет правила, ибо это чтение — акт творения, нас некому подменить и мы будем читать одни. Сколь многие избегают этого письма! В какие тяжкие не пускаются, чтобы отвертеться! Во всяком событии, будь то дело Дрейфуса[149] или война, писатели изыскивали новые оправдания, лишь бы только не заниматься дешифровкой; им хотелось обеспечить триумф Права, воссоздать моральное единство нации, но у них не хватало времени подумать о литературе. Но это были только увертки, потому что у них

---

[149] Примечания: 149

Дело Альфреда Дрейфуса (1859-1935) раскололо французскую нацию на две части и всколыхнуло всю Европу (Мандельштам: «мужчины были исключительно поглощены делом Дрейфуса, денно и нощно»). Два самых видных «дрейфусара» среди французских писателей — Эмиль Золя и Марсель Пруст.

уже не осталось, — а то и не было вообще — гения, то есть инстинкта. Ибо инстинкт предписывает долг, а рассудок ищет отговорки, как бы от него уклониться. Но в Искусстве оправдания не играют никакой роли, намерения там не признаются, каждое мгновение художник должен слушаться своего инстинкта, и именно поэтому искусство — самая реальная, самая жестокая школа жизни и подлинный Последний Суд. Только эту единую книгу, труднее всего поддающуюся дешифровке, диктует нам действительность, только ее нам «впечатлила» реальность сама. О какой бы идее, оставленной нам жизнью, ни шла речь, ее материальный облик, след впечатления, произведенного ею — еще один залог ее непреложной истинности. Идеи, оформленные чистым разумом, обладают только логической истинностью, истинностью возможной, и их избрание произвольно. Книга с иносказательными образами, вписанными не нами, остается нашей единственной книгой. Не то чтобы созданные нами идеи не справедливы логически, но мы не знаем, истинны ли они. Только впечатление, сколь бы сорной ни казалась его материя, сколь бы ни был слаб его след, есть критерий истины, только за него способен ухватиться разум, ибо лишь оно

способно, если разум сможет высвободить из него истину, привести к величайшему совершенству и принести чистую радость. Впечатление для писателя — то же самое, что эксперимент для ученого, с той лишь разницей, что у ученого умственная работа предшествует, а у писателя приходит после. То, что мы не смогли расшифровать, осветить нашим личным усилием, то, что прояснилось еще до нас, не принадлежит нам. От нас исходит только то, что мы вытащили из внутренней темноты, неведомой никому другому. И так как искусство воссоздает жизнь в точности, вокруг этих истин, к которым мы подбирались в темноте, разливается поэтическая атмосфера, свежесть волшебства — и это только след пересеченных нами сумерек.

Косой закатный луч напомнил мне о далеком забытом времени — в раннем детстве, так как тетку Леонию лихорадило и доктор Перспье опасался брюшного тифа, меня на недельку поселили в комнатке Евлалии на Церковной площади; на полу были только плетеные коврики, а в окне перкалевая занавеска, ласково шелестевшая на солнце, к чему я не привык. Я ощутил, что воспоминание о комнатке старой служанки сразу же добавило моей прошедшей жизни долгую

протяженность, несхожую с остальным и прекрасную, и подумал, отталкиваясь от противного, что впечатления, оставшиеся у меня от самых пышных празднеств в роскошнейших дворцах, не оставили в ней и следа. Единственное, что вызывало грусть в этой комнате Евлалии, так это птичьи крики поездов, доносившиеся вечерами от близкого виадука. Но поскольку мне было известно, что эти ревы исходят от благоразумных машин, они не пугали меня, как ужаснули бы в доисторическую эпоху крики мамонта, свободно и необузданно бродящего где-то рядом.

Итак, я уже пришел к выводу, что мы не свободны перед произведением искусства, мы создаем его не по своей воле; но поскольку оно предначертано нам, поскольку оно необходимо и скрыто, мы должны открыть его, как закон природы. Благодаря искусству мы совершаем самые драгоценные открытия, без которых для нас навсегда осталась бы утаенной наша настоящая жизнь, реальность, как мы ее чувствовали, — до такой степени несхожая с тем, что мы сочли ею, что нас переполняет счастье, когда подворачивается случай обрести подлинное воспоминание. Я удостоверился в этом, убедившись в лживости так называемого реалистического искусства, — все

это вранье возможно только благодаря нашей привычке, сформировавшейся на протяжении жизни, приписывать чувствам чрезвычайно отличное от них выражение, которое мы примем, спустя какое-то время, за саму реальность. Я понял, что не стоит труда возиться с разнообразными литературными теориями, некогда меня тревожившими — примечательно, что это были как раз те положения, что разрабатывались критикой во времена дела Дрейфуса и ожили к началу войны; они призывали «спустить художника с его фарфорового столпа», чтобы он изображал не легкомысленные, не чувственные сюжеты, но грандиозные рабочие движения, а за нехваткой толп рисовал, по крайней мере, либо благородных интеллектуалов, либо героев («Честно говоря, изображение этих обломовых[150] меня мало волнует», — говорил Блок), но не бесполезных тунеядцев. Впрочем, еще до того, как у меня вызвала сомнение логическая полноценность подобных теорий, мне показалось, что они свидетельствуют о некоторых недостатках апологетов — так хорошо воспитанный ребенок, услышав, что люди, к которым его посылают

[150] Примечания: 150
обломовых: inutiles.

завтракать, твердят: «Мы говорим только правду, искренность у нас в крови», — чувствует, что эти слова свидетельствуют о моральных качествах, уступающих порядочному, бесхитростному простому действию, о котором ничего не скажешь. Настоящее искусство не нуждается в большом количестве прокламаций, оно совершается в тишине. Впрочем, избитые обороты этих теоретиков слишком сильно напоминали те, что употребляли заклейменные ими «слабоумные». И наверное можно судить скорее по качеству языка, чем складу эстетики о ступени, до которой была доведена интеллектуальная и моральная работа (прозектор может изучать законы анатомии и на теле слабоумного, и на теле гения, а изучение характеров возможно и на серьезном, и на легкомысленном предмете; величайшие моральные законы, так же, как и законы циркуляции крови или почечного выделения, немногим будут различаться сообразно интеллектуальному достоинству индивидов.). Не качество языка, — без которого, по мнению теоретиков, можно и обойтись, поскольку оно не представляет значимой интеллектуальной ценности, — поклонникам этих теоретиков нужна ценность произведения, выраженная понятно, распознаваемая легко, ибо

они не могут вывести ее из красоты образа. От этого писатели и впадают в соблазн писать интеллектуальные произведения. Как это непорядочно. Сочинения с теориями подобны предмету, на котором оставили ценник. К тому же, последний указывает на цену, а логическая трескотня в книге, напротив, играет на понижение. Они пускаются в рассуждения, то есть отвлекаются, всякий раз, когда у них не хватает сил, чтобы провести впечатление по всем его последовательным состояниям, чтобы оно дошло до фиксации и выражения. Выражение реальности заключено, как я теперь понял, не в проявлении темы, но в глубине, где сама тема не много значит, в стуке ложки о тарелку, накрахмаленной жесткости салфетки, — более способствовавших моему духовному обновлению, чем всевозможные гуманитарные, патриотические, интернациональные и метафизические разговоры. «Хватит стиля, — слышал я тогда и такое, — хватит литературы: дайте жизни!» Можно представить, сколько простых построений, вроде теорий г-на де Норпуа о «флейтистах», вновь расцвело за время войны. Ибо те, кто лишен художественного чувства, то есть покорности внутренней реальности, обладают способностью рассуждать об искусстве до

потери пульса. Если же они, сверх того, дипломаты и финансисты, задействованные в «реалиях» нашего времени, они с охотой верят, что литература — это своего рода игра ума, и в будущем она все более и более будет выходить из употребления. Иным угодно, чтобы роман был своего рода кинематографическим дефиле вещей. Эта концепция абсурдна. Ничто не удалено от восприятия действительности более, чем подобная кинематографическая точка зрения.

Я зашел в библиотеку и вспомнил, что рассказывали о ней Гонкуры — какие прекрасные редкие издания здесь хранятся, — и решил, что раз уж я попал сюда, надо их посмотреть. И, не оставляя нити рассуждения, я один за другим вытаскивал восхитительные томы, не слишком, впрочем, задерживая на них внимание, пока в рассеянности не раскрыл один из них, Франсуа ле Шампи Жорж Санд; меня несколько неприятно поразило, словно бы испытанное ощущение было слишком несогласно[151] с теперешними моими

[151] Примечания: 151

Этот роман, т.н. «сельского» периода, вышел в свет в 1848. Ощущение же было несогласно по причине общей наивности. Ниже: беррийские романы — в Берри, исторической области центральной Франции, Жорж Санд воспитывалась у своей бабушки. Название романа «тупо переносим», по выражению газетного критика, из классического перевода Н.М.Любимова. Необъяснимое объяснялось тем, что мама пропускала все эпизоды, казавшиеся ей фривольными.

мыслями; и тут к моему горлу подступил комок, я понял, как оно было им близко. Так, когда в комнате умершего служащие похоронного бюро готовятся к выносу тела, и сын человека, уже отдавшего родине свой долг, жмет руку последним соболезнующим друзьям, если под окнами прозвучат фанфары, он возмутится и подумает, что это какая-то шутка, оскорбительная его горю. Но если до этого он еще крепился, то теперь ему сложно сдержать слезы; он только что понял, что это звуки военного оркестра, который разделяет его траур и воздает почести праху его отца. Так я почувствовал, сколь согласно с моими мыслями было это скорбное впечатление, вызванное во мне названием книги в библиотеке принца де Германта; это название навело меня когда-то на мысль, что благодаря литературе нам открывается чудесный мир, которого я больше не находил. И, тем не менее, это была довольно заурядная книга, это была Франсуа ле Шампи. Но для меня это имя, как и имя Германтов, отличалось от имен, которые я узнал позже. Название напомнило мне о чем-то необъяснимом, как тогда казалось мне, в сюжете Франсуа ле Шампи, когда эту книгу мне читала мама (так в имени Германтов, если я долго не встречался с ними, начинало

слышаться что-то феодальное, а во Франсуа ле Шампи я находил что-то от сущности романа), на мгновение подменив собой общее устойчивое представление о беррийских романах Жорж Санд. На каком-нибудь ужине, где мысли всегда скользят по поверхности, я бы, наверное, мог говорить о Франсуа ле Шампи и Германтах, словно в том и другом не было ничего комбрейского. Но наедине с собой, как в эту минуту, я погружался намного глубже. Мысль о том, что та или иная особа, с которой я познакомился в свете, была кузиной г-жи де Германт, то есть кузиной персонажа волшебного фонаря, в эти минуты казалось мне непостижимой, и подобным образом прочитанные мною прекраснейшие книги — я не могу сказать, что они лучше, хотя, тем не менее, так оно и было, — уподоблялись мною этой несравненной Франсуа ле Шампи. Это было очень старое впечатление, там нежно смешались детские и семейные воспоминания; и я не смог узнать его тотчас. В первую минуту я с гневом спрашивал себя, кто этот чужак, только что причинивший мне боль. Этим чужаком был я, это было дитя, которым я был тогда, и книга только что воскресила его во мне, ибо она только это дитя и знала, это его она сразу позвала, — она хотела, чтобы

на нее смотрели его глазами, чтобы ее любили его сердцем, она могла говорить только с ним. И потому эта книга, которую мама читала мне вслух в Комбре почти до утра, была для меня исполнена того же очарования, что и та ночь. Само собой, «перо» Жорж Санд, используя выражение Бришо, любившего говорить о какой-нибудь книге, что она написана «бойким пером», теперь не казалось мне, как — давным-давно — моей маме, пока она, шаг за шагом, не сообразовала свои литературные вкусы с моими, пером волшебным. Но, сам того не желая, я наэлектризовал его, как частенько в забаву школьники, и вот уже тысячи комбрейских пустяков, о которых я давно уже и думать забыл, выскочили с легкостью, сами по себе, и гуськом покатились цепляться к намагниченному кончику в волнующей и бесконечной цепи воспоминаний.

Некоторые умы, склонные к чудесам, с охотой верят, что предметы хранят в себе взгляды, устремлявшиеся к ним, что памятники и картины являются нам под чувственной вуалью, сотканной им на протяжении многих веков любовью, созерцанием тысяч восхищенных глаз. И эта химера была бы истиной, если бы они перенесли ее в сферу единственной для каждого реально-

сти, в сферу собственного чувства. В этом смысле (и только в этом — он, кстати, куда значимей), вещь, на которую мы смотрели когда-то, при новой встрече вернет нам с оставленным на ней взглядом все образы, в то время полнившие наше зрение. Дело в том, что вещи — книга под такой же, как и другие, красной обложкой, — коль скоро они восприняты нами, в душе претворяются в нечто нематериальное, и они теперь состоят из того же вещества, что и наши занятия, наши чувства того времени, они, по крайней мере, нерасторжимо растворены в них. Имя, некогда прочитанное в книге, сохранит между своими слогами и быстрый ветер, и солнце, сверкавшее, когда мы ее читали. В самом крохотном ощущении, вкусе какого-нибудь простого напитка, запахе кофе с молоком, мы обретаем смутную надежду на хорошую погоду, которая столь часто улыбалась нам, когда день еще цел и полон, в непостоянстве утреннего неба; этот проблеск — ваза, переполненная ароматами, звуками, мгновениями; изменчивыми настроениями, погодой. Так что литература, довольствующаяся «описанием вещей», являет собой только жалкую опись линий и поверхностей, — и эта литература, все еще называемая реалистической, удалена от

реальности более всего, она истощает и наводит тоску, порывает связь нашего подлинного «я» с прошлым, сущность которого таится в вещах, — и грядущим, когда вещи подтолкнут нас распробовать эту сущность заново. Искусство, достойное этого имени, обязано отыскать ее, и если оно там и сядет на мель, то еще можно извлечь из своего бессилия урок (тогда как из успеха реализма извлечь нечего), что эта сущность отчасти субъективна, что отчасти она несообщаема.

Помимо того, предметы, которые мы видели в определенный отрезок жизни, книга, которую мы тогда читали, навеки связаны не только с окружавшей их обстановкой, но и, помимо того, принадлежат тому человеку, которым мы тогда были, и могут восстать только в его чувствах; стоит снять с полки, хотя бы мысленно, Франсуа ле Шампи, и тотчас во мне пробудится дитя, оно займет мое место, ведь только оно обладает этим правом — читать название: Франсуа ле Шампи, — и оно прочтет его, как в прошлом, и вокруг будет та же погода, как в том саду, его охватят те же мечты, грезившиеся тогда о странах и жизни, та же тоска при мыслях о грядущем дне. Когда я увижу что-то из другой эпохи, пробудится юноша. Мое сегодняшнее «я» — это заброшенная каме-

ноломня; можно сказать, что все ее содержимое подобно и однообразно, но любое воспоминание, как греческий скульптор, извлечет оттуда бесчисленные статуи. Я говорю: любой предмет, который мы видим снова, ибо в этом случае книги ведут себя как предметы: само действие, когда мы трогаем их корешок, или зерно на бумаге могут хранить в себе столь же живую память о моих тогдашних мыслях — о Венеции, о том, как я хочу поехать туда, — тем более фразы из этих книг. И даже свежее, ибо последние иногда мешают, подобно фотографиям человека, которые напоминают его нам не так ясно, как простые мысли о нем. Конечно, можно с тем же успехом взять с полки детские книги и, увы, иные книги самого Бергота, — вечером, устав, — словно сесть в поезд в надежде отдохнуть, осмотреть другие места, вдохнуть воздух былых лет. Но иногда бывает наоборот, если искомое воссоздание спуталось по причине затянувшегося чтения книги. В библиотеке принца хранилась, с крайне угодливым и безвкусным посвящением, и берготовская книжка; я читал ее как-то зимой, когда я не мог встречаться с Жильбертой, а теперь я никак не находил в ней мои любимые фразы. Некоторые слова наводили меня на мысль, что это

они и были, но это невозможно. Куда же делась их красота? Но от самого тома снег, покрывший Елисейские поля в тот день, когда я его читал, не отнимется никогда — я увижу его всегда.

Поэтому если бы я, как принц де Германт, предался библиофилии, книголюбом я стал бы на свой манер. Даже красота с самой по себе ценностью книги не связанная, приписанная ей любителями, — сведения о библиотеках, через которые она прошла, или то, что по случаю такого-то события она была дана таким-то самодержцем такому-то известному человеку, а за ним следовали те или иные владельцы, с продажи на продажу, и так всю ее жизнь, — для меня не была бы потеряна, эта красота в некотором роде связана с историей. Тем более, если речь шла об истории моей собственной жизни, — то есть, я выкупил бы книгу не из простого любопытства; зачастую меня привлекал бы не конкретный экземпляр, но сам по себе роман вроде Франсуа ле Шампи, впервые встретившийся мне в комбрейской комнатке, — в самую нежную и самую грустную, быть может, ночь моей жизни, когда я, увы, — в те времена, когда волшебные Германты казались мне совершенно неприступными, — добился от родителей первого отречения, от

которого можно вести отсчет упадку моего здоровья и воли, моему, каждый день отягчавшемуся, отказу от трудной работы, — роман, обретенный сегодня в библиотеке как раз-таки Германта, в самый прекрасный день моей жизни, когда я неожиданно прояснил для себя не только давние несмелые шаги моей мысли, но даже цель жизни и, быть может, искусства. Впрочем, я проявлял бы интерес и к самим экземплярам книг, но рассматривал бы их как нечто одушевленное. Дороже, чем другие, мне представлялось бы первое издание романа, но я подразумевал бы под первым изданием то, в котором я прочитал этот роман в первый раз. Я разыскивал бы уникальные издания, я хочу сказать, те, благодаря которым эта книга произвела на меня неповторимое впечатление. Последующие впечатления уже другие. Я коллекционировал бы переплеты тогдашних романов, переплеты тех лет, когда я читал первые романы, столько раз слышавшие, как папа говорил мне: «Держи спину прямо». Как платье, в котором мы впервые увидели женщину, они помогли бы мне обрести былую любовь, красоту, на которую наслоилось множество образов, любимых все меньше и меньше; и чтобы мне, уже далекому от того, смотревшего на нее «я»,

обрести первый, новое «я» уступит место былому, если оно назовет вещь, известную только ему, неведомую для «я» из настоящего.

Если б я и составил подобную библиотеку, ее ценность была бы даже выше; память заполнила книги, прочитанные мною в Комбре, в Венеции, многочисленными миниатюрами, изображающими то церковь святого Илария, то гондолу, привязанную к подножию Сан-Джорджо Маджоре на инкрустированном сияющими сапфирами Канале Гранде, они теперь ничем не уступят этим «книгам с поличиями», Библиям с узорами, часословам, к которым если и обращается знаток, то вовсе не для чтения текста, но чтобы еще раз восхититься красками, внесенными туда каким-нибудь соперником Фуке[152], собственно, и составляющими всю ценность книги. Но даже пролистывание этих книг, чтобы просмотреть картинки, которыми они не были украшены поначалу, когда я их читал, казалось мне опасным занятием, и поэтому я решил, что соблазна стать

[152] Примечания: 152

...к подножию Сан-Джорджо Маджоре... — церковь и монастырь 16 в., начата Андреа Палладио (1508-1580) в 1566, закончена в 1610 Винченцо Скамоцци (1552-1616). Церковь расположена на острове Сан-Джорджо Маджоре напротив Сан-Марко. ...не уступят этим «книгам с поличиями»... — то есть, с миниатюрами. Фуке Жан (ок. 1420-между 1477 и 1481), художник, миниатюрист.

библиофилом у меня не возникнет — даже в этом узком смысле. Я слишком хорошо знаю, как легко образы, оставленные сознанием, сознанием и стираются. Оно замещает старые новыми, а в них нет уже того дара воскресения. И если бы у меня был еще тот экземпляр Франсуа ле Шампи, вечером извлеченный мамой из пакета книг, которые бабушка собиралась подарить мне на день рожденья, то я никогда не заглядывал бы в нее; я очень боялся бы, что мало-помалу наполню ее сегодняшними впечатлениями и полностью перекрою ими впечатления былые, я испугался бы, что стану свидетелем приобщения этой книги настоящему, что, когда я попрошу ее еще разок вызвать дитя, разбиравшее ее название в комбрейской комнатке, ребенок, не ведающий, как его произносить, уже не ответит на зов, и навсегда останется погребен в забвении.

Мысль об искусстве народном как об искусстве патриотическом, даже если закрыть глаза на ее пагубность, казалась мне смехотворной. Если речь идет о том, что искусство должно поступиться утонченностью формы и «эстетскими изысками», чтобы его понимал народ, то, все-таки, я достаточно хорошо знаком со светской публикой, чтобы утверждать, что по-настоящему безгра-

мотны именно они, а не рабочие-электрики. Так что «народное искусство», по своей форме, скорее должно предназначаться членам Джокей-Клоба, а не членам Всеобщей Конфедерации Труда; что до сюжетов, простые люди зачитываются народными романами не более, чем дети — книгами для детей. Читая, мы знакомимся с небывалым, и как рабочим любопытно узнать о принцах, так и принцам о рабочих. В начале войны г-н Баррес твердил, что художник (речь шла о Тициане) прежде всего обязан служить во славу своей родины. Но он способен на служение ей только в том случае, если по-прежнему остается художником, то есть если он по-прежнему исследует законы, производит опыты, совершает открытия (столь же трудоемкие, как научные) и не думает ни о чем другом — будь то даже родина — кроме истины. Не стоит уподобляться революционерам, которые из «гражданского самосознания» презирали, если не уничтожали работы Ватто и Латура, — мастеров, которыми Франция может гордится больше, чем всеми художниками Революции вместе взятыми. Наверное, если бы анатомии предложили органы на выбор, она не выбрала бы самое нежное сердце. И не по доброте душевной, не по добродетели — на самом деле,

исключительной, — Шодерло де Лакло написал Опасные связи[153], не пристрастие к мелкой или крупной буржуазии побудили Флобера избрать сюжеты Мадам Бовари и Воспитания чувств. Иные полагают, что в эпоху больших скоростей искусство, вероятно, станет кратким, — подобно тому, как перед войной предсказывали, что она не будет долгой. Железная дорога тоже могла покончить с созерцанием, но было бы глупо сожалеть о времени дилижансов, ибо автомобиль восполняет их функции, и туристы по-прежнему останавливаются у заброшенных церквей.

Образ, данный нам жизнью, приносит с собой сложные и разнообразные ощущения. Например, вид обложки прочитанной прежде книги выткет в слогах ее названия лунные лучи далекой летней ночи. Вкус утреннего кофе с молоком приведет с собой смутную надежду на хорошую погоду, которая когда-то так часто, — пока как мы пили его из белой фарфоровой чаши, с жирной

[153] Примечания: 153

Всеобщая Конфедерация Труда — самый многочисленный французский профсоюз, основан в 1895. Баррес в 1916 году в очерках писал о Тициане: «на доме, в котором он родился, написано: Тициану, чье искусство помогло Родине обрести независимость». Морис Кантен де Латур (1704-1788) — французский живописец. Пьер Шодерло де Лакло (1741-1803) — французский писатель. Роман «Опасные связи» написан в 1782.

плиссировкой, сложенной из молочной пенки, и день еще был цел и полон, — улыбалась в неясном свете зари. Час — это не только час. Это ваза, наполненная ароматами, звуками, замыслами, странами. То, что мы называем реальностью, есть определенная связь между ощущениями и воспоминаниями, окружающими нас в одно и то же мгновение, она не предполагает возможности какого-нибудь простого кинематографического *видения*, тем сильнее удаляющегося от истины, что подразумевает, будто одной реальностью и ограничивается, — эта связь неповторима, и писатель обязан найти ее, чтобы своей фразой навеки связать два предела. Можно по одному предмету вводить в описание бесконечное количество деталей, фигурировавших в описываемом месте; но правда родится только в том случае, если писатель выявит два предмета, установит их связь, чем-то схожую в искусстве с единой связью причинного закона в науке, и должным образом стянет их кольцами прекрасного стиля; когда, подобно жизни, он сопоставит свойство, общее двум ощущениям, и высвободит их единую сущность, увязав то и другое, чтобы уберечь от превратностей времени, в метафоре. Разве не сама природа наставила меня на путь искусства, разве не она

была началом искусства, зачастую позволяя мне узнать о красоте вещи только много времени спустя — и только в другой: комбрейский полдень — в шуме его колоколов, донсьерские утренники — в икоте батарей? Связь бывает и не очень занятна, предметы заурядны, слог плох, но если нет и того, нет ничего.

Но было больше. Если бы реальность соответствовала подобного рода отбросу опыта, почти тождественному для каждого (потому что мы говорим: плохая погода, война, стоянка, освещенный ресторан, цветущий сад, — и всем понятно, что мы хотим сказать), если бы реальность этим и ограничивалась, то, быть может, хватило бы и своего рода кинематографической фильмы, а «стиль» и «литература», уводящие от простой данности, были бы искусственной нагрузкой. Но что тогда осталось бы от реальности? Если бы я постарался понять, что на самом деле произошло в ту минуту, когда что-то произвело на нас впечатление, — например, когда я проходил по мостику над Вивоной и тень облака на воде исторгла мой восторженный крик «Ой-ла-ла!»[154] и я запрыгал от радости, или когда я прислуши-

[154] Примечания: 154

Ой-ла-ла! — В переводе Н. М. Любимова на страницах первого тома «Ух ты, ух ты, ух ты».

вался к фразе Бергота, но все, что выводил из впечатления, подходило не особо: «Это восхитительно», или когда Блок, взбешенный чьим-то дурным поступком, говорил совсем уже не подходящие к заурядному приключению слова: «Чтоб так делать — ну это просто фффантастика», или когда я, польщенный знакомством с Германтами, и, к тому же, слегка одурманенный их винами, не удержался и произнес себе вполголоса: «Все-таки, это люди незаурядные, и было бы славно дружить с ними всю жизнь», — то я догадался бы, что эту, самую важную, единственно правдивую книгу большой писатель должен не выдумывать в расхожем смысле этого слова (поскольку она живет в каждом из нас), но переводить. Долг и задача писателя — долг и задача переводчика.

Если речь идет, к примеру, о неточном языке самолюбия, то коррекция неискреннего внутреннего монолога (что чем дальше, тем больше отклоняется от исходного впечатления), еще не совпав с прямой, исходящей из впечатления, сильно затруднена, поскольку ей противится наша леность; однако бывают и другие случаи, когда речь идет о любви, когда это исправление становится мучительным. И приводя обратно к истине нашу напускную безучастность, негодование от

ее лжи (столь, впрочем, естественной, столь похожей на то, что практикуем мы сами), — короче говоря, те слова, которые безостановочно, всякий раз, когда мы несчастны или нам изменяют, мы произносим не только любимому человеку, но даже, в ожидании встречи с ним, без конца повторяем себе, подчас вслух, — в тишине комнаты, взорванной чем-то подобным: «Нет, все-таки подобные поступки просто невыносимы», или: «Я хотел бы встретиться с тобой в последний раз и я не отрицаю, что это принесет мне страдание», — приводя все это обратно, к истине, которую мы ощущаем и от которой все это так далеко ушло, мы прощаемся с самыми дорогими иллюзиями, созданными в одиночестве, пока мы лихорадочно обдумывали письма и новые ходатайства, нашей страстной беседой с собой.

Даже наслаждаясь произведениями искусства, которые привлекают нас, так или иначе, новыми впечатлениями, мы, за невыразимостью, как можно скорее отбрасываем само впечатление, и ухватываемся за все то, что принесет нам удовольствие, еще не прояснив его, и болтаем об этом с прочей любительской публикой, что не сложно, потому что мы говорим с ними о чем-то общем, исключив личный корень частного впечатления.

В те минуты, когда мы с абсолютной отстраненностью наблюдаем за природой, людьми, думаем о любви и самом по себе искусстве, оттого, что впечатление сдвоено, одной частью скрыто в самом предмете, а другой половинкой, единственно доступной нашему разумению, продолжено в нас самих, мы торопливо пренебрегаем этой второй, за которую только и можем ухватиться, и останавливаем внимание на первой, хотя мы не можем ее усилить, потому что она целиком снаружи; впрочем, она ничем нас не тяготит: слишком уж тяжела попытка разглядеть бороздку, думаем мы, прошедшую в душе, когда мы смотрели на боярышник или церковь. И мы наслаждаемся симфонией, снова и снова возвращаемся к церкви, — в этом стремительном бегстве от нашей жизни, именуемом эрудицией, осознать природу которого у нас не хватает духа, — пока не станем сведущи, как ученейшие музыковеды и археологи. Сколь многие этим довольствуются, не выводя ничего из своих впечатлений, и стареют, бессильные и неудовлетворенные, будто соблюдая целибат, наложенный Искусством! Они страдают, как девственницы и ленивцы; их исцелило бы плодоношение и работа. Произведения искусства возбуждают их сильнее, чем

настоящих художников, и их экзальтация, не будучи плодом тяжкого пути вглубь, оканчивается внешними проявлениями, — их речи распалены, лицо багровеет; они думают, что совершают деяние, воя до потери голоса «браво, браво» после исполнения любимого концерта. Эти симптомы не побуждают их прояснить природу чувства, она им неизвестна. Однако, за невостребованностью, она взвинчивает даже самые спокойные разговоры, она дергает их руки, головы, лицевые мышцы, — стоит им только заговорить об искусстве. «Я вчера слушал концерт, и меня, ей-богу, не зацепило. Но тут начался квартет. И, мать честная, пошло такое (лицо любителя в этот момент тоскливо и беспокойно, словно он почувствовал: „Паленым тянет, искры летят — пожар, пожар!“)! Елки-палки, все это кошмарно и, ей-богу, плохо написано, но квартет — великолепен, и, конечно, это не для всех». Сколь бы все это не было смешно, чем-то это, однако, показательно. Это первые шаги природы на пути к художнику, бесформенные и неприспособленные к жизни, как первые животные, которые предшествовали сегодняшним видам, которым не суждено было дожить до наших дней. Слабовольные, бесплодные любители, они должны вызывать в нас то

же умиление, как первые самолеты, еще не способные покинуть землю, но скрывавшие пусть и не тайную возможность, оставшуюся нераскрытой, но тягу к полету. «И, старина, — добавляет любитель, взяв вас под руку, — восемь раз я уже его слушал, и так думаю, что не последний». И правда, поскольку питательная основа искусства ими не усваивается, нужда в художественных радостях постоянна, — они страдают булимией и им не ведомо насыщение. Так они и ходят аплодировать, долго, беспрерывно, на то же сочинение, сверх того полагая, что своим присутствием на концерте они осуществляют какой-то долг, деяние, как иные — своим присутствием на совете директоров, на похоронах. Потом появятся новые, и даже совсем непохожие сочинения, будь то в литературе, живописи или музыке. Ибо способность изобретать идеи и системы, в особенности усваивать их, всегда встречалась чаще, даже среди тех, кто творит, чем подлинный вкус, но она стала повсеместной с тех пор, как расплодились обозрения и литературные газеты (и с ними искусственные вакансии писателей и артистов). Вот и выходит, что лучшее, умнейшее, бескорыстнейшее юношество в литературе ценит произведения с высокой моральной, социологи-

ческой и даже религиозной значимостью. Они вообразили, что именно в этом критерий ценности произведения, тем самым обновляя ошибку Давидов, Шенаваров, Брюнетьеров[155] и т. д. Берготу, самые красивые фразы которого требовали несколько более глубокого погружения в себя, они предпочитали писателей, которые казались им более глубокими только потому, что писали хуже. Его усложненный стиль предназначен для светской публики, говорили демократы, тем самым оказывая свету незаслуженную честь. Но как только рассудочная натура принимается за суждения о произведениях искусства, больше нет ничего незыблемого, определенного, и можно доказывать что угодно. Тогда как талант есть благо самоценное и универсальное, и на наличие его, под преходящими модами мысли и стиля, на которых при сортировке авторов и основывается критика, *должно обращать внимание прежде всего*. Исходя из безаппеляционности своей школы, афишируемого презрения к предшествующей, критики называют пророком писателя, у

[155] Примечания: 155

Жак Луи Давид (1748-1825) — французский художник, гражданин своей страны и ее истории. Поль Шенавар (1807-1895) — фр. худ. Фердинанд Брюнетьер (1849-1906) — критик, историк, теоретик, издатель Revue des Deux Mondes с 1893 по 1906.

которого нет ни одной новой идеи. Они заблуждаются так часто, что писателю остается только предпочесть ей суд большой публики (если бы последняя не демонстрировала свою неспособность понять то, что художник пытал в неведомом ей порядке поисков). Ибо между инстинктивной жизнью публики и талантом большого писателя больше сходства (ведь талант — это благоговейно прислушивающийся инстинкт, — инстинкт усовершенствованный и осознанный среди тишины, опустившейся на все остальное), чем с поверхностным разглагольствованием и изменчивыми принципами штатных знатоков. Их блудословие обновляется из десятилетия в десятилетие (так как этот калейдоскоп составляют не только общественные слои, но и социальные, политические и религиозные идеи, приобретающие мгновенный размах благодаря преломлению в широких массах, — однако ограниченные, несмотря на то, кратостью жизни идей, новизна которых может обольстить лишь нетребовательные к доказательствам умы). Так сменялись партии и школы, притягивая к себе всегда одних и тех же людей посредственного ума, обреченных на пристрастья, от которых уберегли бы себя умы более разборчивые, более щепетильные по ча-

сти доказательств. К несчастью, первые только полоумны[156], и им необходимо продолжаться в каком-нибудь действии, — стало быть, они активней высоких умов, они притягивают к себе толпу и служат причиной не только дутых авторитетов и ни на чем не основанного пренебрежения, но также гражданской и внешней войны, хотя немного пор-рояльской самокритики могло бы нас от нее уберечь.

Наслаждение, которое вызовет в высоком уме, в подлинно живом сердце прекрасная мысль какого-нибудь автора, конечно, вполне нормальное явление, но сколь бы ни утончен был этот человек, что найдет в такой мысли что-то свое (а сколько их наберется за двадцать лет?), его самого она до такой степени умаляет, что он попросту становится чужой мыслью. Если он изнемог, пытаясь снискать любовь женщины, которая принесла ему только несчастье, и даже не добился, несмотря на свои многолетние удвоенные усилия, одного свидания с нею, то вместо

[156] Примечания: 156

То есть, они не извлекают впечатление из предмета. Ниже: пор-рояльская самокритика. Пор-Рояль — женский монастырь недалеко от Парижа, центр янсенистской деятельности. Самокритика здесь отсылает не только к Паскалю, но и к Антуану Арно, согласно которому в основе всех языков лежит единая идеальная логическая схема, которую не ведают опасные и полоумные деятели; наверное, этот отрывок подразумевает русские события.

того, чтобы попытаться выразить страдания, опасность, которую он избежал, он без конца перечитывает, подводя под нее все приходящие на ум слова и волнующие воспоминания, мысль Лабрюйера: «Подчас люди желают любить, но удача им не сопутствует, — они устремляются к поражению и не могут его найти; если можно так выразиться, они вынужденно остаются свободными». Подразумевал ли афоризм, для писавшего его, то же чувство, или другое (чтобы оно было тем же, и это было бы более красиво, следовало бы поставить «быть любимыми» вместо «любить»), — ясно, что наш чувствительный эрудит оживляет эту мысль и раздувает ее значение, пока она не лопнет; он перечитывает ее, преисполняясь радостью, потому что находит ее и истинной, и прекрасной, — но ничего своего туда, вопреки всему, он не добавил, и остается только мысль Лабрюйера[157].

Да и что, собственно, может стоить эта опись наблюдений, ведь только за мелочами, отмечаемыми ею, кроется действительность (величественность в далеком шуме аэроплана, в силуэте колокольни Св. Илария, прошлое во вкусе мадлен

---

[157] Примечания: 157

…Лабрюйера — «Характеры», «О сердце», 16.

и т. п.), и пока мы ее не высвободим, они ничего не значат.

Постепенно сохраненная памятью цепочка неточных выражений, в которой ничего не осталось от реально пережитого, начинает воздействовать на нашу мысль, жизнь и действительность; эту-то ложь и воссоздает так называемое «реалистичное» искусство, простоватое, как жизнь, — бессмысленный, лишенный красоты повтор того, что видели глаза, подметил ум, такой пустой и скучный, что поневоле спрашиваешь себя, где же автор, предавшийся этому занятию, нашел радостную моторную искру, пустившую в ход, продвинувшую его дело. Величие настоящего искусства — это не дилетантская игра, как говорил г-н де Норпуа, это обретение, воссоздание и познание реальности, — несхожей с той, в которой мы живем, и из которой мы все более и более устраняемся, когда наше условное, подменяющее ее познание становится медлительней, герметичней, — реальности, которую мы можем так и не узнать до смерти, реальности, которая и есть наша жизнь. Настоящая жизнь, в конце концов открытая и проясненная, следовательно, единственно реально прожитая жизнь — это литература. В определенном смысле, эта

жизнь постоянна, она присуща всем людям, равно художнику. Однако она не видна им, потому что они не пытаются ее прояснить. И их прошлое завалено бесчисленными повторами, по-прежнему бесполезными, потому что их не «разъяснил» разум. Это наша жизнь — но также и жизнь других; ибо стиль для писателя, подобно цвету для живописца, дело не столько техники, сколь *видения*. Стиль — это откровение (оно невозможно прямыми и осознанными средствами) о качественной разнице в том, как проявляется мир, и она осталась бы вечным секретом каждого человека, если бы не существовало искусства. Только благодаря искусству мы можем выйти за свои границы, узнать, что видели в мире другие люди, — в мире несхожем, картины которого так и остались бы для нас неведомы, как лунные пейзажи. Благодаря искусству вместо одного мира мы видим множество, и сколько было самобытных художников, столько в нашем распоряжении миров, разнящихся между собой еще сильней, чем миры, летящие по вселенной, и много веков спустя после того, как затух источник, откуда они изошли, будь то Рембрандт или Вермеер, они еще светят нам своими неповторимыми лучами.

Работа художника, то есть попытка усмотреть

за материей, за опытом, за словами нечто иное, противоположна тому труду, который ежесекундно на протяжении жизни, стоит отвлечься от себя, проделывает себялюбие, страсть, интеллект и привычка, накапливая поверх подлинных впечатлений, тем самым полностью перекрывая их, номенклатуру и практические устремления, ошибочно сочтенные нами жизнью. В целом, только это запутанное искусство и можно назвать живым. Только оно сможет проявить для других и показать нам самим внутреннюю жизнь, «наблюдению» не поддающуюся, — ее видимые проявления подлежат переводу, а зачастую и чтению в обратном порядке, трудоемкой расшифровке. И тогда работа, проделанная самолюбием, страстью, подражательным духом, абстрактным интеллектом, привычками, будет уничтожена искусством, пустившимся в обратный путь, вернувшимся к глубинам, где погребена неведомая нам реальность, — искусство заставит нас найти ее. Какой соблазн — воссоздать подлинную жизнь, освежить впечатления! Но это требует отваги самого разного рода, даже отваги чувственной. Прежде всего, надо расправиться с иллюзиями, которыми мы дорожим больше всего, оставить веру в объективность сотво-

ренного собственными силами, и вместо того, чтобы сотый раз баюкать себя словами «Как она была мила», прочесть наперекор: «Поцеловав ее, я получил удовольствие». Конечно, то, что я испытал в часы любви, испытывают все люди. И это так, но чувства подобны негативам, они кажутся черными, пока мы не поднесем их к лампе, — то есть, нам нужно смотреть их наизнанку; чувство неведомо нам, пока мы не довели его до ума. Только тогда, когда разум разъяснил его, интеллектуализовал, мы, хотя и с большим трудом, сможем различить облик прочувствованного. И я понял, что страдание, испытанное мною впервые с Жильбертой, оттого, что наша любовь не разделена внушившим ее существом, благотворно. По крайней мере, как метод (ибо наша жизнь слишком коротка, и только в муках, словно возмутившись вечными и изменчивыми колебаниями, наши мысли открывают — как во время бури высокое окно, откуда мы охватываем шторм взором — всю эту упорядоченную законами необъятность, тогда как с другого места мы ее не разглядели бы; ее не увидеть в блаженном покое, может быть, только величайшие гении могут рассчитывать на это волнение постоянно, только они обойдутся без скорбных потрясений;

но не обязательно, что широкая и размеренная поступь их радостных произведений свидетельствует о счастливой жизни, — вполне возможно, что напротив, их жизнь полнилась скорбями). Дело в том, что если мы любили не только какую-нибудь Жильберту (а она принесла нам столько страданий), то это не оттого, что мы любили еще и какую-то Альбертину; любовь — это частица души, более длительная, чем разнообразные «я», умиравшие одно за другим со своим эгоистическим желанием сохранить это чувство; эта частица, сколько бы зла (зла, впрочем, полезного) она не принесла нам, должна отъединиться от конкретных существ, чтобы восполнить целое и вернуть любовь, понимание этой любви — миру, универсальному духу, а не той или иной, с которыми нам хотелось слиться.

Мне придется заново отыскивать смысл и малейших знаков (Германты, Альбертина, Жильберта, Сен-Лу, Блок и т. д.), потому что привычки отняла его у меня. Ибо, соприкоснувшись с действительностью, чтобы выразить ее, сохранить, мы должны устранить все наносное, с возрастающей скоростью привносимое привычкой. Прежде всего я отбросил бы слова, произносимые скорее губами, чем разумом, все эти шуточки,

остроты, всплывшие за разговором, которые мы еще долго потом повторяем себе, — машинальные фразочки, переполняющие сознание ложью; они вызовут у писателя, унизившегося до их записи, легкую улыбку, гримаску, и так испортят, в частности, фразу Сент-Бева; тогда как настоящие книги должны быть детьми не блистательных раутов и болтовни, но темноты и молчания. И так как искусство в точности воссоздает жизнь, вокруг этих истин, которые мы постигли внутри, всегда будет разлита поэзия и радость волшебства, но это — только следы пересеченного нами сумрака и работающий столь же точно, как альтиметр, показатель глубины произведения. (Эта глубина никоим образом не связана с определенной тематикой, как возомнили материалистически духовные романисты; они не могут заглянуть по ту сторону явлений, и все их благородные намерения, подобно добродетельным тирадам, привычным у людей, неспособных на мало-мальски добрый поступок, не мешают нам заметить, что силы их духа не хватило и на то, чтобы избавиться от расхожих недостатков формы, приобретаемых имитацией).

Что касается истин, добытых интеллектом,

даже у самых высоких умов, в просветах[158] залитого солнцем простора, их ценность может быть и высока, но контуры их и суше, и площе, и они не глубоки, потому что для того, чтобы достичь их, не были пересечены глубины; потому что эти истины не были воссозданы. Часто писатели, по наступлении определенного возраста, когда их больше не посещают волшебные откровения, пишут только силами рассудка, и последний набирает все большую мощь; потому-то их зрелые книги сильней, чем книги молодости, — но в них нет уже того бархата.

Однако мне было ясно, что истинами, извлеченными разумом из самой действительности, не *должно пренебрегат*ь, потому что они могли бы украсить впечатления, сообщенные нам

---

[158] Примечания: 158

Просветы — claire-voie — выше уже упоминались в таком контексте : «...а ведь уже в Комбре я внимательно отмечал в душе образ, настоятельно требовавший его заметить, — облако, треугольник, колокольню, булыжник, — и чувствовал, что под этими знаками таится нечто совершенно отличное, что я должен постараться раскрыть и его и выраженную им мысль, как дешифруют иероглифические знаки, которые когда-то считали картинками, изображающими предметы. Конечно, эта расшифровка трудна, но только с ее помощью можно прочесть истину. В тех истинах, которые разум выхватывает прямо в просветах залитого солнцем мира, есть что-то не столь глубокое и необходимое, как в истинах, которые против нашей воли вручает нам жизнь во впечатлении, — оно материально, потому что вошло в наши чувства, но мы можем высвободить из него дух».

вневременной эссенцией, общей ощущениям прошлого и настоящего, веществом хотя и не таким чистым, но все же проникнутым духом; впечатления драгоценней, но слишком редки, чтобы произведение искусства могло быть составлено только ими. Я чувствовал, как они бегут ко мне толпами, готовые к делу — истины о страстях, характерах, нравах. Эти мысли обрадовали меня; однако мне вспомнилось, что лишь одна была открыта в страдании, тогда как остальные — в довольно заурядных наслаждениях.

Каждую женщину, причинившую нам боль, мы можем причислить к рангу божеств; она — только фрагментарный отсвет этих богов и последняя ступень на пути к ним, и от созерцания ее божественности (Идеи) наше страдание тотчас сменяется радостью. Искусство жизни — это служение тем, кто заставил нас страдать, служение им, как ступеням, по которым мы дойдем до их божественной формы и в радости заполним свою жизнь божествами.

И тогда меня посетило новое озарение, хотя и не столь лучистое, как только что показавшее мне, что произведение искусства — это единственное средство обрести потерянное время. Я понял, что материалы литературного произведения — это

мое прошлое, что я собрал их в легкомысленных удовольствиях, в лени, в нежности и скорби, я запасся ими, не более догадываясь об их предназначении, да и о том, что они дойдут до этих дней, чем семя, заготовившее питательные вещества, которые вскормят растение. Подобно семени, я умру, как только пробьется росток, и мне стало ясно, что, о том не догадываясь, я для него жил, даже тогда, когда думал, что в мой жизни едва ли когда-нибудь появятся эти книги, которые мне хотелось написать, ради которых я усаживался за стол и не находил темы. Так что вся моя жизнь вплоть до этого дня проходила под знаком Призвания — и вместе с тем, в каком-то смысле, дело обстояло противоположным образом. Потому что литература не играла никакой роли в моей жизни. Но жизнь, память о ее радостях и горестях, образовали запас, подобный эндосперму в семя-зачатке растения, в котором побег черпает свою пищу, чтобы превратиться в семя, и по которому в этот момент не скажешь, что в нем развивается эмбрион, хотя он уже стал средой химических и дыхательных процессов, — скрытых, но очень активных. Так что вся моя жизнь определялась тем, что приведет к ее вызреванию; но тот, кто напитается ею, так и не узнает, как неизвестно

и тем, кто поглощает питательные семена, что содержащиеся там насыщенные вещества хотя и создавались для питания, сперва вскормили семя и привели к его созреванию.

В этой материи те же самые сопоставления оказываются ложными, если мы исходим из них, и становятся истиной, если мы придем к ним в конце. Литератор завидует живописцу, ему хочется набрасывать эскизы; он пропал, если так поступит. Но стоит взяться за работу, и абсолютно все жесты его персонажей — тик, акцент, — его вдохновение берет, как у поставщика, в его памяти; и имя одного вымышленного персонажа напомнит о шестидесяти реальных: тот выведен ради гримасы, второй из-за монокля, третий за гнев, этот за самоуверенное движение руки и т. д. И тогда писатель понимает, что если путем осознанным и целенаправленным его мечте стать художником не суждено было осуществиться, то все-таки она реализовалась, и писатель заполнил этюдник, о том и не думая. Движимый инстинктом, и не помышляя, что станет им, писатель часто пропускал мимо внимания предметы, отмечаемые другими, — его даже порицали за рассеянность, а он обвинял себя в неумении слышать и видеть; и в то же время он требовал

от глаз и слуха удержать то, что другим казалось ребяческими пустяками: интонацию, с которой была сказана фраза, выражение лица и движение плечами, сделанные в определенный момент таким-то человеком, о котором он и не знал, быть может, ничего другого; прошло много лет, и потому, что эту интонацию он уже когда-то слышал, чувствовал, что может услышать ее вновь, она становилась чем-то возобновимым и длящимся; ибо чувство общего в будущем писателе само отбирает то, что общо, что войдет в произведение искусства. Но он слышал этих людей только тогда, — и неважно, что они были безумны и пошлы, что они попугаями твердили то, что говорят люди их склада, — когда они становились пророческими птицами, глашатаями психологического закона. Он помнит только общее. В виде этих интонаций, движений лица, в нем и хранится человеческая жизнь, даже если людей, которым они принадлежали, он видел только в раннем детстве; и когда он позднее возьмется за свое произведение, движение плеча, которое он видел у многих людей, вернется к нему и будет воссоздано столь же точно, словно писатель стал анатомом, — правда, на сей раз ради проявления психологической истины, — и на плечи он наса-

дит движение шеи, принадлежавшее другому, поскольку позировали все, хотя бы секунду.

Еще не очевидно, что при создании литературного произведения чувственность и воображение — качества невзаимозаменяемые, что второе нельзя без большого ущерба заменить первым, подобно тем, кто возлагает функции своего желудка, что уже не переваривает пищу, на свой кишечник. Человек от рождения чувствительный, но не наделенный богатым воображением, может, вопреки тому, писать восхитительные романы. Мучения, которые причиняют ему люди, его усилия, чтобы предупредить эти страдания, столкновения между ним и каким-нибудь бессердечным лицом, — все это могло бы, пройдя истолкование интеллектом, послужить основой для материи столь же прекрасной, как если бы он воображал и изобретал, а также освободило бы ее от излишней авторской мечтательности, от его поглощенности собой и счастья, — материи столь же поразительной для него и столь же случайной, как внезапная причуда воображения.

Заурядные люди — своими жестами, речами, невольно выраженными чувствами — проявляют законы, самим им не внятные, однако подмечаемые художником. Из-за подобного рода

наблюдений пошляки считают, что писатель злобен, — и напрасно, потому что и в банальном художник находит что-то прекрасное и всеобщее, он винит в этих качествах свои объекты наблюдений не более, чем хирург — больного, у которого часто встречающаяся закупорка вен. Поэтому пошлость вызывает у него много меньше насмешек, чем у других. Увы, он скорее несчастлив, нежели злобен: если речь идет о его собственных страстях, ему, познавшему их причины, сложнее изжить личные горести.

Если нас оскорбляет наглец, мы, конечно, предпочли бы услышать его хвалы, — тем более, если нам изменяет возлюбленная, мы много чего отдали бы, чтобы дело обстояло иначе. Правда, злость оскорбленного, скорбь отвергнутого тогда остались бы для нас неведомыми землями; их открытие, мучительное человеку, драгоценно художнику. Так неблагодарные и злобные люди, вопреки своей воле, да и вопреки воле художника, входят в его произведение. Памфлетист невольно приобщает к своей славе заклейменного им пройдоху. В произведении искусства мы встретим мужчин, которых художник ненавидел больше всего, и, увы, женщин, которых он сильнее всего любил. Они только позируют писателю,

даже в то время, когда причиняют ему боль. Когда я любил Альбертину, я ясно понимал, что она меня не любит, и я поневоле смирялся, что с ней я только узнавал, что такое страдание, любовь, а поначалу — счастье.

И когда мы пытаемся извлечь что-то существенное из нашей печали, описать ее, нас, в какой-то мере, может утешить еще и то, что обобщающее мышление и письмо для писателя суть здоровые и необходимые функции, приносящие ему счастье, как людям плотским — упражнения, пот и ванна.

Честно признаться, меня это несколько смутило. К чему мне была моя вера в искусство, высшую истину жизни, я ведь, с другой стороны, был уже не в состоянии прилагать какие-то усилия, что-то вспоминать, я уже не мог любить Альбертину, оплакивать бабушку, как раньше, — и я спрашивал себя, произведение ли искусства, о котором они не узнают, будет свершением участи этих бедных покойниц. Мою бабушку, за агонией и смертью которой я наблюдал с таким безразличием. Если бы я только смог, во искупление, когда мой труд будет завершен, раненый и неизлечимый, покинутый всеми, выстрадать долгие часы, прежде чем я умру! Впрочем, мне было бес-

конечно жаль даже и не столь близких, людей, для меня безразличных, чьей участью, страданиями, да даже пошловатостью пользовалась моя мысль, чтобы их постигнуть. Эти люди открыли мне истины, и их больше не было, — я подумал, что они жили к моей выгоде, будто все они для меня и погибли. Я с грустью думал, что любовь, которой я так дорожил, в книге будет слишком далеко отстоять от того человека, ибо читатели подменят его своими чувствами к другим женщинам. Но мне ли возмущаться этой посмертной неверностью, тем, что какой-нибудь читатель перенесет мои чувства на других, неизвестных мне женщин, если эта неверность, это дробление любви на многие существа, началась еще при жизни, еще до того, как я стал писать? Я поочередно испытывал страдания из-за Жильберты, г-жи де Германт, Альбертины. По очереди я и забыл их, и если что-то и длилось, то была моя любовь. И если какой-нибудь читатель осквернит одно из моих воспоминаний, то я первым осквернил его, и задолго до него. Я разве что не внушал себе отвращения — отвращения того же рода, что, может, испытали бы к себе члены какой-нибудь националистической партии, из-за которой начались военные действия, единственной партии,

которой была выгодна война, повлекшая страдания и смерть многих благородных жертв, не узнавших даже (что для моей бабушки, по крайней мере, было бы огромным вознаграждением) исхода битвы. Меня только и утешало, что если она так и не уз*нает о моей работе и не сможет насладиться моими успехами*, то, такова уж участь мертвых, мое бездействие, мою упущенную жизнь, причинявшие ей такое страдание, она не сознает уже давно. Конечно, там были бы слова и взгляды не только бабушки и Альбертины, но и многих других, хотя самих этих людей я уже не помнил; книга — это огромное кладбище, и на большинстве могил уже не прочесть стершиеся имена. Напротив, иногда очень хорошо вспоминается имя, но не помнишь, вошло ли что-нибудь от человека, носившего его, в эти страницы. Эта девушка с глубоко посаженными глазами, тягучим голосом, тут ли она? и если она действительно покоится здесь, то уже не узнать — где, да и как найти ее под цветами. Но раз уж наша жизнь обособлена от жизни других людей, раз уж самые сильные наши чувства, как моя любовь к бабушке, Альбертине, по прошествии нескольких лет уже нам не знакомы, раз уж они для нас теперь — только неведомое слово, и мы

говорим об этих умерших со светскими приятелями, встречи с которыми по-прежнему доставляют нам удовольствие, хотя все, что мы любили, мертво, — то тогда если и есть способ понять эти забытые слова, мы должны им воспользоваться; только для этого надо сначала перевести их в универсальный язык, который, по крайней мере, будет постоянен, и сотворит из них, больше не сущих, из самого подлинного их естества, вечное достояние мира. И если мы выразим законы перемен, запутавшие эти слова, то не станет ли наша немощь новой силой?

Впрочем, произведение, которое пишут наши беды, в грядущем можно истолковать и как роковую примету страданий, и как счастливый знак утешения. И правда, если мы говорим, что влюбленности и разочарования поэта послужили ему, помогли выстроить произведение, если какие-нибудь женщины, — одна по злобности, вторая шутки ради, — вовсе не подозревая о том, внесли по камню в постройку монумента, который они не увидят, мы не достаточно ясно представляем, что жизнь писателя не ограничена этим произведением, что тот же самый его характер, из-за которого он испытал множество описанных в книге страданий, продолжит жизнь

и после того, как работа будет окончена, что он же побудит писателя полюбить других женщин в довольно схожих обстоятельствах, если только время не переменит, не преобразует условия, саму тему, его любовный аппетит и сопротивляемость боли. С этой точки зрения произведение можно рассматривать как несчастную любовь и пророчество о грядущих, жизнь уже похожа на произведение, и поэту можно не писать больше, поскольку в написанном кроется предвосхищенный облик грядущего. Итак, моя любовь к Альбертине, сколь бы ни была она отлична, уже была вписана в мою любовь к Жильберте, в те счастливые дни, когда я впервые услышал имя Альбертины, рассказ о ней от ее тетки, не думая, что этот неразличимый росток сможет развиться и простереться надо всей моей жизнью. Но с другой стороны произведение — это примета счастья, потому что оно учит нас, что в любом чувстве общее лежит в стороне от частного, учит дороге от второго к первому, какому-то упражнению, укрепляющему против печали, внушая нам забвение ее причин, наставляя, как проникнуть в ее сущность. И правда, мне еще предстояло узнать в будущем, что в часы работы, даже в любви и тоске, при исполнении произведения, наша

возлюбленная растворяется в реальности более объемной, нежели реальность забвения, что в часы труда мы страдаем от любви не больше, чем от какой-то чисто физической болезни, в которой любимое существо уже ничего не значит, чем от своего рода болезни сердца. Правда, все дело во времени, и эффект будет обратным, если работа придет несколько позднее. Ибо те люди, которым, сколь бы мы ни сопротивлялись, удалось, по своему злобству и ничтожеству, разбить наши иллюзии, уже сами отъединились от любовной химеры, выдуманной нами, и сошли на нет, и если в это время мы примемся за работу, то наша душа вновь изобретет эти чувства и отождествит их, для нужд самоанализа, с якобы любившими нас женщинами; в этом случае литература, возвращая к работе, прерванной любовной иллюзией, сообщает своего рода загробную жизнь уже мертвой любви.

Нам нужно оживлять наше страдание со смелостью врача, испытующего на себе опасную инъекцию. Но в то же время нам необходимо осмыслить его, обобщить, и в какой-то мере это облегчит нашу боль и поможет разделить горе с миром, высвободить этим немного радости. Там, где жизнь заводит нас в тупик, разум буравит

выход, ибо если и нет средства от неразделенной любви, то мы исходим из констатации страдания, чтобы извлечь хотя бы предполагаемые им выводы. Разуму неведома круговая порука безысходного существования.

Так что мне нужно примириться с мыслью, — поскольку ничто не длится, если не становится обобщением, если дух не замыкается на себе самом, — что даже самые дорогие для писателя люди, в конечном счете, лишь позировали ему, как художнику.

В любви наш счастливый соперник, иными словами, наш враг — это наш благодетель. Он придает существу, вызывающему только бесцветное физическое желание, безмерную ценность, хотя с ним никак и не сопряженную, но нами ему приписываемую. Если бы у нас не было соперников, удовольствие не претворялось бы в любовь. Если бы у нас их не было, или если бы мы не думали, что они у нас есть. Вовсе не обязательно, чтобы они существовали реально. Нам послужила бы и эта иллюзорная жизнь, которой подозрение и ревность наделяют несуществующих врагов.

Иногда скорбный отрывок только набросан, и к нам приходит новая грусть, новое страдание, позволяя его закончить, дополнить. Не следует

слишком уж жалеть себя из-за этих полезных огорчений, ибо в них нет недостатка, они не заставят себя долго ждать. Надо все-таки торопиться, потому что они не длятся очень долго: мы либо утешимся, либо, если они слишком сильны и сердце больше не так крепко, мы умрем. Только счастье целительно телу; но именно горе воспитует силы духа. Впрочем, даже если бы оно и не открывало нам с каждым разом законы, то оно все равно необходимо — чтобы вернуть нас к истине, заставить отнестись к миру всерьез, вырвать сорняки привычки, скептицизма, легкомыслия, безразличия. Правда, истина несовместима со здоровьем и счастьем, и не всегда совместима с жизнью. В конечном счете, горе убивает. С каждой новой сильной болью мы чувствуем, как кровоточит еще одна вена, извивая смертельные изгибы вдоль виска, под глазами. Так мало-помалу складывались эти жуткие опустошенные лица старого Рембрандта, старого Бетховена, над которыми смеялся мир. И это было бы только глазными мешками, морщинами лба, если бы не страдание сердца. Но поскольку силы претворяются в другие силы, поскольку длящееся горение становится светом, а электричество молнии оставляет снимки, поскольку тупая сердечная

мука может возвышаться, как стяг, над видимым постоянством образа каждого нового горя, примем физическую боль, которую она приносит, ради духовного знания, которое она открывает; пусть наше тело распадается, ибо каждая новая отпадающая частица идет на то чтобы, на сей раз светла и ясна, воссоединиться, дополнить ценой страданий, в которых другие, более одаренные, не имеют нужды, сделать более прочным, по мере того, как волнения размывают нашу жизнь, наше произведение. Идеи — наследницы скорбей; когда последние превращаются в идеи, скорби отчасти теряют свое вредоносное действие на наше сердце, и даже, в первые мгновения, само по себе превращение нежданно высвобождает радость. Впрочем, наследники только во временном порядке; кажется, Идея первична, а горе — только образ вхождения некоторых Идей в нашу душу. Группы Идей многочисленны, некоторые виды ведут к радости тотчас.

Эти мысли заставили меня почувствовать нечто более основательное и точное в истине, давно уже мною предвосхищенной, впервые кстати, когда г-жа де Камбремер удивлялась, как же это я из-за Альбертины отказался от общения с таким замечательным человеком, как Эльстир.

Я понимал, что она не права даже с интеллектуальной точки зрения, но я не знал, что она недооценивает именно уроки и практику литератора. Объективная ценность искусств здесь не имеет никакого значения, речь идет о том, чтобы заставить выйти, вывести к свету наши чувства и страсти, то есть страсти и чувства каждого человека. Женщина, которая нужна нам, из-за которой мы страдаем, вызволяет из нас ряды по-иному глубоких, по-иному живых чувств, нежели какой-нибудь выдающийся человек. Вспомнив о жизненных наших реалиях, остается узнать — *стоит ли хоть чего-нибудь измена женщины*, принесшая столько страданий, наряду с истинами, которые эта измена нам открыла, которые женщина, радующаяся нашей муке, едва ли сможет понять. Во всяком случае, в этих изменах недостатка нет. Писатель без боязни может приняться за долгую работу. Пусть ум работает, по ходу дела встретится много горя, оно займется финалом. Что до счастья, то от него едва ли не единственная польза — сделать несчастье возможным. Надо чтобы в счастье мы оковали себя нежными и крепкими нитями доверия и привязанности, чтобы разрыв, с такой пользой для нас, порвал нам что-то в сердце, что и зовут

несчастьем. Если же мы не были счастливы, и даже не надеялись на то, несчастья не будут жестоки и, следовательно, не принесут плода.

Художнику, чтобы нарисовать одну церковь, надо увидеть многие, и тем более писателю, чтобы описать одно чувство, воплотить объем и насыщенность, общность и литературную реальность, понадобится много людей. Искусство длительно, а жизнь коротка; можно добавить, что если вдохновение кратко, рисуемые им чувства не намного длиннее. Ведь именно страсти готовят материю наших книг, записывает их промежуточное отдохновение. Когда вдохновение возродится, когда мы снова примемся за работу, женщина, позировавшая нам для какого-то чувства, его уже не внушит. Тогда продолжение надо рисовать с другой, и хотя это измена первой, оттого, что наши чувства сходны, произведение становится воспоминанием о былых влюбленностях и в то же время пророчеством о влюбленностях грядущих, — и нет ничего страшного в этой подмене. Поэтому тщетно исследовать — кто был прототипом. Произведение, даже неприкрытая исповедь, включено, по меньшей мере, в целый поток различных эпизодов жизни автора, — предшествующих, которые его

вдохновили, последующих, которые походят на него не меньше, ибо будущая любовь воспроизводит особенности предыдущих. Мы не так верны человеку, которого любили сильнее всех, как самим себе, и мы забудем его рано или поздно, чтобы — поскольку это одно из наших свойств — полюбить вновь. Самое большее, наша любовница внесла в это чувство какую-то особенность, и мы будем верны ей и в изменах. Нам понадобятся от ее наследницы те же утренние прогулки, те же проводы по вечерам, мы дадим ей в сто раз больше денег. (Занимательна эта циркуляция денег, которые мы дарим женщинам, — последние, благодаря им, приносят нам страдания, что значит: позволяют нам писать книги, и едва ли будет ошибкой говорить, что книги, как артезианские колодцы, поднимают настоль высоко, насколь глубже страдание вошло в сердце.) Благодаря этим заменам произведение становится чем-то отвлеченным и приобретает более общий характер; и здесь суровое назидание: для нас нет необходимости стремиться к людям, ибо реально существуют и, следовательно, поддаются выражению, не они, а идеи. Надо торопиться, не терять времени, покуда модели находятся в нашем распоряжении; ибо много сеансов не дают ни те, что

позируют для счастья, ни те, — увы, поскольку оно длится не дольше, — что позируют для горя.

Впрочем, даже тогда, когда оно не служит для нас поставщиком, первооткрывателем материи произведения, оно полезно, ибо к ней подталкивает. Воображение и мысль — восхитительные машины, но они могут быть и инертны. Тогда страдание приводит их в движение. И позирующие нам для скорби женщины дают частые сеансы в той самой мастерской, куда мы заходим только в эти времена, мастерской нашей души! Это время — образ нашей жизни с ее различными горестями. Ибо горести тоже состоят из многих, и только успеешь подумать, что скорбь улеглась, как придет новая. Новая в полном смысле этого слова: может быть, потому, что непредвиденные ситуации теснее вводят нас в соприкосновение с собою, и скорбные дилеммы, возникающие в любви ежеминутно, наставляют нас и последовательно открывают материю, из которой мы созданы. И когда Франсуаза, видевшая, что Альбертина всюду ходит, как собака, все приводит в беспорядок, разрушает меня и огорчает, говорила мне (к этому времени я уже написал несколько статей и сделал несколько переводов): «Вот вместо этой девицы, на которую он все время

угробил, барин взял бы себе что ли секретаря какого-нибудь воспитанного, а тот бы разобрал все его бумажища!» — я, наверное, ошибался, находя, что она говорит разумно. Отнимая у меня все свободное время, заставляя меня страдать, Альбертина, наверное, принесла мне больше пользы, даже с литературной точки зрения, чем секретарь, который привел бы в порядок «все мои бумажища». Однако если какое-то существо так нелепо (наверное, в природе это место принадлежит человеку), что не может любить, не страдая, и ему нужны горести, чтобы познать истины, то рано или поздно жизнь ему надоест. Счастливые года суть потерянные года, чтобы работать, мы ждем страданий. Идея предваряющего страдания ассоциируется с идеей работы, мы боимся каждого нового произведения, думая о скорбях, которые необходимо вынести, чтобы его придумать. И поскольку мы понимаем, что страдание — это лучшее, что можно встретить в жизни, мы без ужаса, как об освобождении, думаем о смерти.

Однако, если отчасти это было мне не по нраву, еще следовало учесть, что чаще не мы играем с жизнью, подыскивая людей для книг, но все совершается наоборот. Столь благородный пример Вертера был, увы, не для меня. Ни на секунду

не веря, что Альбертина любит меня, из-за нее я двадцать раз хотел покончить с собой, я разорился и потерял здоровье. Когда речь идет о работе, мы скрупулезны, мы вникаем в мельчайшие детали, мы отбрасываем все, что не является истиной. Но если речь идет всего лишь о жизни, мы терзаем себя и теряем силы, изводимся домыслами. Но подлинно, только из жилы этих измышлений (если прошли года быть поэтом) можно извлечь какую-то истину. Горести — это мрачные, ненавистные слуги, с которыми мы сражаемся, которым мы все больше проигрываем, слуги ужасные, не подлежащие замене, но они ведут нас подземными дорогами к истине и смерти. Блажен тот, кто встретил первую раньше второй, для кого, сколь бы близки они ни были одна от другой, час истины пробьет прежде смертного часа.

Еще я подумал, что даже самые незначительные эпизоды моего прошлого наставляли меня в идеализме, и вот сегодня я мог извлечь выгоду из этих уроков. Мои встречи с г-ном де Шарлю, в частности, еще до того, как его германофильство преподнесло мне тот же урок, намного определеннее, чем любовь к г-же де Германт, Альбертине, чем любовь Сен-Лу к Рашели, позволили убедить-

ся, что сама по себе материя безразлична, что ее можно полностью заполнить мыслью; истину эту феномен сексуальной инверсии, столь плохо понятый, столь напрасно порицаемый, проясняет еще лучше, чем уже сам по себе поучительный феномен любви. Любовь показывает нам, как красота женщины, уже нелюбимой, ускользает от нее и вселяется в лицо, которое другим покажется совершенно некрасивым, которое и нам как-нибудь разонравится; но не поразительнее ли, когда она, вызвав восторг знатного барина, прикажет ему тотчас расстаться с прекрасной принцессой и переместится под фуражку контролера омнибуса? Разве мое удивление, всякий раз, как я видел на Елисейских полях, на улице, на пляже лицо Жильберты, г-жи де Германт, Альбертины, не доказывало, что память расходится с первоначальным впечатлением, удаляясь от него все дальше и дальше? Нет часа моей жизни, который не учил бы меня, что только грубое и ошибочное восприятие приписывает явления предмету, тогда как все содержится в духе; час, когда я впервые оплакал смерть моей бабушки, пробил только тогда, когда ее смерть вошла в мою мысль, то есть много лет спустя после ее смертного часа.

Писателя не должно оскорблять, что инвертит придает его героиням мужское лицо. Только это легкое отклонение позволяет инвертиту выявить наконец в прочитанном общий характер. Сообщив античной Федре черты янсенистки, Расин придал ей универсальную ценность; равно, если бы г-н де Шарлю не наделил «неверную», о которой Мюссе плачет в Октябрьской ночи или в Воспоминании, чертами Мореля, он не смог бы ни плакать, ни понимать, поскольку только эта узкая и кривая дорога вела его к истинам любви. Только в силу привычки, усвоенной в неискреннем языке предисловий и посвящений, писатель говорит: «мой читатель». На самом деле каждый читает в самом себе. Книга писателя — это только своего рода оптический инструмент, предоставленный им чтецу, чтобы он распознал то, что без этой книги, быть может, не увидал бы в своей душе. И если читатель узнает в себе что-то, о чем говорит книга, то это является доказательством истинности последней — и vice versa: в какой-то мере несходство двух текстов вина не автора, но читателя. Впрочем, иногда книга слишком учена, слишком темна для простодушного читателя, и за ее мутным стеклом он не видит букв. Но из-за некоторых других частностей, как то

инверсии, читателю может понадобится особая манера чтения, и это не должно оскорблять автора, напротив, надо предоставить читателю полную свободу, словно говоря: «Смотрите сами, с каким стеклом вы видите лучше — тем, этим или третьим».

Если меня всегда так волновали грезы, приходящие во сне, то не потому ли, что, возмещая длительность силой, они помогают лучше разобраться в чем-то субъективном, в любви, например, ибо по их воле мы в мгновение ока можем, как в народе говорят, «врезаться» в дурнушку, на что в реальной жизни ушли бы годы привычки и связи, словно сны, изобретенные неким чудодейственным доктором — внутривенные инъекции любви, а иногда страдания; и так же быстро всаженная ими в душу любовная страсть рассеивается, и когда ночная любовница опять предстает нам знакомой дурнушкой, исчезает нечто более ценное, восхитительная картина грустных, сладострастных чувств, неопределенно-туманных сожалений, то самое паломничество на Киферу[159] страсти, чьи оттен-

[159] Примечания: 159

…паломничество на Киферу… — картины Ватто, также одноименное стихотворение Бодлера. Кифера — остров культа Афродиты.

ки, истинности драгоценной, нам так хотелось бы сохранить для яви, — но она испаряется, как слишком блеклое полотно, уже не подлежащее восстановленью. Может быть, Мечты чаровали меня и вольной игрой со Временем. Не часто ли за одну ночь, если не за одну ночную минуту, глухие времена, удаленные на безмерные расстояния, отчего уже не различить тогдашних чувств, обрушивались на нас с молниеносной скоростью, слепя ясностью, словно гигантские самолеты, а не бледные звезды, как казалось раньше; и перед нами восставало то, что они для нас сохранили, и они волнуют и шокируют отчетливостью непосредственного соседства; затем, когда мы просыпаемся, они улетали в свои далекие края, словно по мановению волшебной палочки, чтобы мы сочли их, хотя и напрасно, еще одним способом обрести Потерянное Время?

Я понял: только грубое и ошибочное восприятие приписывает явления предмету, тогда как все содержится в духе; я потерял бабушку много месяцев спустя после ее смерти; я узнал, как меняется облик людей сообразно представлению, составленному о них другими, что в глазах разных людей один человек становится множеством (например, Сван в первые годы, принцесса Люк-

сембургская в глазах первого председателя[160]), даже в глазах одного человека по прошествии нескольких лет (имя Германтов, многоликий Сван). Я видел, как любовь приписывает человеку то, что живет только в любящем. Я понял это лучше, охватив бескрайность расстояния между объективной реальностью и любовью (Рашель для Сен-Лу и для меня, Альбертина для меня и Сен-Лу, Морель или кондуктор омнибуса для де Шарлю и для других лиц, и, несмотря на то, печали де Шарлю: стихи Мюссе и проч.). Наконец, в какой-то мере германофильство барона де Шарлю, взгляд Сен-Лу на фотографию Альбертины помогли мне ненадолго избавиться если и не от германофобии, то, по крайней мере, от веры в ее чистую объективность, навели на мысль, что, быть может, в подобных вещах есть что-то от ненависти, от любви, что в тех жутких суждениях, которые в то время высказывали французы в отношении Германии — считалось, эта нация бесчеловечна, — было что-то от объективации тех чувств, силой которых Рашель и Альбертина казались нам неповторимыми. Возможно, что и на деле немцы не были прирожденными голо-

[160] Примечания: 160

...первого председателя... — персонаж второго тома, бальбекский завсегдатай.

ворезами, ведь и я-то пережил переменчивую любовь[161], чтобы, когда она кончится, больше не придавать предмету любви особой ценности, и я видел во Франции подобные преходящие всплески ненависти, когда «предателями» — в тысячу раз худшими, чем немцы, которым они предали Францию, — оказывались дрейфусары вроде Рейнаха; тем не менее, позднее патриоты сотрудничали с ним, объединившись против страны, каждый гражданин которой, по необходимости, был лжив, хищен, слабоумен, — исключая, конечно, немцев, вставших на сторону Франции: короля Румынии, короля Бельгии, русскую императрицу. Правда, антидрейфусары ответили бы: «Это не одно и то же». Но в действительности это всегда «не одно и то же», это даже «не один и тот же» человек, — иначе, обманутые сходным феноменом, мы оказались бы во власти галлюцинаций, и у нас уже не осталось бы сил поверить, что один и тот же предмет способен обладать достоинствами и недостатками. Без особого труда на

[161] Примечания: 161

Букв.: последовательные любови. Ниже: Рейнах, Жозеф (1856-1921) — депутат, журналист. Обучение у конгрегатов — имеется в виду полемика поры отделения церкви. Ниже: …это внутреннее озеро… — подсознание, вероятно, — уже упоминалось в романе (в рассказе о «русских» клиентах Жюпьена): Пруст говорил о «неизвестном озере», в котором живут выражения вроде «в конце концов наплевать».

базе этих отличий можно строить теории (противоестественное, по словам радикалов, обучение у конгрегатов, неспособность еврейской расы к национализации, вечная ненависть немецкой расы к латинской, вследствие чего желтые подлежат немедленной реабилитации). Эту субъективную сторону, впрочем, можно отметить и в разговорах нейтралов, — например, германофилы мгновенно теряли дар понимания и даже слуха, если им говорили о немецких зверствах в Бельгии. (Однако, эти преступления действительно имели место, и несмотря на все субъективное, что я подметил в ненависти, как и в самом *видении*, предмет и правда может обладать реальными достоинствами или недостатками, его реальность не растворяется в чистом релятивизме). И если теперь, по прошествии стольких лет потерянного времени я замечал, как основательно влияет это внутреннее озеро даже на международные отношения, то не догадывался ли я о том уже на заре моей жизни, читая в комбрейском саду один из тех берготовских романов, что и сегодня, пролистай я несколько забытых страниц и узнай о кознях какого-нибудь негодяя, отложил бы только после того, как убедился, пробежав несколько глав, что в конце концов этот самый негодяй

должным образом унижен и пожил достаточно, чтобы темные делишки вышли ему боком? Я уже забыл, что стало с этими персонажами, в чем, впрочем, они походили на присутствовавших сегодня у г-жи де Германт, и их прошедшая жизнь, по крайней мере, большинства из них, была для меня столь же смутна, словно я читал о ней в полузабытом романе. Так женился ли наконец принц д'Агригент на м-ль Х? Или это брат м-ль Х собирался жениться на сестре принца д'Агригента? Может, я что-то спутал с прочитанной тогда книгой, а то и с недавним сном… Сон — эта сила всегда меня сильно влекла; именно сны убедили меня в идеальном характере действительности, и я не побрезгую их помощью при создании произведения. Когда я жил не столь отвлеченно, когда я жил ради любви, сновидение как-то причудливо приближало ко мне, заставляя пробежать значительные расстояния истекшего времени, бабушку, Альбертину, которую я опять полюбил, потому что она изложила мне, во сне, несколько смягченную версию истории с прачкой. Я подумал, что когда-нибудь сны принесут мне истины и впечатления, которых не добиться одним усилием, и даже встречами с природой, что они разбудят во мне желание, сожаление о

чем-то нереальном, — а это и есть первое условие работы, отрешения от привычек и конкретного. Я не пренебрегал бы этой второй музой, этой музой ночной, что иногда присоединяла бы свой голос к первой.

Я видел, как опрощались именитые дворяне, если их умственные способности — например, герцога де Германт, — были заурядны («Вот уж вас уродило!» — сострил бы Котар). Я слышал, как о медицине, о политике во времена дела Дрейфуса, во время войны, люди говорили, что истина — это какой-то определенный факт, что этим фактом распоряжаются по своему усмотрению министры или врачи, что это некое «да и нет», не нуждающееся в интерпретации, что те, кто «наверху», знают, виновен ли Дрейфус, знают (и можно не посылать Роке, чтобы он выяснил это на месте), может ли Саррай[162] выступить одновременно с русскими.

Именно с тем обликом, каким он предстал мне впервые, у моря, я свяжу многое из того, что на-

[162] Примечания: 162

Пьер Огюст Рокэ (1856-1920), французский генерал, командовавший Первой армией. Военный министр в 1916. Морис Саррай (1856-1929), генерал, командовавший Третьей армией в первой битве на Марне. Командовал силами союзников, посланными в Сербию по вступлении в войну на стороне центральных империй Болгарии. Снят с поста в 1917.

верное будет написано. В определенном смысле, у меня были основания связывать произведение именно с ним, потому что если бы я не вышел на набережную в тот день, не увидел его, эти идеи не получили бы развития (при условии, что они не развились благодаря чему-нибудь другому). Но здесь крылась ошибка, ибо отправное удовольствие, которое придется ретроспективно приписать прекрасному женскому лицу, исходит из наших чувств: ведь в действительности мои будущие страницы Альбертина, особенно Альбертина тогдашняя, не смогла бы понять. Но именно потому (что, кстати, указывает: не нужно замыкаться в интеллектуальной атмосфере), что она так сильно от меня отличалась, она оплодотворила меня горем и, еще до всего, заставила представить что-то отличное от себя. Если б она смогла понять эти строки, то только этим она их не вдохновила бы.

В целом, материя моего опыта и будущая материя книги была подарена мне Сваном, — даже если отбросить в сторону все, что затрагивало лично Свана и Жильберту. Ведь только благодаря ему, еще в Комбре, у меня возникло желание поехать в Бальбек, — иначе родителям никогда и в голову не пришло отправить меня туда; я не

познакомился бы с Альбертиной и Германтами, поскольку бабушка не встретилась бы с г-жой де Вильпаризи, которая свела меня с Сен-Лу и г-ном де Шарлю, — что привело к дружбе с г-жой де Германт и, через нее, с ее кузиной, так что даже в эту минуту, своим присутствием у принца де Германт, где мне только что неожиданно открылась идея произведения (значит, я обязан Свану не только материалом, но и решением), — я обязан Свану. Цветоножка, быть может, несколько тонкая, чтобы нести на себе протяженность всей моей жизни (но «сторона Германтов», в этом смысле, исходила из «стороны к Свану»). Однако чаще авторство сюжетов нашей жизни принадлежит существу более заурядному, которое многим уступает Свану. Мне хватило бы и рассказа приятеля о какой-нибудь девушке, милой и доступной (которую, вероятно, я так и не встретил бы), чтобы поехать в Бальбек. Часто, столкнувшись с каким-нибудь неприятным приятелем, мы жмем ему через силу руку, и, однако, если когда-нибудь мы вспомним об этом эпизоде, именно его бессодержательная болтовня, все эти «а не съездить ли вам в Бальбек» и определили нашу жизнь, наше творение. Мы не испытываем признательности, но это не доказа-

тельство нашей неблагодарности. Произнося все эти слова, он и думать не думал о грандиозных последствиях. Ведь именно наша чувственность, наш интеллект использовали обстоятельства, которые затем, поскольку первый импульс был уже дан им, порождали друг друга сами; хотя и нельзя было предвидеть жизнь с Альбертиной, равно маскарад у Германтов. Этот импульс был необходим, и от него зависела внешняя форма нашей жизни и материя произведения. Если бы не Сван, моим родителям никогда не пришло в голову отправить меня в Бальбек. (Впрочем, он не несет ответственности за страдания, косвенным образом причиненные мне. Они коренились в моей слабости. От своей слабости он пострадал и сам — из-за Одетты.) Но, определив подобным образом мою жизнь, он этим исключил те жизни, которые я прожил бы вместо нее. Если бы Сван не рассказал мне о Бальбеке, я никогда не узнал бы об Альбертине, столовой отеля, Германтах. Но я отправился бы в иные края, я узнал бы других людей, моя память, равно мои книги, наполнилась бы совершенно другими картинами, а теперь я не могу их даже представить, — их новизна прельщает меня, я чувствую сожаление, что так и не соприкоснулся с ней, что Альбертина, пляж

Бальбека, Ривбель, Германты — не остались мне неведомы навсегда.

Ревность — это добрый вербовщик, и если в нашей картине чего-то не хватает, она тотчас отыщет на улице красивую девушку. Девушка уже не была прекрасной, но она снова станет такой, ибо мы ревнуем ее, и она заполнит эту пустоту.

Когда-нибудь мы смертельно устанем и нам будет грустно, что на том картина и кончилась. Но эта мысль не остудит нас, мы знаем, что жизнь несколько запутанней, чем принято считать, и, в частности, ее обстоятельства. Просто необходимо безотлагательно поднять эту сложность. Нам нужна ревность, но она необязательно родится во взгляде, рассказе, отсвете. Она готова уколоть нас между листками ежегодника — например, какой-нибудь адресной книги Весь Париж для Парижа, или, для провинций, Справочника поместий. Мы рассеянно слушали, как прелестница, не вызывающая у нас уже никакого чувства, говорила, что ей надо съездить на несколько дней к сестре в Па-Де-Кале, что неподалеку от Дюнкерка; мы также рассеянно размышляли некогда, что, быть может, красивую девушку обхаживал г-н Е., с которым она больше никогда

не встречалась, потому что больше не заходила в тот бар, где он ее раньше видел. Что собой представляет ее сестра? горничная, наверное? Мы вежливо не спрашиваем. Но, случайно раскрыв Справочник поместий, мы обнаруживаем, что у г-на Е. в Па-Де-Кале, рядом с Дюнкерком, родовое имение. Конечно же, чтобы сделать что-то приятное красавице, он нанял горничной ее сестру, и если девушка больше не видится с ним в баре, то это потому, что он требует от нее, чтобы она приезжала к нему на дом, — он живет в Париже круглый год и не может обойтись без нее даже в то время, когда ему нужно съездить в Па-Де-Кале. Кисти, хмельные любовью и гневом, рисуют, рисуют. И, однако, даже если бы дело обстояло иначе. Может, и правда г-н Е. никогда больше не встречался с красивой девушкой, но из вежливости рекомендовал ее сестру брату, круглый год живущему в Па-Де-Кале. Так что она сейчас, — даже, может быть, случайно, — увидится с сестрой, когда г-на Е. там нет, потому что они больше не интересуются друг другом. К тому же, сестра ее вовсе не горничная, она не служит в замке, у нее родные в Па-Де-Кале. Начальная скорбь уступает этим последующими предположениями, успокаивающим любую ревность. Но это уже

не важно, — последняя, спрятанная в листках Справочника поместий, пришла в добрый час, ибо теперь пустота в полотне заполнена. И все сложилось только благодаря порожденной ревностью красивой девушке, которую мы больше не ревнуем, которую мы уже не любим.

В эту минуту вошел дворецкий, он сообщил мне, что первая часть концерта окончена и я могу оставить библиотеку и войти в залы. Я вспомнил, где нахожусь. Но это не поколебало моей решимости, потому что общество, возвращение в свет и послужили для меня, по-видимому, отправными точками новой жизни, пути к которой я не сумел найти в уединении. И в это нет ничего удивительного, поскольку впечатление, которое воскресило во мне вечного человека, не глубже связано с одиночеством, чем с обществом (как я думал раньше, как это и было для меня тогда, наверное, как тому и надлежало быть, если бы я рос гармонически, а не замер надолго, только теперь и двинувшись с места). Только при соприкосновении с красотою, когда я испытывал — пусть даже совершенно незначительное, ибо оно было случайным, — непосредственное ощущение, что-то подобное спонтанно возрождалось во мне и растягивало первое впечатление сразу на все

времена, моя душа переполнялась общей сущностью, тогда как сами по себе чувства оставляли в ней лишь пустоту, — и почему, собственно, нельзя было изыскивать их в свете, как в природе, если они нечаянны? Им способствует, вероятно, особое возбуждение, благодаря которому в те дни, когда мы выпадаем из бегущего потока жизни, простейшие предметы опять вызывают в нас впечатления, скрытые от нашей нервной системы привычкой. Мне нужно было найти объяснение, почему только эти ощущения приводят к произведению искусства, и я не оставлял мыслей, безостановочно сцеплявшихся в библиотеке, ибо чувствовал, что порыв духовной жизни теперь достаточно силен во мне, чтобы я с тем же успехом мог думать в салоне, среди приглашенных, как и в библиотеке, в одиночестве; я понял, что даже среди толпы мне удастся сохранить уединение. Грандиозные события не влияют извне на нашу духовную жизнь, и посредственный писатель эпической эпохи останется посредственностью; самая большая опасность в свете — это предрасположенность к светским удовольствиям; но поскольку героическая война не возвысит плохого поэта, этим удовольствиям не лишить нас таланта. В любом случае, обладает ли подобный

метод создания произведения искусства теоретическим значением, или нет, пока я не проверил этого пункта, как намеревался, я не стал бы отрицать, что подлинные эстетические впечатления всегда приходили ко мне вслед за ощущениями этого рода. Правда, они редковато встречались в моей жизни, но именно они ее определили, — я вспомнил несколько таких вершин, и понял, что с моей стороны глупо было забыть о них. Эту потерю я собирался предотвратить в грядущем. И уже сейчас можно было с уверенностью сказать, что если исключительную значимость этот признак приобрел лишь для меня, то все-таки меня утешало, что он был сходен в чем-то (хотя, конечно, он и не проявился до такой степени) с аналогичными свойствами некоторых писателей. Ведь на подобных чувствах, — как то, что воссоздало во мне вкус мадлен, — выстроена красивейшая часть Замогильных записок: «Вчера вечером я прогуливался в одиночестве… Меня отвлек от размышлений щебет дрозда, усевшегося на самой высокой ветке березы. И тотчас его чарующие трели воскресили в моей душе отческое поместье; я забыл потрясения, только что пережитые мною, и, внезапно перенесенный в прошедшее, я вновь увидел края, где частенько заслушивался этим

посвистом». И другая — одна из самых красивых страниц Записок: «Тонкий и сладкий аромат гелиотропа разливался над узкой грядкой бобов в цвету; он принесен не дуновением отчизны, но буйным ветром Ньюфаундленда, это не аромат занесенного сюда случайно растения, он не таит в себе сочувственных напоминаний и неги. В этом ничем особо не выделяющемся запахе, легком его зловонии, пахнуло на меня зарею, земледелием, миром, овеяло меланхолией сожалений, разлуки и юности». Один из шедевров французской литературы, Сильвия Жерара де Нерваля, как Замогильные записки в отношении Комбурга, полнится этим чувством, чувством вкуса мадлен, чувством щебета дрозда. Наконец, у Бодлера эти напоминания встречаются еще чаще и, очевидно, они не столь уж случайны, — значит, по моему мнению, они несколько определенней. Этот поэт, в процессе более ленивого и утонченного поиска, находит в запахе женщины, например, волос и груди, вдохновенные подобия, которые воскрешают ему «лазурь небесну, необъятну и округлу» и «порт, что полн и мачт, и парусов». Я хотел уже припомнить стихи Бодлера, содержащие подобным образом перемещенные ощущения, чтобы полностью приобщиться к благородному родству

и, посредством сего, увериться, что произведение, перед осуществлением которого я не испытывал уже и тени робости, стоит посвященных ему усилий, — когда, спустившись по лестнице, ведущей из библиотеки, я очутился в большой гостиной, в самом разгаре празднества. Через несколько мгновений я понял, что оно довольно сильно отличается от тех мероприятий, в которых мне доводилось принимать участие; оно обрело для меня особый облик и новое значение. Хотя в глубине души я всегда твердо стоял на своем замысле, в той степени, в какой он был обдуман, но едва я вошел в гостиную, как, словно в театре, наступила развязка, и мое начинание встретило самое сильное противодействие. Я, наверное, одолел бы его, но, покуда я еще размышлял, что нужно для произведения искусства, оно сто раз повторило мне один и тот же пример, оно повергло меня в нерешительность, и в любую секунду

могло погубить мой замысел[163].

Поначалу я никак не мог понять, что мне мешает узнать хозяина, гостей, почему все, как мне почудилось, «при масках», измененные до неузнаваемости, главным образом с помощью пудры. Приветствуя гостей, принц напоминал еще добряка — короля феерии, которого он разыгрывал в первую нашу встречу, однако на сей раз он и сам подчинился этикету, предписанному гостям, нацепил белую бороду и, волоча свинцовые подошвы на отяжелевших ступнях, иллюстрировал «оду на бренность». Его усы тоже побелели, будто на них осел иней леса, где живет Мальчик с пальчик. Они, казалось, стесняли его негибкий рот и — поскольку эффект был произведен — пора их было снимать. По правде говоря, я не узнал бы его, не приди мне на помощь рассудок и не наведи меня на истинный след некоторое сходство черт, напомнивших принца. Сложно

---

[163] Примечания: 163

…подлинные эстетические впечатления всегда приходили ко мне вслед за ощущениями этого рода. Выше: «Но осмыслить предмет, стремление к которому не было пробуждено во мне заблаговременно какой-либо книгой, эскиз коего я не набросал бы загодя сам, чтобы потом сопоставить его с реальностью, я был неспособен». Из «Замогильных записок» приводятся два фрагмента: кн. III, гл. 1 и кн. VI, гл. 5. Жерар де Нерваль (1808-1855) — писатель. «Сильвия» входит в его «Девы огня». Шатобриан в Комбурге провел детские годы. Бодлер. Пруст приводит фрагменты стихотворений XXII и XXIII из «Цветов зла». Второй пер. принадлежит В. Брюсову.

сказать, что младший Фезансак начудил у себя на лице, но тогда как другие белили, иные полбороды, иные только усы, он, не обременяя себя этими изысками, взъерошил брови и процарапал в лице морщины; они, впрочем, вовсе не шли ему, и лицо его отвердело, забронзовело, в нем проявилось что-то статуарное, — теперь этого старика никто не назвал бы молодым. И меня потрясло, когда в ту же минуту герцогом де Шательро назвали старичка с седыми посольскими усами, — только взгляды он бросал, как юноша, с которым я познакомился на приеме у г-жи де Вильпаризи. Преуспев в опознании первой особы, благодаря усилиям памяти, дополнившей нетронутые природные черты, чтобы немножко отстраниться от этого маскарада, я чуть было, — вовремя, правда, опомнился, — не поздравил ее с блестящим гримом, ибо, вспоминая имя, я терзался той нерешительностью, что вызывают у публики большие актеры, явившиеся на сцену в роли, в которой их и не узнать, — когда зрители, даже осведомленные программой, на секунду замирают в остолбенении, и уж затем разражаются аплодисментами.

С этой точки зрения «гвоздем» утренника был мой старый враг, д'Аржанкур. Он не только наце-

пил на место бороды с легкой проседью неописуемое мочало невообразимой белизны, но и, — ведь такое количество мелких вещественных изменений способны умалить или возвеличить облик человека, и более того, изменить характер его и личность, — этот мужчина, чья торжественная и накрахмаленная непреклонность еще жили в моей памяти, освоил роль старой побирушки, и, не рассчитывая уже ни на какое уважение к себе, придал своему персонажу вид дряхлого маразматика, причем с такой натуральностью, что члены его дрожали, а некогда спокойные высокомерные черты лица лыбились в непрестанном глуповатом блаженстве. На этой стадии маскарадное искусство становится чем-то *большим*, приводя к безоговорочной трансформации личности. И действительно, с чего это я решил, доверившись каким-то мелочам, что этот неописуемый, живописный спектакль разыгрывал именно д'Аржанкур, — сколько последовательных состояний данного лица надо было минуть, чтобы увидеть прежнее лицо д'Аржанкура, изменившегося невообразимо, хотя в распоряжении у него было только собственное тело. Очевидно, он стоял уже на последней ступени, когда еще можно было, не прерывая, продолжать эту последовательность;

высокомернейшее лицо, выпученнейшая грудь теперь выглядели тряпкой в бумажном вареве, болтавшейся туда-сюда. С трудом припомнив, как улыбался раньше д'Аржанкур, умерявший иногда свою надменность, я еще мог признать былого д'Аржанкура, с которым так часто встречался, в теперешнем, но тогда следовало помыслить, что в прежнем приличном джентльмене жил зародыш улыбки старого расслабленного тряпичника. Даже если принять на веру, что его улыбка выражала тот же смысл, лицо его и само вещество глаз, где она лучилась, изменились так сильно, что иным представало и выражение этого лица, и тот, кому оно принадлежало. Я рассмеялся, глядя на этого величественного гага; он так расплылся в этой добровольной карикатуре на самое себя, как, на свой трагический лад, поверженный и любезный г-н де Шарлю. Г-н д'Аржанкур в своем воплощении умирающего-буфф из Реньяра, утрированного Лабишем[164], был столь же доступен, столь же приветлив, как г-н де Шарлю в роли короля Лира, когда он прилежно обнажал голову перед самыми жалкими людьми. Одна-

[164] Примечания: 164

Жан-Франсуа Реньяр (1655-1709) — подражатель Мольера. В его «Единственном наследнике» (1708) выведен агонизирующий старик. Эжен Марен Лабиш (1815-1888) — комедиограф, автор фарсов.

ко я удержался и не выразил восхищения этой необычайной игрой. Помешала мне не старая антипатия, ибо теперь он уже казался другим человеком, — столь же доброжелательным, обезоруженным, безвредным, сколь прежний д'Аржанкур был высокомерен, опасен, гневлив. Настолько несхожим с прежним, что когда я увидел этого персонажа, бесподобно гримасничающего, комического, белого, этого снеговика в роли генерала Дуракина[165], уже впавшего в детство, мне показалось, что человеку под силу те же основательные метаморфозы, что и определенным видам насекомых. Мне чудилось, будто на поучительном стенде естественноисторического музея мне показывают процесс развития насекомого, одного из тех, что чрезвычайно быстро осваивает новые черты, и я не смог воскресить в себе чувств, которые вызывал у меня д'Аржанкур, перед этой дряблой хризалидой — скорее вибрирующей, чем движущейся. Но я утаил восхищение, я не поздравил г-на д'Аржанкура с его ролью в этом спектакле, — казалось, раздвигавшем пределы, определенные трансформациям

[165] Примечания: 165

Генерал Дуракин — персонаж одноименного романа (1866) графини де Сегур (1799-1874), урожденной Ростопчиной. Старик, переходящий от гнева к смеху, не имея на то особых причин.

человеческого тела.

За кулисами театра или на костюмированном балу мы скорее из вежливости сгущаем краски — как сложно, как прямо-таки невозможно узнать переодетого. Напротив, здесь я инстинктивно скрывал эту сложность поелику возможно; я понимал, что теперь в этом ничего лестного нет, что эти изменения нежелательны; затем я подумал, хотя в дверях гостиной у меня таких мыслей не было, что если долго не выходить в свет, то любой, даже самый нехитрый прием, на котором соберутся хотя бы два-три старых приятеля, произведет впечатление чрезвычайно удачного маскарада; мы неподдельно «заинтригованы» другими, но личины, против желания намалеванные годами, не будут смыты с чела, когда окончится праздник. Заинтригованы другими? Увы, они не меньше заинтригованы нами. Ибо этот труд — подобрать соответствующее имя тем или иным лицам, казалось, лег и на плечи всех, кто видел мое; они обращали на него столько же внимания, как будто они им не знакомо, либо старались извлечь из моего теперешнего облика какое-нибудь древнее воспоминание.

Выкинув свой неподражаемый «номер», безусловно, для моих глаз наиболее захватывающий,

г-н д'Аржанкур казался актером, вышедшим на сцену в последний раз, когда, посреди раскатов хохота, падает занавес. Я больше не сердился на него, ибо, обретя невинность младенца, он едва ли помнил о своем презрении ко мне, о том, как г-н де Шарлю внезапно отдернул руку[166], — либо от этих чувств ничего не осталось, либо, чтобы проявиться, они должны были пройти через какие-то материальные призмы, сильно искажающие их, и по пути абсолютно теряли смысл: г-н д'Аржанкур стал добряком, у него уже не хватало физических сил выражать, как раньше, свою злость, подавлять извечную вызывающую веселость. Все-таки, я преувеличил, назвав его актером: в нем уже не осталось какой-либо осознанности, он походил на дерганую куклу с наклеенной белой бородой, и я видел, как он болтается, таскается по салону, словно по вертепу, разом философическому и научному, где, как в похоронной речи или университетской лекции, он служил напоминанием о тщете всего сущего и экземпляром естественной истории.

Куклы; но в этом спектакле старых марионеток, чтобы установить имена известных лиц, следо-

[166] Примечания: 166

На страницах романа «У Германтов», когда ничего не подозревающий автор идет с бароном по ночному Парижу.

вало читать их сразу в нескольких плоскостях, покоящихся за ними, придающих им зримую глубину, нужно было поработать умом: требовался взгляд и глаз, и памяти — на кукол, купающихся в невещественных цветах лет, манифестирующих Время, невидимое нам обычно, но, чтобы проявиться, изыскивающее тела, и везде, где оно находит их, овладевающее ими и освещающее их своим волшебным фонарем. Бесцветный, как Гоголо на дверной ручке моей комбрейской комнаты, обновленный, неузнаваемый д'Аржанкур стал откровением времени, в какой-то мере он его делал зримым. В новых элементах, составивших лик и личность г-на д'Аржанкура, читалось число лет, проступал символический облик жизни — материи не постоянной, как она является нам, а в настоящем виде — атмосферы настоль изменчивой, что спесивый вельможа предстал на закате лет карикатурой на самое себя: тряпичником.

Впрочем, что касается других, то эти перемены, эти реальные потери уже выходили за рамки естественной истории; одни называли имя, третьи удивлялись, что одно и то существо способно обрести не только, как в случае г-на д'Аржанкура, черты новой и отличной породы, но и внешние признаки другого вида. Много неожиданных

возможностей, как в г-не д'Аржанкуре, проявляло время в какой-нибудь девушке, и эти последствия, будь они всецело физиогномическими или телесными, казалось, не исключали и чего-то духовного. Когда меняются черты лица, когда они собираются вместе иначе, медленно отклоняясь от привычного склада, с новым обликом они обретают новое значение. И подчас распухшие до неузнаваемости щеки той или иной женщины, о которой было известно одно: она ограничена и черства, непредсказуемое выгибание носа, вызывают у нас то же приятное удивление, как прочувствованное и глубокое слово, смелый и благородный поступок, которых мы от кого-кого, а от нее вовсе не ждали. Вокруг этого носа, носа нового, открывались горизонты, на которые мы и не осмеливались надеяться. Доброту и нежность, некогда немыслимые, можно было вообразить с этими щеками. Перед этим подбородком можно было говорить такое, что никогда не пришло бы в голову высказать у предыдущего. Новые линии лица воплощали иные черты характера: сухая и тощая девица превратилась в огромную снисходительную матрону. Так что не только с зоологической, как в случае г-на д'Аржанкура, но и с социальной, и с моральной точки зрения

можно было говорить, что перед нами — другая особа.

В этом плане утренник был куда ценнее, нежели образ прошедшего, поскольку он показал мне не только непрерывность не виданных мною образов, что сменяли друг друга, отделяли прошедшее от настоящего, но еще и связь между настоящим и прошлым, которая в чем-то походила на оптическое изображение, как это называлось раньше, но только на оптическое изображение лет, а не одного момента или лица, затерянного в искаженной временной перспективе.

Что касается былой любовницы д'Аржанкура, то изменилась она не сильно — если вспомнить, сколько времени прошло, ее лицо не было срыто до оснований, по крайней мере, как лицо человека, распадающегося весь свой путь по пропасти, в которую он брошен, чье направление можно выразить только в равной степени тщетными уподоблениями, заимствованными в пространственном мире; и когда мы справляемся по ним о высоте, длине, глубине, они, самое большее, дают понять, что эта непостижимая, но ощутимая величина существует. Необходимость угадывать имена и прослеживать ход времени неминуемо приводила к восстановлению, возвращению на

исконное место годов, о которых я уже и не думал. И поэтому, чтобы я не ошибся из-за мнимого тождества в пространстве, абсолютно новый облик какого-нибудь человека, к примеру — г-на д'Аржанкура, стал для меня ошеломительным знамением реальности дат, обычно остающихся для нас чем-то абстрактным; так карликовые деревья и гигантские баобабы свидетельствуют о пересечении меридиана.

Тогда жизнь предстанет нам феерией, и на наших глазах, от сцены к сцене, малютка становится юношей, затем зрелым мужем, после клонится в могилу. Из-за непрерывности этих перемен, понимаем мы, люди, встретившиеся нам спустя много лет, изменились, и мы чувствуем, что и сами мы следуем этому закону, что с такой силой преобразившиеся создания, у которых с собой — ничего общего, по-прежнему остаются собою, и как раз потому, что они собой остались, они так несхожи с теми, кого мы некогда знали.

Я когда-то дружил с девушкой, теперь — побелевшая, втиснутая во вредную старушонку, она словно указывала на неизбежность переоблачения в финальном дивертисменте, чтобы никто не узнал актеров. Но удивлял ее брат, все столь же прямой, столь же схожий с собою, — и

с чего это побелели его усы, торчащие из юного лица? Куски белых бород, доселе абсолютно черны, придавали человеческому пейзажу этого утренника что-то меланхолическое, как первые желтые листья на деревьях, — мы-то думали, что лето еще долго будет стоять на дворе, и не успели насладиться им вдоволь, как вдруг внезапно наступила осень. В юности я не думал о завтрашнем дне, и уже тогда составил о себе самом, да и о других окончательное представление, — а тут, по метаморфозам во всех этих людях, я впервые заметил, сколько для них прошло времени, и меня потрясло откровение, что оно прошло и для меня. Безразличная сама по себе, их старость приводила меня в уныние, ибо предвещала наступление и моей. К тому же, ее приближение тотчас было провозглашено словами, что, одно за другим, поразили меня, как судные трубы. Первые произнесла герцогиня де Германт; я только-только подошел к ней, миновав двойную цепь любопытствующих, — они не улавливали воздействовавших на них чудных ухищрений эстетического порядка и, взволнованные этой рыжей головой, ярко-розовым туловищем, едва испускающим свои черные, кружевные, сдавленные драгоценностями плавники, высматривали

в его извилистости наследственные черты, будто то была старая священная рыба, инкрустированная камнями, в которой воплотился Гений — покровитель семьи Германтов. «Как я рада встрече с вами, самый старый мой друг», — сказала она. Я в пору моего комбрейского юношеского самолюбия не верил, что когда-нибудь войду в круг ее друзей, буду принимать участие в реальной волшебной жизни Германтов наравне с ее приятелями, г-ном де Бреоте, г-ном де Форестелем, Сваном и прочими, которых уже не было, и эти слова могли бы мне польстить, но я был скорее опечален. «Самый старый друг! — подумал я, — она преувеличивает; может быть, один из самых старых; но я, стало быть...» Тут ко мне подошел племянник принца: «Вы, как старый парижанин...» — сказал он. Тотчас мне передали записку. Дело в том, что на входе во дворец я встретил младшего Летурвиля, я уже забыл, кем он приходится герцогине, но он-то меня помнил. Он только что окончил Сен-Сир[167], и я подумал, что, возможно, он станет для меня славным товарищем вроде Сен-Лу, введет в курс армейских дел, произошедших там изменений, — я сказал

[167] Примечания: 167

Военная школа, основанная Наполеоном в 1803, в 1808 перемещена в Сен-Сир, недалеко от Версаля.

ему, что разыщу его вскоре, и что мы могли бы вместе поужинать, с чем он радостно согласился. Но я замечтался в библиотеке, и он оставил мне записку, чтобы известить, что больше ждать не может, и сообщить свой адрес. Записка от этого гипотетического товарища кончалась так: «С уважением, ваш юный друг, Летурвиль». — Юный друг! Ведь именно так я когда-то писал людям, лет на тридцать старше меня — Леграндену, к слову. Что! этот младший лейтенант, которого я представлял уже своим товарищем вроде Сен-Лу, назвался моим юным другом… Видно, с того времени изменились не только военные методы, и для г-на де Летурвиля я был уже не «товарищем», но пожилым мсье, и от г-на де Летурвиля, к которому я хотел втереться в компанию, меня словно бы отнесло стрелкой незримого компаса, и так далеко, что меня он, называясь моим «юным другом», считал пожилым человеком.

Сразу же разговор зашел о Блоке, — я спросил, о сыне или отце речь (о том, что последний во время войны скончался, я не слышал; говорили, что в могилу его свели переживания за Францию). «Я и не знал, что у него есть дети, не знал даже, что он женат, — ответил мне принц. — Но мы, очевидно, говорим об отце, потому что молодым человеком

его назвать сложно, — добавил он со смехом. — Если у него есть дети, то они уже вполне взрослые люди». И я понял, что говорят о моем товарище. Впрочем, он тотчас явился. И правда, я увидел, как на облик Блока накладывается расслабленная говорливая мина, что голова его слегка трясется, что иногда ее заклинивает, — и я признал бы ученую усталость добродушных стариков, если бы, с другой стороны, я не узнал моего друга, если бы воспоминания не оживили беспрерывного юношеского задора, который теперь в нем, казалось, уже остыл. Мы дружили с раннего детства, регулярно встречались, и для меня он так и остался товарищем и подростком, юность которого, не думая, сколько прошло времени, я бессознательно соразмерял с той, что приписывал себе. Я слышал, что он не выглядит старше своих лет, и удивился, когда заметил на его лице признаки, присущие, как правило, пожилым людям. Это потому, понял я, что он действительно уже немолод, что как раз подростков, проживших много лет, жизнь и делает стариками.

Кто-то, услышав толки о моей болезни, спросил, не боюсь ли я подхватить испанку[168], свиреп-

[168] Примечания: 168
Пандемия была в 1918-19 гг.

ствовавшую в то время, и другой благожелатель утешил меня: «Нет, это опасно скорее для молодежи. Людям вашего возраста это пустяк». Слуги меня узнали сразу. Они перешептывали мое имя, и даже, как рассказала одна дама, «на своем языке» определили: «Это папаня…» (выражение предшествовало моему имени). Так как детей у меня не было, фраза могла относится только к возрасту.

«Знала ли я маршала? — переспросила герцогиня. — Но я была знакома и с более значительными людьми: герцогиней де Галлиера, Полиной де Перигор, его преосвященством Дюпанлу». Слушая ее, я простодушно досадовал, что не познакомился с теми, кого она назвала осколками старого режима[169]. Мне стоило вспомнить, что мы зовем «старым режимом» время, из которого в поле видимости — лишь окончание; то, что еще заметно на линии горизонта, обретает сказочное величие и, в нашем понимании, замыкает рамки мира, который мы уже никогда не узнаем; но все-таки мы продвигаемся, и скорее мы сами на горизонте

[169] Примечания: 169

герцогиней де Галлиера, Полиной де Перигор, его преосвященством Дюпанлу — последний (1802-1878) был епископом в Орлеане. Остальные — не менее представительные особы, существовали реально. Старого режима — монархического правления, имеется в виду.

— для поколений позади нас; горизонт отступает, и мир, который кончился, начинается вновь. «Мне в молодости даже довелось увидеть, — добавила г-жа де Германт, — герцогиню де Дино. Матерь Божья, да ведь вы знаете, что мне не двадцать пять». Эти слова меня раздосадовали: «Она не должна так говорить, так говорят старухи». И тотчас я вспомнил, что она и правда стара. «А вот вы все такой же, — продолжала она, — вы прямо-таки ничуть не изменились», — заговори она о том, что что-то изменилось, и мне было бы не так больно, ибо что-то необычное в немногочисленности перемен доказывало, что времени утекло очень много. «Да, друг мой, — продолжала герцогиня, — не удивляйтесь, но у вас вечная молодость», — сказано это было меланхолически, потому что фраза имела смысл только в том случае, если мы действительно, хотя и не внешне, постарели. И она нанесла последний удар: «Я всегда жалела, что вы не женились. Но кто знает, может это к лучшему. Ваши сыновья подросли бы к войне, а если бы их убили, как бедного Робера (я еще частенько его вспоминаю), то с вашей-то чувствительностью вы бы уже сами были в могиле». Вот и я увидел себя в первом правдивом зеркале — в глазах стариков, считавших себя мо-

лодыми, как и я; но стоило только, для красного словца, когда мне хотелось услышать уверения в обратном, посетовать на возраст, и в их взглядах я не замечал и тени несогласия, ибо они видели меня так, как не видели себя, таким, какими я видел их. Нам не известен собственный облик, собственные года, но каждый, как в зеркале, увидит их в ближнем. И, наверное, мысль о старости многих печалила меньше, чем меня. Это, впрочем, относится и к смерти. Иные встретят их с безразличием, — не потому, что они смелее, но потому что им не хватает воображения. К тому же, человек, с детства стремившийся к одной-единственной цели, воплощение которой, от лени и болезней, он постоянно откладывал на потом, каждый вечер аннулирует день истекший как потерянный, — так что недуги, торопящие старение тела, замедляют старение духа, и когда он замечает, что по-прежнему живет во Времени, он изумлен и раздосадован горше, чем тот, кто не часто обращался к глубинам души, кто справлялся по календарю, кому не довелось внезапно открыть для себя конечный счет лет, копившихся день ото дня. Но моя подавленность объяснялась более существенными причинами: мне открылось разрушительное действие времени в тот

момент, когда я взялся за прояснение и осмысление вневременной реальности в произведении искусства.

У одних сплошная подмена клеток была последовательна, однако это произошло в мое отсутствие; метаморфоза была столь глубока, перемена настолько поразительна, что я мог бы сто раз ужинать с ними бок о бок в ресторане, не подозревая, что когда-то мы были знакомы, не догадываясь уже о королевском состоянии суверена инкогнито или пороке неизвестного. Сопоставление становилось недопустимым, когда я слышал их имя, ибо можно еще предположить, что напротив сидит преступник или король, тогда как тех-то я знал, вернее, я знал лиц, носящих то же имя, — но между ними не было никакого сходства, и я не мог поверить, что это были те же люди. Но если отправной точкой было представление о монаршем достоинстве или пороке, оно незамедлительно навешивало на неизвестного (в отношении которого так легко, еще с повязкой на глазах, мы допустили бы непростительную дерзость или любезность) новую личину, на те же черты, в которых мы различим теперь что-то выдающееся или подозрительное; я изо всех сил вбивал в лицо неизвестной, абсолютно неизвест-

ной мысль, что она — г-жа Сазра, и в конце концов восстанавливал известное мне раньше значение этого лица, — но оно теперь так и осталось бы для меня совсем чужим, лицом совершенно незнакомой особы, потерявшей все известные человечьи атрибуты, подобно человеку, снова ставшему обезьяной, если бы имя и тождественность не наставляли меня, хотя задача была трудна, на дорогу к истине. Иногда, правда, старый образ возрождался довольно ясно, и я мог устроить им очную ставку; но, как свидетель, увидевший обвиняемого, из-за огромной разницы, я нехотя сознавался: «Нет… я не узнаю ее».

Жильберта де Сен-Лу спросила меня: «Может, поужинаем в ресторане вдвоем?» Я ответил: «Если вас не скомпрометирует ужин с молодым человеком», — и, услышав хохот вокруг, поспешил добавить: «Или, скорее, со старым». Я почувствовал, что эта фразу могла бы, говоря обо мне, сказать мама — моя мать, для которой я так и остался ребенком. Я понял, что в суждениях о себе я становлюсь на ее точку зрения. Если я и констатировал, как она, изменения, произошедшие с раннего детства, то это все-таки были перемены уже очень давние. Пока что я дошел до того возраста, когда говорят, едва ли не забегая вперед

событию: «Теперь он уже практически взрослый молодой человек». Я все еще так думал, но на сей раз с громадным опозданием. Я не заметил, что изменился. Но, в сущности, эти, что только что гоготали, в себе они это видели? Я не был сед, мои усы были черны. Мне хотелось спросить у них, почему эта жуткая вещь очевидна.

Теперь я понял, что значит старость, о реальности которой мы размышляем абстрактно, наверное, дольше всего, — глядя на календари, датируя письма, отмечая свадьбы друзей, детей друзей, — не понимая, либо от страха, либо от лени, что она значит, пока не встретим незнакомую фигуру, например — г-на д'Аржанкура, пока она не возвестит нам, что теперь мы живем в новом мире, пока внук одного из наших приятелей, юноша, с которым мы инстинктивно держимся на равных, не улыбнется, словно мы его вышучиваем, ибо человек нашего возраста сошел бы ему за деда, — и я понял, что значит смерть, любовь, радости духа, польза скорби, признание и т. д. Если имена и потеряли для меня неповторимость, то слова раскрыли мне свой смысл. Красота образов помещена за вещами, красота идей — перед ними. Так что теперь я не испытываю восхищения, когда вещи перед глазами, но их красота мне

понятна только тогда, когда их больше нет.

Но эти последние жестокие открытия только помогут мне в разработке вещества моей книги. Раз уж я смирился, что у меня не получится создать ее исключительно из подлинных, цельных впечатлений, живущих вне времени, среди истин, с которыми, как я считал, они скреплены, то впечатления, времени принадлежащие, — времени, что омывает и изменяет людей, общества, нации, — займут в моем произведении важное место. Я исследовал бы не только искажение человеческого облика, новые свидетельства коему я наблюдал ежеминутно, — ибо, все еще размышляя о своем произведении, уже набравшем достаточную силу, чтобы я не отвлекался преходящими затруднениями, я здоровался и болтал со знакомыми. Старение, впрочем, не сказалось на всех одинаково. Я слышал, как кто-то спросил мое имя, мне сказали, что это г-н де Камбремер. Чтобы показать, что он меня вспомнил, он спросил: «Ну что, вас все еще мучают ваши удушья?» — и на мой утвердительный ответ добавил: «Ну, видите, это отнюдь не препятствует долголетию», — словно столетие я уже справил. Пока я говорил с ним, я никак не мог отвести глаз от двух или трех черт, что могли еще, в моей мысли, принадлежать

тому обобщенному воспоминанию (тогда как остаток был совсем несхож), которое я именовал его особой. На секунду он повернулся в сторону. Я увидел, что узнать его было невозможно оттого, что к щекам прилипли огромные красные мешки, он из-за них не мог нормально раскрыть рот и глаза; я одурел, не осмеливаясь смотреть на эту разновидность карбункула, о котором, казалось мне, было бы приличнее ему заговорить первым. Но, как мужественный больной, эту тему он, смеясь, обходил, а я боялся выказать бессердечие, не расспрашивая, а также невежливость, если бы я спросил, что же это с ним приключилось. «Но разве с годами это не случается с вами реже?» — продолжал он расспрашивать. Я ответил ему, что нет. «Вот оно что! А моя сестра теперь задыхается намного реже, чем раньше», — возразил он, будто мое заболевание не могло отличаться от заболевания его сестры, будто возраст был самым действенным лекарством, и невозможно было представить, что, пойдя на пользу г-же де Гокур, он не принес мне исцеления. Подошла г-жа де Камбремер-Легранден, и я все больше боялся выказать бесчувственность, не выразив сочувствия в связи с тем, что было мною замечено на лице ее мужа, — но, тем не менее, я не осмеливался

заговорить об этом первым. «Ну, вы рады с ним повидаться?» — спросила она. — «Да. А… как он сейчас?» — бросил я довольно неопределенно. — «Слава Богу, не так уж плохо, как вы видите». Она не видела этой болезни, меня ослепившей, заболевание было одной из масок Времени, наложенной Им на лицо маркиза, вылепленной столь постепенно, утолщенной с такой осторожностью, что маркиза так ничего и не заметила. Как только г-н Камбремер закончил свои расспросы о моих удушьях, я у кого-то тихо осведомился, жива ли еще его мать. В действительности, в подсчетах истекшего времени сложен только первый шаг. Поначалу испытываешь большие затруднения, представляя, сколько воды утекло, затем — что не утекло еще больше. Мы знаем, что XIII-й век далек, затем с трудом представляем, что еще существуют церкви XIII-го века, — последние, однако, во Франции многочисленны. За несколько секунд я совершил эту серьезную работу, которую мы — с трудом вспомнив, что человеку, с котором мы познакомились в молодости, было лет шестьдесят, с еще *большим трудом осуществляем*, чтобы осознать по прошествии пятнадцать лет, что он еще жив, что ему всего лишь семьдесят пять. Я спросил г-на де Камбремер, как поживает

его мать. «Она как всегда прекрасно», — эти слова, в противоположность племенам, где безжалостно обходятся с престарелыми родителями, в определенных семьях употребляют применительно к старикам, чьи сугубо бытовые способности, как то слух, способность пешком отправиться на мессу, умение стойко сносить трауры, в глазах детей отпечатлевают неповторимую духовную красоту.

Иные лица сохранились в целости, и возраст сказался иначе — казалось, им неловко, если надо пройтись; поначалу мы думаем, что у них болят ноги, и только потом понимаем, что их ступни старость сдавила свинцом. Других, например, принца д'Агригента, старость украшала. Этому высокому, тощему человеку с тусклым взором, волосами, которые, казалось, должны были остаться рыжеватыми навсегда, наследовал — путем метаморфозы, аналогичной тем, что претерпевают насекомые, — некий старик: ярко-рыжие волосы (мы видели их слишком долго), как слишком уж долго служивший ковер, сменились белыми. Его грудь приобрела неведомую, неколебимую, почти воинственную дородность, — она, должно быть, и привела к подлинному перерождению известной мне хруп-

кой хризалиды; значительность, погруженная в самосозерцание, наводила поволоку на глаза, в которых светилась новая доброжелательность, на этот раз обращенная ко всем. И поскольку вопреки всему между сегодняшним величественным принцем и портретом, сохраненным моей памятью, сохранилось некоторое сходство, я восхитился неповторимой обновляющей силой времени, которое, щадя единство человека и законов жизни, умело изменяет декор, вводит смелые контрасты в следующие друг за другом образы одного и того же персонажа; ибо многих из этих людей можно было отождествить сразу, но лишь в качестве довольно слабых портретов, собранных на выставке неточного и недоброжелательного художника, ожесточившего черты одного, стершего свежесть лица, легкость стана второй, омрачившего ее взгляд. При сравнении образов с теми, которые жили в моей памяти, мне меньше нравились показанные в последнюю очередь. Часто приятель предлагает нам на выбор свои фотографии, одна из них кажется нам не совсем удачной и мы от нее отказываемся; каждому, приближавшему свое лицо, мне хотелось сказать: «Нет, это не то, это не вышло, это не вы». Я не осмелился бы добавить: «Вместо

вашего прекрасного прямого носа у вас тут что-то крючковатое, как у вашего отца, — у вас на лице я такого никогда не видел». И действительно, этот нос был и нов, и наследствен. Одним словом, художник — Время — «кроил» свои модели так, что они были узнаваемы. Но они не были похожи на самих себя; не потому, что Время льстило им, но потому, что оно их старило. Впрочем, этот художник работает очень медленно. Так копию лица Одетты, едва набросанный эскиз которой — в тот день, когда я впервые увидел Бергота, — я разглядел в Жильберте, время довело наконец до совершеннейшего сходства, и здесь оно уподобилось тем портретистам, которые долго скрывают свои полотна и работают над ними из года в год.

Если женщины, подкрашиваясь, признавали свою старость, то на лице мужчин, которых я никогда в этом не подозревал, старость напротив сказалась отсутствием румян; и все-таки, думалось мне, они сильно сдали, разочаровавшись кому-то нравиться, прекратив использование притирок. Среди них был Легранден. Упразднение розоватости губ и щек, об искусственности коей я никогда не догадывался, нанесло на его лицо сероватый налет, придало ему скульптурную резкость камня. Он теперь не только не

румянился, но и не улыбался, не блестел глазами, не вел замысловатых речей. Удивительно было, как бледен он и подавлен, как редко он говорит, что речи его невыразительны, будто слова вызванных спиритом умерших. Спрашивали, что мешает ему проявить оживленность, красноречие, обаяние, как вопрошаешь себя перед безликим «духом» того, кто при жизни славился остроумием, когда на вопрос спирита вот-вот, думаешь, прибегут восхитительные ответы. И отвечали, что причина, из-за которой красочный и быстрый Легранден сменился бледным и печальным фантомом Леграндена — это старость.

Многих я в конечном счете признал лично, какими они были прежде, — например, Ской изменился не более, чем засохший цветок и высушенный фрукт. Как бесформенный набросок, он подтверждал мои теории об искусстве. (Он взял меня под руку: «Я слушал эту симфонию восемь раз…» и т. д.) Остальные были не любителями, но людьми света. Старость, правда, тоже не способствовала их вызреванию, — даже осененное первым кругом морщин, шапкой седых волос, их младенческое лицо, не претерпевшее изменений, лучилось восемнадцатилетней игривостью. Не старики, это были восемнадцатилетние юноши,

увядшие необычайно. Пустяка бы хватило, чтобы изгладить стигматы жизни, и смерть без труда вернет лицу его юность; немного почистишь ветошью — и портрет, на котором лишь легкий налет пыли, заблистает прежними красками. И я понял, как мы заблуждались, слушая прославленного старца и заранее вверяясь его доброте, справедливости, мягкости его души, ибо сорока годами ранее все они были жуткими юношами, и с чего им терять свою суетность, двоедушие, спесь и коварство.

Резко контрастировали с ними мужчины и женщины, ранее невыносимые, но постепенно утратившие недостатки, — или жизнь, исполнив или разбив их мечты, лишила их самомнения и горечи. Выгодный брак, после чего хвастаться и задираться уже ни к чему, самое влияние жены, постепенная оценка качеств, неведомых легкомысленному юношеству, позволило им умерить норов и развить свои достоинства. Эти-то, старея, представали совершенно другими личностями, подобно тем деревьям, что меняют осенью цвета и будто переходят в другие виды. У них старческие свойства проявлялись в полную меру, но как что-то психическое. У других изменения были физического порядка, это было так непри-

вычно, что та или иная особа (г-жа д'Арпажон, к примеру) казалась мне и знакомой, и незнакомой. Незнакомой, потому что невозможно было заподозрить, что это она, и против своей воли я не смог, отвечая на ее приветствие, скрыть умственные потуги, нерешительный выбор из трех или четырех вариантов (среди которых г-жи д'Арпажон не было), стремление понять, кому же это я с теплотой ответил, — очень ее, должно быть, удивившей, ибо, опасаясь выказать излишнюю холодность, если то был близкий друг, я компенсировал неискренность взгляда теплотой рукопожатия и улыбки. Но с другой стороны, новое ее обличье было мне знакомо. Этот облик я раньше часто видел в крупных пожилых женщинах, не допуская в те годы, что они могут чем-то походить на г-жу д'Арпажон. Это обличье так отличалось от присущего, как мне помнилось, маркизе, словно она была обречена, как персонаж феерии, явиться сначала юной девушкой, затем плотной матроной, которая станет вскоре, наверное, сгорбленной и трясущейся старушонкой. Подобно неуклюжей пловчихе, она видела берег где-то далеко-далеко, с трудом расталкивая захлестывающие ее волны времени. Мало-помалу, тем не менее, разглядывая ее колеблющееся

лицо, неопределенное, как неверная память, которая уже не хранит былых очертаний, я в нем что-то таки обнаружил, предавшись занятной игре в исключение квадратов, шестиугольников, добавленных возрастом к ее щекам. Впрочем, к женским лицам примешивались не только геометрические фигурки. В щеках герцогини де Германт, неизменных, но разнородных, словно нуга, я различал след ярь-медянки, маленький, розовый кусок разбитой ракушки, опухоль, трудную для определения, не столь крупную, как шарик омелы, но более тусклую, чем стеклянный жемчуг.

Мужчины нередко хромали: чувствовалось, что причина — не дорожный инцидент, но первый удар, ибо они уже, как говорится, стояли одной ногой в могиле. Приоткрыв свою, уже парализованные слегка, женщины силились вырвать платье из цеплявшихся камней склепа, выпрямиться, — опустив голову, они выгибались в кривую, занятую ими ныне между жизнью и смертью, перед последним падением. Ничто не могло противиться движению одолевающей параболы, и они трепетали, если хотелось подняться, а пальцам не хватало сил, чтобы что-то держать.

А у других волосы даже не седели. И я сразу узнал старого лакея, который шел что-то сказать своему хозяину, принцу де Германту. Суровые щетинки торчали из его щек и черепа — все такие же рыжеватые, отливающие розовым, и сложно было заподозрить его, как герцогиню де Германт, в использовании притирок. Но годов ему то не убавило. Чувствовалось, что среди мужчин — как в растительном царстве мох, лишайник и многое другое, — есть породы, не меняющиеся с наступлением зимы.

Впрочем, можно ли поверить, что эти свойства умирают? Я всегда считал человеческую особь колонией полипов: глаз, как организм ассоциированный, но независимый, сощурится, если полетит пылинка, хотя сознание не подаст команды, и скрытый паразит — кишечник — инфицируется, вопреки полной неосведомленности разума; подобным образом, на протяжении нашей жизни, дело обстоит с душой, чредой «я», сопоставимых, но отличных, умирающих одно после другого, — или же чередующихся между собой, как те, которые в Комбре сменялись во мне с наступлением вечера. Но также я замечал, что составляющие человека моральные клетки более долговечны, чем он сам. Я видел пороки

и доблести Германтов, проявившиеся в Сен-Лу, его собственные странные, редкие недостатки, семитизм Свана. Я еще встречусь с этим в Блоке. С тех пор, как он потерял отца, в нем, помимо безмерных семейственных чувств, зачастую присущих еврейским семьям, установилась мысль, что его отец превосходил всех сущих, и любовь к отцу приняла форму культа. Ему тяжело было пережить эту потерю, и почти на год он слег в больницу. На мои соболезнования он ответил с глубоким чувством, однако довольно надменно, полагая, видимо, что его близости с таким великим человеком я завидую, — повозку отца с двумя лошадьми он охотно передал бы какому-нибудь историческому музею[170]. Теперь за столом в его доме тот же гнев, вооружавший некогда г-на Блока на г-на Ниссима Бернара, воодушевлял Блока против его тестя. Он устраивал ему за обедом те же выходки. И как в те времена, когда я слушал слова Котара, Бришо, остальных, я чувствовал, что, благодаря моде, культуре, одна-единственная волна расталкивает по всей протяженности зем-

[170] Примечания: 170

…музею… — исторические путешествия покойного в упомянутой коляске описываются в романе «Под сенью девушек в цвету». Ниже: срезы нескольких пластов той же серии: серия геологическая — толща такого рода, что охватывает объемы той или иной эпохи.

ли все те же манеры разговора, мысли, и по всей длительности времени большие донные потоки струят из глубей веков, сквозь слои поколений, те же гневы, те же печали, те же отваги, причуды, и сняв срезы нескольких пластов той же серии, мы обнаружим, что они повторяются, как тени в смежных кадрах, как фигуры идентичной картины, — зачастую не столь ничтожной, как та, которая поставила Блока и его тестя в отношения г-на Блока-отца, г-на Ниссима Бернара и многих других, которых я не имел чести знать.

В иных лицах, под ряской белых волос, наблюдалось окоченение, запечатанные веки, как у тех, кто вот-вот умрет, а губы, колеблемые бризом вечности, цедили молитву агонизирующих. Лицу, прежнему, судя по линиям, чтобы казаться другим, достаточно было и белизны волос — вместо черных или русых. Театральные костюмеры знают, что хватит и напудренного парика, чтобы изменить актера до неузнаваемости. Молодой маркиз де Босержан, — я его, лейтенантом, видел как-то в ложе г-жи де Камбремер, в тот день, когда г-жа де Германт посетила бенуар своей кузины, — по-прежнему отличался совершенно правильными чертами лица, и более того, ибо артерио-склерозная одеревенелость еще сильнее

разгладила бесстрастную гладь физиономии денди, силой недвижимости придав этим чертам интенсивную, разве что не гримасничающую ясность, которую они обрели бы в наброске Мантеньи или Микеланджело. Лицо его, некогда игравшее румянцем, ныне торжественно побледнело; осеребренные космы, легкая полнотца, благородство дожа, усталость, доходившая едва ли не до желания соснуть — все сошлось в нем, дабы пророчески и на новый лад ознаменовать финальное величие. Замена прямоугольника русой бороды равным прямоугольником белой произвела столь совершенную трансформацию, что, заметив на его форме пять нашивок, моей первой мыслью было поздравить его — не с тем, что его повысили и теперь он полковник, но с маскарадным полковничьим костюмом, который так ему шел, что ради него, как мне виделось, он заимствовал не только униформу, но и степенный, грустный облик своего отца, прославленного офицера. Седая борода другого, сменившая русую, — тогда как лицо осталось живым, улыбающимся и юным, — казалось, только усилила его краснотцу и подвижность, блеск глаз, придав этой светской юности пророческое вдохновение. Трансформация, произведенная

сединою и некоторыми другими элементами, в особенности у женщин, не привлекла бы меня с такой силой, если б указывала только на изменение цвета, чарующее глаз, а не на изменение личности, которое волнует наш разум. И действительно, «узнать» кого-либо, особенно после неудачных попыток, отождествить, — значит помыслить под единым наименованием два противоположных предмета, значит допустить, что находящийся здесь человек, которого мы помним, больше не существует, и мы с ним уже не знакомы; надо представить мистерию почти столь же волнительную, как мистерия смерти, которой эта, впрочем, служит прологом и предвосхищением. Ибо я знал, о чем говорят эти изменения, к чему эта прелюдия. И потому-то меня и волновали женские седины, появившиеся вкупе со многими другими изменениями. Мне называли имя, и меня поражало, что оно приложимо разом белокурой танцорке, с которой я был когда-то знаком, и неповоротливой седой матроне, грузно проплывавшей мимо. Если оставить в стороне некоторую розовость лица, это имя, быть может, было единственным связующим звеном между двумя женщинами, разнившимися сильнее, — одна жила в памяти, вторая

присутствовала на утреннике Германтов, — чем пастушка и дуэрья из театральной пьесы. Для того, чтобы жизнь наделила вальсорку этим огромным телом, чтобы она смогла замедлить, как при помощи метронома, эти стесненные движения, чтобы, — сохранив, быть может, единственно общую частицу: щеки, более полные, конечно, но сыздетства в розоватых пятнышках, — она смогла подменить легкую блондинку старым пузатым маршалом, ей следовало совершить больше опустошений и разрушений, нежели для того, чтобы взгромоздить купол вместо колокольни, и стоит только представить, что подобная работа произведена не над податливой материей, но над плотью, изменимой нечувствительно, едва-едва, как потрясающий контраст между настоящим феноменом и девушкой, которую я вспоминал, отодвигал последнюю в более чем далекое прошедшее, в доисторические времена; невероятно сложно объединить два этих облика, помыслить два лица под одним именем; ибо представить, что умерший жил, или что тот, который жил, мертв сегодня, почти столь же сложно (это относится к тому же роду затруднений, ибо уничтожение юности, разрушение человека, полного сил — есть первое небытие),

как постигнуть, что та, которая была юна — стара; облик этой старухи, наложенный на облик юной, последнюю исключает, и поочередно старуха, затем молодая, потом старуха опять морочат нас наваждением, и не поверишь, что последняя когда-то была первой, что вещество в ней то же, а не улетучилось в далекие края, что милостью умелых манипуляций времени она превратилось в первую, что это та же самая материя, что она наполняет то же самое тело, если не имя и свидетельства друзей, и правдоподобия им добавит только роза, затерянная когда-то в золотых колосьях, занесенная теперь снегом.

Подобно снегу, степень белизны волос на свой лад говорила о глубине истекшего времени, — так горные вершины, представшие нашим глазам на той же линии, что и другие, все равно выдают высоту своей заснеженной белизной. Впрочем, это правило действовало не в каждом случае, особенно у женщин. Пепельные, блестящие как шелк пряди принцессы де Германт, струящиеся по выпуклому лбу, раньше казались мне серебряными, — теперь, потускнев, матово поблескивали, как шерсть или пакля, и серели потерявшим блеск сальным снегом.

Зачастую на долю белокурых танцовщиц, вкупе

с седым париком и ранее недоступной близостью с герцогинями, выпадало кое-что еще. Ведь раньше они только и делали, что танцевали, и искусство снизошло на них благодатью. И подобно тому, как в XVII-м веке великосветские дамы ударялись в религию, они жили в квартирах, увешанных кубистскими полотнами, — кубист работал только для них, и вся их жизнь была посвящена ему.

На измененных старческих лицах они пытались закрепить, зафиксировать в незыблемом виде одно из тех мимолетных выражений, которые на мгновение, когда мы позируем, принимает наше лицо в попытке либо извлечь выгоду из какого-нибудь преимущества нашей внешности, либо скрыть изъян; они, казалось, бесповоротно стали собственными фотокарточками, над которыми перемены не властны.

Все эти люди положили столько времени на облачение в маскарадные костюмы, что наряд, как правило, так и не был замечен теми, с кем они жили бок о бок. Зачастую им была предоставлена отсрочка, и они до последнего оставались собою. Но тогда отложенное переодевание совершалось стремительно; из всех фасонов лишь этот был неотвратим. Мне никогда не приходило в голову,

что между м-ль Х и ее матерью может быть какое-то сходство, — с последней я познакомился в бытность ее старухою, походившей на сплюснутого турчонка. И правда, м-ль Х всегда казалась мне очаровательной стройной девушкой, и она довольно долго держалась. Слишком долго, ибо, как человек, которому — пока не наступила ночь — следовало помнить о турецком костюме, она принялась за переодевание с опозданием, и потому стремительно, почти внезапно она сплюснулась и покорно воспроизвела облик старой турчанки, в роли которой когда-то выступала ее мать.

Я там встретил старого приятеля, — на протяжении десяти лет мы виделись едва ли не ежедневно. Нас чуть было не представили друг другу по новой. Я подошел к нему, и вдруг услышал голос, который сразу узнал: «Какое счастье для меня после стольких лет…» Но какое удивление для меня! Мне показалось, что этот голос был издан усовершенствованным фонографом, ибо хотя и звучал голос моего друга, он исходил из неизвестного мне толстого, седеющего добряка, и с тех пор я думал, что только каким-то искусственным механическим трюком этот старик может говорить, как мой старый друг. Но я знал,

что это был он: человек, который представил нас друг другу, не был мистификатором. Сам он сказал мне, что я не изменился, — я понял, что он думает это и о себе. Тогда я пригляделся к нему получше. В целом, если не принимать во внимание, как он растолстел, в нем много чего уцелело. Однако я не мог поверить, что это он. Тогда я попытался припомнить. В юности у него были голубые, смеющиеся, постоянно подвижные глаза, вечно искавшие что-то довольно отвлеченное, о чем я и не задумывался, Истину, должно быть, с вечной ее неопределенностью, — и вместе с тем там играла шалость и дружественная приязнь. С тех пор, однако, как он стал влиятельным, искусным и деспотичным политиком, его глаза, не нашедшие, впрочем, что искали, замерли, взгляд стал резче, словно глазам мешали сверкать насупленные брови. И эта веселость, непринужденность и простодушие сменились хитроватой скрытностью. И правда, я решил уже, что это кто-то другой, и тут в ответ на какие-то свои слова я нежданно услышал его смех, былой беззаботный смех, за лучистой подвижностью взгляда. Меломаны находили, что оркестровка Х-м музыки Z-а изменила ее до неузнаваемости. Это были нюансы, неведомые профанам. Но детский

приглушенный безрассудный смех под покровом взгляда, — острого, как голубой, хорошо, хотя и несколько криво оточенный карандаш, — это хуже разницы в оркестровке. Смех умолк, я чуть было не узнал друга, но, как Улисс в Одиссее, бросившийся к мертвой матери, как спирит, который никак не может добиться от призрака ответа, кто же он такой, как посетитель электрической выставки, который не может поверить, что голос, воспроизведенный фонографом без изменений, тем не менее не был издан кем-то еще, я уже не узнавал моего друга.

Следует, однако, отметить, что для отдельных лиц темпы времени могут быть ускорены или замедлены. Лет пять назад я случайно встретился на улице с невесткой близкой приятельницы Германтов, виконтессой де Сен-Фьакр. Скульптурная выточенность ее черт, казалось, была порукой вечной молодости. Впрочем, она была еще молода. Но сколь она мне не улыбалась, со мной не раскланивалась, я так и не признал ее в даме с раскромсанными чертами лица, чей контур уже не подлежал восстановлению. Дело в том, что на протяжении трех последних лет она принимала кокаин и другие наркотики. В глазах с глубокими черными кругами играло безумие, рот застыл в

зловещем оскале. Она встала, сказали мне, специально ради этого утренника, а так она месяцами не покидала кровати или шезлонга. Так что у времени есть экспрессы и особые скорые поезда к преждевременной старости. Есть и другая дорога, по которой идут почти столь же быстрые поезда в обратном направлении. Я принял г-на Курживо за его сына, — он выглядел моложе (он уже, кажется, справил пятидесятилетие, но не выглядел и на тридцать). Он нашел толкового врача, тот запретил ему употребление алкоголя и соли; г-н Курживо вернулся к третьему десятку и даже, как в этот день казалось, еще не разменял четвертого. Это объяснялось, вероятно, тем, что сегодня его посетил парикмахер.

Любопытно, что некоторые проявления феномена старения сообразуются с социальными повадками. Иные знатные господа, всегда облачавшиеся в нехитрые альпага, укрывавшие головы старыми соломенными шляпами, от которых отказались бы и мелкие буржуа, старели тем же фасоном, что и садовники, крестьяне, в чьей среде протекала их жизнь. Коричневые пятна испещряли их щеки, их лицо желтело и темнело, как книга.

И я вспомнил о тех, кого здесь не было, потому

что у них уже не хватило бы сил; их секретари, создавая видимость загробного бытия, приносили письменные извинения, и время от времени эти депеши передавали принцессе — от имени больных, умиравших уже много лет, более не покидавших постели, не двигавшихся, и если к ним заходили легкомысленные визитеры, заглянувшие из туристического любопытства и по наивности пилигримов, то, закрыв глаза, вцепившись в четки, полуотбросив саванное сукно, те представали им каменными фигурами, высеченными болезнью, истончившей до скелета твердую и белую, как мрамор, плоть, кладбищенскими статуями, распростертыми на надгробьях.

Я дружил с многочисленной родней иных своих знакомых, однако не предполагал, что смогу отыскать в них какие-то общие черты; восхищаясь старым седовласым отшельником, Легранденом, я нежданно обнаружил (можно сказать, я открыл с удовлетворением зоолога) в плоскости его щек конструкцию лица его юного племянника Леонора де Камбремера, который, однако, вовсе не был похож на дядю; к этой первой общей черте я добавил другую, не отмеченную мной в Леоноре, затем еще несколько, не имевших ничего общего с теми, которые виделись мне привычным

обобщением его юного облика, — и у меня тотчас вышла карикатура на него, обладавшая большей схожестью и глубиной, чем буквально точная; дядя его теперь казался мне юным де Камбремером, вырядившимся для забавы стариком, которым племянник и действительно когда-нибудь станет, — итак, не только то, чем стали былые юноши, но и то, чем станут сегодняшние, будило во мне глубокое чувство Времени.

Поскольку черты лица, заверявшие если не юность, то хотя бы красоту, уже исчезли, женщины пытались сотворить из того, что осталось, нечто иное. Переместив центр если не тяжести, то по меньшей мере перспективы лица, составив черты вокруг него сообразно иному характеру, к пятидесяти годам они приспосабливались к новому роду красоты, подобно тому, как берутся за новое ремесло, или как на земле, на которой уже не растет виноград, выращивают свеклу. Среди новых линий, понукаемая ими, цвела новая юность. Эти превращения, впрочем, не подходили женщинам слишком прекрасным — или слишком уродливым. Лицо первых было словно высечено четкими линиями в мраморе, там уже ничего нельзя было изменить, и они осыпались, как статуи. Вторые, славившиеся своим

безобразием, все-таки имели перед красавицами ряд преимуществ. Во-первых, только они были узнаваемы по-прежнему. Было известно, что в Париже не найдется второго подобного рта, и по этому признаку я и примечал их на этом приеме, где не узнавал уже никого. К тому же, даже на вид они не старели. В старости есть что-то человеческое, а они были монстрами, и изменялись не более, чем киты.

Некоторых мужчин и женщин, старость, казалось, и не коснулась, — их осанка сохраняла стройность, а лицо юность. Но стоило во время разговора приблизиться вплотную к гладкой коже и тонким контурам лица, как оно представало нам в ином свете; подобное происходит с поверхностью растений, каплями воды, крови, если мы поместим их под микроскоп. Тогда я различал многочисленные сальные пятнышки на коже, казавшейся гладкой, и во мне нарастало отвращение. Не могли устоять перед увеличением и линии. Контур носа ломался вблизи, округлялся, повторяя те же жирные округлости, что и все лицо; а рядом прятались в мешки глаза, разрушая сходство сегодняшнего лица с былым, — которое, вроде бы, мы восстановили. Так что эти гости были молоды издалека, и их жизненный путь

возрастал по мере приближения к лицу и возможности наблюдать его различные планы; он зависел от наблюдателя, который должен был занять подходящее место, чтобы бросать на эти лица только далекие взоры, уменьшающие предмет подобно стеклу, подбираемому оптиком для дальнозоркого; для них старость, как присутствие инфузорий в капле воды, была обусловлена не столько прогрессом лет, сколько, с точки зрения обозревателя, коэффициентом масштаба.

Женщины стремились удержать что-то от своего неповторимого очарования, но зачастую новое вещество лица для этого уже не годилось. Страшно было представить, сколько времени должно было истечь, чтобы совершилась эта эволюция в геологии лица, чтобы глазам предстала эрозия по всей длине носа, огромные наносы по краям щек — абриса непроницаемых и неподатливых пластов.

Конечно, иные женщины были еще довольно узнаваемы, их лицо сохраняло былые очертания, — разве что головы, гармонируя с сезоном, увенчались пепельными волосами, словно особым осенним украшением. Но другие (мужчины особо) претерпели трансформацию столь основательную, что отождествить их было невозможно:

какая, к примеру, связь была между брюнетом, как мне помнилось, прожигателем жизни, и этим старым монахом, — так что подобные баснословные метаморфозы наводили на мысль уже не об искусстве актера, но о профессии чудесных мимов, представленной сегодня Фреголи[171]. Старуха едва не ударялась в слезы, понимая, что туманная и меланхолическая улыбка, секрет ее очарования, уже никогда не залучится поверх гипсовой личины, наложенной старостью. Затем, растеряв охоту к слезам и находя более уместным смирение, она использовала новое лицо как театральную маску, на сей раз — чтобы вызывать смех. Но почти все женщины не давали себе передышки в борьбе с годами и тянули к красоте (удалявшейся, как садящееся солнце, последними отблесками которого им еще страстно хотелось лучиться) зеркало своего лица. Дабы преуспеть в этом деле, некоторые пытались лицо разгладить, расширить его белую поверхность, отрекаясь от пикантных, но безнадежных ямочек, строптивости обреченной и уже наполовину обезоруженной улыбки; тогда как другие, отмечая безоговорочное исчезновение

[171] Примечания: 171

Фреголи, Леопольдо (1867-1936) — итальянский актер и мим. Его многочисленные гастроли во Франции прошли в первое десятилетие 20 в.

своих прекрасных черт, вынуждены были, словно компенсируя искусством дикции потерю голоса, цепляться за надутые губки, мягкий прищур, затуманенный взор, иногда улыбку, — впрочем, от некоординированности мышц, более им не служивших, улыбаясь, они словно рыдали.

Впрочем, даже относительно мужчин, подвергшихся лишь легким и незначительным изменениям (седине в усах и т. п.), можно было сказать, что эта перемена не была полностью материальна. Они виднелись словно сквозь цветную дымку, темное стекло, их облик был смутен, и в целом этот туман свидетельствовал, что то, что доступно нашему зрению «в натуральную величину», в действительности находится от нас очень далеко, в удалении отличном, правда, от пространственного, — и из его глубин, как с другого берега, им так же трудно узнать нас, как и нам их.

Быть может, одна г-жа де Форшвиль, налившись своего рода парафином, раздувшим кожу, но оградившим ее от трансформаций, походила на былую кокотку, «заспиртованную» теперь навсегда. «Вы перепутали меня с матерью», — сказала мне Жильберта. Это правда. Впрочем, это было почти любезностью. Мы исходим из мысли,

что люди остались прежними, и обнаруживаем, что они постарели. Но если мы отталкиваемся от того, что они стары, мы найдем, что они не так уж плохи. В случае Одетты проблема заключалась не только в этом; ее облик, если мы вспоминали о ее возрасте и готовились к встрече со старухой, казался более чудесным вызовом, брошенным законам хронологии, нежели устойчивость радия в материи. Если я ее поначалу и не признал, то вовсе не оттого, что она изменилась сильно: она не изменилась вообще. Определив за этот час, что представляет из себя слагаемое, добавляемое к человеческому облику, сколько нужно вычесть, чтобы они предстали мне прежними знакомцами, я теперь без труда производил подобные подсчеты, и когда я причислил к былой Одетте сумму истекших лет, полученный мною результат никоим образом не сочетался с особой, стоявшей передо мной, потому что последняя слишком уж смахивала на былую. Какова была доля румян, краски? С ее золочеными, плоско примятыми волосами — слегка растрепанным шиньоном тяжелого механического манекена, поверх удивленного незыблемого лица, также довольно механического, на которые была нахлобучена плоская соломенная шляпка, она

олицетворяла собой выставку 1878-го года (на которой она тогда безусловно, и особо, если в теперешнем возрасте, была бы самым невероятным чудом), и мне казалось, что сейчас она выпалит свой куплетик рождественского ревю; это воплощение выставки 1878-го было в достаточной степени свежо.

Рядом прошел министр предбуланжистской[172] эпохи (теперь он снова входил в кабинет), — он посылал дамам мерцающую и далекую улыбку, но, словно опутанный тысячью прошлых связей, как маленький фантом, ведомый невидимой рукою, он несколько усох, и, сменив материю, походил на собственное производное, исполненное в пемзе. Этот экс-премьер, так хорошо принятый Сен-Жерменским предместьем, когда-то привлекался к суду по целому ряду уголовных дел. Его презирали и в народе, и в свете. Но оттого, что и общество, и народ обновляется, и этот процесс затрагивает наши страсти и даже воспоминания особей, никто теперь об этом не помнил; итак, его уважали. Так что, сколь бы тяжким не было унижение, его, должно быть, легко перенести, если

[172] Примечания: 172

Жорж Буланже (1837-1891) — генерал, воен. министр (1886-1887), после отставки выступал за возврат территорий, захваченных Германией в войне 1870 года.

подумать, что спустя несколько лет погребенные грехи будут заметны не более, чем невидимая пыль, которая вызовет улыбку смеющейся и цветущей природы. Со своим непродолжительным позором, благодаря уравновешивающей игре времени, человек окажется между двух новых социальных слоев, испытывающих по отношению к нему только почтительность и преклонение; с ними он может не считаться. Но только времени доверена эта работа, и он был безутешен в пору лишений, потому что юная молочница из дома напротив слышала, как толпа, грозя кулаками, кричала ему: «взяточник», когда он забирался в «воронок»; молочница-то не смотрела на вещи во временном плане, и не ведала, что те, кому кадит утренняя газета, некогда были притчей во языцех, что человека, оказавшегося сейчас в тюрьме (быть может, вспомнив о молочнице, он не найдет смиренных слов, которые помогли бы ему снискать снисхождение), когда-нибудь будет чествовать пресса, его дружбы будут искать герцогини. Подобным образом во времени растворяются семейные ссоры. У принцессы де Германт присутствовала пара, муж и жена, у них было по дяде (они уже почили), — как-то последние раз не удовольствовались взаимными оскорблениями,

и один из них, для пущего унижения второго, послал ему в качестве секундантов консьержа и дворецкого, рассудив, что светские люди для него слишком хороши. Но эти истории спали в газетах тридцатилетней давности, и уже никто о них ничего не знал. Так что салон принцессы де Германт был светел и забывчив, он цвел, как мирное кладбище. Время не только разрушает старые образования, оно творит новые союзы.

Вернемся, однако, к нашему политику: вопреки физическому изменению существа, столь же основательному, как трансформация моральных представлений публики на его счет, — одним словом, несмотря на года, прошедшие с того времени, когда он был председателем кабинета, он вошел в новый, получил портфель от главы, — так, благодаря театральному директору, доверяющему роль одной из своих старых, давно уже сошедших со сцены подружек, чью способность проницательно войти в роль он ценит выше, чем таланты молодых, тем более, что сложность ее финансовой ситуации ему небезызвестна, восьмидесятилетняя актриса демонстрирует публике целость своего почти нетронутого таланта, равно продолжение жизни, в чем, ко всеобщему удивлению, еще можно удостовериться за несколько

дней до кончины.

Г-жа де Форшвиль была столь прекрасна, что про нее нельзя было сказать: она омолодилась, вернее, всеми своими карминными, рыжеватыми оттенками — она снова цвела. В сегодняшней зоологической выставке, выходя за рамки обыкновенного воплощения универсальной выставки 1878-го, она была бы ключевой достопримечательностью и «гвоздем программы». Впрочем, мне слышалась не «я — выставка 1878-го года», но «я — аллея акаций в 1892-м». Казалось, она и сейчас могла бы там прогуливаться. Впрочем, как раз оттого, что она не изменилась, она не казалась живой. Она была похожа на стерилизованную розу. Я с ней поздоровался, и несколько секунд она выискивала на моем лице имя — так студент ищет ответ в лице экзаменатора, хотя было бы проще поискать его в собственной голове. Я назвал себя, и тотчас, словно силой магических этих слов я потерял что-то присущее земляничнику или кенгуру (должно быть, эта схожесть была вызвана годами), она узнала меня и перешла на тот особый тон, которым когда-то приводила мужчин в восхищение, — они, аплодировавшие ей в мелких театрах, получали приглашение позавтракать с ней «в городе» и

ловили эти чудные звуки в каждом слове, на протяжении всей беседы, сколько им было угодно. И сейчас волновал этот бесполезно горячий голос с легким английским акцентом. Ее глаза, однако, смотрели на меня словно с далекого берега, а голос был грустен, как стенания плакальщиц и мертвых в Одиссее. Ей бы играть еще. Я выразил свое восхищение ее молодостью. Она ответила: «Вы милы, my dear, благодарю вас», — и, поскольку ей с трудом удавалось освободить даже самое искреннее чувство от заботы о «светскости», она повторила несколько раз подряд: «Благодарю вас, благодарю вас». Я когда-то частенько бегал, чтобы встретиться с нею, в Лес, и в тот день, когда впервые был у нее в гостях, ловил этот звук, лившийся с губ, как сокровище, а теперь считал минуты, проведенные с ней рядом, потому что решительно невозможно было представить, о чем с ней говорить, и мне пришлось удалиться, все еще думая, что слова Жильберты «вы спутали меня с матерью» были не только правдивы, но и, к тому же, только льстили дочери.

Впрочем, не только в Жильберте проступили семейственные черты, доселе незримые в облике, словно они таились внутри, как частички зернышка, о побеге которого, до того дня, как они

покажутся наружу, можно только догадываться. Так в той или иной женщине несколько чрезмерная материнская крючковатость лицевых линий лишь к пятидесятилетию перестраивала нос, до сего времени безукоризненный, прямой. У другой, дочки банкира, цвет лица, свежий, как у садовницы, краснел, медянел и отсвечивал золотом монет, над которым столько покорпел отец. Некоторые в итоге начинали походить на свой квартал, и несли на себе отсвет улицы Аркад, авеню дю Буа, Елисейской улицы. Но обычно они воспроизводили черты своих родителей.

Увы, сохраниться навеки ей было не дано. Не пройдет и трех лет, и я увижу ее на приеме у Жильберты хотя и не в окончательном маразме, но уже в какой-то расслабленности, — она уже не сможет скрывать недвижимой маской то, о чем думает (и это сильно сказано), то, что чувствует, покачивая головой и поджимая рот, сотрясая плечами от каждого ощущения, как пьяница или ребенок, иные поэты, которые забывают иногда, где находятся и, испытав прилив вдохновения, сочиняют что-то на приеме, хмуря брови и гримасничая, но не отпуская руки удивленной дамы, ведомой к столу. Ощущения г-жи де Форшвиль нельзя было назвать радостными, если не счи-

тать самого по себе удовольствия от присутствия на приеме, любви к обожаемой дочери, гордости за ее блестящие вечера, не уменьшавшей, впрочем, грусти, что сама она теперь ничего из себя не представляет; она разве пыталась защитить себя от оскорблений, сыпавшихся на нее, причем столь же робко, как защищается ребенок. Кто-то кричал: «Не понимаю, узнала ли меня г-жа де Форшвиль; надо, наверное, еще разок подойти». — «Да бросьте, можете не стараться, — отвечали ему во всю глотку, не подозревая, или не тревожась о том, что мать Жильберты слышит все. — Это бесполезно. Разве для собственного удовольствия! Пускай себе сидит в углу. Она уже в полном маразме». Г-жа де Форшвиль украдкой бросала взгляды на болтливых обидчиков, затем, чтобы не показаться невежливой, быстро прятала свои глаза, все столь же прекрасные. Но оскорбление волновало ее, и она сдерживала немощное негодование; голова ее тряслась, грудь вздымалась; она снова поднимала взор, уже на другого невежливого посетителя, но особо не удивлялась, потому что несколько дней чувствовала себя плохо и намекала дочери, что лучше бы перенести прием, — дочь, однако, отказала. Зла на Жильберту она за это не держала и любила ее

не меньше; присутствие нескольких герцогинь, общее восхищение новым особняком переполняли ее сердце радостью, а когда в гостиную вошла маркиза де Сабра, олицетворявшая самые неприступные социальные высоты тех лет, г-жа де Форшвиль подумала, что была доброй и предусмотрительной матерью, что ее материнский долг исполнен. Она вновь метнула взгляд на зубоскалящих гостей, уже других, и заговорила что-то, сидя в полном одиночестве, если можно назвать речью молчание, которое переводится жестикуляцией. Все столь же прекрасная, теперь она стала бесконечно трогательной, чем раньше похвастаться не могла; ибо тогда она обманывала Свана и многих других, а теперь она сама была обманута миром, и так ослабла, что уже не смела, так как роли переменились, защитить себя от людей. Вскоре она не защитилась от смерти.

От этого предвосхищения вернемся на три года назад, на утренник принцессы де Германт.

Я с трудом признал моего товарища Блока, — впрочем, у него теперь был псевдоним, причем утрачена была не только фамилия, но и имя: Жак дю Розьер, звался он, и надо было обладать нюхом моего дедушки, чтобы признать «нежную долину Хеврона» и «цепи Израиля», решительно,

казалось, моим другом отброшенные. И правда, английский шик практически полностью изменил его внешность и стесал с нее все, что только можно было изгладить. Некогда курчавые волосы, подстриженные с ровным пробором, блистали от бриолина. Основательный красный нос, правда, остался, но казалось, что он скорее опух от своего рода хронического катара, — этим можно было объяснить и носовой акцент, с которым он вяло бросал фразы, ибо так же, как прическу, подобранную к цвету лица, он изыскал произношение к голосу, в котором былая назализация приняла оттенок легкого презрительного нажима, что довольно удачно подошло к распростертым крыльями его носа. Благодаря прическе, отмене усов, изяществу костюма, старанию, его еврейский нос исчез, — так разряженная горбунья кажется нам почти прямой. Но смысл его физиономии особенно сильно изменил грозный монокль. Некоторая механизация, внесенная им в лицо Блока, освобождала последнее от сложных обязанностей, которые исполняет человеческая внешность: обязанности быть красивой, выражать ум, доброжелательность, усилие. Само по себе присутствие этого монокля на лице Блока освобождало, во-первых,

от необходимости спрашивать себя, было ли оно милым, или нет, — так в магазине, когда приказчик говорит об английских вещах, что это «такой шик», мы уже не осмеливаемся думать, нравится ли это нам самим. С другой стороны, он обосновался за стекляшкой монокля на позиции столь же высокомерной, удаленной и удобной, как за окошком восьмирессорной кареты, и чтобы его лицо гармонировало с волосами и моноклем, черты не выражали уже ничего.

Блок попросил меня представить его принцу де Германт, я не усмотрел в этом и тени тех затруднений, с которыми столкнулся, когда впервые присутствовал на его приеме, — тогда они представлялись мне естественными, а теперь мне казалось, что нет ничего сложного в том, чтобы представить хозяину одного из приглашенных, более того, теперь я спокойно подвел бы к нему и представил экспромтом кого-нибудь из тех, кто приглашен не был[173]. Оттого ли, что в этом обществе, для которого я раньше был новичком, я давно уже стал «своим», хотя меня и несколько

[173] Примечания: 173

Отметим, что Блок уже «выходил» на сцену утренника, и принц с ним знаком. Подобные неувязки ниже при появлении Рашели и обсуждении смерти маркизы д'Арпажон (что не помешало герою поздороваться с ней чуть выше).

«забыли», или же напротив, потому что, — так как я никогда не был светским человеком всецело, — все, что для них представляло сложность, для меня было несущественно, по крайней мере с тех пор, как моя застенчивость рассеялась, или же потому, что мало-помалу люди отбрасывали передо мной их первую (зачастую и вторую, и третью) искусственную личину, и я чувствовал за презрительным высокомерием принца ненасытную жажду к людям, даже к тем, кому он выказывал презрение? Или же потому, что изменился и сам принц, как все эти заносчивые юноши и зрелые мужи, размягченные старостью (тем более, что с новичками, от которых они отбрыкивались, они давно уже перезнакомились, а новые идеи давно вошли в их обиход), особенно если она использует, в качестве средства, какую-нибудь добродетель, какой-нибудь порок, расширяющий их связи, если происходит своего рода переворот, политическое обращение, как, в частности, поворот принца к дрейфусарству?

Блок расспрашивал меня, да и сам я, во времена моих первых выходов в свет, пускался в такие расспросы, и теперь иногда, — о старых знакомых, теперь очень от меня далеких, отстоящих от всего в стороне, подобно комбрейским приятелям,

место которых в жизни мне частенько хотелось «определить» поточней. Но Комбре стал для меня точкой столь обособленной и столь несогласной со всем остальным, что так и остался загадкой, не нашедшей себе места на карте Франции. «Так что же, по принцу де Германт я не смогу составить представления о Сване и г-не де Шарлю?» — спрашивал у меня Блок: давным-давно я подражал его манере говорить, а теперь он заимствовал мою. — «Ни в коей мере». — «Чем же они были примечательны?» — «Вам следовало бы поговорить с ними, но это невозможно: Сван мертв, да и г-н де Шарлю почти в могиле. Но это были выдающиеся люди». И пока в блистающем блоковском глазу отражались раздумья о том, что из себя эти удивительные личности представляли, мне подумалось, что удовольствие от общения с ними я несколько преувеличил, ибо мог испытать его лишь в одиночестве, ибо подлинно все эти «отличия» живут лишь в нашем воображении. Блок догадался? «Ты, может быть, все это несколько приукрашиваешь, — сказал он. — Я, конечно, понимаю, что хозяйка этого дома, принцесса де Германт, не юна, но в конце концов не так-то уж давно ты мне расписывал ее несравненное обаяние и чудеснейшую красоту. Конечно, я признаю,

что она величава, у нее действительно, как ты и говорил, необычные глаза, но невероятным все это назвать сложно. Порода, конечно, чувствуется, но ничего больше». Я вынужден был объяснить Блоку, что мы говорим не об одном и том же лице. На самом деле принцесса де Германт умерла, а принц, разорившийся после немецкого поражения, женился на экс-госпоже Вердюрен. «Ты ошибаешься, я смотрел Готский альманах[174] за этот год, — простодушно признался Блок, — и прочитал там, что принц де Германт живет в этом вот особняке, а женат на чем-то совершенно грандиозном… погоди немного, дай вспомню… женат он на Сидонии, герцогине де Дюра, урожденной де Бо». Действительно, г-жа Вердюрен, по прошествии некоторого времени со смерти мужа, вышла замуж за старого разоренного герцога де Дюра, в результате чего (он умер через два года после женитьбы) она стала кузиной принца де Германт. Это был удачный переходный этап для г-жи Вердюрен, и теперь она, третьим браком, именовалась принцессой де Германт и занимала

[174] Примечания: 174

«Гота-Альманах» — справочник, с 1763 по 1945 и с 1959 по настоящее время выпускаемый в германском городе Гота. В нем представлен самый широкий набор сведений, а также информация о знатных европейских родах.

в Сен-Жерменском предместье исключительное положение, которому сильно удивились бы в Комбре, где дамы с Птичьей улицы, дочка г-жи Гупиль и невестка г-жи Сазра, все эти последние годы, когда г-жа Вердюрен еще не стала принцессой де Германт, повторяли, зубоскаля: «герцогиня де Дюра», словно то была роль, которую г-жа Вердюрен разыгрывала в театре. Так как кастовый принцип требовал, чтобы она умерла г-жой Вердюрен, даже это имя, — как представлялось, не жаловавшее ей никакого нового влияния в свете, — производило дурной эффект. «Заставить говорить о себе» — это выражение, прилагающееся в любом обществе к женщине, у которой есть любовник, в Сен-Жерменском предместье применялось к тем, кто публикует свои сочинения, а среди комбрейской буржуазии — к вступающим в неравные (с той или другой стороны) браки. Когда она вышла замуж за принца де Германт, там, должно быть, решили, что это фальшивый Германт, что это проходимец. Мне в этом тождестве имени и титула, в результате чего явилась еще одна принцесса де Германт, никакого отношения не имевшая к восторгавшей меня особе, которой здесь больше не было и которая, мертвая, не могла защититься от кражи, виделось что-то

скорбное, как в вещах, принадлежавших принцессе Едвиге[175], ее замке и всем, чем она владела, чем теперь пользовался кто-то другой. В наследовании имен всегда есть что-то грустное, как во всех наследствах, как в любой узурпации собственности; и из века в век, без остановки, будет набегать волна новых принцесс де Германт, или, вернее, будет одна, тысячелетняя, замещаемая из века в век другими, единственная принцесса де Германт, не ведающая смерти, безразличная к переменам и ранам нашего сердца; ибо имя смыкает надо всеми, из века в век тонущими в нем, свое неколебимое древнее спокойствие.

Но, противореча этому постоянству, тертые светские калачи повторяли, что свет полностью изменился, что принимают всякую шваль. Это, как говорится, конечно так, но и не совсем так. Это не совсем так, потому что они не разобрались во временных изотермах, благодаря которым былые новички оказались в поле зрения этих людей на финишной прямой, тогда как их воспоминания все еще топтались на стартовой линии. И когда те, прежние, входили в светское общество, там были те, которых другие помнили на

[175] Примечания: 175

Имеется в виду принцесса. Мари-Едвига — это ее имя, по мужу покойную звали Мари-Жильбер, чтобы не путать с другой родственницей.

старте. Чтобы это произошло, достаточно одного поколения, а раньше требовались века, чтобы буржуазное имя Кольберов приобрело благородство. И с другой стороны — это конечно так, ибо если люди меняют положение, то меняются и их идеи, и неотъемлемые их привычки (так же, как союзы разных стран, их междоусобица), например, — привычка принимать у себя только «шикарную» публику. Снобизм не только меняет свои очертания, он может раствориться в воздухе, как война, и радикалы с евреями с почетом войдут в Джокей-клоб.

Конечно, внешние перемены в знакомых лицах — это только символ перемен внутренних, совершавшихся день изо дня. Быть может, эти люди вели ту же жизнь, но представление, составленное о себе, о близких, постепенно менялось, и по прошествии нескольких лет под старыми именами были другие вещи, другие любимые люди, и поскольку они изменились, удивительно было, с чего же это у них прежние лица.

Среди присутствовавших был и видный мужчина, только что давший показания на известном процессе, причем ценность его показаний была только в одном — в очень высоком моральном достоинстве свидетеля, и перед этими качества-

ми единодушно склонились судьи и адвокаты; показания привели к осуждению двух человек. Так что, когда он вошел, послышалось заинтересованное и почтительное оживление. Это был Морель. Только я, наверное, знал, что он был «содержанкой» одновременно Сен-Лу и одного из друзей Робера. Несмотря на эти воспоминания, он приветствовал меня с радостью, хотя и несколько сдержанной. Он вспоминал былое время наших бальбекских встреч, память о которых была для него исполнена поэзии юности и грусти.

Впрочем, здесь присутствовали особы, которых я не узнал бы хотя бы потому, что они не были мне знакомы, ибо, как и на отдельных людях, время произвело свои химические опыты на обществе в целом. Я считал особую природу этой среды, притягивавшей к себе все значимые царственные европейские имена и отталкивавшей, отстранявшей от себя неаристократические элементы, материальным прибежищем имени Германтов, которое сообщало ему последнюю реальность; но внутреннее строение этой среды, в устойчивости которого я не сомневался, теперь и само подверглось глубоким изменениям. Меня не столь удивляло присутствие публики, знакомой мне по несколько иным слоям общества, хотя я полагал,

что сюда-то они никогда не проникнут, сколь задушевность, с которой здесь их принимали; некоего рода совокупность аристократических предрассудков, или снобизма, автоматически ограждавшая имя Германтов от всего, что с ним не гармонировало, уже не действовала.

Иные во времена моих светских дебютов устраивали званые вечера, куда приглашали только принцессу де Германт, герцогиню де Германт, принцессу де Парм, и были у этих дам в чести, — они считались лучшими представителями тогдашнего общества, и, может быть, действительно ими были; однако они бесследно исчезли. Может быть, это были иностранцы из дипломатических миссий, и они вернулись в свои страны? Может быть, скандал, суицид, похищение препятствовали выходам в свет, может, они были немцами. Но их имена отражали лишь светский блеск того времени, больше так никого не звали, никто не понимал даже, о ком это я говорю, если я поминал их в разговоре, — всем казалось, что так звали каких-то проходимцев.

Иные, которым по статьям старого социального кодекса путь сюда был заказан, к величайшему моему удивлению были в чести у благороднейших по крови особ, последние отправлялись

«скучать» к принцессе де Германт исключительно ради новых своих приятелей. Ибо сильнее всего это общество характеризовала прогрессирующая склонность к деклассации.

Ослабленные, поломанные пружины отталкивающей машины уже не действовали, и туда устремились тысячи инородных тел, лишая общество однородности, фасона, колорита. Как расслабленная дуэрья, Сен-Жерменское предместье кроткими улыбками привечало наглых слуг, наводнивших салоны, тянувших оранжад, представлявших своих любовниц. Само по себе разрушение стройного ансамбля, салона Германтов еще не так сильно впечатляло долготой истекшего времени, полной утратой частицы прошлого, как абсолютное неведение тысяч причин, нюансов, благодаря которым тот или иной человек, присутствовавший здесь и теперь, был вхож в этот салон по праву и находился на своем месте, тогда как другой, сосед его, был подозрительным нововведением. Это незнание затрагивало не только свет, но и политику и многое другое. Ибо людская память не так долга, как жизнь, и к тому же молодежь, не разбиравшаяся в этих причинах (их забыли еще отцы), вступая в общество — вполне легитимно, даже в благород-

ном смысле, — благодаря тому, что начала были забыты или остались неизвестны, воспринимала людей сообразно точке, где последние находились, их возвышению или падению, полагая, что так было всегда, что г-жа Сван, принцесса де Германт и Блок всегда занимали исключительное положение, что Клемансо и Вивьяни всегда были консерваторами. И поскольку некоторые события тянут за собой длинный след, они обладали, благодаря рассказам старших, смутными презрительными воспоминаниями о деле Дрейфуса, но скажи им только, что Клемансо был дрейфусаром[176], и они осадили бы: «Ну, что вы, вы путаете, он как раз-таки был в противоположном лагере». Продажные министры и бывшие публичные девки почитались чистейшими образцами добродетели. Спроси у юноши из знатной семьи, не говорили ли раньше чего о матери Жильберты, и молодой дворянин ответил бы, что действительно, когда-то в юности она вышла замуж за какого-то авантюриста Свана,

[176] Примечания: 176

…г-жа Сван… — кто, в настоящий момент, является г-жой Сван, установить не удалось. Жорж Клемансо (1841-1929) — премьер-министр Франции в 1906-1909 и 1917-1920. Рене Вивьяни (1863-1925) — министр труда с 1906 по 1910 и пред. правительства в 1914-1915. …Клемансо был дрейфусаром… В газете Клемансо Aurore был напечатан известный памфлет Золя.

но потом сочеталась-таки браком с одним из виднейших представителей общества, графом де Форшвиль. Наверное, у кого-нибудь еще в этом салоне, помимо меня, подобные утверждения вызвали бы смех (в отрицании блестящего положения Свана в свете я находил теперь что-то чудовищное, но ведь и сам я в Комбре, заодно с двоюродной бабушкой, считал, что Сван не может знаться с «принцессами»), — у герцогини де Германт, например, и еще у нескольких женщин, которые, по идее, могли бы здесь присутствовать, но теперь почти не выходили, — в частности, у герцогини де Монморанси, де Муши, де Саган, — ближайших друзей Свана, знать не знавших этого Форшвиля, нигде и не принятого, когда они еще не порвали со светом. Дело в том, что прежнее общество, — как лица, претерпевшие изменения к сегодняшнему дню, светлые волосы, подмененные седыми, — существовало только в памяти людей, число которых уменьшалось день ото дня.

Блок «не выходил в свет» во время войны, разорвав таким образом связи с былой своей средой обитания, — там он, впрочем, считался довольно жалкой фигурой. Зато, как и раньше, он печатал свои сочинения, и сквозь их софистический

абсурд, чтобы не запутаться, я теперь силился продраться; они были довольно тривиальны, однако производили впечатление редкой интеллектуальной высоты, и немало юношей и светских женщин называли их гениальными. Вот почему, полностью отказавшись от прежних друзей, в восстановившемся обществе, на новой фазе жизни он снискал почет и славу, и считался великим человеком. Естественно, юношам едва ли было известно, что его светские дебюты имели место только теперь, тем более, что несколько имен, уловленных им в беседах с Сен-Лу, благоприятствовали неопределенной временной глубине его авторитета. Во всяком случае, он казался одним из тех талантов, которые в любую эпоху расцветают в лучах большого света, существование которых в каком-либо другом месте представить себе просто невозможно.

Если представители новых поколений «в грош не ставили» герцогиню де Германт, потому что она зналась с актрисами и т. п., дамы, имевшие какое-либо отношение к ее семье (сегодня они были уже в почтенном возрасте), по-прежнему считали ее существом необычайным, — потому что, с одной стороны, им в точности было известно ее происхождение, ее геральдическое

первенство, ее близкие отношения с теми, кого г-жа де Форшвиль называла royalties, а с другой стороны потому, что общением с семьей она пренебрегала, ей было скучно с родственниками, и на нее никогда нельзя было рассчитывать. Ее театральные и политические связи, о которых, впрочем, знали немного, благоприятствовали разговорам о ее незаурядности и, стало быть, авторитету. Так что, если в политическом и артистическом бомонде ее принимали за «не бог весть что», своего рода расстригу Сен-Жерменского предместья, вращающуюся в среде заместителей министров и «звезд», в самом Сен-Жерменском предместье, если собирались устроить какую-нибудь исключительно изысканную вечеринку, говорили: «Стоит ли приглашать Ориану? Она не придет. Для формы разве, но не нужно питать иллюзий». И если к половине одиннадцатого, в блестящем платье, и, казалось, обдавая кузин холодным пренебрежением и завораживающим презрением, Ориана появлялась на пороге, если ее посещение длилось более часа, то прием дуэрьи считался «несомненно удавшимся», как в свое время театральный вечер, если Сара Бернар, неопределенно обещавшая содействие, на которое директор театра и не рассчитывал,

приходила-таки и с бесконечной скромностью и любезностью читала вместо обещанного отрывка двадцать других. Благодаря присутствию Ориаы, с которой главы кабинетов говорили свысока, и которая от этого не меньше (дух водительствует миром) тянулась к общению с ними, вечер дуэрьи, на котором присутствовали, однако, исключительно блестящие женщины, получал высочайшую оценку и не шел в сравнение со всеми другими вечерами великосветских дам того же season (как сказала бы опять-таки г-жа де Форшвиль), поскольку иных дам Ориана не удостоила своим посещением.

Как только беседа с принцем де Германт подошла к концу, Блок вцепился в меня и представил одной молодой особе, из изысканнейших дам той поры, уже наслышанной обо мне от герцогини де Германт. Тем не менее, ее имя мне ничего не говорило, — да и она, впрочем, не очень-то разбиралась в именах тех или иных Германтов, — прямо при мне она спросила у какой-то американки, на каком основании г-жа де Сен-Лу, как ей показалось, накоротке с самыми блистательными особами, присутствующими на вечере. Американка эта была замужем за графом де Фарси, дальним родственником Форшвилей,

которому эта семья казалась самым видным родом на свете. Потому она и ответила с легкостью: «Если оно и так, то только потому, что она урожденная Форшвиль. И сверх того — ничего существенного». По крайней мере, г-же де Фарси, наивно полагавшей, что род Сен-Лу уступает семье Форшвилей, еще было известно, кто этот Сен-Лу такой. Но очаровательной приятельнице Блока и герцогини де Германт это имя не говорило ничего, и поскольку она была довольно легкомысленной особой, девушке, спросившей ее, по какой линии г-жа де Сен-Лу приходится родственницей хозяину дома, принцу де Германт, она с чистым сердцем ответила: «По Форшвилям», — эти сведения последняя выдала, словно ей это было известно всегда, одной из своих подруг, которая, будучи нервна и вспыльчива, покраснела, как рак, когда какой-то юноша однажды сообщил ей, что отнюдь не по Форшвилям Жильберта связана с Германтами, — в итоге он и сам поверил, что ошибся, усвоил заблуждение и незамедлительно приступил к его распространению.

Ужины и светские приемы были для амери-

канки чем-то вроде Школы Берлица[177]. Она повторяла услышанные ею имена, даже не выяснив, что они собой представляют. Если кому-нибудь задавали вопрос, не от отца ли ее, г-на де Форшвиля, Жильберте перешел Тансонвиль, ему объясняли, что он заблуждается, что это фамильная земля ее мужа, что Тансонвиль находится неподалеку от Германта, принадлежал г-же де Марсант, но, будучи заложен, в качестве приданого был выкуплен Жильбертой. Затем, так как кто-то старый-престарый воскресил Свана — друга Саганов и Муши, американская подруга Блока спрашивала у него, где же это я со Сваном познакомился, и он объяснял ей, что я познакомился с ним у г-жи де Германт, и не подозревая о деревенском соседе, молодом друге моего дедушки, каким он в то время мне и предстал.

Подобные ошибки совершали и известные люди, но они считались тягчайшими во всяком консервативном обществе. Сен-Симон, чтобы показать, что Людовик XIV был невежествен, и из-за этого «несколько раз дошел, на публике, до самых

---

[177] Примечания: 177

Максимилиан Берлиц основал первую языковую школу в 1878 г. (международная корпорация Берлица существует до сих пор). Основа этого метода — изучение разговорного языка. Метод был необычайно популярен в высших слоях общества (удовольствие стоило недешево) в нач. 20 в.

непростительных нелепиц», приводит только два примера его неосведомленности, — именно, что король, не знавший, что Ренель принадлежал дому Клермон-Галлеранд, а Сент-Эрем[178] — дому Монморен, был крайне с ними необходителен. По крайней мере в том, что касается Сент-Эрема, мы можем утешиться: король не умер в заблуждении, он был разубежден «много позднее» г-ном де Ларошфуко. «Впрочем, — добавляет Сен-Симон безжалостно, — ему следовало бы объяснить, что это были за дома, имя которых ничего ему не говорило».

Это забвение, столь быстро, столь стремительно смыкающееся над самым недавним прошедшим, это всеохватное неведение, которое, словно рикошетом, свидетельствовало об ограниченной образованности публики, осведомленности, что тем более ценна, чем реже встречается, хоронило генеалогии, подлинное положение людей,

---

[178] Примечания: 178

«Мемуары», изд. Библиотеки Плеяды, т. v, стр. 478. Необходимо отметить, что сословные предрассудки Сен-Симона не играли той роли «связи времен», которая им здесь приписывается, «за всем этим для Сен-Симона стояли идеи аристократических прерогатив, политического достоинства, в его время достаточно уже, впрочем, иллюзорного» (Лидия Гинзбург). Маркиз де Ренель (1630-1677) на самом деле принадлежал семье Клермон д'Амбуаз. Сен-Симон пишет: «…де Клермон-Галлеранд или д'Амбуаз…», Saint-Simon, Memoires, т.2, стр. 161, М.1976. Сент-Эрем, маркиз де (ок. 1640-1701).

причину: любовь, деньги или еще что, из-за чего они пошли на тот или иной брак, мезальянс, — знание, ценимое во всех обществах, где царит консервативный дух, которым, применительно к комбрейской и парижской буржуазии, в высочайшей степени обладал мой дедушка, и которое Сен-Симон ценил до такой степени, что, чествуя незаурядный ум принца де Конти, прежде, чем говорить о науках, или, точнее, словно то было первой из наук, он хвалит его за «ум светлый, ясный, справедливый, точный, широкий, бесконечно начитанный, ничего не забывавший, знавший генеалогии, их химеры и их реальность; он выказывал учтивость сообразно чинам и заслугам, воздавал должное всем, кому принцы крови обязаны оказывать уважение, и чего они больше не делают; он сам даже высказывался о том, и касательно их узурпаций. А почерпнутое им из книг и разговоров позволяло ему вставить в беседе что-нибудь любезное о происхождении, положении и т. д.»[179] В чем-то подобном, касавшемся хотя и не столь блестящего общества,

[179] Примечания: 179

Saint-Simon, Memoires, т.1, стр. 259-260, М.1976. Франсуа-Луи де Бурбон, принц де Конти (1664-1709), был известен умом, нерасположением Людовика VIV, чуть было не стал польским королем. Между словами «ничего не забывавший» и «знавший генеалогии» Пруст выпустил большой кусок.

а всего лишь комбрейской и парижской буржуазии, мой дедушка разбирался с неменьшей точностью и смаковал с тем же гурманством. Эти гурманы, любители, осведомленные, что Жильберта не была «урожденной Форшвиль», что г-жа Камбремер не именовалась «Мезеглизской»[180], ни, в юности, «Валансской», теперь встречались реже. Большинство из них представляло, быть может, даже не самые изысканные слои аристократии (так, например, необязательно, что в Золотой легенде[181] или витражах XIII-го века лучше всех разбираются богомольцы и католики), зачастую — аристократию второго порядка, более падкую до того, чего она лишена, на изучение чего у нее тем больше досуга, чем меньше она с высшим светом якшается; они с радостью собирались, представляя друг другу своих знакомых, и, как Общество Библиофилов или Друзья Реймса, давали в своем кругу яркие ужины, на

[180] Примечания: 180

Легранден незаконно присвоил себе титул графа де Мезеглиза.

[181] Примечания: 181

«Золотая легенда» — бродячий средневековый текст, первоначальная версия была составлена Иаковом Ворагинским (Якопо из Варацце), епископом Генуэзским (ок. 1230-1298). Составлено из житий, описаний чудес и т. п., «из редакций житий выбирались не наиболее достоверные, но наиболее занимательные», пишет А. И. Кирпичников. Так же иногда называют жития. Этот род литературы интересует аристократию в качестве источника сведений о праотцах.

которых потчевали генеалогиями. Женщины не допускались, и по возвращении домой мужья рассказывали: «Я был на интересном ужине. Там присутствовал некий г-н де Ла Распельер, — о, это очень интересный человек: он рассказал нам, что г-жа де Сен-Лу, у которой прелестная дочка, оказывается, не урожденная Форшвиль. Это целый роман».

Приятельница герцогини де Германт и Блока блистала не только светскостью и красотой, но и умом; говорить с ней было занятием приятным, хотя и несколько затруднительным, потому что для меня новым было не только имя моей собеседницы, но и имена большего числа лиц, упоминаемых ею, — они-то теперь и составляли основу общества. С другой стороны, однако, так как ей хотелось услышать от меня рассказы о былом, имена многих из тех, о ком я ей поведал, абсолютно ничего ей не говорили, все они были погребены в забвении, по меньшей мере те, чей блеск объяснялся неповторимостью самой особы, носившей имя, а не ее связью с известной родовой аристократической фамилией (титулы она редко знала точно и принимала на веру путанные сведения об имени, услышанные ею краем уха за ужином накануне), — имен большинства

из них она даже никогда и не слышала, ибо ее светские дебюты (она была еще юна, недолго жила во Франции и в свете ее приняли не сразу) приходились на время, когда я уже несколько лет как отдалился от общества. Я не помню, в связи с чем я помянул г-жу Леруа, но так получилось, что моя собеседница уже слышала это имя из уст благосклонного к ней старого приятеля г-жи де Германт. Но слышала, опять же, краем уха, потому что юная снобка раздраженно ответила мне: «Знаю ли я, кто такая г-жа Леруа, старая подружка Бергота», — имелось в виду: «особа, которую я ни за что бы к себе не пригласила». Я тотчас понял, что старому другу г-жи де Германт, достойному светскому человеку, пропитанному германтским духом (согласно правилам коего аристократическое общество нельзя ставить превыше всего), слова вроде «г-жа Леруа, которую посещали все высочества и все герцогини» показались слишком плоскими и антигермантскими, и он решил сказать так: «Она была такая забавная, как-то раз она говорит Берготу…» Правда, для людей непосвященных сведения, полученные в беседах, равноценны тем, что простонародье извлекает из прессы, уверяясь попеременно,

милостью газеты, что Лубе[182] и Рейнах воры или великие граждане. Для моей собеседницы г-жа Леруа была чем-то вроде г-жи Вердюрен в ее первой ипостаси, не столь блестящей, правда: ее кланчик ограничивался одним Берготом. Впрочем, эта молодая дама одной из последних, да и то чисто случайно, слышала имя г-жи Леруа. Сегодня уже никто не знает, кто она такая, — что, однако, вполне закономерно. Ее имя не фигурирует даже в индексе Посмертных мемуаров г-жи де Вильпаризи, в душе которой г-жа Леруа занимала такое видное место. Маркиза не пишет о г-же Леруа, впрочем, не оттого, что при жизни последняя была с ней не слишком любезна, а оттого, что после смерти никто не смог бы ею заинтересоваться, и это молчание продиктовано не злопамятством светской женщины, но литературным тактом писателя. Мой разговор со светской приятельницей Блока был очень занятен, ибо она была умна, но разница в наших словарях его затрудняла — и в то же время сообщала ему нечто назидательное. Нам известно, что года идут, юность уступает место старости, самые прочные состояния и троны рушатся, что

[182] Примечания: 182
Эмиль Лубе (1838-1929) — президент Франции в 1899-1906.

слава преходит, — но эти сведения бесполезны, ибо наши методы познания и, так сказать, способы клишировки подвижного универса, вовлеченного во Время, это знание связывают. Поэтому люди, с которыми мы познакомились в молодости, навсегда остаются для нас молодыми, и мы ретроспективно украшаем старческим благообразием тех, кого узнали в преклонные лета, безоговорочно вверяемся кредиту миллиардера и поддержке влиятельного человека, — умозрительно представляя, но по существу не веря, что завтра они, лишенные власти, могут оказаться в бегах. В более ограниченной области, чисто светской, как на более простом примере, вводящем в более запутанные задачи, хотя и того же порядка, сумятица нашей беседы, объяснявшаяся тем, что мы были частицами того же общества, но с двадцатипятилетним промежутком, поражала меня историей, укрепляла ее чувство.

Следует все-таки отметить, что это незнание подлинных положений, которое за десяток лет проявило избранных в настоящем виде, будто прошлого не существовало, которое закрыло недавно прибывшей американке глаза на то, что г-н де Шарлю занимал блестящее положение в парижском свете, тогда как Блок в означенную

эпоху не имел ровным счетом никакого, что Сван, расстилавшийся перед г-жой Бонтан, был в большой чести, — это незнание было свойственно не только новичкам, но и тем, кто обращался в сопредельных обществах, и оно — как у тех, так и у других, — было еще одним действием (но в последнем случае приложимом к индивиду, а не к социальной прослойке) Времени. В конечном счете, сколько бы мы ни меняли среду и образ жизни, наша память, держась нити тождественности личности, привязывает к ней, в последующие эпохи, воспоминания о среде, в которой мы жили, даже сорок лет спустя. Блок, посещавший принца де Германт, по-прежнему сохранял совершенное знание своей убогой еврейской среды, в которой безвылазно варился с восемнадцати лет, и Сван, разлюбивший г-жу Сван из-за женщины, подававшей чай у того самого Коломбе, посещения которого одно время (как и чайной на улице Рояль) г-жа Сван почитала «шиком», прекрасно помнил о своем месте в свете, о Твикенгеме[183], и не питал иллюзий относительно причин, из-за которых он испытывал большее удовольствие

[183] Примечания: 183

Коломбе — кондитерская-кафе. Твикенгем — после изгнания — английская резиденция графа Парижского. Сван, как сообщается в первом томе, получал от него приглашения.

от посещений Коломбе, нежели от посещений приемов герцогини де Брогли, — он прекрасно знал, что, будь он в тысячу раз менее «шикарен», он не посетил бы Коломбе или Отель Риц разом больше: вход туда был доступен каждому за определенную плату. Наверное, друзьям Блока и Свана вспоминался также и узкий еврейский круг, приглашения в Твикенгем, и потому в их памяти отсутствовали разграничения между не очень-то разнящимися «я» Свана и Блока, сегодняшним элегантным Блоком и гнусноватым Блоком былого, Сваном последних дней в Коломбе и Сваном в Букингемском дворце. Но эти друзья были, в известной мере, соседями Свана по жизни; их существование шло по достаточно близкой линии, чтобы в памяти он мог присутствовать цельно; другие же, более далекие от Свана, не столь в социальном, сколь в плане близости отношений, хранили о нем более смутную память, ибо встречались с ним реже, и оттого, что сохранили не так уж много воспоминаний о нем, их познания не отличались той же устойчивостью. Эти чужаки спустя тридцать лет уже не помнили ничего определенного, они не помнили фактов, которые, меняя значимость человека, находящегося перед глазами, могли

обосновываться чем-то определенным в прошедшем. Впрочем, в последние годы жизни Свана я слышал, как светские люди, которым говорили о нем, переспрашивали, как если бы то было его общеизвестным званием: «Вы говорите о Сване из Коломбе?» Теперь я слышал, как люди, которые, однако, могли бы знать его и ближе, говорили о Блоке: «Блок-Германт? Дружок Германтов?» Эти заблуждения дробили одну жизнь, отделяя ее от настоящего, и делали обсуждаемого человека чем-то другим, сотворенным накануне, — человеком, являющимся конденсатом своих поздних привычек (тогда как он продолжает непрерывность жизни, увязанной на прошедшем), — и они тоже зависят от Времени, однако это феномен не столько социальный, сколько феномен памяти. Мне сразу же представился пример этого забвения, видоизменяющего облик людей, — правда, забвения несколько иного рода, но тем более поразительного. Юный племянник г-жи де Германт, маркиз де Вильмандуа, некогда был вызывающе дерзок со мной, и я, в отместку, стал вести себя по отношению к нему столь же оскорбительно; было ясно: мы стали врагами. Пока я, на этом утреннике у принцессы де Германт, раздумывал о Времени, он представился мне, сказал, что,

кажется, я знаком с его родней, что он читал мои статьи и ему очень хотелось бы завязать или возобновить знакомство. И правда, с возрастом он, оставив, как и многие, дерзость и высокомерие, стал посерьезнее, к тому же его близкие обо мне вспоминали, — хотя по поводу довольно посредственных статей. Но эти причины сердечности и радушия стояли на втором плане. Главным — или, по меньшей мере, позволившим задействовать остальное, — было то, что, либо обладая более слабой памятью, чем моя, либо в меньшей степени заостряя внимание на моих ответных ударах, следовавших за его выпадами (потому что тогда я не представлял для него того же значения, что он для меня), он совершенно забыл нашу неприязнь. Самое большее, мое имя напомнило ему, что, должно быть, со мной, или с кем-нибудь из моих родственников он встречался у одной из своих теток. Не будучи в точности уверен, знакомимся мы, или уже знакомы, он тотчас заговорил со мной о тетке, у которой, в чем он не сомневался, мы должны были пересекаться — вспоминая не о наших перебранках, но о том, что там часто обо мне говорили. Имя — вот и все, что зачастую оставляет по себе человек, даже если он еще не умер, еще при жизни. Наша

память о нем так смутна и своеобразна, и так мало схожа с той, которую он сохранил о нас, что мы забыли, как едва не оказались на дуэли, но говорим, что в детстве он носил чудные желтые гетры, — на Елисейских Полях, хотя, сколь бы мы его ни уверяли, что частенько играли вместе, этого ему не вспомнить.

Блок ввалился, подскакивая, как гиена. Я подумал: «Он вхож в салоны, куда двадцать лет назад путь ему был заказан». Но эти двадцать лет прошли и для него. Он стал ближе к смерти. Что они ему принесли? Вблизи, в полупрозрачности лица, где издали и при плохом освещении я видел лишь живую юность (то ли там протекало ее посмертное бытие, то ли я ее там воскрешал), проступала почти отталкивающая, тоскливая маска старого Шейлока, ждущего за кулисами выхода на сцену, уже в гриме, уже вполголоса прочитавшего первый стих. Еще десять лет, и в эти салоны, отмеченный их вялостью, он вползет на костылях, уже «мэтром», полагая, что доползти до Ла Тремуев ему уже не по силам. Что они ему принесут?

Тем больше эти изменения в обществе могли поставить мне важных истин, в какой-то мере способных сцементировать произведение, что

они не были, как я едва уже не решил, присущи только нашей эпохе. В то время, когда я сам только что вступил в большой свет и — я был тогда новичком в еще большей степени, чем сейчас Блок — в среду Германтов, я мог различить в ней некоторые элементы, хотя и составляющие интегрированную часть этого общества, но абсолютно от него отличные, совсем недавно в него допущенные, отдававшие необычайной новизной для «старейших», хотя тогда я их и не отличал от прочих; впрочем, в свое время эти «старейшие» и сами (они, или их отцы, или их деды), хотя герцоги уже считали их неотъемлемой частью Предместья, были выскочками. Одним словом, не столько качества великосветской публики способствовали блеску этого общества, сколь более или менее полное усвоение средой, творившей из этих людей (пятьдесят лет спустя они все будут на одно лицо) великосветскую публику. Даже в далеком прошлом, к которому я относил имя Германтов, чтобы не потерять ни единой крупицы его величия, — не без основания, надо полагать, ибо при Людовике XIV едва ли не царственные Германты занимали более значительное положение, чем сегодня, — происходили те же процессы, что и отмеченные мною сегодня. В частности,

Германты породнились тогда с семьей Кольберов, которая сегодня кажется нам благороднейшей, поскольку какая-либо Кольбер для какого-нибудь Ларошфуко — замечательная партия. Но Германты породнились с ними не оттого, что Кольберы (тогда — простые буржуа) были благородны; именно потому, что Германты с ними породнились, Кольберы благородными и стали. Если имя д'Осонвиля угаснет с сегодняшними представителями этого дома, быть может, к нему перейдет известность имени г-жи де Сталь, тогда как до Революции г-н д'Осонвиль, один из первых вельмож государства, кичился перед г-ном де Брогли тем, что знать не знает отца г-жи де Сталь и способен его представить не более, чем г-н де Брогли сам, — и не подозревая, что их сыновья когда-нибудь женятся — один на дочке, второй на внучке автора Коринны. Из слов г-жи де Германт мне стало ясно, что я мог занять в свете высокое положение нетитулованного лица, и обо мне думали бы, что я всегда принадлежал аристократическому обществу, — как думали когда-то о Сване, а до него — о г-не Лебрене, г-не Ампере[184], всех этих друзьях герцогини де Брогли, которая

[184] Примечания: 184

Пьер-Антуан Лебрен (1785-1873), поэт. Жан-Жак Ампер (1800-1864) — историк и писатель, сын физика.

сама поначалу не была допущена в большой свет. Как, должно быть, шокировал я первыми вечерами, проведенными мною у г-жи де Германт, людей вроде г-на де Босерфея, — даже не столько своим присутствием, сколько замечаниями, свидетельствовавшими, что воспоминания, составлявшие его прошлое и определявшие облик его представлений об обществе, были абсолютно мне чужды! Когда-нибудь Блок станет так стар, что, располагая необычайно давними воспоминаниями о салоне Германтов, каким он предстал в этот момент его глазам, испытает то же удивление и раздражение из-за чьего-то вторжения и невежества. С другой стороны, он приобретет особый такт, особую выдержку, которые казались мне исключительной прерогативой людей вроде г-на де Норпуа, — ибо особенности эти воссоздаются и воплощаются во всех, кому они, как мы думали, недоступны. Впрочем, представившийся мне случай попасть в общество Германтов я до сих пор нахожу исключительным. Но если бы я отвлекся от своей персоны и непосредственно окружавшей меня среды, то увидел бы, что этот социальный феномен не столь единичен, как казалось мне поначалу, что из комбрейской котловины, откуда я вышел, били довольно

многочисленные струи воды, симметрично поднимавшиеся вверх. Конечно, в обстоятельствах всегда есть что-то особенное, а в характерах неповторимое, и совершенно отличным образом в эту среду (благодаря неожиданной женитьбе племянника) проник Легранден, равно дочь Одетты, сам Сван, а затем и я. Я провел жизнь замкнуто и смотрел на нее изнутри, и не думал, что жизнь Леграндена хоть в чем-то сходна с моей, что она идет теми же дорогами — так в глубокой лощине река ничего не знает о другой, текущей параллельно, хотя, тем не менее, несмотря на большое расстояние между их руслами, они стремятся к тому же потоку. Но с высоты птичьего полета — как статистикам, не принимающим в расчет эмоциональные причины и неосторожные шаги, приведшие того или иного к смерти, и подсчитывающим только общее число людей, умерших за год, — виделось множество людей, вышедших из этой среды, которую я описал в начале моего повествования, видны были и пути, которыми они достигли другого, совершенно отличного общества, и может статься, что (подобно тому, как в Париже за год совершается среднее число браков) какая-нибудь другая буржуазная образованная и состоятельная прослойка смогла поставить

приблизительно равное число людей вроде Свана, Леграндена, меня и Блока, впавших в океан «большого света». Впрочем, они были узнаваемы, ибо если юный граф де Камбремер и изумлял свет своей разборчивостью, утонченностью, своим сумрачным изяществом, то я различал в этих качествах — в его прекрасном взгляде и горячем желании занять видное положение — то, что уже проглядывало в его дяде Леграндене, старом, сугубо буржуазном, хотя и на аристократический манер, приятеле моих родителей.

Доброта, естественное созревание, в итоге засахарившее и более кислотные натуры, вроде Блока, встречаются столь же часто, как чувство справедливости, благодаря которому, если наше дело право, мы боимся предубежденного судьи не больше, чем беспристрастного друга. Внуки Блока будут добры и сдержанны с пеленок. Блок сейчас, быть может, таким еще не был. Но я заметил, что если раньше он часто притворялся, будто обязан совершить двухчасовое железнодорожное путешествие, чтобы с кем-либо повидаться (хотя этот человек не очень нуждался во встрече с ним), то теперь, когда Блока приглашали все — не только на завтрак или ужин, но и погостить недели на две или три, — большинству он отка-

зывал, особо о том уже не распространяясь, не бахвалясь, что его пригласили, что он отказал. Сдержанность на слова и поступки пришла к нему вместе с социальным положением, силой своего рода социального взросления, если можно так выразиться. Конечно, раньше Блок был неискренен, недоброжелателен, и едва ли можно было безоговорочно на него положиться. Но те или иные качества, те или иные недостатки не столько присущи самому по себе индивиду, сколько тому или иному временному отрезку, рассматриваемому с социальной точки зрения. Индивидам же эти качества почти чужды, люди передвигаются в их лучах как под разными солнцестояниями, — предсуществующими, всеобщими, неминуемыми. И когда медик пытается понять, усиливает ли, сокращает ли иной препарат кислотность желудка, активизирует ли, умеряет ли он его секреции, то он рассматривает гастрический сок, полученный уже после введения лекарства в желудок, а не до того.

Одним словом, имя Германтов на протяжении всей своей жизни, если рассматривать его как ансамбль имен, им и его окружением включенных, претерпевало постоянные потери, но и набирало новые элементы, подобно тем садам, где цветы с

едва набухшим бутоном, готовясь заступить место тех, что уже отцвели, сливаются с цветущей массой, — и не скажешь, что она изменилась, если ты не видел новых побегов и хранишь в памяти чистый образ тех, которых больше нет.

И многие из присутствовавших на этом утреннике, воскрешенные моим воспоминанием, явились мне в череде обликов, в самых разнообразных обстоятельствах, выступая среди одних, затем других, проявляя тем самым различные стороны моей жизни, ее перспективные отличия, — так пригорок, холм или замок, выглядывающий то справа, то слева, и, как кажется поначалу, возвышающийся над лесом, затем — выступающий из лощины, указывает путнику, что изменилось направление и высота дороги, по которой он идет. Взбираясь все выше и выше, я в конце концов обнаружил, что лики одного человека отделены такими долгими временными промежутками, сбережены столь разными «я» (и эти «я» тоже имели разное значение), что я уже привычно упускал их из рассмотрения, когда, как мне казалось, охватывал мыслью развитие моих отношений с ними, я даже не думал больше, что они были теми же моими знакомыми, и мне нужна была случайная вспышка внимания,

чтобы восстановить связь, как в этимологии, с их первичным значением. М-ль Сван поверх изгороди и розового куста бросила на меня взгляд, и его смысл, хотя и ретроспективно, я должен был исправить, ибо он выражал желание. Любовник г-жи Сван, согласно комбрейской хронике, смотрел на меня поверх той же изгороди тяжелым взором, в котором тоже не было приписанного мною смысла; всякий раз, когда на протяжении последующих десяти лет мне случалось о нем — впрочем, так изменившемся с тех пор, что в Бальбеке я совершенно не узнал его в господине, рассматривавшем афишу подле казино, — вспоминать, я думал: «Но неужели это был г-н де Шарлю, как это любопытно!» Г-жа де Германт на свадьбе у доктора Перспье, г-жа Сван в розовом у моего двоюродного дедушки, г-жа де Камбремер, сестра Леграндена, занимавшая такое видное положение в обществе, что он испугался, как бы мы не попросили у него рекомендательного письма, этих образов, — как и относящихся к Свану, Сен-Лу и т. д., — было так много, что меня забавляло, когда я натыкался на них, восстанавливал, выстраивать их, словно титул на книге о моих отношениях с ними; но это был только образ, его заронили не эти люди, и никакой связи

здесь не было.

Дело не только в том, что одни помнят, а другие нет (даже если не принимать во внимание то постоянство забвения, в котором проживают жены турецких послов и т. п.), что и позволяет людям всегда — былая ли весть рассеивается за неделю, или следующая наделена даром изгонять ее — найти в душе место для чего-то противоположного тому, что им прежде говорили, но и, в том случае, если память работает одинаково, два человека помнят не одно и то же. Первый может не уделить внимания факту, который истерзает второго, однако уловит на лету, как симпатичное и характерное проявление, фразу, брошенную бездумно. Желание не допустить ошибки, когда высказываешь ложное предсказание, сокращает длительность воспоминания об этом пророчестве и очень быстро позволяет утверждать, что его не было. Наконец, стремление более глубокое и не такое эгоистичное так сильно варьирует воспоминания, что поэт, забывший почти все, что помнят другие, удерживает в памяти мимолетное впечатление. Из-за этого-то и получается, что по прошествии двадцати лет нашего отсутствия вместо ожидаемых ссор мы встречаем неосознанные, непроизвольные извинения, и наоборот

— ненависть, причину которой (потому что, в свою очередь, забываешь плохое впечатление, которое некогда произвел) объяснить невозможно. Даже в истории жизни самых близких людей, и в той забываешь даты. И потому, что прошло по меньшей мере двадцать лет с тех пор, как она впервые увидела Блока, г-жа де Германт была уверена, что он вышел из того же круга, что и она, и не иначе как сама герцогиня де Шартр карапузом баюкала его на коленях, и было ему тогда два года.

Сколько раз эти люди являлись мне на протяжении своей жизни, и казалось, что обстоятельства высвечивали те же самые существа, но в разных обличьях, всякий раз для иной цели, и оттого, что точки моей жизни, через которые проходило бытие каждого из этих персонажей, отличались, нити, изначально друг от друга далекие, переплелись, словно у жизни было только ограниченное число шелковинок для создания разнообразнейших узоров. Что общего, к слову, в различных моих прошедших, между посещениями дяди Адольфа, племянником г-жи де Вильпаризи, кузины маршала, встречами с Легранденом и сестрой его, бывшим жилетником, дворовым другом Франсуазы? А сегодня эти нити сплелись,

чтобы войти в уток, здесь — в брак Сен-Лу, там — молодую чету Камбремеров, не говоря уже о Мореле и множестве других персон, которые совместно создали такую обстановку, что мне чудилось, будто именно она была законченным целым, а персонаж — не больше, чем ее составной частью. Моя жизнь была достаточно длинна, чтобы в иных краях памяти я для каждого встречного смог подобрать иное, чем-то дополняющее его существо. Даже к Эльстиру, который предстал мне здесь увенчанным славой, я мог приложить самые давние воспоминания Вердюренов, Котаров, разговор в ривбельском ресторане, прием, на котором я познакомился с Альбертиной, — и многие другие. Так коллекционер, увидев створку алтаря, вспоминает, в какой церкви, в каких музеях, частных коллекциях находятся другие (и, следуя аукционным каталогам, общаясь с антикварами, он находит в конце концов предмет, сходный с его створкой, составляющий с ней пару); он может восстановить в уме пределлу, а то и полностью алтарь. Когда бадью поднимают лебедкой, при каждом подъеме веревка треплется с другой стороны, и в моей жизни не было ни одного человека, ни одной вещи, что поочередно не сыграли бы отличных ролей. Я увидел, стоило

мне по прошествии нескольких лет воскресить в памяти заурядные светские знакомства и даже предметы вещественного мира, что жизнь безостановочно ткала вокруг них различные нити, в конце концов обившие их неподражаемым и прекрасным бархатом лет, подобным изумрудному футляру, обволакивающему трубопровод в старых парках.

Но не только внешний вид этих людей наводил меня на мысль о персонажах сновидения. И для них самих жизнь, уже дремавшая в юности и любви, все больше и больше становилась сном. Они забывали свои ссоры, свою ненависть, и чтобы не усомниться, что именно с этим человеком они не разговаривают последний десяток лет, им пришлось бы обратиться к какому-нибудь реестру, — но он был бы столь же смутен, как сон, в котором нас кто-то оскорбляет, но уже неясно, кто. Эти видения приводили к контрастным явлениям в политической жизни, и в составе одного правительства могли оказаться люди, ранее обвинявшие друг друга в убийстве и предательстве. Сон становился непрогляден, как смерть, когда старцы предавались любовным утехам. После таких дней президента Республики уже нельзя было просить ни о чем, он забывал все. Затем,

если ему позволяли отдохнуть недельку, воспоминание об общественных делах возвращалось к нему, — нечаянное, как греза о мечте.

Некоторые, столь отличные от тех, кого я знал прежде, являлись мне не в одном обличье. На протяжении многих лет Бергот представлялся мне спокойным божественным старцем, я столбенел, словно перед привидением, при виде серой шляпы Свана, фиолетового манто его жены; волшебство родового имени окружало герцогиню де Германт даже в салоне; почти басенные начала, — очаровательная мифология отношений, ставших затем столь обыденными, — но они тянули в прошлое, как в чистое небо, свое сверкание, словно сияющий хвост кометы. Даже те, что не начались с волшебства, как мои отношения с г-жой де Сувре, сухие и чисто светские сегодня, сохранили первую улыбку своего начала, более теплую и спокойную, широким мазком вписанную в красочность вечернего морского побережья, весеннего заката в Париже и шума экипажей, — поднятую пыль, солнце, взбаламученное, как вода. И, быть может, немного г-жа де Сувре и стоила, если убрать ее из этой рамки, —

как сооружения (Салюте[185], например), которые сами по себе ничего особенного не представляют, однако служат украшением места, где их выстроили, — но она входила в комплект воспоминаний, и я оценивал их «оптом», не спрашивая себя, какой точно процент принадлежит самой особе г-жи де Сувре.

Сильнее, чем перемены физические и социальные, меня удивляла перемена представлений людей друг о друге. Когда-то Легранден презирал Блока, он ни за что не сказал бы ему и слова. Теперь он был чрезвычайно любезен с ним. И вовсе не оттого, что теперь Блок занимал более значительное положение, — тогда это не заслуживало бы упоминания, ибо социальный перемещения поневоле приводят к сопутствующим изменениям в отношениях между претерпевшими. Дело в том, что в нашей памяти люди не являют собой какой-то статичной картины. По мере забвения они эволюционируют. Иной раз мы их в конце концов путаем с другими: «Блок — это тот, кто приезжал в Комбре», — но, говоря о Блоке, хотели сказать обо мне. Обратно тому, г-жа Сазра пребы-

[185] Примечания: 185

Имеется в виду упомянутая уже Псевдо-Гонкуром венецианская Santa Maria della Salute Балтасара Лонгены, построенная в 1632 году в благодарение за избавление от чумы.

вала в уверенности, что я написал историческое исследование о Филиппе II[186] (принадлежавшее перу Блока). Не доходя до подобных перестановок, мы забываем о чьих-либо пакостях, недостатках, последнюю встречу, когда мы не пожали друг другу руки, — но зато вспоминается предпоследняя, когда нам было весело вместе. Либо поведение Леграндена соответствовало, в его приветливости к Блоку, этой предпоследней, либо он уже утратил память о каких-то отрезках прошлого, либо считал, что оно и само утратило силу, но смесь прощения, забвения и безразличия — это тоже следствие Времени. Впрочем, даже в любви наша память не едина. Чудным образом Альбертина вспоминала ту или иную фразу, сказанную мной во время наших первых свиданий, но мною совершенно забытую. О чем-то другом, запавшем в мою душу навечно, как камень, у нее не осталось и тени воспоминания. Наши параллельные жизни походят на те аллеи, где местами симметрично расставлены цветочные вазы, но не строго одна против другой. Если мы были знакомы с этими людьми не то чтобы очень хорошо, то мы с трудом вспомним, что они

[186] Примечания: 186

Филипп II (1527-1598) — король Испании с 1556 из габсбургской династии.

собой представляют, либо мы вспомним что-то другое, относящееся к более давним временам, то, что мы о них когда-то думали, что было внушено другими людьми, в среде которых мы их отыскали, причем последние были знакомы с ними недавно, и наше воспоминание украшено достоинствами и положением, которыми первые не обладали, — однако забывчивый принимает все это на веру без тени сомнения.

Конечно, жизнь, на протяжении которой наши пути часто пересекались, являла мне этих людей в особых обстоятельствах, они окружали их с разных сторон и ограничивали видимость, мешая мне познать сущность. Те же самые Германты, предмет моих мечтаний, стоило к ним приблизиться, явились — одна в обличье старой бабушкиной подруги, второй — господина, смотревшего на меня, как мне показалось, столь нелюбезно в полдень в саду у казино. (Ибо между нами и людьми остается кайма случайностей, подобная той, что, как я понял во времена моих комбрейских чтений, мешает восприятию целокупно сосредоточиться на реальности и духе). Так что только задним числом, когда я называл их таким-то именем, это знакомство становилось для меня знакомством с Германтами. Но, навер-

ное, от этого в моей жизни было больше поэзии, ведь волшебная порода с пронзительными глазами, птичьим клювом, розовый, золоченый, недосягаемый род, так часто и так просто, силой игры различных слепых обстоятельств, была предоставлена моему созерцанию, они не только общались со мной, но и были мне близки, и когда мне нужно было познакомиться с м-ль де Стермарья или заказать платья Альбертине, я обращался, как к самым услужливым из моих друзей, к Германтам. Конечно, мне было скучно общаться и с ними, и с другими светскими людьми, с которыми я познакомился позже. Это относится и к герцогине де Германт (а также к некоторым страницам Бергота), ибо ее очарование ощущалось мною только на расстоянии и рассеивалось, стоило очутиться подле нее; оно жило в памяти и воображении. Но в конце концов, вопреки всему, Германты, да и Жильберта, отличались от других светских людей, их корни глубже проницали мое прошлое, время, когда я больше мечтал, когда я верил в неповторимые личности. И печальное достояние, болтовня с той и другой, в моих детских мечтах представлялось чем-то самым прекрасным и недостижимым, и я утешался, смешивая — как торговец, запутав-

шийся в счетах — стоимость обладания с ценой, в которую возводило их мое желание.

Что до остальных, былые мои отношения с ними раздувались более жгучими, более безнадежными мечтами, в которых так буйно цвела моя тогдашняя жизнь, безраздельно посвященная им, что я с трудом понимал, отчего же их осуществление стало убогой, узкой и тусклой лентой безразличной и невзрачной близости, где же их волшебство, пылание, нежность.

«Так что же стало с маркизой д'Арпажон?» — спросила г-жа де Камбремер. — «Как? она умерла», — ответил Блок. — «Вы перепутали ее с умершей в прошлом году графиней д'Арпажон». В дискуссию вмешалась принцесса д'Агригент, молодая вдова старого, чрезвычайно богатого мужа, носителя известной фамилии — частенько искали ее руки, и оттого она была уверена: «Маркиза д'Арпажон тоже умерла — где-то год назад». — «Ну, год, а я говорю вам, что нет, — ответила г-жа де Камбремер, — я была у нее на концерте, а с того дня года-то уж никак не прошло». Блок, не более, чем один из «жиголо» света, не мог принять полезного участия в дискуссии, ибо все эти мертвые пожилые особы были слишком от него далеки — либо из-за огромной разницы в годах, либо из-за

недавнего появления (Блока в частности) в новом обществе, достигнутом окольными путями к закату, в сумерках, где воспоминание о неведомом прошедшем не могло ничего прояснить. Но для людей того же возраста и той же среды смерть потеряла исключительное значение. Впрочем, что ни день, появлялись слухи о таком количестве людей «при смерти», из которых одни выздоровели, остальные «скончались», что уже не помнилось в точности, поправилась ли такая-то, которую уже не случалось видеть, от своей грудной лихорадки[187], или усопла. В этих возрастных регионах смерть размножается и теряет свою определенность. Здесь, на стыке двух поколений и двух обществ, которые, в силу различных причин, не расположены рассматривать смерть саму по себе, она разве что не смешивается с жизнью, она обмирщается, становится происшествием, более или менее характеризующим ту или иную особу, и по тону, каким об этом говорится, невозможно догадаться, что с этим происшествием для человека все кончено. Говорят: «Вы забыли, что такой-то умер», как сказали бы: «Его наградили», «он теперь академик», или — и это больше всего

[187] Примечания: 187
То есть пневмонии.

подходит, поскольку мешает упомянутому участвовать в празднествах, как раньше: «он проведет зиму на юге», «ему прописали горы». Что касается людей известных, то, что они, умерев, по себе оставили, еще помогало вспомнить, что их существование подошло к концу. Но разобраться с обыкновенными пожилыми светскими людьми, мертвы они или еще нет, было затруднительно не столько из-за неизвестности, забвения их прошлого, сколько оттого, что они никоим образом не примыкали к грядущему. И это затруднение, испытываемое каждым при сортировке между болезнями, отсутствием, отъездом в деревню и смертью пожилых членов общества, оправдывало безразличие колеблющихся и увековечивало незначимость покойных.

«Но если она все-таки не умерла, то почему же ее больше нигде не видно, да и мужа ее?» — спросила одна старая дева, любившая сострить. — «Да говорю же я тебе, — ответила ее мать, которая, несмотря на свой шестой десяток, не пропускала ни одного празднества, — потому что они стары: в этом возрасте больше не выходят». Казалось, перед кладбищем есть целое поселение стариков с лампадками, всегда зажженными в тумане. Г-жа де Сент-Эверт положила дебатам конец,

рассказав, что графиня д'Арпажон умерла где-то год назад после долгой болезни, а потом маркиза д'Арпажон тоже умерла, причем очень быстро, «без каких-то особых симптомов», — смерть, сходная со всеми этими жизнями, объяснившая тот факт, что прошла незамеченной, извиняя всех сбитых с толку. Услышав, что г-жа д'Арпажон действительно умерла, старая дева бросила на мать встревоженный взгляд, так как боялась, что известие о смерти одной из ровесниц «потрясет мать»; она уже предвосхищала следующее объяснение ее кончины: «Ее буквально потрясла смерть г-жи д'Арпажон». Но напротив, самой матери старой девы всякий раз, когда какая-либо особа ее возраста «исчезала», казалось, что она одержала победу в состязании с видными конкурентами. Старая дева отметила, что мать, без какой-либо досады сообщившая, что г-жа д'Арпажон заключена в жилища, откуда редко выходят усталые старики, еще меньше огорчилась, узнав, что маркиза вошла в селение неподалеку, откуда уже нельзя выйти. Безразличие матери позабавило едкий ум старой девы. Чтобы повеселить друзей, она придумала уморительную историю о том, с каким весельем, как она утверждала, ее мать произнесла, потирая руки: «Боже мой, и дей-

ствительно эта бедная г-жа д'Арпажон умерла». Даже тем, кому не нужна была ее смерть, чтобы насладиться собственной жизнью, она доставила удовольствие. Ибо каждая смерть упрощает нашу жизнь, избавляет от необходимости выказывать признательность, наносить визиты. Вовсе не так смерть г-на Вердюрена была воспринята Эльстиром.

Одной даме было пора, она спешила с другими визитами, на чаепитие с двумя королевами. Это была известная великосветская кокотка, с которой я некогда дружил, принцесса де Нассау. Если бы ее рост не уменьшился, в силу чего она (потому что теперь голова была намного ниже, чем некогда), словно бы, как говорится, одной ногой стояла в могиле, никто бы и не сказал, что она постарела. Она так и осталась Марией Антуанеттой с австрийским носом[188] и нежным взглядом — законсервированной, набальзамированной тысячью восхитительно соединенных притирок, и лицо ее лиловело. По нему блуждало смущенное и мягкое выражение, ибо она обязана была уйти, и нежно обещать вернуться, и улизнуть украдкой, — все это объяснялось сонмом

[188] Примечания: 188

Мария Антуанетта Австрийская (1755-1793) — королева Франции, жена Людовика XVI, казнена по решению революционного суда.

высоких особ, ее ждущих. Рожденная разве что не на ступеньках трона, замужняя три раза, долго и роскошно содержанная значительными банкирами, не считая тысячи фантазий, в которых она себе не отказала, она легко несла под платьем, сиреневым, как ее восхитительные круглые глаза и накрашенное лицо, несколько спутанные воспоминания об этом не поддающемся счету прошедшем. Убегая по-английски, она прошла рядом со мной, и я ей поклонился. Она меня узнала, пожала руку и приковала ко мне круглые сиреневые зрачки, словно говоря: «Как долго мы не виделись! Мы поговорим об этом в следующий раз». Она с силой сжала мне руку, не помня уже в точности, не произошло ли между нами чего, вечером, когда она отвозила меня домой от герцогини де Германт, в экипаже. На всякий случай, она намекнула на то, чего не было, что было не так сложно, поскольку она придала ласковое выражение земляничному пирогу, и, ведь она была обязана уйти до окончания концерта, отчаянно изобразила тоску разлуки, — впрочем, не окончательной. Так как относительно приключения со мной полной уверенности у нее не было, ее тайное рукопожатие не замешкалось и она не сказала мне ни слова. Она разве задержала на мне,

как я уже говорил, взгляд, обозначавший «Как давно!» — в котором читались ее мужья, те, что ее содержали, две войны, — и звездообразные ее очи, подобные астрономическим часам, высеченным в опале, последовательно отмечали все эти торжественные дни былого, столь далекого, что, как только она хотела сказать вам «здравствуйте», это всегда оказывалось «извините». Затем, оставив меня, она засеменила к дверям, чтобы кого-нибудь не обеспокоить, чтобы показать, что если она со мной и не поболтала, то только потому, что спешит, чтобы возместить минуту, ушедшую на рукопожатие, чтобы поспеть как раз вовремя к королеве Испании, с которой у нее чаепитие тет-а-тет, — когда она дошла до дверей, мне даже показалось, что сейчас она поскачет. Но на самом деле она спешила в могилу.

Крупная женщина поздоровалась со мной, и на протяжении этих секунд самые разные мысли вошли в мой ум. Мгновение я колебался, из боязни, что, узнавая людей не лучше, чем я, она меня с кем-то спутала, но затем ее уверенность заставила меня, — поскольку я боялся, что это особа мне очень близкая, — сделать улыбку любезной поелику возможно, покамест мои взгляды продолжали искать в ее чертах имя, что я никак

не мог найти. Как соискатель степени бакалавра, уставившись в лицо экзаменатора, тщетно пытается найти там ответ, который следовало бы поискать в собственной памяти, так, все еще улыбаясь ей, я приковал взоры к чертам лица крупной дамы. Мне показалось, что это были черты г-жи Сван, и моя улыбка оттенилась почтительностью, тогда как нерешительность пошла на убыль. Секундой позже, я услышал, как большая женщина сказала: «Вы приняли меня за мать, действительно, я теперь стала очень на нее похожа». И я узнал Жильберту. Мы порядком поговорили о Робере, Жильберта вспоминала о нем с уважением, — как об исключительном человеке, которым, как она хотела показать мне, она восхищалась, которого понимала. Мы напомнили друг другу, как часто его идеи о военном искусстве (иногда он повторял ей в Тансонвиле те же постулаты, которые излагал мне в Донсьере и позднее), да и по другим вопросам, подтвердились в последней войне.

«Просто удивительно, насколько самые простые его замечания, донсьерской еще поры, поражали меня во время войны, да и занимают теперь. Последние его слова, когда мы расставались, как выяснилось — навсегда, были о том,

что он ожидает от Гинденбурга, как от генерала наполеоновского склада, проведения одной из наполеоновских баталий — разделения двух противников; может быть, добавил он, нас с англичанами. Но не прошло и года после смерти Робера, как глубоко почитаемый им критик, который, вероятно, серьезно повлиял на его военные идеи, г-н Анри Биду, написал о наступлении Гинденбурга в марте 1918-го[189], что оно является «баталией разделения двух противников, состоящих в союзе, сосредоточенными силами неприятеля, — маневр, который удался у Императора в 1796-м на Апеннинах, но не вышел в 1815-м в Бельгии». А незадолго до того Робер сравнивал баталии с такими пьесами, где не всегда легко узнать, чего же хотел автор, где автор сам по ходу написания меняет план. Впрочем, по поводу этого немецкого наступления в 1918-м, Робер, наверное, не согласился бы с таким толкованием г-на Биду. Другие критики полагают, что продвижение Гинденбурга в амьенском направлении,

[189] Примечания: 189

…наступление Гинденбурга в марте 1918-го… — Эту статью Биду Робер, когда до его смерти оставалось несколько дней, цитировал в 1916. В результате наступления на Западном фронте немецкой армии удалось достичь серьезных успехов, однако из-за того, что наступление не было развито в одном направлении, союзники так и не были разделены, и это наступление Германии, отброшенной к октябрю на исходные позиции, в конечном счете, привело к ее поражению.

затем вынужденная остановка, продвижение во Фландрию, затем еще одна остановка, сделали Амьен, а затем и Булонь «случайными целями», заранее Гинденбургом не намечавшимися[190]. Но если каждый может переделать пьесу в своем вкусе, то есть и те, кому в этом наступлении видится начало молниеносного броска к Парижу, тогда как другим — беспорядочные мощные удары, чтобы разбить английскую армию. И даже если распоряжения, отданные командиром, не подходят под ту или иную концепцию, критики всегда могут повторить Муне-Сюлли, который сыграл Мизантропа[191] как пьесу печальную и драматическую, а на слова Коклена, мол Мольер, по свидетельству современников, давал ей комическую интерпретацию, ответил: «Ну, значит, Мольер заблуждался».»

«А об авиации, — помните, что он говорил (как он, кстати, замечательно выражался): „Нужно, чтобы каждая армия была Аргусом с сотней глаз“?

---

[190] Примечания: 190

На Аппенинах в 1796-м, 12 апреля, Наполеон разделил и разбил австрийскую и сардинскую армии. …в 1815-м в Бельгии, — у Ватерлоо, 18 июня; два противника — англо-голландские и прусские войска. …не намечал — мнение других критиков в настоящее время не оспаривается.

[191] Примечания: 191

Жан Муне-Сюлли (1841-1916), французский актер. Бенуа Констан Коклен (1841-1909), актер и теоретик. «Мизантроп» (1666) — пьеса Мольера.

Увы! ему не довелось увидеть подтверждения своих слов». — «Вы заблуждаетесь, — ответил я, — битва на Сомме, — и он об этом прекрасно знал, — началась с ослепления противника: ему выкололи глаза, уничтожив его самолеты и аэростаты». — «Действительно!». С тех пор, как в ее жизни остались только духовные цели, Жильберта стала несколько педантичной, и посему добавила: «Он настаивал также, чтобы мы вернулись к старым средствам. Знаете ли вы, что месопотамские походы в эту войну (она, должно быть, читала об этом в свое время в статьях Бришо) практически без изменений повторили отход Ксенофонта? Чтобы переправиться из Тигра в Евфрат, английское командование использовало беллоны, длинные и узкие лодки, гондолы тех мест, — а на них, кстати, плавали еще древние халдеи». Эти слова навели меня на мысль, что в отдельных местах можно наблюдать своего рода застой прошлого, — оно, будто из-за особого тяготения, пребывает неопределенное время недвижимым, без изменений. Но, быть может, благодаря тем страницам, которые я прочел в Бальбеке, когда Робер был со мной рядом, больше всего меня впечатлило — как если бы я нашел во французской деревне ров, описанный у г-жи

де Севинье, — что на Востоке, во время осады Кут-Эль-Амары («Кут-эмир, как мы говорим Во-ле-Виконт и Байо-л'Евек», — как сказал бы комбрейский кюре, если бы в своей этимологической жажде добрался до восточных языков), подле Багдада всплыло имя Басры, столько раз упоминавшейся в Тысяче и одной Ночи, куда так часто попадает, при отправке из Багдада или при возвращении в него, чтобы сесть на корабль или сойти с корабля, — задолго до генерала Таунсенда и генерала Горринджера[192], во времена халифов, — Синдбад-Мореход.

«Он уже подмечал в войне, — сказал я ей, — что-то человеческое, что война живет, как любовь и ненависть, что ее теперь можно рассказывать, как роман, и, стало быть, если кто-то возьмет-

---

[192] Примечания: 192

…битва на Сомме — первая битва на Сомме (01.07-13.11.1916), чрезвычайно кровопролитная, тщательно продуманная с той и другой стороны, не дала ощутимых результатов ни немцам, ни союзникам. …месопотамские походы — британские военные действия 1914-1917 гг., в целом довольно неудачные, против турок в районе Персидского залива. Ксенофонт (431-ок. 350), древнегреческий историк и писатель. В его «Анабазисе» рассказывается об отступлении десяти тысяч греков-наемников после смерти Кира-младшего, из Персии (отступлением руководил Ксенофонт) к Черному морю, а оттуда в Грецию. …г-жа де Севинье, маркиза де (1626-1696); ее «Письма» неоднократно упоминаются в предыдущих томах. Ров фигурирует в письме от 27 апреля 1689: «В четверти лье отсюда лагерь цезаря: еще сохранились рвы». Кут-Эль-Амара, поселение, оно же Эль-Кут, в Ираке; осада Кут-Эль-Амары началась 8 декабря 1915 года, осаждены были англичане и индийцы, осаждали турки. 29 апреля 1916 турецкая армия взяла в плен

десять тысяч солдат. Во-ле-Виконт и Байо-л'Евек: первое — усадьба, неподалеку от Мелена в Иль-де-Франс, второе — нормандское село; «евек» значит епископ, «виконт» означает виконта. Басра — около современной Басры действительно находятся развалины той Басры, что упоминается в любимом первым лицом сочинении. Генерал Таунсенд — на деле Тауншенд Чарльз (1861-1924), вместе с генералом Горринджером руководивший теми самыми английскими войсками, которые были осаждены в Эль-Куте.

ся утверждать, что стратегия — это наука, то в войне он разобраться не сможет, потому что отныне война не стратегична. Врагу не более известны наши планы, чем нам — намерения нашей возлюбленной, и эти планы, быть может, непонятны и для нас самих. Собирались ли немцы, когда они наступали в марте 1918-го, брать Амьен? Мы об этом ничего не знаем. Может быть, они того не знали и сами, и сам по себе ход событий, например, их продвижение на запад к Амьену, определял замысел. Предположив, что война научна, еще следовало бы изобразить ее, как Эльстир рисует море, — но в другом смысле, исходя из иллюзий, постепенно исправляемых верований, как Достоевский рассказывает о жизни. Впрочем, теперь война, по-видимому, относится к ведению не столько стратегии, сколько медицины, включая непредвиденные обстоятельства, которых надеется избежать клиницист, вроде русской революции».

В этом разговоре Жильберта упоминала о Робере с почтением, которое, как мне казалось, в большей степени относилось к моему старому товарищу, нежели к ее почившему супругу. Словно бы она говорила этим: «Я знаю, как вы им восхищались. Я сумела понять этого замечательного

человека, не сомневайтесь». И, однако, любовь, которой она уже определенно не испытывала к своему воспоминанию, определила, быть может, некоторые особенности ее сегодняшней жизни. Жильберта теперь не разлучалась с Андре. Хотя последняя, в первую очередь благодаря таланту супруга, а также собственному уму, проникла — конечно, не в среду Германтов, но в общество куда более изысканное, нежели те круги, в которых она вращалась доселе, — удивительно было, с чего это маркиза де Сен-Лу решилась стать лучшей ее товаркой. Дело, наверное, означало склонность Жильберты к тому, что она считала артистической жизнью, и к некоторому социальному вырождению. Это объяснение вполне вероятно. Однако мне на ум пришло нечто другое, — я всегда понимал, что образы, которые мы видим вкупе, являются, как правило, лишь частичным отражением, отголоском первого, довольно отличного соединения, хотя и симметричного последующим, но крайне от них удаленного. Мне пришло на ум, что если ежевечерне Андре, ее мужа и Жильберту видели вместе, то, может быть, потому, что несколько ранее будущий супруг Андре жил с Рашелью, затем оставил ее ради Андре. Вероятно, Жильберта

тогда, находясь в своем слишком далеком и высоком обществе, ничего об этом не знала. Но она должна была узнать об этом позднее, когда Андре достаточно поднялась, а сама она опустилась, чтобы они друг друга заметили. Тогда, должно быть, ее и впечатлил авторитет женщины, ради которой Рашель была брошена человеком, наверное, обольстительным, раз она, Рашель, предпочла его Роберу.

Так что, быть может, Андре напоминала Жильберте о девическом романе, о любви к Роберу, и Жильберта не могла не уважать Андре, в которую с завидным постоянством был влюблен мужчина, любимый этой Рашелью, а последнюю — Жильберта это знала, — Сен-Лу любил намного сильнее, чем ее. А может быть напротив, подобные воспоминания не сыграли никакой роли в предрасположенности Жильберты к этой артистической чете, и следовало усматривать в этом, как то часто бывает, несоотносимые наклонности светских женщин — и просветиться, и опуститься. Жильберта, скорее всего, забыла Робера, как я Альбертину, и если даже ей и было известно, что писатель оставил Рашель ради Андре, то она никогда об этом не вспоминала при встречах с ними, это никоим образом не повлияло на ее

пристрастие. Только свидетельство заинтересованных лиц могло бы подтвердить, было ли мое первое предположение не только возможным, но и истинным, — единственное средство, которое в подобных случаях остается, если бы в их словах обнаружилась бы и проницательность, и искренность. Но первое встречается там редко, а второе никогда. В любом случае, встреча с Рашелью, теперь — знаменитой актрисой, не могла доставить особого удовольствия Жильберте. Так что я огорчился, узнав, что она будет читать стихи на этом утреннике, — обещали Воспоминание Мюссе и басни Лафонтена.

Слышалось, как принцесса де Германт повторяет с некоторой экзальтацией и полязгиванием своих вставных челюстей: «Да это же наш кланчик! наш клан! Как я люблю эту юность, такую умную, такую деятельную, ах! как вы мужикальны!» И она воткнула крупный монокль в круглый глаз, слегка улыбающийся, слегка извиняющийся, что не может сохранить живость надолго, но таки решилась вторить «деятельности», «быть в кланчике» до конца.

«Но что тянет вас на эти людные сборища? — спросила Жильберта. — Вот уж не думала, что встречу вас на этой живодерне. Само собой, я

рассчитывала встретить вас где угодно, но не на одном из гульбищ моей тетки — раз уж тетка в наличии», — добавила она с лукавинкой, ибо, будучи г-жой де Сен-Лу несколько дольше, чем г-жа Вердюрен — принцессой де Германт, она почитала себя «одной из Германтов» с рождения и была неприятно поражена мезальянсом дяди, женившегося на г-же Вердюрен, — этот брак к тому же тысячу раз был осмеян при ней в семье; само собой, лишь за спиной Жильберты говорилось о мезальянсе, совершенном Сен-Лу при женитьбе на ней. Она испытывала, впрочем, тем больше презрения к этой поддельной тетке, что, в силу той извращенности, из-за которой интеллигентная публика избегает обиходных манер, а также из потребности пожилых людей в воспоминаниях, ну и, наконец, в попытке растянуть свое новое светское положение на прошедшее, принцесса де Германт любила говорить о Жильберте: «Скажу вам прямо: это для меня не новые знакомства, я так и вовсе дружила с матерью этой милашки; знайте же, это была большая подруга моей кузины Марсант. Именно у меня она познакомилась с отцом Жильберты. Что до бедного Сен-Лу, то я уже давно знала всю его семью: его дядя когда-то был моим верным в Распельер». — «Видите, Вер-

дюрены — это не совсем богема, — говорили мне люди, наслушавшиеся подобных речей принцессы де Германт, — они всегда были друзьями семьи г-жи де Сен-Лу». Может быть, один я знал, благодаря дедушке, что Вердюрены и правда не были богемой. Однако, они «не были богемой» вовсе не оттого, что дружили с Одеттой. Рассказы о прошлом, ни для кого уже не известном, приукрашиваются с той же легкостью, как повествования о странах, куда никто никогда не ездил. «В конце концов, — заключила Жильберта, — раз уж вы иногда сходите со своего столпа, не лучше ли вам посещать мои скромные вечеринки в узком кругу, — туда я пригласила бы симпатичных и умных людей? Такие столпотворения, как здесь, все-таки вам противопоказаны. Я видела, что вы болтали с моей теткой Орианой. У нее, конечно, много достоинств, но мы не ошибемся, — не правда ли? — если скажем, что до мыслящей элиты ей далеко».

Я не мог рассказать Жильберте о мыслях, посетивших меня за прошедший час, однако я подумал, что в плане развлечений она могла бы мне кое в чем посодействовать, — хотя я знал, что литературная болтовня с герцогиней де Германт развлекла бы меня не больше, чем подобные

беседы с г-жой де Сен-Лу. Конечно, с завтрашнего дня я собирался возобновить, и на этот раз не так бесцельно, жизнь в одиночестве. В часы работы я запретил бы и посещать меня, ибо долг по отношению к произведению возобладал во мне над обязанностью быть вежливым и даже приветливым. Наверное, мои друзья проявят настойчивость, потому что не виделись со мной очень долго; а теперь, встретившись со мной, они решат, что я выздоровел; когда дневные житейские заботы кончатся или прервутся, они потянутся ко мне, как и я когда-то влекся к Сен-Лу, потому что — как я об этом догадался уже в Комбре, когда я намеревался было, не отчитываясь родителям, следовать самым похвальным намерениям, и именно в этот момент на меня сыпались упреки, — внутренние людские циферблаты не совпадают на том же часе. На одном бьет час отдыха, на другом час работы, у судьи — час наказания, а час раскаяния и глубокого перерождения виновного прозвонил уже давно. Но у меня хватило бы смелости ответить всем, кто придет ко мне или позовет меня, что по поводу существенных дел, в которых незамедлительно надо разобраться, у меня неотложная, архиважная встреча с самим собой. Хотя и мало связи

между нашим подлинным «я» и тем вторым, но из-за их омонимичности и общего тела самоотречение, заставляющее нас приносить в жертву нехитрые обязанности и даже удовольствия, кажется другим эгоизмом.

И все-таки, не для того ли я буду жить вдали, чтобы заняться ими, сетовавшими, что не видятся со мною, чтобы заняться ими основательней (что не получится в их обществе), чтобы попытаться раскрыть, осуществить их? Какую пользу принесла бы многолетняя трата вечеров, если бы я издавал в ответ на эхо их едва выдохнутых слов столь же тщетное звучание моих, ради бесплодного удовольствия светской беседы, исключающей всякое вдохновение? Не лучше ли будет, если я попытаюсь описать кривую их жестов, слов, их жизни, характера, выведу их функцию? К несчастью, мне, по-видимому, придется бороться с привычкой ставить себя на место других людей, которая, хотя и благоприятствует разработке произведения, тормозит его исполнение. Мы из излишней вежливости жертвуем друзьям не только своими удовольствиями, но и долгом, и наш долг, — даже если он заключается для того, кто не смог бы принести никакой пользы фронту, в том, чтобы оставаться в тылу, где он как раз

полезен, — стоит нам поставить себя на чужое место, против действительности представляется нашим удовольствием. В отличие от довольно большого числа великих мужей, в жизни без дружбы и болтовни я не находил ничего трагического, я ясно понимал, что экзальтация в товарищеских отношениях — это ложная дверь, ведущая к личной дружбе (не ведущей ни к чему) и отвращающая нас от истины, к которой эта возбужденность могла бы привести. Но затем, когда понадобится передышка, отдохновение и общество, я на крайний случай, наверное, подобно известной лошади, питающейся исключительно розами, прописал бы своему воображению не столько интеллектуальные разговоры, которые в свете считают полезными для писателей, сколько, как отборную пищу, легкие увлечения юными девушками в цвету. Внезапно мне по новой захотелось именно того, о чем я страстно мечтал в Бальбеке, когда, еще не знакомый ни с кем из них, я увидел, как морской кромкой шествуют Альбертина, Андре и их подружки. Но увы! у меня уже не получится встретиться с теми, кого ныне я так сильно вожделел. Действие лет, изменившее встреченных мною сегодня, да и саму Жильберту, конечно же сотворило бы и

из уцелевших, — в том числе Альбертины, если бы она не погибла, — женщин, довольно сильно отличных от тех, которые жили в моем воспоминании. Встреча с ними не принесла бы мне ничего, кроме мучения, ибо время, изменяющее людей, оставляет в целости их нетронутый образ. Нет ничего печальней, чем это несогласие между порчей и незыблемостью воспоминания, когда мы понимаем, что девушка, которая так свежа в нашей памяти, уже не будет такою в жизни, что мы не можем приблизиться во внешнем мире к той, которая во внутреннем по-прежнему прекрасна, к той, которая возбуждает наше, вопреки всему — сокровенное желание снова повидаться с нею, и нам приходится искать ее в существе приблизительно тех же лет, то есть в другом существе. Я уже не раз догадывался, что неповторимым в женщине, которую мы вожделеем, представляется именно то, что на самом деле не принадлежит ей. Но истекшее время еще сильнее уверило меня в этом предположении, поскольку спустя двадцать лет я инстинктивно намеревался искать встреч не с теми девушками, которых знал, но с теми, которые были юны теперь, как те — тогда. (Впрочем, это не только пробуждение наших плотских желаний, не сообщающихся

с какой-либо реальностью, поскольку оно не принимает в расчет истекшее время. Я когда-то терзался желанием, чтобы, каким-то чудом, ко мне вошли живые — вопреки тому, что мне было известно, — бабушка, Альбертина. Я верил, что увижу их, мое сердце устремлялось к ним. Я, правда, забыл, что если бы они действительно были живы, Альбертина теперь смотрелась бы как г-жа Котар в Бальбеке, что я не увидел бы больше красивого, спокойного, улыбающегося лица бабушки, — ей бы уже перевалило за девяносто пять, — с которым я представлял ее и теперь, с тем же самоуправством, с каким Богу Отцу навесили бороду, а в XVII-м веке обрядили гомеровских героев в дворянские одеяния, и не помышляя об их древности).

Я посмотрел на Жильберту и у меня не возникло желания снова ее увидеть, однако я сказал, что она доставила бы мне огромное удовольствие, пригласив меня вместе с очень юными девушками, — среднего достатка, если это возможно, чтобы у меня была возможность радовать их скромными подарками, — ничего, впрочем, не требуя от них взамен, кроме возрождения во мне былых мечтаний, былой грусти, может быть, — в какой-нибудь невозможный день, — целомудрен-

ного поцелуя. Жильберта улыбнулась и серьезно о чем-то задумалась.

Эльстир любил венецианскую красоту, воплотившуюся в его жене, и воссоздавал ее в своих полотнах, — и я извинял себя, что из некоего эстетический эгоизма меня влечет к прекрасным женщинам, которые причинят мне боль, что во мне живет какое-то идолопоклонство перед будущими Жильбертами, будущими герцогинями де Германт, будущими Альбертинами, с которыми я могу еще встретиться, и которые, казалось мне, вдохновят меня, как скульптора, прогуливающегося среди прекрасных античных статуй. Мне бы стоило однако вспомнить, что каждой из них предшествовало облекающее чувство тайны, и было бы проще — вместо того, чтобы просить Жильберту познакомить меня с юными девушками, — отправиться в те места, где ничто не может связать нас с ними, где между ними и тобой встает что-то непреодолимое, где, в двух шагах, на пляже, пока идешь к воде, ты чувствуешь, что отделен от них невозможностью. Только так это чувство тайны могло последовательно накладываться на Жильберту, герцогиню де Германт, Альбертину и многих других. Конечно, неизвестное и недосягаемое

становится знакомым, близким, безразличным или мучительным, — но при этом в нем что-то сохраняется от былого очарования. И как на календарях, которые почтальон, чтобы получить деньги[193], приносит нам на новый год, не было ни одного года, на фронтисписе которого, или затерявшись во днях, не хранился бы образ женщины, которую я тогда вожделел; образ подчас тем более произвольный, что, бывало, я никогда ее не видел, — как, в частности, камеристку г-жи Пютбю, м-ль д'Орженвиль, ту или иную девушку, имя которой встретилось мне в газетной светской хронике среди роя очаровательных вальсорок. Я угадывал ее красоту, я влюблялся в нее, лепил ее идеальное тело, возносящееся своей высотой над провинциальным пейзажем, где, как я узнал из Ежегодника Поместий, находятся угодья ее семьи. Что до женщин, мне знакомых, эти пейзажи были по меньшей мере двойными. Каждая из них восставала в разных точках жизни, возвышаясь, как покровительствующее местное божество, поначалу среди одного из этих вымышленных пейзажей, наслоение которых разграфляло мою жизнь, в который я, мечтая о ней, ее вписывал;

---

[193] Примечания: 193

...получить деньги — форма оплаты почтовых услуг.

затем следовал вид со стороны памяти, окруженной местами, где я впервые ее увидел, которые она напоминала мне, оставаясь привязанной к ним; ибо если наша жизнь — это кочевье, наша память оседла, и сколь бы мы ни стремились сбежать, наши воспоминания, прикованные к покинутым уже нами местам, все еще ведут там свою домоседную жизнь, подобно мимолетным друзьям путешественника, появившимся у него в каком-нибудь городе, которых ему придется покинуть, когда он уедет оттуда, ибо именно там для них, никогда не покидающих этот город, кончится жизненный путь, — словно он еще там, у подножия церкви, перед гаванью и под деревьями бульвара. Так что тень Жильберты падала не только на паперть церкви в Иль-де-Франс, где я представлял ее, но и на аллею парка неподалеку от Мезеглиза; тень г-жи де Германт на влажную тропку, где поднимались в рогозах фиолетовые и красноватые кисти, или на утреннее золото парижского тротуара. И эта вторая особа, порожденная не желанием, но памятью, не была, для каждой из этих женщин, неповторима. Ибо на каждую я смотрел с разных сторон, в разные времена, когда они становились для меня иными, и сам я менялся, овеваемый мечтаниями

другого цвета. Но закон, управлявший мечтами каждого года, собирал вокруг них воспоминания о женщине, которую я знал тогда, и все относящееся, например, к герцогине де Германт времен моего детства, силой притяжения было сгущено вокруг Комбре, а все относящееся к герцогине де Германт, пригласившей меня на обед, вокруг совершенно отличного чувства; много было герцогинь де Германт, как, начиная с дамы в розовом, много было мадам Сван, разделенных бесцветным эфиром лет, и у меня не получалось перескочить с одной из них — к другой, потому что для этого потребовалось бы покинуть одну планету и переправиться на другую, через эфир. Не только разделенные, но и отличные друг от друга, украшенные мечтаниями разных лет, как особой флорой, немыслимой на другой планете; до такой степени отличной, что решив уже, что я не пойду обедать ни к г-же де Форшвиль, ни к г-же де Германт, я не мог и вообразить себе (если бы я подобное представил, то оказался бы в другом мире), — хотя некто осведомленный во мне утверждал об этом с авторитетом ученого, говорившего, что млечный путь возник от дробления одной звезды, — что первая не отличалась от г-жи де Германт, ведущей свое происхождение

от Женевьевы Брабантской, а вторая от дамы в розовом. Так и Жильберта, у которой я просил, не отдавая себе в том отчета, позволения дружить с девушками, такими, какой некогда была и она, стала для меня только г-жой де Сен-Лу. Я не помышлял больше, глядя на нее, о значении, которое сыграло в моей любви (оно было забыто и ею) восхищение Берготом, снова ставшим для меня всего-навсего автором своих книжек, даже не памятуя (кроме редких и случайных воспоминаниях) о смятении, испытанном мною, когда я был ему представлен, разочаровании, изумлении от особенностей его речи, — в гостиной с белыми обшивками, уставленной фиалками, куда так рано приносили множество ламп, чтобы уставить ими несколько столиков. В действительности воспоминания, составившие первую м-ль Сван, были отрезаны от Жильберты теперешней, — овеваемые ароматом боярышника, они были удержаны вдали силами тяготения другой вселенной: фразы Бергота, с которой у них было единое тело. Сегодняшняя отрывочная Жильберта выслушала мою просьбу с улыбкой. Затем она погрузилась в серьезные размышления — к моей глубокой радости, потому что это помешало ей заметить группу людей, встреча с которыми едва

ли ей доставила большое удовольствие. Это была герцогиня де Германт, воодушевленная беседой с жуткой старухой, — я разглядывал ее и никак не мог понять, кем она была: она не напоминала мне никого. Герцогиня де Германт, тетка Жильберты, болтала в этот момент с Рашелью, знаменитой теперь актрисой, — та собиралась прочесть на этом утреннике стихи Виктора Гюго и Лафонтена. Герцогиня уже очень давно удостоверилась, что ее положение в парижском обществе — блестяще (не понимая, что вещи такого порядка, как «блестящее положение», существуют только в душах тех, кто признает их таковыми, что большинство новых лиц, никогда о ней ничего не слышавших и не встречавших ее имя в отчетах о каких-либо замечательных вечеринках, полагают, что на самом деле она не занимает никакого положения), сколь можно реже, с большими промежутками, превозмогая скуку, посещала Сен-Жерменское предместье, осточертевшее ей, как она выражалась, *до смерти*, но зато позволяла себе причуды, например, обед с той или иной актрисой, которую она считала «восхитительной». В новой ее среде, так и не изменившись, хотя сама она думала иначе, она по-прежнему находила, что «слегка скучать» свидетельствует об интеллек-

туальном превосходстве, но это выражалось ею с какой-то грубостью, не без хрипотцы в голосе. Стоило мне заговорить о Бришо, как она ответила: «Он меня извел за эти двадцать лет», а когда г-жа де Камбремер сказала: «Перечитайте, что Шопенгауэр пишет о музыке», она отметила эту фразу, хмыкнув: «Перечитайте — это шедевр! Ну, это, пожалуй, будет тяжело». Старый д'Альбон улыбнулся, признав проявление духа Германтов. Жильберта, как женщина более современная, осталась бесстрастна. Хотя она и приходилась Свану дочерью, но, как утка, высиженная курицей, она была романтичней, и потому ответила: «Я нахожу, что это славно; в этом есть трогательное чувство».

Я рассказал г-же де Германт о своей встрече с бароном де Шарлю. В ее глазах он «опустился» еще ниже; дело объясняется тем, что в свете различают не только умственные способности тех или иных представителей общества, у которых они, впрочем, практически не отличаются, но и ум отдельного человека в различные периоды его жизни. Затем она добавила: «Он всегда был портретом моей свекрови; но теперь это сходство просто поразительно». И в этом нет ничего удивительного. Иногда сыновья воссоздают черты

своих матерей с величайшей точностью, и единственная погрешность заключена, так сказать, в половой принадлежности. Ошибка, о которой не скажешь: felix culpa, ибо пол скажется и на личности, а женственная утонченность обернется в мужчине жеманством, сдержанной обидчивостью и т. д. Неважно, на лице ли, будь оно бородато, на щеках ли, даже рдеющих под бакенбардами, но определенные черты, совпадающие с материнским портретом, найдутся. Изыщется ли такой старый Шарлю, такая развалина, в которой мы не обнаружим, изумляясь, под слоями жира и рисовой пудры, осколки прекрасной женщины, ее вечной юности?..

В эту минуту вошел Морель, и герцогиня была с ним так любезна, что я несколько смутился. «Я не участвую в семейных ссорах, — заметила она. — Вы не находите, что семейные ссоры — это скучно?»

Если за двадцатилетний отрезок конгломераты кланов разрушались и преобразовывались сообразно притяжению новых светил, — также, впрочем, обреченных на гибель, чтобы затем явиться вновь, — то кристаллизации, а затем дробления, следовавшие новым кристаллизациям, происходили и в душе людей. Для меня

г-жа де Германт была многолика, а для г-жи де Германт, г-жи Сван и т. д. тот или иной человек был любимцем во времена, предшествующие делу Дрейфуса, а затем фанатиком или слабоумным с началом Дела, которое произвело в них переоценку личностей и по-иному распределило партии, — затем заново разрушавшиеся и воссоздавшиеся. Этому весьма способствует, определяя чисто интеллектуальное сходство, ход времени: мы забываем антипатии, ненависть и даже причины, которыми объясняются наши антипатии и нелюбовь. Если рассмотреть по этим углом положение юной г-жи де Камбремер, то мы обнаружим, что она была дочкой торговца из нашего дома, Жюпьена, и если что-то сюда и прибавилось, чтобы она стала блистательной светской дамой, то только тот факт, что ее отец поставлял мужчин г-ну де Шарлю[194]. Однако в сочетании все это произвело ошеломительный эффект, и далекие причины не только остались неведомы большинству новоявившихся фигур, но и более того — они были забыты и теми, кто знал их, последние вспоминали не о былом стыде, но о сегодняшнем блеске, ибо мы воспринимаем

[194] Примечания: 194

…мужчин г-ну де Шарлю — Обычно упоминается, что она была племянницей Жюпьена, к описываемому времени она давно уже мертва.

слова в их современном значении. Трансформация салонов интересовала меня как еще одно следствие хода времени и феномен памяти.

Герцогиня еще колебалась между Бальти и Мистенгет[195], как бы не закатил ей г-н де Германт сцену, и, хотя она считала их актрисами неподражаемыми, решительно сдружилась с Рашелью. Новые поколения из этого заключили, что герцогиня де Германт, несмотря на свое имя, была, должно быть, чем-то вроде кокотки и никогда к «сливкам» отношения не имела. И правда, г-жа де Германт еще утруждала себя обедами с суверенами, чья близость с нею обсуждалась двумя другими знатными дамами. Но, с одной стороны, они приезжали редко, с другой — знались с людьми низкого звания, а герцогиня, из германтского пристрастия к соблюдению архаического протокола (ибо люди достаточно образованные «докучали» ей и, вместе с тем, сама она ценила образованность), указывала, чтобы в приглашениях писали: «Ее Величество предписали герцогине де Германт, соблаговолили и т. д.» Как же низко пала г-жа де Германт, заключали новые слои общества, незнакомые с этими формулами.

---

[195] Примечания: 195

Бальти и Мистенгет — Луиза (1869-1925) и Жанна (1875-1956), актрисы, певицы.

С точки зрения г-жи де Германт, близость ее с Рашелью означала, что все мы заблуждались, когда в ее осуждении светскости находили лишь лицемерие и ложь, снобизм — не признавая, что это во имя духовной жизни, — в ее отказе посещать г-жу де Сент-Эверт, которую она называла тупицей только за то, что маркиза была снобкой напоказ, хотя ничего этим не добилась. Однако помимо того ее близость с Рашелью означала, что и правда — умом герцогиня не блистала, что на склоне лет она не была удовлетворена и, устав от света, испытывала потребность во всевозможной деятельности, из-за тотального неведения подлинных интеллектуальных ценностей и по причине игривости воображения; это проявляется иногда у знатных дам, говорящих: «Как это будет мило», и заканчивающих вечер просто убийственно: в шутку задумав разбудить кого-нибудь, они в итоге не знают, о чем говорить, и, постояв недолго подле кровати в вечернем манто, удостоверившись, что слишком поздно, в конце концов идут спать.

Нужно отметить, что антипатия, которую переменчивая герцогиня с недавнего времени испытывала к Жильберте, могла внушить ей дополнительное удовольствие от встреч с Раше-

лью, — помимо того, это позволяло ей повторить одну из максим Германтов: «нас слишком много, чтобы принимать чью-либо сторону» (а то и вообще — «носить траур»); свобода от «мне нельзя» была усилена политикой, которую пришлось усвоить в отношении г-на де Шарлю, ибо, приняв его сторону, можно было рассориться со всеми.

Если Рашели и стоило больших трудов сойтись с герцогиней де Германт (эти усилия герцогиня не распознала под напускным презрением и намеренной неучтивостью, — почему она, собственно, увлеклась и уверилась, что чего-чего, а снобизма в актрисе нет), то в целом это можно объяснить влечением, которое с определенного момента испытывают светские люди к заматерелой богеме, параллельным тому, которое сама богема испытывает к свету — двойная волна, в политической области соответствующая взаимному любопытству и желанию заключить союз между сражающимися народами. Но желание Рашели могло объяснятся и более личными причинами. В доме г-жи де Германт, от г-жи де Германт она получила когда-то одно из самых сильных оскорблений в своей жизни. Рашель не забыла его исподволь, не простила, но несравненный авторитет, приобретенный в ее глазах

герцогиней, уже не мог изгладиться. Однако беседа, от который мне хотелось отвлечь внимание Жильберты, была прервана; хозяйке дома понадобилась актриса, ей пора было приступить к чтению, и вскоре, оставив герцогиню, актриса показалась на эстраде.

В это время на другом конце Парижа разыгрывался несколько отличный спектакль. Как я уже говорил, Берма пригласила своих завсегдатаев на чаепитие в честь дочери и зятя[196]. Приглашенные не торопились. Узнав, что Рашель читает стихи у принцессы де Германт (это сильно возмутило великую актрису — для нее Рашель так и осталась потаскушкой, допущенной к участию в спектаклях, где сама она, Берма, играла первые роли, — и только потому, что Сен-Лу оплачивал театральные костюмы; еще сильнее ее раздосадовала обежавшая Париж новость, будто приглашения были от имени принцессы де Германт, но на деле их раздавала Рашель), Берма еще раз настойчиво предписала своим друзьям посетить ее полдник, поскольку знала, что они дружат и с принцессой де Германт, известной им

[196] Примечания: 196

В тексте: в честь сына и невестки. Далее они упоминаются только как дочь и зять.

еще под именем г-жи Вердюрен. Однако время шло, а никто к Берма не жаловал. Блок, у которого спросили, придет ли он, простодушно ответил: «Нет, я уж лучше пойду к принцессе де Германт». Увы! нечто подобное решил про себя каждый. Берма, страдавшая неизлечимой болезнью, из-за которой она уже почти ни с кем не виделась, чувствовала, что ее состояние ухудшилось, но, чтобы удовлетворить чрезмерные потребности дочери (болезненный и ленивый зять был на то не способен), снова вышла на сцену. Она знала, что этим сокращает свою жизни, но очень хотела порадовать дочку гонораром, да и зятя, которого она ненавидела и которому угождала. Зная, что дочь его обожает, она боялась его рассердить, чтобы он, по злобе, не лишил Берма встреч с дочерью. Дочь Берма, втайне любимая врачом, лечащим мужа, позволила себя убедить, что эти представления Федры не представляют большой угрозы для здоровья ее матери. На самом деле, она-то и вынудила врача сказать эти слова, только их и удержав в памяти и забыв о предостережениях; да и на деле врач говорил, что не видит большого вреда в спектаклях. Он сказал так, потому что чувствовал, что доставит этим удовольствие любимой женщине, может быть, от

невежества, потому что он знал, что болезнь Берма все равно неизлечима, — ибо мы охотно идем на сокращение мучений больного, когда средства нам на руку; также, может быть, от глупой мысли, что доставит этим удовольствие Берма и, следовательно, принесет ей благо; глупой мысли, в истинности которой он удостоверился, когда (ему предоставили ложу детей Берма и он дернул от своих больных) увидел, как переполняет ее жизнь на сцене — дома же она казалась мертвой. Дело в том, что зачастую привычки позволяют не только нам самим, но и нашим органам, перенести существование, на первый взгляд невозможное. Все мы видели сердечника, ветерана манежа, вытворяющего сложные номера, хотя никто не поверил бы, что больной орган еще может их вынести. Берма не меньше привыкла к сцене, ее органы прекрасно приспособились к ней, и она смогла создать, усердствуя с незаметной для публики осторожностью, видимость отменного здоровья, расстроенного чисто нервной и даже мнимой болезнью. И хотя после сцены объяснения с Ипполитом Берма почувствовала, что ей предстоит жуткая ночь, поклонники аплодировали изо всех сил, провозглашая, что сегодня она была как никогда прекрасна. Она

вернулась с дикими болями, но была счастлива, что принесла дочке голубые билеты, которые, из шалости состарившейся дочери актеров, она по привычке спрятала в чулках — чтобы гордо достать их оттуда, и получить улыбку, поцелуй. К несчастью, на эти деньги зять и дочка приобрели новые украшения для своего дома, смежного с особняком матери, и беспрерывные удары молотка не дали забыться сном, в котором так нуждалась великая трагическая актриса. Согласно велениям моды, и чтобы угодить вкусу г-на де X и де Y, которых они надеялись принимать у себя, перестраивалась каждая комната. Берма знала, что только сон успокоит ее боль, и чувствовала, что он ускользнул от нее; она смирилась с тем, что уже не заснет, но в глубине души затаила презрение к этим изыскам, предвещавшим смерть и превратившим в пытку ее последние дни. Может быть, от этого она презирала их, — естественная месть тому, кто причиняет нам страдание, кому мы бессильны противостоять. Но еще и потому, что, чувствуя свой гений и с самых юных лет усвоив безразличие к велениям моды, сама она осталась верна Традиции и всегда почитала ее, и уже стала ее воплощением, судя о вещах и людях по меркам тридцатилетней давности; в частно-

сти, Рашель для нее была не модной актрисой, которой она предстала теперь, а обычной шлюшкой, какой Берма знала ее давно. Впрочем, Берма была не лучше дочери, и именно от нее дочь заимствовала — по наследству, от заразительности примера, который от более чем естественного восхищения был еще действенней, — эгоизм, безжалостную язвительность и неосознанную жестокость. Но эти качества приносились ею в жертву дочери, и потому Берма от всего этого была свободна. Впрочем, даже если бы дочь Берма и не была непрестанно занята рабочими, то она все равно изводила бы мать, ибо притягательные, жестокие и легкие силы юности утомляют старость и болезнь, для которых изнурительно само стремление подражать им. Вечеринки устраивались постоянно; считалось, что Берма проявит эгоизм, если лишит дочь этих приемов, и если сама Берма не будет присутствовать, когда рассчитывали (с таким трудом заманив недавних знакомых, — их приходилось всячески улещать) на обаяние знаменитой матери. Этим знакомым любезно «обещали» ее присутствие на одном празднестве вне дома. Бедной матери, основательно задействованной в своем тет-а-тете со смертью, водворившейся в ее душе, пришлось

встать пораньше. А затем, поскольку примерно в то же время Режан[197], во всем блеске своего таланта, выступила за границей и встретила ошеломительный успех, зять счел, что Берма должна выйти из тени, и, чтобы на семью снизошло то же изобилие славы, отправил ее в турне; Берма пришлось колоть морфином, что могло привести к смерти из-за состояния ее почек. Те же чары света, социального престижа, чары жизни, в этот день словно насосом, силой пневматической машины, вытянули и увели на празднество у принцессы де Германт даже вернейших завсегдатаев Берма, — у нее же, напротив, воцарились абсолютная пустота и смерть. Пришел только один юноша — он не был уверен с определенностью, что по блеску прием Берма уступит утреннику принцессы. Когда Берма поняла, что время прошло, что все ее оставили, она приказала поставить чай, и они уселись вокруг стола, будто празднуя тризну. Ничто больше в ее облике не напоминало лицо, фотография которого так сильно взволновала меня на средокрестье. У Берма была, как говорит народ, смерть на лице. На этот раз в ней действи-

[197] Примечания: 197
Габриэль Режан (1856-1920) — актриса.

тельно было много от статуи Эрехтейона[198]. Затверделые артерии уже наполовину окаменели, видны были длинные скульптурные ленты, сбегавшие с щек, — жесткие, как минералы. В умирающих глазах еще можно было заметить что-то живое, но лишь по контрасту с жуткой окостеневшей маской — они блестели едва-едва, как змея, заснувшая среди камней. Молодой человек, из вежливости присевший к столу, поглядывал на часы, ему хотелось на блистательное празднество Германтов. Берма и словом не упрекнула покинувших ее друзей, наивно надеявшихся, что она так и не узнает о причине их отсутствия. Она пробормотала только: «Такая женщина, как Рашель, устроила прием у принцессы де Германт. Чтобы это увидеть, надо съездить в Париж». И медленно, безмолвно, торжественно вкушала запретные пирожные, словно справляя похоронные ритуалы. Увеселение было тем печальней, что зять сердился: Рашель, с которой он и его жена были в достаточно близких отношениях, их не пригласила. Червячок заточил его сильней, когда

[198] Примечания: 198

Эрехтейон — храм Афины и Посейдона в Акрополе, построенный на том месте, где они спорили из-за обладания Аттикой, статуи — имеются в виду статуи портика кариатид. С ними сравнивал Берма Бергот (на страницах второго тома).

приглашенный юноша сказал, что он достаточно близок с Рашелью, чтобы, тотчас отправившись к Германтам, в последнюю минуту выпросить приглашение и для легкомысленной четы. Но дочь Берма отлично знала, как сильно мать презирает Рашель, что она убила бы ее, выпрашивая приглашение у былой шлюшки. Так что молодому человеку и мужу она ответила, что это невозможно. Но за себя отомстила, надула губки и по ходу чаепития всем видом показывала, как ее тянет к удовольствиям, и какая докука — лишаться радостей из-за этой гениальной матери. Последняя, казалось, не замечала ужимок дочери и время от времени, умирающим голосом, обращалась с какой-нибудь любезностью к юноше — единственному пришедшему из приглашенных. Но стоило воздушному напору, сметавшему к Германтам все, унесшему и меня, усилиться, как он встал и ушел, оставив Федру или смерть, было не ясно, кем из них она стала, вкушать погребальные пирожные с дочерью и зятем.

Нас прервал голос актрисы, вышедшей на эстраду. Ее игра была искусна, она будто подразумевала, что стихотворения существовали как нечто целое и до этой читки, а мы услышали только отрывок, — будто актриса шла себе по дороге,

но лишь сейчас оказалась в пределах слышимости. Анонс почти всем известных произведений уже сам по себе доставил удовольствие. Но когда она, еще не приступив, зарыскала повсюду глазами, словно заблудилась, воздела руки, словно молит о чем-то, испустила первое слово, как стон, присутствующие почувствовали себя неловко, без малого покоробленные этакой выставкой чувств. Никто и не думал, что чтение стихов может оказаться чем-то подобным. Постепенно мы привыкаем, то есть забываем первое неловкое ощущение, выискиваем, что здесь может быть хорошего, сопоставляя в уме различные манеры чтения, чтобы решить: это лучше, это хуже. Услышав же подобное впервые — как в суде, когда адвокат при рассмотрении простого дела делает шаг вперед, поднимает в воздух руку, с которой ниспадает тога, и довольно угрожающе бросает первые слова, — мы не осмеливаемся глядеть на соседей. То, что это комично, представляется нам очевидным, но в конечном счете, быть может, в итоге это предстанет чем-то величественным, и мы выжидаем, когда обстановка прояснится. Так или иначе, аудитория была озадачена, ибо эта женщина, не издав еще и единого звука, согнула колени, вытянула руки, будто баюкая что-то неви-

димое, а затем, искривив ноги, произнесла всем известные строки, пролепетав их, будто кого-то умоляя. Присутствующие переглядывались, не очень-то понимая, как к этому отнестись; плохо воспитанные юнцы давились глупым смехом; каждый украдкой бросал на своего соседа потаенный взгляд, как на изысканных обедах, когда, обнаружив подле себя неизвестное приспособление — вилку к омару, ситечко для сахара и т. п., предназначение и способ обращения с коими неведомы, мы следим за более авторитетным соседями в надежде, что они употребят их прежде и тем самым выведут нас из затруднения. Иные поступают так, когда цитируется неизвестный стих, — желая показать, что на самом деле они его знают, будто пропуская вперед перед дверью, в порядке одолжения, доставляют удовольствие более осведомленным уточнить, чьего ж это пера. Так, слушая актрису, присутствующие выжидали, опустив голову (но стреляя взглядами), что другие возьмут на себя инициативу смеяться или критиковать, плакать или аплодировать. Г-жа де Форшвиль, специально приехавшая из Германта, откуда герцогиню практически изгнали, приняла выжидательное и напряженное выражение, — почти решительно неприятное, либо чтобы

показать, что она дока и присутствует здесь вовсе не в качестве заурядной светской дамы, либо из враждебности к людям, которые не разбирались в литературе в той же степени, что и она и могли бы осмелиться заговорить с ней о чем-то еще, — либо от напряжения всей своей личности, силящейся понять, «любит» она это, или же «не любит», — или, может быть, потому что, все еще находя это «интересным», она по меньшей мере «не любила» манеру произносить отдельные стихи. Эта поза, казалось, более приличествовала принцессе де Германт. Но читали в ее доме, а поскольку ее новый достаток был соразмерен ее скупости, она рассчитывала отблагодарить Рашель пятью розами, и по этой причине ударяла в ладони. Она подстрекала общий восторг и «делала прессу», непрестанно испуская радостные восклицания. Только в этом она проявлялась как г-жа Вердюрен, — казалось, что она решила послушать стихи ради собственного удовольствия, эти чтения совершались ради нее одной; рядом, правда, случайно оказалось человек пятьсот ее знакомых, которым она ненароком дозволила разделить свое собственное наслаждение. Так или иначе, я заметил, — без какого-либо самолюбивого удовлетворения, ибо она была стара и

отвратительна, — что актриса строит мне глазки; с некоторой сдержанностью, впрочем. По ходу чтения в ее глазах пробегало мерцание затаенной и проницательной улыбки, словно приманки на согласие, которое ей хотелось заполучить. Однако иные старые дамы, не приученные к поэтическим чтениям, спрашивали у соседей: «Вы видели?» — намекая на торжественную, трагическую мимику актрисы, — они не знали, как ее толковать. Герцогиня де Германт, слегка поколебавшись, определила победу, воскликнув: «Это восхитительно!» — прямо в середине стихотворения; она почему-то решила, что это уже конец. Многие присутствующие отметили ее восклицание одобрительным взглядом, наклоном головы, чтобы подчеркнуть не столько, быть может, свое приятие чтицы, сколь свою близость герцогине. Когда чтение кончилось — мы сидели довольно близко, — я услышал, что актриса благодарит г-жу де Германт; одновременно, пользуясь тем, что я нахожусь поблизости, она повернулась ко мне и грациозно меня приветствовала. Тут я понял, что эта особа, по-видимому, знакома мне, ибо, в отличие от пылких взглядов сына г-на де

Вогубер[199], которые я принял за приветствие заблуждающегося на мой счет человека, то, что мне показалось страстными взглядами актрисы, только сдержанно подбивало меня на узнавание и приветствие. Я с улыбкой поклонился ей в ответ. «Я уверена, что он не узнал меня», — сказала чтица герцогине. «Ну что вы, — ответил я убежденно, — я узнал вас прекрасно». — «Ну и кто же я такая?» Мое положение стало щекотливым: ее лицо не говорило мне совершенно ничего. К счастью, если, с такой уверенностью читая прекраснейшие стихи Лафонтена, эта женщина только и думала, либо по доброте, либо по глупости, либо от замешательства — как бы со мной поздороваться, слушая те же прекраснейшие стихи Лафонтена, Блок только и ждал конца чтения, чтобы подскочить, словно осажденный, пытающий еще один выход, и, пройдя если не по телам, то по меньшей мере по ногам соседей, поздравить чтицу, — либо из-за ошибочных представлений о том, как надо себя вести, либо желая выставиться. «Как странно встретить здесь Ра-

[199] Примечания: 199

Тут я понял, что эта особа… Согласно одному варианту, автор еще не узнал Рашели. …пылких взглядов сына г-на де Вогубер… — его похороны описаны в письме Сен-Лу. Царство мертвых в этом собрании представлено также дочкой-племянницей Жюпьена и маркизой д'Арпажон.

шель!» — шепнул он мне на ухо. Это магическое имя мгновенно разбило волшебство, придавшее любовнице Сен-Лу неизвестную форму отвратительной старухи. Стоило мне услышать, как ее зовут, и я ее прекрасно узнал. «Это было просто замечательно», — сказал Блок, и, произнеся эти нехитрые слова и удовлетворив желание, отправился обратно на свое место, встретив на своем пути столько же препятствий и произведя столько же шума; Рашели пришлось выжидать более пяти минут, прежде чем приступить ко второму стихотворению. Когда она закончила второе — Двух голубей, г-жа де Морьянваль подошла к г-же де Сен-Лу, и, памятуя о большой ее начитанности, но забыв, что ей достался по наследству острый, саркастический нрав отца, спросила: «Это ведь басня Лафонтена, не так ли?» — полагая, что все-таки произведение узнала, но не будучи в том абсолютно уверена, ибо басни Лафонтена она знала плоховато, да и, сверх того, считала Лафонтена детским автором, которого не читают в свете. Чтобы встретить такой успех, артистка, наверное, спародировала Лафонтена, думала милая дама. Однако Жильберта невольно подтвердила эту мысль, ибо она не любила Рашели, и, желая только сказать, что ничего от басни

в подобном чтении не осталось, она ответила слишком уж остроумно, — так сказал бы ее отец, оставлявший простодушных собеседников в сомнении относительно смысла произнесенной фразы: «На четверть — изобретение актрисы, на четверть — безумие, четверть не имеет никакого смысла, остальное от Лафонтена», — что позволило г-же де Морьянваль утверждать, что стихотворение было вовсе не Двумя Голубями Лафонтена, а обработкой, где от Лафонтена не осталось и четверти, — публика была так невежественна, что никто и не удивился. Так как один из друзей Блока опоздал, последний с радостью спросил его, не слышал ли он когда-нибудь Рашели, и затем стал расписывать во всех красках, как она читает, преувеличивая, нежданно изыскав в этой модернистской манере какое-то странное удовольствие, не испытанное им и отчасти, пока он ее слушал. Затем Блок с преувеличенным волнением — фальцетом — поздравил Рашель и представил ей своего приятеля, провозгласившего, что он никогда еще не испытывал такого восхищения, а Рашель, которая, благодаря своим сегодняшним связям со светскими дамами переняла, не отдавая себе в том отчета, их манеры, ответила: «О! я так польщена, ваша оценка

— большая для меня честь». Друг Блока спросил ее, что она думает о Берма. «Бедная женщина, теперь она, кажется, в сильной нужде. Я бы не сказала, что она была совсем уж бездарна (хотя настоящего таланта у нее никогда не было — она любила только душераздирающие сцены), в конце концов, она принесла пользу, и конечно ее игра была поживей, чем у других; она была очень хорошим человеком, она была благородна, и просто разрывалась ради других. А теперь она не зарабатывает и су, потому что публика давно уже разлюбила ее игру… Впрочем, — добавила она, смеясь, — я еще не так стара и знаю только о том, что было недавно, а в те времена я во всем этом почти не разбиралась». — «Она не очень хорошо читала стихи?» — отважился спросить приятель Блока, желая заодно польстить Рашели, и та ответила: «Разумеется, стихи ей не давались никогда: это была то проза, то китайский, то волапюк, — все, кроме стиха».

Однако я знал, что ход времени не приводит по необходимости к прогрессу в искусствах. Тот или иной автор XVII-го века, знать не знавший ни о французской Революции, ни о научных открытиях, войне, писал, возможно, лучше некоторых современных писателей, и Фагон, быть может,

не уступил бы дю Бульбону[200] (в данном случае недостаток знаний компенсируется превосходством гения); так же и Берма была, как говорится, на сто голов выше Рашели, и время, выдвинувшее ее в ту же эпоху, что и Эльстира, превозносило посредственность, увековечив гений.

Ничего удивительного в том, что бывшая любовница Сен-Лу хулила Берма. Она, по-видимому, занималась этим и в молодости. Не хули она ее тогда, она поносила бы ее теперь. Если необычайно умная и исключительно добрая светская женщина становится актрисой, обнаруживает в новом для нее ремесле большие таланты, встречает на своем пути только признание, то все равно — по прошествии «тридцати лет сцены» мы услышим не былую ее речь, но, к нашему удивлению, язык комедианток, их особенные насмешки над товарищами. Для Рашели они прошли, и света она не покидала.

«Можно говорить, что угодно, но это просто потрясающе, — это изящно, в этом есть что-то неповторимое, это так умно, так стихи еще не читали!» — крикнула герцогиня, опасаясь, как бы Жильберта не разругала. Последняя удалилась

[200] Примечания: 200

Фагон (1638-1718) — медик. Дю Бульбон — тоже врач, но вымышленный.

к другой кучке, чтобы не ссориться с теткой. На склоне лет г-жа де Германт ощущала в себе пробуждение новых интересов. Свет больше не мог ей дать ничего. Мысль о том, что она занимает неколебимое положение, была для нее так же очевидна, как высота голубого неба над землею. Она не думала, что положение, казавшееся ей несокрушимым, необходимо укреплять. Зато читая книги, посещая театры, она испытывала желание, чтобы у этих чтений и спектаклей было какое-то продолжение; так когда-то в тесный садик, где пили оранжад, к ней по-родственному заходили наиболее видные представители большого света, и среди ароматных вечерних ветерков и облачков пыльцы укрепляли ее вкус к обществу. Теперь, но уже из аппетита иного рода, ей очень хотелось знать о причинах тех или иных литературных баталий, водиться с писателями, дружить с актрисами. Ее усталая душа жаждала новой пищи. Ради писателей и актрис, она дружила с женщинами, с которыми она ранее не обменялась бы и карточками, — а те, рассчитывая принимать герцогиню, ссылались на свое знакомство с директором того или иного ревю. Актриса, приглашенная первой, думала, что ей одной удалось проникнуть в блистатель-

ную среду, — для второй актрисы, когда она там встречала ту, что ей предшествовала, эта среда таковой уже не казалась. Герцогиня, так как она иногда принимала суверенов, считала, что в ее положении ничего не изменилось. И действительно, она, единственная, в чьей крови не было примесей, урожденная Германт, которая могла бы подписываться: Германт-Германт, когда бы не писала: герцогиня де Германт, — она, которая даже своим золовкам казалась человеком, сделанным из более драгоценной материи, неким Моисеем, вышедшим из вод, неким Христом, скрывшимся в Египте, неким Людовиком XVII, бежавшим из Тампля[201], чистым из чистых, — теперь жертвовала собой наследственной, быть может, нужде в пище духовной, уже обусловившей социальное падение г-жи де Вильпаризи, да и сама она стала чем-то вроде г-жи де Вильпаризи; в ее доме снобки опасались встретить ту или иную, а молодые люди, удостоверясь в совершившемся факте, но не ведая о том, что ему предшествовало, считали ее какой-то Германт не лучшего урожая, Германт худшего года, — Гер-

[201] Примечания: 201

(1785-1795) номинальный король Франции с 1793, после казни родителей умер от чахотки в замке Тампль; «спасшихся дофинов» нашлось потом немало.

мант, претерпевшей деклассацию.

Но поскольку нередко и неплохие писатели с приближением старости или в результате перепроизводства теряют талант, следует простить светских женщин за потерю, к определенным годам, остроумия. Сван уже не нашел бы в очерствелом уме герцогини де Германт «пластичности» юной принцессы де Лом. На склоне лет, поскольку малейшее усилие вызывало усталость, г-жа де Германт произносила бесчисленные глупости. Конечно, поминутно, и даже много раз за этот утренник, она снова становилась женщиной, которую я знал прежде, и была по-светски умна. Но частенько блестящее словцо, осененное прекрасным взглядом, которое держало под духовным скипетром самых видных людей Парижа на протяжении стольких лет, искрилось еще исподволь, но, так сказать, в пустоте. Когда приходил момент сказать только что придуманную фразу, она замолкала на те же несколько секунд, что и раньше, но острота уже никуда не годилась. Мало кто, впрочем, об этом догадывался, — ибо, из-за схожести приемов, многие верили в загробное существование ее остроумия, уподобляясь людям, которые, суеверно привязавшись к одной кондитерской, продолжают заказывать там печенье, не

замечая, что оно стало безвкусным. Этот спад сказался на герцогине уже во время войны. Стоило кому-нибудь произнести слово «культура», как она перебивала его, освещала своим прекрасным взглядом, сияя, и бросала: «К-К-К-Kultur!» — это смешило друзей, полагавших, что они встретились с еще одним образчиком духа Германтов. Конечно, это была та же формовка, та же интонация, тот же смешок, которые восхищали раньше Бергота, — к тому же, последний тоже держал в уме свои ударные фразы, свои междометия, многоточия, эпитеты, — но с той целью, чтобы не говорить ничего. Светские неофиты, однако, поражались, и если они не попадали на день, когда она была забавна и «в ударе», то только и слышалось: «Как же она глупа!»

Герцогиня, впрочем, старалась не пачкать своими низкими связями тех представителей своей семьи, от которых шла ее аристократическая слава. Если она приглашала в театр, исполняя роль покровительницы искусств, министра или художника, и те наивно расспрашивали ее, присутствуют ли в зале ее золовка или муж, то герцогиня, хотя и была трусихой, ответствовала с дерзкой отвагой: «Я ничего об этом не знаю. Стоит мне выйти из дома, и я уже не помню, где моя

семья. Для политиков и художников я — вдова». Так она уберегала слишком торопливых выскочек от резкого отпора, и себя — от выговоров со стороны г-жи де Марсант и Базена.

«Просто не нахожу слов, чтобы выразить, какое удовольствие доставляет мне встреча с вами. Бог мой, когда же это мы последний раз виделись?» — «У г-жи д'Агригент, мы там часто встречались». — «Естественно, мой мальчик, я частенько ее посещала, потому что Базен тогда ее любил. В то время меня проще всего было встретить у его зазнобы, потому что он говорил мне: „Не надо пренебрегать визитами к этой даме“. Поначалу это мне казалось несколько неприличным, эти своего рода „визиты пищеварения“, на которые он меня отправлял „по факту“. Я довольно быстро освоилась, но самое-то досадное, что я обязана была сохранять отношения после того, как он разрывал собственные. Я вспоминаю о стихах Виктора Гюго:

Так возьми счастье и оставь мне грусть[202].

Как и в этом стихотворении, «я входила, однако, с улыбкой», — но все-таки это нечестно, надо было оставить мне, по отношению к своим лю-

[202] Примечания: 202

Созерцания, IV. У Гюго «оставь нам». Стихотворение посвящено дочке, выходящей замуж.

бовницам, право на какую-то ветреность, потому что из-за того, что этих покинутых набралось уже порядком, я не провожу дома ни дня. Ах, старые времена, — и более добрые, чем эти. Бог мой, вот бы он снова принялся меня обманывать, это только польстило бы мне, меня это молодит. Мне кажется, было бы лучше, если б он вел себя, как прежде. Матерь Божья, как давно он мне не изменял — он забыл, наверное, как это делается! Да!.. но нам все-таки неплохо вместе, мы друг с другом говорим, мы друг друга любим», — заключила герцогиня, опасаясь, как бы я не подумал, что они совсем уже расстались, — так говорят о каком-нибудь тяжело больном: «Он еще очень хорошо говорит, я ему читал сегодня утром целый час». Она добавила: «Скажу-ка ему, что вы здесь, он с удовольствием с вами побеседует». И она направилась к герцогу, который, сидя на канапе, болтал с какой-то дамой. Меня восхитило, что он практически не изменился, он был все так же величествен и красив, — разве немного побелел. Но стоило ему увидеть жену, собиравшуюся что-то ему сказать, как он изобразил на лице такой сильный гнев, что ей только и оставалось, что ретироваться. «Он занят, — правда, чем, я не знаю, но вы это сейчас увидите», — сказала г-жа

де Германт, рассчитывая, что я выпутаюсь сам. К нам подошел Блок и спросил от имени своей американки, кем и кому приходится присутствовавшая там юная герцогиня; я ответил, что это племянница г-на де Бреоте; поскольку это имя ничего Блоку не говорило, он попросил разъяснений. «А! Бреоте, — воскликнула г-жа де Германт, обращаясь ко мне, — вы его помните — как это старо, как это далеко! Все-таки, он был снобом. Эти люди околачивались возле моей свекрови. Вам это не интересно, господин Блок, все это забавно только нашему другу, — он-то знаком со всей этой публикой с тех же лет, что и я», — добавила г-жа де Германт, заверив и представив этими словами долготу истекшего времени с разных точек зрения. Привязанности и взгляды г-жи де Германт сильно обновились, и ретроспективно она называла своего «очаровательного Бабала» снобом. С другой стороны, он не только удалился во временной перспективе, но — в чем я не отдавал себе отчета, когда, во времена моих первых выходов в свет, я считал его одним из самых знатных людей Парижа, так же глубоко отпечатлевших свои следы в его светской истории,

как Кольбер[203] в эпохе Людовика XIV-го, — он к тому же нес на себе печать провинциальности, потому что был деревенским соседом старой герцогини, и именно с этим де Бреоте принцесса де Лом свела когда-то знакомство. Но Бреоте, лишенный остроумия, устаревший и высланный в далекие года (что доказывало, кстати: к этому времени он был совершенно забыт герцогиней), в окрестности Германта, теперь — во что я никогда не поверил бы тем вечером в Опера Комик, когда он предстал мне морским богом, обитающим в морской пещере, — служил связующим звеном между герцогиней и мной, потому что она помнила, что я его знал, следовательно, я был ее другом, и если даже я вышел не из того же общества, что и она, то по меньшей мере вращался в тех же кругах, начиная с намного более давних времен, чем множество сегодняшних фигур; она хранила память об этом, но эти воспоминания были достаточно фрагментарны, ибо герцогиня забыла другие детали, самому мне казавшиеся в то время существенными, — например, что я не посещал Германта и был всего-навсего комбрейским мещанином, когда она приехала на

[203] Примечания: 203

Жан Батист Кольбер (1619-1683) генеральный контролер финансов с 1665.

бракосочетание м-ль Перспье, что она не приглашала меня, несмотря на просьбы Сен-Лу, в год, следовавший за ее явлением в Опера Комик. Мне эти обстоятельства казались очень важными, ибо именно в то время жизнь герцогини де Германт представлялась мне своего рода раем, куда путь мне был заказан. Но нее это было той же обыденной всегдашней жизнью, и поскольку я, с определенного момента, часто ужинал у нее, и перед этим даже подружился с ее теткой и племянником, она более не помнила, с какого точно момента начиналась наша дружба, и не представляла, какой чудовищный анахронизм совершает, относя ее истоки на несколько лет раньше. Будто я был знаком с недосягаемой г-жой де Германт из имени Германтов, которую я различал в золоченых слогах, — а я просто ужинал с дамой, ничем особо от других не отличавшейся; она иногда приглашала меня, однако не для того, чтобы спуститься в подводную пещеру нереид, а чтобы провести вечер в бенуаре ее кузины. «Если вам нужны подробности о Бреоте, — он, впрочем, этого не стоит, — добавила она, обращаясь к Блоку, — расспросите нашего приятеля (он его куда, кстати, интересней): он с ним ужинал у меня раз пятьдесят. Не у меня ли вы познакомились

с ним? Во всяком случае, у меня вы познакомились со Сваном». Меня не меньше удивило ее мнение, будто я мог познакомиться с г-ном де Бреоте где-либо вне ее дома, и, следовательно, что я посещал это общество до знакомства с нею, чем ее мысль, что у нее я познакомился со Сваном. Не так лживо, как Жильберта, когда она говорила о Бреоте: «Это давнишний деревенский сосед, мне доставляло удовольствие беседовать с ним о Тансонвиле», — тогда как в Тансонвиле он не общался с ее семейством, я мог бы сказать о Сване, в действительности напоминавшем мне нечто не связанное с Германтами напрямую: «Это деревенский сосед, частенько заходивший к нам вечерами». «Как бы вам это сказать. Это был человек, который мог заболтаться, если речь заходила о высочествах. У него был набор довольно забавных историй о членах семьи Германтов, моей свекрови, г-же де Варанбон, когда она еще не стала приближенной принцессы де Парм. Но кто сегодня знает, кто такая г-жа де Варанбон? Вот наш друг, он действительно все это знал, но все это кончилось, и даже имен этих людей никто не помнит, — да к тому же они не заслуживают упоминаний». Я понял, отчего в свете — несмотря на то, что он стал един и социальные связи дошли

до максимального стяжения, то есть вопреки тому, что все сообщалось, — все-таки остаются местности (или, по меньшей мере, то, что с ними сделало время), сменившие имя и непостижимые более для тех, кто достиг их уже после изменения рельефа. «Это была добрая баба, только говорила она неслыханные глупости, — продолжила герцогиня, нечувствительная к поэзии недосягаемого как следствию времени и извлекавшая из чего угодно забавный элемент, под стать литературе жанра Мейлака[204], духу Германтов. — Как-то у нее появилась мания постоянно глотать таблетки, которые в то время давали от кашля — назывались они (она добавила, смеясь над столь известным тогда, столь характерным названием, неизвестным сегодня ни одному из ее собеседников), таблетки Жеродель. «Мадам де Варанбон, — сказала ей моя свекровь, — постоянно глотая эти таблетки Жеродель, вы испортите желудок». — «Но герцогиня, — отвечала г-жа де Варанбон, — как же я могу испортить себе желудок, если это идет в бронхи?» И затем, это именно она сказала: «У герцогини есть корова — такая красивая, такая красивая, что все ее принимают

[204] Примечания: 204
Анри Мейлак (1831-1897), автор драм.

за племенного жеребца"». Г-жа де Германт охотно болтала бы о г-же де Варанбон и дальше, ведь мы помнили о ней сотни забавных историй, но мы знали, что это имя не вызовет в невежественной памяти Блока никакого образа, пробуждающегося в нас, как только заходит речь о г-же де Варанбон, г-не де Бреоте, принце д'Агригенте, — по этой причине Блок, быть может, несколько преувеличивал наш авторитет, что для меня было вполне понятно, но не потому, что когда-то это было и со мной, ибо собственные заблуждения и глупости редко способствуют, даже когда мы прозреваем их насквозь, чтобы мы стали снисходительнее к недостаткам наших ближних.

Даже несущественные детали тех далеких времен стали неразличимы, и кто-то вблизи от нас спрашивал, не от отца ли ее, г-на де Форшвиля, тансонвильские земли перешли к Жильберте; он получил ответ: «Что вы, эта земля перешла к ней от семьи мужа. Это все от Германтов. Тансонвиль прямо рядом с Германтом. Он принадлежал г-же де Марсант, матери маркиза де Сен-Лу. Только его заложили под большие проценты. Так что на деньги м-ль де Форшвиль его выкупили и отдали в приданое жениху».

Другой раз, некто, кому я рассказывал о Сване,

чтобы описать остроумие той эпохи, ответил: «Да, герцогиня де Германт пересказывала мне его словца; с этим стариком вы познакомились у нее, не так ли?»

В уме герцогини прошедшее претерпело сильные изменения (или же разграничения, существовавшие в моем, у нее попросту отсутствовали, и то, что стало для меня событием, осталось незамеченным ею), и она могла предположить, что я познакомился со Сваном у нее, а с г-ном де Бреоте где-нибудь еще, составив мне, таким образом, прошлое светского человека, — к тому же, она распространяла его на слишком далекие времена. Не только я составил представление об истекшем времени, но и герцогиня, причем с иллюзией, обратной по отношению к моей, — мне оно казалось короче, чем оно было, а она, напротив, растягивала и отбрасывала его слишком далеко, не принимая в расчет великое разделение между моментом, когда она была для меня именем, потом — предметом моей любви, и точкой во времени, когда она стала для меня рядовой светской дамой. Однако я встречался с ней только во второй период, когда предстала мне другим человеком. Но от ее собственных глаз эти отличия ускользали, и в самой возможно-

сти моего присутствия в ее доме двумя годами раньше она уже не находила ничего особенного, поскольку не знала, основываясь на другом, что тогда она уже являлась чем-то иным, и ее личность не казалась ей самой, как мне, прерывной.

«Все это напоминает мне, — сказал я ей, — мой первый прием у принцессы де Германт, когда я не знал, приглашен ли я, и ждал, что меня выставят; вы были в ярко красном платье и красных туфельках». — «Боже мой, как давно это было», — ответила герцогиня де Германт, заверяя ощущение истекшего времени. Она грустно посмотрела вдаль, однако ее мысли задержались на красном платье. Я попросил описать его, к чему она снисходительно приступила. «Теперь такого совсем не носят. Эти платья носили только тогда». — «Разве они не были хороши?» — спросил я. Она постоянно боялась сказать что-нибудь, что не пошло бы ей на пользу, что-то, что ее умалило бы. «Ну, конечно, я так нахожу это очень милым. Этого не носят, потому что сейчас такого больше не шьют. Но когда-нибудь это вернется — все моды возвращаются: и в платье, и в музыке, и в живописи», — добавила она с нажимом, ибо полагала, что в этой философии есть что-то оригинальное. Тем не менее от грусти, что она стареет,

ее лицо осенила усталость, озаренная, впрочем, улыбкой: «Вы уверены, что это были красные туфельки? Мне помнится, они были золотыми». Я подтвердил, что это-то я помню прекрасно, не упоминая об обстоятельстве, которым объяснялась моя уверенность. «Как это мило с вашей стороны — помнить такое», — промолвила она с печалью, ибо женщины называют любезностью воспоминание об их красоте, как художники восхищение их работами. Впрочем, сколь бы далеко ни ушло прошлое, в случае женщины с таким умом, как у герцогини, можно избежать забвения. «Помните, — сказала она, словно в благодарность за воспоминание о платье и туфельках, — что в тот вечер мы с Базеном отвозили вас домой? К вам должна была прийти девушка, уже заполночь. Базен хохотал от души, что вас навещают в этот час». Действительно, тем вечером, после приема у принцессы де Германт, ко мне пришла Альбертина. И я, как и герцогиня, вспомнил об этом, — я, которому Альбертина теперь была так же безразлична, как г-же де Германт, если бы та знала, что девушка, из-за которой я не смог зайти к ним — Альбертина. Дело в том, что по прошествии многих лет, когда умершие, наши близкие, уже не вызывают печали, их забытый прах все

еще перемешан, сплавлен с обстоятельствами прошедшего. И хотя мы больше не любим их, часто, воскресив комнату, аллею, дорогу, по которой они проходили в такой-то час, мы должны, чтобы заполнить занятое ими место, упомянуть о них, — уже не сожалея, не назвав даже имени, не разъясняя, кем они нам приходились. (Г-жа де Германт едва ли знала, кем была та девушка, что должна была прийти ко мне в тот вечер, она не была с ней знакома и говорила об этом только потому, что час и обстоятельства были загадочны). Таковы суть последние, незавидные формы бессмертия.

Сами по себе суждения герцогини о Рашели оригинальностью не блистали, но они интересовали меня как новый час на циферблате. Ибо г-жа де Германт не забыла, как и Рашель, о ее выступлении в доме герцогини, однако ее воспоминания претерпели неменьшую трансформацию. «Знаете, — сказала она, — мне тем интересней ее слушать, слышать такие овации, потому что это ведь я ее откопала, оценила, стала ее пробивать, — я ее проталкивала, когда никто о ней не знал и она была всеобщим посмешищем. Да, мой друг, это вас удивит, но дом, где она впервые выступила на публике — это мой дом! В те

времена, когда все это так называемое передовое общество, вроде моей новой кузины, — сказала она, иронически указывая на принцессу де Германт, которая для Орианы осталась г-жой Вердюрен, — позволило бы ей умереть с голоду и не соблаговолило бы ее послушать, я нашла, что она интересна, и устроила ей вечер, — мы тогда созвали все сливки общества. Сколь бы это глупо и вычурно ни звучало, ибо, по сути, таланту никто не нужен, я могу сказать, что это я ей сделала имя. Само собой, сама она во мне не нуждалась». Я еле заметно выразил несогласие и убедился, что г-жа де Германт всецело готова принять противоположную точку зрения: «Как? Вы считаете, что таланту нужно помочь? чтобы кто-нибудь вывел его на свет? Что же, в чем-то вы, должно быть, правы. Любопытно, мне это когда-то говорил Дюма. В таком случае я крайне удивлена, что я кое в чем смогла помочь (хотя все это мелочь), — конечно, помочь не самому таланту, но хотя бы славе артиста». Г-жа де Германт, по-видимому, предпочла расстаться с убеждением, что талант, подобно абсцессу, прорывается в полном одиночестве, и не только оттого, что это было для нее более лестно, но и потому, что, беспрерывно встречаясь с новыми людьми, и, к

тому же, устав, она стала поскромней и теребила других, выспрашивала их точку зрения, чтобы создать собственную. «Можно и не говорить, — продолжила герцогиня, — что эта умная публика, называющая себя светом, абсолютно ничего не поняла. Возмущались, смеялись. Я напрасно говорила им: „Это любопытно, это интересно, такого еще никогда не делали“; меня не слушали — меня вообще никто никогда не слушал. Да и отрывок, который она читала, что-то из Метерлинка, — теперь он очень известен, но в то время все над этим потешались, — а я так нашла это восхитительным. Меня даже удивляет, что этакую крестьянку, как я, такую провинциалку, с первого же раза впечатлило что-то подобное. Естественно, я не смогла бы сказать, почему, но это мне нравилось, волновало; представьте: Базен (такой бесчувственный Базен) был поражен, как на меня это подействовало. Он сказал: „Я не хочу, чтобы вы слушали эту чепуху, вы от этого сразу заболеваете“. И это правда, потому меня считают сухой женщиной, а я на самом деле мешок с нервами».

В эту минуту произошло непредвиденное событие. К Рашели подошел лакей и сказал, что дочь Берма и ее муж просят позволения переговорить

с ней. Мы помним, что дочь Берма воспротивилась желанию мужа выхлопотать приглашение у Рашели. Но стоило молодому гостю уйти, и чете стало невыносимо скучно с матерью, их мучила мысль, что другие сейчас забавляются; одним словом, улучив момент, когда Берма, похаркивая кровью, вернулась в свою комнату, они, наспех облачившись в свои лучшие одеяния, взяли коляску и отправились к принцессе де Германт без приглашения. Рашель, подозревая, в чем дело (и испытывая тайную радость), высокомерно ответила лакею, что сейчас потревожиться ей сложно, и пусть они напишут записку и объяснят причину своего странного поступка. Лакей вернулся с карточкой, на которой дочка Берма нацарапала, что они с мужем не устояли перед соблазном послушать Рашель и просят позволения войти. Нелепость отговорки, собственное торжество вызвали у Рашели улыбку. Она попросила ответить, что, к своему глубокому сожалению, она уже закончила чтение. В передней, где тянулось ожидание четы, над двумя отваженными просителями уже зубоскалили лакеи. Устыдясь позора и вспомнив, что Рашель — ничтожество по сравнению с ее матерью, дочь Берма решилась довести свое ходатайство до конца, хотя

отважилась-то на него из простой потребности наслаждений. Она попросила узнать, словно моля Рашель об услуге, что, раз уж нельзя ее послушать, можно ли хотя бы пожать ей руку. Рашель как раз болтала с итальянским принцем, плененным, как рассказывали, чарами ее огромного состояния, происхождение которого мало-помалу затенило ее сегодняшнее светское положение; она поняла, что обстоятельства изменились, что теперь дети знаменитой Берма у ее ног. Поведав всем, как о чем-то забавном, об этом инциденте, она попросила впустить молодую чету, о чем их не пришлось долго упрашивать, одним единственным ударом разрушив общественное положение Берма, как чета разрушила ее здоровье. Рашель это понимала, равно и то, что, проявив снисходительность и благожелательность, она прослывет в свете более доброй, а молодая чета будет больше унижена, — этого сложнее было бы добиться отказом. Так что она встретила их с распростертыми объятьями, разыгрывая роль умиленной благодетельницы, нашедшей в себе силы забыть о своем величии, и восклицая: «Так вот же они! Какое счастье. Принцесса будет в восторге». Она не знала, что в театре укоренилось мнение, что раздает приглашения

именно она, и наверное боялась, что в случае отказа дети Берма усомнятся не в ее доброте (это-то ей было безразлично), а в ее влиятельности. Герцогиня де Германт сразу же отошла в сторону, ибо по мере чьего-либо стремления к свету это лицо теряло ее уважение. Теперь она испытывала уважение только к доброй Рашели, и она повернулась бы спиной к детям Берма, если бы ей их представили. Между тем Рашель уже обдумывала вежливую фразу, которой завтра за кулисами она убьет Берма: «Меня глубоко опечалило и огорчило, что вашей дочери пришлось ждать в передней. Если бы я знала! Она посылала мне карточку за карточкой». Ей очень хотелось нанести этот удар. Может быть, если бы она знала, что этот удар будет смертелен, она отступилась бы от намерения. Приятно видеть свои жертвы, если мы не ставим себе это в вину, и мы оставляем им жизнь. Впрочем, в чем была ее вина? Несколькими днями позже она вынуждена была со смехом отвечать: «Ну, это чересчур, я хотела только оказать любезность ее детям — хотя она, кстати, никогда со мной не была любезна. Еще немного, и меня обвинят в убийстве. Я привожу в свидетели герцогиню». Казалось, все плохое, что живет в актерах, вся искусственность театраль-

ной жизни переходит по наследству их детям — упорная работа не служит выходом для фальши, как у матерей, и часто великие трагические актрисы падают жертвами домашних заговоров, как уже приходилось немало раз — в последнем акте сыгранных пьес.

Впрочем, несчастье герцогини усугублялось еще одним обстоятельством, которое, вместе с тем, привело к параллельному вырождению круга общения г-на де Германта. Последний, давно уже успокоенный преклонным возрастом, хотя был еще довольно крепок, давно уже не обманывал г-жу де Германт: он полюбил г-жу де Форшвиль, хотя никто не знал о началах этой связи. (Это может показаться удивительным, если вспомнить о возрасте г-жи де Форшвиль. Но, наверное, ее легкая жизнь началась в ранней юности. К тому же, бывают такие женщины, которые переживают новое воплощение раз в десятилетие — у них новые романы, они сводят с ума брошенных ради них юниц, когда мы уже смирились с мыслью, что их нет в живых). Если бы повторилась — с самыми вольными вариациями — моя любовь к Альбертине и любовь Свана к Одетте, то любовь г-на де Германта походила бы на первую; старик, подражая всем своим

предыдущим любовям, заточил возлюбленную. Теперь она обедала и ужинала с ним, он всегда находился у нее дома; она хвасталась им перед друзьями, которые без нее никогда не завязали бы отношений с герцогом де Германтом, — и к ней ходили, как к кокотке, чтобы быть представленными ее любовнику, суверену. Конечно, г-жа де Форшвиль уже очень давно стала светской женщиной. Но на склоне лет снова поступив на содержание, да еще и к такому надменному старику, который, что бы ни говорили, стал важным человеком в ее доме, сама она умалилась и старалась только, чтобы ее новые пеньюары были ему по вкусу, чтобы у нее готовили, как он любит, и льстила друзьям, рассказывая им, что она ему о них говорила, — как когда-то о моем двоюродном деде великому князю, посылавшему ему папиросы, — одним словом, она неуклонно, силой новых обстоятельств и вопреки годам светского положения, шла к тому, чтобы стать дамой в розовом, которую я увидел когда-то в детстве. Конечно, с тех пор, как дедушка Адольф умер, прошло много лет. Но разве можно помешать возобновлению старой жизни заменой одних лиц другими? К этим новым обстоятельствам она приспособилась, вероятно, от алчности, по-

тому также, что, востребованная светом, когда у нее была дочь на выданье, а затем, после брака Жильберты и Сен-Лу, оставленная в стороне, она понимала, что герцог де Германт готов ради нее на все, что он приведет в ее дом герцогинь, которые не упустят возможности подшутить над своей подружкой Орианой; быть может, ее увлекла злоба герцогини, и, в женском соперничестве, радовалась собственной победе. До самой смерти Сен-Лу исправно водил к ней жену. Скорее всего, эта пара должна была наследовать и г-ну де Германт, и Одетте, — последняя, в свою очередь, будет основной наследницей герцога. Впрочем, даже чрезвычайно разборчивые племянники Курвуазье, г-жа де Марсант и принцесса де Транья посещали Одетту, рассчитывая, что они будут упомянуты в завещании, и их не беспокоили огорчения г-жи де Германт, — о ней Одетта, задетая ее презрением, отзывалась плохо.

Из-за этой связи, которая была-то лишь повторением его ранних привязанностей, герцог де Германт вторично упустил председательство в Джокей-Клобе и потерял кресло свободного члена Академии изящных искусств, — так общая жизнь г-на де Шарлю и Жюпьена, получившая огласку, обусловила потерю бароном кресла председателя

Союза и Общества друзей старого Парижа. Два брата, столь непохожие друг на друга в своих пристрастьях, утратили общественное положение из-за той же лености, той же нехватки силы воли, которая ощущалась, хотя и не отталкивающе, еще в их дедушке, герцоге де Германт, члене Французской Академии, — и привела (посредством естественной склонности одного и противоестественной другого) к изгнанию двух его внуков из общества.

Старый герцог де Германт больше не выходил в свет, он проводил дни и вечера у Одетты. Сегодня он лишь ненадолго заглянул сюда, чтобы ее увидеть, — хотя ему и была неприятна встреча с женой. Я его не заметил, и, наверное, не узнал бы, если бы мне на него не указали со всей определенностью. От герцога остались только руины, однако руины превосходные, рассыпавшиеся еще не до конца, столь же романтичные и прекрасные, как утес в бурю. Со всех сторон исхлестанное волнами страдания, раздражения своей горестью, бушующим приливом очертившей смерти, лицо его, разрыхленное, как глыба, сохранило свой склад и восхитительные изгибы, оно источилось, как антик, которым мы с радостью, даже если он испорчен, украшаем свой рабочий кабинет.

Правда, теперь я отнес бы его к более древней эпохе, — не только потому, что вещество потускнело, зашершавело и загрязнилось, но и оттого, что плутоватое игривое выражение сменилось невольным и неосознанным, вычерченным болезнью, борьбой со смертью, сопротивлением ей и тяготами жизни. Артерии, утратившие свою пластичность, придали скульптурную жесткость когда-то радостному выражению лица. Хотя сам герцог не догадывался о том, из-за затылка, щек и лба выглядывало остервенело цепляющееся за каждую минуту существо, и, казалось, опрокинутое трагическим шквалом; белые пряди великолепных, поредевших косм хлестали пеной по затопленному отрогу лица. Так одно приближение бури, когда все вот-вот рухнет, накладывает на скалы, цвет которых до этого выглядел по-иному, странные и причудливые блики, — я понял, что свинцово-серый одеревенелых и изношенных щек, серый до белизны и волнистый торчащих прядей, слабый свет, еще мерцающий в полуслепых глазах не был ирреальным оттенком, напротив, это было слишком реально, только чем-то фантастично и из другой палитры: в этом было что-то от черного света старости, неподражаемого своей ужасной и

пророческой чернотой, близости смерти.

Герцог зашел только на несколько минут, и за это время я понял, что Одетта, окруженная более молодыми поклонниками, пренебрегает им. Но вот что любопытно: герцог, который раньше своими ухватками театрального короля казался едва ли не нелепым, теперь стал поистине величествен, — как и его брат, сходство с которым, сорвав бутафорию, проявила старость. Как и в случае брата, когда-то столь высокомерного (хотя и на свой лад), теперь его переполняла почтительность, — но также отличным образом. Он не скатился на ту же ступень, на которой стоял теперь его брат, с вежливостью забывчивого больного раскланивавшийся с теми, кого раньше презирал. Но он был очень стар, и когда настала пора уходить, и нужно было пройти через дверь и спуститься по лестнице, старость, самое жалкое, все-таки, состояние человека, низвергающее нас с вершин, как королей греческих трагедий, заставила его остановиться на крестном пути, которым становится увечная жизнь на грани, провести рукой по влажному лбу, ощупать, стреляя глазами, путь, уходящий из-под ног, — казалось, ему нужна была опора для неуверенных шагов, затуманенных глаз, и он будто, не ведая того и

сам, кротко и нежно умолял других; старость, даже с большей силой, чем величие, проявила его мольбу.

Он не мог обойтись без Одетты, и у нее дома не выползал из кресла, — от старости и подагры он вставал с трудом, — и позволял ей принимать друзей, которым очень хотелось с ним познакомиться, сказать ему что-нибудь, услышать рассказы о старом обществе, о маркизе де Вильпаризи, о герцоге де Шартр.

Так в Сен-Жерменском предместье неприступные, на первый взгляд, положения герцога и герцогини де Германт, барона де Шарлю, как и все меняющиеся вещи этого мира, утратили былую несокрушимость под воздействием внутреннего начала, о котором раньше никто не догадывался: у г-на де Шарлю любви к Чарли, сделавшей его рабом Вердюренов, затем его расслабленности; у г-жи де Германт склонности к новизне и искусству; у г-на де Германт исключительной любви, подобной тем, что уже встречались в его опыте, но более властной из-за старческой слабости, и теперь без светского опровержения, искупления строгим салоном герцогини; там герцог больше не появлялся, да этот салон практически прекратил существование. Так меняется облик

вещей этого мира, так преобразуется средоточие господства, кадастр судеб, устав положений и все, что казалось незыблемым, и глаза человека, прожившего много лет, созерцают целокупные изменения там, где они казались немыслимыми.

Иногда, под взглядами старых портретов свановского «коллекционного» собрания, довершавшего старомодный и устарелый характер сцены, с герцогом — в стиле «Реставрация», и кокоткой — в стиле «Вторая Империя», дама в розовом в пеньюаре, пришедшемся герцогу по вкусу, перебивала его болтовней; он запинался и пронзал ее разъяренным взглядом. Может быть, он замечал, что, как и герцогиня, она иногда говорит глупости; может быть, в старческой галлюцинации, ему почудилось, что это была черта неуместного остроумия Орианы, снова его прервавшей, и, мнилось ему, он опять во дворце Германтов, — так хищники в клетке мечтают о свободе, об африканских пустынях. Резко вскинув голову, своими круглыми желтыми зрачками, блестевшими, как глаза зверя, он сверлил ее долгим взглядом, — когда-то на приемах г-жи де Германт, если та заговаривалась, это приводило меня в трепет. Так теперь герцог с минуту смотрел на дерзкую даму в розовом. Она, однако,

сопротивлялась, и не прятала глаз; по прошествии нескольких мгновений, казавшихся гостям очень долгими, старый укрощенный хищник вспоминал, что он не на свободе, не у герцогини в Сахаре за дверным половиком у входа, но у г-жи де Форшвиль в клетке Зоологического Сада, — и втискивал голову в плечи, по которым рассыпалась все столь же густая грива, о которой сложно было сказать, светла ли она, или бела, и заканчивал свой рассказ. Казалось, он не понял, что г-жа де Форшвиль имела сказать, — да в этом, впрочем, вообще не было большого смысла. Он позволял ей принимать друзей за ужином; из некой причуды, унаследованной от былых влечений, — и не удивлявшей Одетту, ибо она уже привыкла к этому за время жизни со Сваном, — и трогательной для меня, ибо она напоминала мне жизнь с Альбертиной, — он требовал, чтобы приглашенные уходили пораньше, чтобы он прощался с Одеттой последним. Стоит ли говорить, что сразу же после его ухода она встречалась с другими. Но герцог не подозревал о том, или предпочитал не выказывать подозрений: старческое зрение слабеет, ухо становится туже, проницательность меркнет, и усталость требует, чтобы бдительность отдохнула. К определенному

возрасту Юпитер неминуемо превращается в персонажа Мольера — даже не в олимпийского любовника Алкмены, но в смешного Жеронта. Впрочем, Одетта обманывала г-на де Германт, как и заботилась о нем — без обаяния, без благородства. Как и во всех других своих ролях, она была посредственна в этой. Не то чтобы ее жизненные роли не были прекрасны. Просто она не умела их играть.

Впоследствии у меня никак не получалось встретиться с нею, когда это было нужно, ибо г-н де Германт, сочетая причуды ревности и режима, разрешал только дневные приемы, притом еще, чтоб те были не балами. Она откровенно призналась мне, что герцог держит ее в неволе, и при этом руководствовалась следующими мотивами. Основной заключался в том, что она вообразила, хотя я и написал-то к тому времени лишь несколько статей, а публиковал только очерки, — что я известный писатель; когда память наводила ее на мысль, что это я бегал на аллею Акаций, чтобы увидеть ее прогулки, и позднее посещал ее, она простодушно восклицала: «Ах! если бы я только знала, что когда-нибудь он станет великим писателем!» И так как кто-то ей рассказывал, что для писателей общество женщин интересно по той

причине, что, слушая любовные истории, они как бы сверяются с источниками, чтобы заинтересовать меня, она снова являлась мне в роли простой кокотки. Она рассказывала: «Представляете, как-то я встретила мужчину, он влюбился в меня, и я его тоже полюбила без памяти. Мы были на седьмом небе. Ему надо было уезжать в Америку, я должна была поехать вместе с ним. Но накануне отъезда я решила, что будет куда лучше, если эта любовь не умрет, а ведь она не могла всегда оставаться на той же точке. У нас был последний вечер, когда он еще не знал, что я остаюсь, — и это была безумная ночь, я испытала с ним и бесконечное блаженство — и отчаяние, что не увижу его больше. Утром я отдала мой билет какому-то пассажиру, — я его не знала. Он, по крайней мере, хотел у меня его купить. Я ответила ему: „Нет, вы будете так любезны, если возьмете этот билет, я не хочу денег"“. Затем следовала другая история: „Как-то на Елисейских Полях г-н де Бреоте, которого я и видела-то прежде только раз, принялся меня рассматривать с такой настырностью, что я остановилась и спросила его, почему он себе позволяет разглядывать меня таким образом. Он мне ответил: „Я смотрю, какая смешная у вас шляпа“. И правда что. Это была

шляпка с анютиными глазками, тогда моды были ужасны. Но я была разгневана, я ответила ему: „Я не разрешаю вам говорить со мною подобным образом“. Тут начался дождь. Я ему сказала: „Я прощу вас, если у вас есть экипаж“. — „Конечно, у меня есть экипаж, и я с радостью вас провожу“. — „Нет, я хочу ваш экипаж, а не вас“. Я села в этот экипаж, а он ушел под дождем. Но вечером он пришел ко мне. У нас была безумная любовь два года. Приходите ко мне как-нибудь на чай, я расскажу вам, как я познакомилась с Форшвилем. Все-таки, — продолжила она с грустью, — я провела жизнь затворницей, потому что испытывала сильные чувства только к невыносимо ревнивым мужчинам. Я не говорю о г-не де Форшвиле, — по сути, он был туповат, а я по-настоящему могла влюбиться только в умных мужчин. Но видите ли, г-н Сван был так же ревнив, как ревнив наш герцог; а ради герцога я отказываюсь от всего, потому что я знаю, как он несчастлив в своем доме. А ради Свана я так поступала, потому что любила его безумно, и я понимала, что лучше уж лишить себя и танцев, и света, и всего остального, чтобы доставить удовольствие или хотя бы уберечь от волнения того, кто меня любит. Бедный Шарль, он был так умен, так пленителен, он был как раз

мужчина в моем вкусе“. Это, наверное, было правдой. Было время, когда Сван ей нравился, как раз тогда, когда она не была женщиной „в его вкусе“. По правде говоря, женщиной „в его вкусе“ даже позднее она не стала. И все-таки он так сильно, так мучительно ее любил. Позднее его изумляло это противоречие. Но оно не должно удивлять нас, нам нужно помнить, сколь велика в жизни мужчин пропорция мучений из-за женщин „не в их вкусе“. Это объясняется, наверное, многими причинами; во-первых, именно потому, что они „не в нашем вкусе“, мы на первых порах позволяем, не любя, любить себя, и потворствуем этим привычке, которая не возникла бы с женщинами „в нашем вкусе“; последние, чувствуя, что они вызывают желание, упирались бы, разрешая лишь очень редкие встречи, не водворяясь во всех часах нашей жизни, как первые, которые свяжут нас, когда любовь придет и женщина „не в нашем вкусе“ внезапно станет нам необходимой, из-за ссоры, путешествия, когда нас оставят без вестей, не одной нитью, но тысячью. К тому же, эта привычка сентиментальна, потому что в ее основе нет чрезмерного физического желания, и если придет любовь, мозг работает много сильнее: у нас получается не потребность, у нас

получается роман. Мы не доверяем женщинам „не в нашем вкусе“, мы позволяем им любить нас, и если мы их и сами потом полюбим, то любовь сто крат сильнее, даже если наши желания не исполнены и не удовлетворены. По этим, да и многим другим причинам, тот факт, что самые сильные страдания приносят нам женщины „не в нашем вкусе“, объясняется не только насмешкой судьбы, дарящей нам счастье лишь в менее всего приемлемом обличье. Женщина „в нашем вкусе“ неопасна, ибо мы ей не нужны, она нас удовлетворяет и быстро покидает, не водворяясь в нашей жизни, — опасна и приводит к любовным страданиям не сама женщина, но ее всегдашнее присутствие, интерес, что она делает в эту минуту, — опасна не женщина, опасна привычка.

Я малодушно заметил, что с ее стороны это было и мило, и благородно, но я знал, что она лгала, что ее откровения замешаны на вранье. По мере того, как она углублялась в рассказы о своих похождениях, я с ужасом думал, что все это так и осталось для Свана неизвестным, что все это принесло бы ему сильное страдание, потому что его чувственность была привязана к этой женщине, — и он угадывал это наверное только по ее глазам, стоило ей взглянуть на мужчину

или женщину, пришедшихся ей по вкусу. По сути, она своими рассказами как бы поставляла мне то, что считала сюжетами новелл. В этом она ошибалась; она всегда и с избытком пополняла кладовые моего воображения, но это происходило более непроизвольно и у истока стоял я сам, — с ее помощью, хотя и без ее ведома, я постигал законы жизни.

Г-н де Германт приберегал свои молнии для герцогини, и г-жа де Форшвиль не упускала случая указать раздраженному герцогу на свободный круг общения его жены. Так что герцогиня была вдвойне несчастна. Правда, г-н де Шарлю, с которым я как-то об этом разговорился, утверждал, что первые проступки были допущены не его братом, что на деле миф о верности герцогини прикрывает бессчетное количество утаиваемых приключений. Я никогда не слышал, чтобы об этом говорили. Практически для всех г-жа де Германт была женщиной совершенно иного склада. Мысль о том, что она безупречна, разумелась как что-то очевидное. Я колебался, поскольку не знал, какое из двух предположений соответствует истине, почти всегда большинству неизвестной. Мне ведь еще помнились блуждающие голубые взгляды герцогини де Германт в одном из нефов

комбрейской церкви. Однако правда и то, что ни одно из этих предположений не опровергалось ими, и как тому, так и этому они могли придать столь же отличные, сколь и приемлемые смыслы. В детском своем неразумии, я на секунду счел их любовными взглядами, обращенными ко мне. Затем я понял, что это было лишь благожелательными взглядами владычицы, подобными взорам дамы, изображенной на витражах церкви, разглядывавшей своих вассалов. Следовало ли теперь признать, что именно первая моя мысль была истинной, что позднее герцогиня никогда не говорила со мной о любви только потому, что скомпрометировать себя с другом тетки и племянника было для нее опасней, чем интрижка с неизвестным юношей, случайно встреченным в Св. Иларии Комбрейской?

Секунду-другую герцогиня, должно быть, испытывала счастье, ведь ее содержательное прошедшее было разделено мною, но когда я попросил рассказать мне, в чем выражался провинциализм г-на де Бреоте, коего в свое время я плохо отличал от г-на де Саган или г-на де Германт, она снова встала на точку зрения светской женщины, то есть хулительницы всякой светскости. Говоря со мной, герцогиня провела меня

по комнатам. В маленьких гостиных собрались близкие друзья, — чтобы послушать музыку, они предпочли уединиться. В гостиной ампир несколько фраков вслушивались, восседая на канапе; рядом с Психеей, опирающейся на Минерву, виднелось кресло, поставленное под прямым углом, но внутри вогнутое, как люлька, — там сидела девушка. Изнеженность ее позы, то, что она и не шелохнулась, когда герцогиня вошла, контрастировало с чудным сиянием ее ампирного платья алого шелка, перед которым бледнели самые красные фуксии, и значки и цветы так глубоко погрузились в перламутровую ткань, что на поверхности остались лишь впалые следы. Здороваясь с герцогиней, она слегка наклонила прекрасную каштановую голову. Хотя было еще совсем светло, чтобы лучше сосредоточиться на музыке она попросила закрыть большие занавеси, и чтобы общество не ломало ноги, на треножнике зажгли урну, поверх которой разливалось легкое свечение. В ответ на мой вопрос, г-жа де Германт сказала, что это г-жа де Сент-Эверт. Тогда я спросил, кем она приходится известной мне Сент-Эверт. Герцогиня ответила, что это жена одного из ее внучатых племянников, высказалась за мысль, что — урожденная Ларош-

фуко, но при этом отрицала, что сама знакома с Сент-Эвертами. Я напомнил ей о приеме (известном мне, по правде говоря, лишь понаслышке), на котором, принцессой де Лом, она встретила Свана. Г-жа де Германт утверждала, что никогда такого не было. Герцогиня всегда была врушкой, и с годами это в ней усугубилось. Г-жа де Сент-Эверт представляла салон — со временем, впрочем, рухнувший, — существование которого герцогиня любила отрицать. Я не настаивал. «С кем вы у меня могли познакомиться (он был остроумен), так это с мужем упомянутой, — а с последней у меня никаких отношений не было». — «Но ведь она не была замужем». — «Вам так кажется, потому что они развелись, — он, кстати, был намного приятней супруги». В конце концов, я понял, что огромный, необычайно крупный и сильный мужчина с совершенно белыми волосами, с которым я почти везде встречался, хотя имени так и не узнал, был мужем г-жи де Сент-Эверт. Он умер в прошлом году. Что же касается племянницы, то мне так и не довелось узнать, от желудочной ли боли, нервов, флебита ли, родов, предстоящих, недавних или неудавшихся, но она слушала музыку без движений и, кто бы ни прошел, не шелохнувшись. Скорее всего, она,

гордясь своими прекрасными алыми шелками, решила представить нам в этом кресле своего рода Рекамье. Едва ли она понимала, что благодаря ей имя Сент-Эвертов распустилось во мне заново, и в далеком отстоянии отмечало долготу, продолжительность Времени. И она баюкала Время в челночке, где цвели имя Сент-Эвертов и стиль ампир в шелках красных фуксий. Г-жа де Германт заявила, что ампир всегда внушал ей отвращение; этим она хотела сказать, что она питала к нему отвращение сейчас, и это было правдой, потому что, хотя и с некоторым опозданием, она следовала моде. Не входя в такие сложности, чтобы говорить о Давиде, которого она знала плохо, еще в юности она считала г-на Энгра «скучнейшим трафаретчиком», затем, ни с того ни с сего — «самым смачным мэтром Нового Искусства», и дошла даже до того, что «перестала выносить Делакруа». Какими путями она вернулась от этого культа к порицанию, не столь важно, поскольку это нюансы вкуса, отраженные критиками искусства за десять лет до разговоров многоумных дам. Покритиковав ампир, она извинилась за разговор о таких незначительных людях, как Сент-Эверты и таких пустяках, как провинциализм Бреоте, ибо она была так же

далека от понимания, почему меня это интересовало, как г-жа де Сент-Эверт-Ларошфуко, в поисках желудочного успокоения или энгровского эффекта, — почему чаровало меня ее имя, имя ее мужа, а не более славное имя ее родителей, что я смотрел на нее — в этой символической пьесе — как на баюкающее движение Времени.

Особенно она хвасталась, что у нее каждый день присутствуют X и Y. Дело в том, что в конце концов она пришла к концепции «салонной» дамы, некогда вызывавшей у нее отвращение (хотя сегодня она это отрицала), и огромным преимуществом, печатью изысканности, по ее мнению, было принимать у себя «всех видных». Если я говорил ей, что та или иная «салонная» дама не говорила ничего хорошего, при жизни последней, о г-же де Хоуланд, моя наивность вызывала у герцогини буйное веселье: «Естественно, потому что у нее все и собирались, а та хотела всех к себе переманить».

«Но зачем я вам говорю об этой чепухе, разве все это вам интересно?» — воскликнула герцогиня. Эта фраза была произнесена ею вполголоса, и никто не мог расслышать слов. Но молодой человек (он впоследствии заинтересует меня своим именем, намного более близким мне некогда,

чем имя Сент-Эвертов) раздраженно вскочил и отошел подальше, чтобы его сосредоточению не мешали. Потому что играли Крейцерову сонату, но, запутавшись в программе, он решил, что это сочинение Равеля, про которого говорили, что он прекрасен, как Палестрина, но труден для понимания[205]. Он так резко вскочил, что сшиб столик, потому что в темноте его не заметил, — большинство присутствующих тотчас обернулось, и это, такое простое упражнение (посмотреть, что там позади) ненадолго прервало мучительное «благоговейное» прослушивание Крейцеровой сонаты. Я и г-жа де Германт, как причина скандальчика, поспешно сменили комнату. «Ну разве эти пустяки могут интересовать такого выдающегося человека, как вы? Я только что видела, как вы болтали с Жильбертой де Сен-Лу. Это вас недостойно. По мне так ничего она из себя не представляет, эта женщина… это не женщина, это что-то самое фальшивое и буржуазное в свете (даже защищая Интеллектуальность, герцогиня примешивала к этому аристократические пред-

[205] Примечания: 205

Т. н. «Крейцерова Соната», 9-я, для скрипки и ф-но, была написана Бетховеном в 1803, Морис Равель (1875-1937) упоминается здесь как «авангард», доступный широкому «любительскому» свету, хотя, конечно, при всей его гениальности, у него мало чего общего с Джованни Пьерлуиджи да Палестриной (1526-1594), вел. итал. композитором.

рассудки). Да и вообще, зачем вы ходите на такие приемы? Сегодня еще понятно, потому что здесь читала Рашель, это может вас заинтересовать. Но сколь бы хороша она сегодня ни была, перед такой публикой она особо не выкладывается. Как-нибудь вы у меня пообедаете с ней наедине. Тогда вы поймете, что она из себя представляет. Она на сто голов выше всего, что здесь есть. И после обеда она вам почитает Верлена. Вы мне об этом скажете что-нибудь новое. Но как вас занесло на эту „помпу“ — нет, я этого не понимаю. Если, конечно, вы не хотите изучать…» — добавила она с легким сомнением и колебанием, не углубляясь, впрочем, ибо в точности не представляла, в чем заключался плохо представимый род деятельности, на который она намекнула.

«Вам не кажется, — спросил я герцогиню, — что для г-жи де Сен-Лу неприятны встречи с бывшей любовницей мужа?» Я увидел, как на лицо г-жи де Германт легла косая складка, связующая какими-то глубокими нитями только что услышанное с малоприятными мыслями. Связями глубокими, хотя и не выражаемыми, — но тяжелая основа наших слов никогда не получит ответа, ни словесного, ни письменного. Только глупцы впустую десять раз подряд просят ответить на

сдуру написанное письмо, в котором было что-то лишнее; ибо на такие письма отвечают делами, и корреспондентка, которую вы уже сочли неаккуратной, при встрече назовет вас господином вместо того, чтобы назвать по имени. Мой намек на связь Сен-Лу с Рашелью был не так тяжел и только на секунду мог вызвать у г-жи де Германт тягостное впечатление, напомнив ей, что я был другом Сен-Лу и, возможно, конфидентом по поводу огорчений, причиненных Рашели на вечере у герцогини. Но ее мысли на этом не остановились, грозная складка испарилась, и г-жа де Германт ответила на мой вопрос о г-же де Сен-Лу: «Скажу вам, что думаю: ей это безразлично, потому что Жильберта никогда не любила мужа. Она ведь просто чудовище. Ей нравилось положение в обществе, имя, то, что она станет моей племянницей, ей хотелось выбраться из своей грязи, — после чего ей ничего другого и в голову не пришло, как туда вернуться. Знаете, я много страдала из-за нашего бедного Робера, потому что зорок-то как орел он не был, но потом разобрался, и в этом, и во многом другом. Не следует так говорить, потому что она все-таки моя племянница, и у меня нет точных доказательств, что она его обманывала, но слухи ходили разные,

и — скажу вам, что знаю, — с одним офицером из Мезеглиза Робер хотел стреляться. И поэтому-то Робер и пошел на фронт, война для него стала каким-то выходом из семейных неприятностей; если хотите знать мое мнение, его не убили — он сам пошел на смерть. А она так и вовсе не горевала, она даже удивила меня своим редкостным цинизмом и неслыханным безразличием, — мне это было очень обидно, потому что я любила бедного Робера очень сильно. Вас это удивит, наверное, потому что меня знают плохо, но мне до сих пор случается о нем думать. Я никого не забываю. Он мне ничего не говорил, но понял, что я все разгадала. Сами подумайте, если бы она хоть капельку любила своего мужа, разве смогла бы она с таким хладнокровием находится в этой комнате — ведь здесь присутствует женщина, в которую он был безумно влюблен столько лет? можно даже сказать — всегда, потому что я уверена, что это никогда не прекращалось, даже во время войны. Да она бы ей глотку перегрызла!» — крикнула герцогиня, забывая, что сама она, настаивая, чтобы пригласили Рашель, и делая возможной эту сцену (которую она считала неизбежной, если бы Жильберта любила Робера), поступала, наверное, жестоко. «Да она, знаете

ли, — заключила герцогиня, — просто свинья». Это выражение смогло прозвучать из уст г-жи де Германт после того, как она по наклонной скатилась из среды обходительных Германтов в общество комедианток, оттого, что подобное, как ей казалось, «в духе» грубоватого XVIII-го века, потому также, что, как она полагала, ей позволено все. Но в действительности эти слова были продиктованы ненавистью к Жильберте, настоятельной потребностью нанести ей удар, за невозможностью физически — заочно. Также этим герцогиня хотела оправдать свое поведение по отношению к Жильберте, или, скорее, в пику ей, в свете и семье, исходя из преемственности интересов Робера.

Но поскольку зачастую наши оценки сталкиваются с неизвестными фактами, на подтверждение коих мы не смели рассчитывать, Жильберта, которой, конечно, многое перешло от матери (и в конечном счете покладистость, на которую я положился, не отдавая себе в том отчета, когда просил ее познакомить меня с девочками), поразмыслив, вывела из моей просьбы, — и, наверное, чтобы семья не осталась не у дел, — заключение более дерзкое, чем все то, о чем я мог догадываться: «Если вы разрешите, я сейчас схожу за

дочерью, чтобы ее вам представить. Она внизу, скучает с маленьким Мортемаром и другими крохами. Я уверена, что она станет для вас славной подружкой». Я спросил, был ли Робер рад дочке: «О! он ею очень гордился. Но, само собой, если принять во внимание его вкусы, — простодушно добавила Жильберта, — он предпочел бы мальчика». Эта девочка, чье имя и состояние внушали матери надежду, что она соединит свою судьбу с наследным принцем и увенчает работу, восходящую к Свану и его жене, позднее вышла замуж за малоизвестного писателя, потому что снобкой она не была; семья снова опустилась на тот уровень, с которого она поднялась. Новым поколениям было крайне сложно втолковать, что родители этой безвестной четы занимали блистательное положение. Чудом всплывали имена Свана и Одетты де Креси, и до вашего сведения доводили, что вы заблуждаетесь, что в этом браке не было ничего удивительного. Считалось, что в целом г-жа де Сен-Лу вступила в намного лучший брак, чем могла себе позволить, что брак ее отца с Одеттой де Креси ничего из себя не представлял и был тщетной попыткой выбиться в люди, тогда как напротив, по крайней мере с

точки зрения <...>[206], его брак был внушен примерно теми же теориями, которые в XVIII-м веке приводили знатных дворян, учеников Руссо или предшественников революционеров, к жизни на природе, к отказу от своих благ.

Меня ее слова и удивили, и обрадовали; эти чувства быстро сменились (г-жа де Сен-Лу вышла в другую гостиную) мыслью о прошедшем Времени, которую на свой лад вызывала во мне м-ль де Сен-Лу, хотя я ее еще не видел. Как и большинство людей, не была ли она подобна указателям на перепутьях в лесах, где сходятся дороги, пройдя, как и в нашей жизни, максимально удаленные друг от друга точки? Мне казалось, что пути, приведшие к м-ль де Сен-Лу, бесчисленны, как и пути, расходящиеся от нее. Прежде всего, к ней вели две больших «стороны» моих прогулок и мечтаний: от отца, Робера де Сен-Лу, сторона Германтов, от Жильберты, ее матери, сторона Мезеглиза, «сторона к Свану». Одна, от матери юной девочки и Елисейских полей, вела меня к Свану, к моим комбрейским вечерам, на сторону Мезеглиза; другая, от отца, к бальбекским полудням, когда я впервые увидел его у залитого

---

[206] Примечания: 206
Пропуск в рукописи.

солнцем моря. Уже между двумя этими дорогами обозначились поперечные пути. Потому что в реальный Бальбек, где я познакомился с Сен-Лу, мне захотелось поехать большей частью из-за рассказов Свана о церквях, в особенности о персидской, и, с другой стороны, благодаря Роберу де Сен-Лу, племяннику герцогини де Германт, я сблизился, еще в Комбре, со стороной Германтов. И ко многим другим точкам моей жизни вела м-ль де Сен-Лу — к даме в розовом, ее бабушке, которую я застал у моего двоюродного деда. Здесь идет новый перекрестный путь, потому что лакей двоюродного деда, который впустил меня в тот день, и позднее, оставив мне фотографию, позволил отождествить Даму в розовом, был отцом[207] юноши, любимого не только г-ном де Шарлю, но и отцом м-ль де Сен-Лу, по причине чего ее мать стала несчастной. И не дедушка ли м-ль де Сен-Лу, Сван, рассказал мне первым о музыке Вентейля, как Жильберта — об Альбертине? Но, рассказав Альбертине о музыке Вентейля, я узнал о ее близкой подруге и начал с ней ту особую жизнь, что привела ее к смерти, а мне принесла так много горя. К тому же, именно отец м-ль де Сен-Лу ездил

[207] Примечания: 207
Ранее он был дядей.

к Альбертине, чтобы ее вернуть. И моя светская жизнь, в Париже ли, в салоне Сванов или Германтов, или, так далеко от них отстоящем, салоне Вердюренов, выстроила возле двух комбрейских сторон Елисейские поля, прекрасную террасу Распельер. Впрочем, кого из известных нам лиц, при рассказе о дружбе с ними, мы не будем вынуждены последовательно разместить во всех, даже самых отличных местностях нашей жизни? Жизнь Сен-Лу, изображенная мной, развернулась бы в каждом пейзаже и затронула бы все мое существование, даже те его части, от которых Сен-Лу более всего был далек, даже бабушку и Альбертину. Впрочем, сколь бы далеки они ни были, Вердюрены примыкали к Одетте через ее прошлое, к Роберу де Сен-Лу через Чарли; и какую только роль у них не играла музыка Вентейля! Наконец, Сван любил сестру Леграндена, тот знал г-на де Шарлю, на воспитаннице последнего женился юный Камбремер. Конечно, если речь идет только о наших чувствах, у поэта есть основание говорить о «таинственных нитях», разорванных жизнью. Вернее было бы сказать, что она безостановочно переплетает их между людьми и событиями, что она скрещивает эти нити, наращивает, сгущая уток, и чтобы малейшая точка

нашего прошлого связалась со всеми другими, из обильного наслоения воспоминаний остается лишь выбрать сплетение.

Можно сказать, что все, — если бы я не пытался найти эти предметы бессознательно, а вспоминал былое, — что служило нам в те годы, по-прежнему живо, и живет для нас личной жизнью, видоизменяясь затем, при употреблении, в обыкновенную рабочую ткань. Мое знакомство с м-ль де Сен-Лу произойдет сейчас у г-жи Вердюрен. Какое очарование скрыто для меня в воспоминаниях о наших поездках, — с той самой Альбертиной, заменить которую я попрошу сейчас м-ль де Сен-Лу, — в трамвайчике, к Довилю, к г-же Вердюрен, той самой г-же Вердюрен, которая связала и разорвала, до моей любви к Альбертине, любовь дедушки и бабушки м-ль де Сен-Лу! Каждый вокруг нас был полотном Эльстира, который представил меня Альбертине. И чтобы прочнее сплавить все мои прошлые, г-жа Вердюрен, как и Жильберта, вышла замуж за одного из Германтов.

Мы не сможем рассказать о наших взаимоотношениях с человеком, даже если бы мы его плохо знали, не вводя одно за другим различнейшие места жизни. Так что каждый индивид — и сам я был одним из них — определится для меня

длительностью обращения, совершенного им не только вокруг себя самого, но и вокруг других, и особенно положениями, последовательно занятыми им относительно моей персоны.

Конечно, все эти отличные плоскости, сообразно которым Время, стоило мне только охватить его на этом утреннике, расположило мою жизнь, и укрепило меня в намерении использовать в книге, взявшейся за повествование об одной, в противоположность общеупотребительной планиметрической психологии, своего рода психологию в пространстве, сообщали свежую красоту воскресениям, произведенным памятью, пока, не выйдя еще из библиотеки, я раздумывал в одиночестве; поскольку память, без изменений вводя прошлое в настоящее, таким, каким оно было тогда, когда оно было настоящим, упраздняет огромный разрыв во Времени, по законам которого осуществляется жизнь.

Я увидел, что ко мне идет Жильберта. Для меня и женитьба Сен-Лу, и мысли, тогда меня занимавшие, сохранили свою форму до этого утра, словно все это было вчера, и девочка лет шестнадцати, стоящая рядом с Жильбертой, несколько меня удивила, — высокая ее фигурка определила собой расстояние, которое я никак не хотел заметить.

Бесцветное и неощутимое время материализовалось в ней, чтобы, так сказать, я мог увидеть его, прикоснуться к нему; оно лепило ее, как скульптуру, тогда как надо мной, параллельно, оно, увы, лишь проделало свою работу. Так или иначе, м-ль де Сен-Лу стояла передо мной. У нее были глубоко посаженные подвижные глаза, и ее хорошенький нос слегка был вытянут в форме клюва и искривлен, но не как нос Свана, а как нос Сен-Лу. Душа этого Германта испарилась; но очаровательная голова с вострыми глазами летящей птицы красовалась на плечах м-ль де Сен-Лу, — и, глядя на нее, те, кто знал ее отца, погружались в долгие воспоминания. Она казалась мне прекрасной: еще полная надежд, смеющаяся, в летах, что были утрачены мною, она была похожа на мою юность.

Меня поразило, что ее нос, вылепленный словно по мерке носа матери и бабушки, кончался как раз этой совершенно горизонтальной линией снизу, — великолепной, хотя и не достаточно короткой. Черта столь особенная, что увидев лишь ее, можно было бы узнать одну статую из тысяч, и меня восхитило, что именно на ней природа остановилась, как в случае внучки, так матери, бабушки, и совершила, — как великий и

неповторимый скульптор, — мощный и точный удар резца.

В конце концов, мысль о Времени обрела для меня свое последнее значение, стала стрекалом и повторяла, что пора приняться за дело, если я действительно хочу достичь того, что несколько раз предчувствовал в жизни, — в коротких озарениях на стороне Германтов, в коляске на прогулках с г-жой Вильпаризи, благодаря которым жизнь и казалась мне достойной того, чтобы ее прожить. Сколь же более достойной она явилась теперь, когда ее, как казалось, видимую только из сумерек, уже можно было прояснить, — ее, беспрерывно искажаемую, — привести к истине; одним словом — осуществить в книге! Сколь счастлив будет тот, подумал я, кто сможет написать такую книгу; какая задача перед ним! Чтобы оформить ее идею, следовало задействовать связи самых разных, самых возвышенных родов искусств; писатель, который к тому же явит в каждом характере разные лица, дабы показать их объемность, должен будет подготовить книгу кропотливо, с постоянными перестановками сил, как при наступлении, должен будет пережить ее как тяготу, принять как устав, построить как церковь, быть ее приверженцем как режима, пре-

одолеть как препятствие, завоевать как дружбу, напитать как дитя, — творить как мир, не пренебрегая чудесами, объяснение которых таится, вероятно, в иных мирах, и предчувствие которых сильнее всего беспокоит нас — в жизни и в искусстве. Некоторые части таких больших книг мы сможем лишь набросать, и, наверное, они никогда не будут закончены, в силу той же величины замысла творца. Сколько великих соборов так и остались незавершенными! Ее вскармливают, укрепляют слабые стороны, ее защищают, но затем она сама растет, и указывает на нашу могилу, охраняя ее от молвы и, какое-то время, от забвения. Мысленно возвращаясь к себе, я с большей скромностью думал о книге, и нельзя сказать, что, думая о тех, кто прочтет ее, я думал о читателях. Мне кажется, что они будут не столько моими читателями, сколько читающими в самих себе, потому что моя книга — лишь что-то вроде увеличительного стекла, как те, которые выдает покупателю комбрейский оптик; благодаря книге я открою им средство чтения в своей душе. Так что я не напрашивался бы на хвалы и хулы, я только хотел бы, чтоб они сказали мне, одно ли это, и слова, что они читают в себе, те же ли, что и написанные мною (к тому же, возможные

с этой точки зрения расхождения не всегда будут объясняться моими заблуждениями — иногда и глазами читателя, если они не будут из числа тех глаз, которым моя книга подошла бы для чтения в себе). Я поминутно переставлял связи сообразно тому, как точнее, вещественней представлял труд, к которому я был уже готов, я думал, что за моим большим белым деревянным столом, за которым присматривала Франсуаза, — ибо непритязательные люди, живущие подле нас, интуитивно понимают наши задачи (и я достаточно забыл Альбертину, чтобы простить Франсуазе то, что она ей сделала), — я работал бы рядом с нею, что мой труд будет близок ее работе (по меньшей мере, ее прежней работе, ибо она так состарилась, что уже ничего не видела), ибо, прикалывая то там, то здесь еще один лист, я выстраивал бы свою книгу, не скажу честолюбиво — как собор, но как платье. Если у меня не хватило, как выражалась Франсуаза, достаточного количества «бумажищ», и недоставало как раз необходимого, кто лучше Франсуазы понял бы мое раздражение, — она всегда говорила, что не может шить, если у нее нет именно тех ниток и пуговиц, которые пригодны. К тому же, она уже долго жила со мной под одной крышей и выработала какое-то инстинктивное

понимание литературной работы, более точное, чем у многих одухотворенных людей, тем более, чем понимание людей заурядных. Так, когда я писал статью для Фигаро, наш старый дворецкий, со своего рода сочувствием, всегда несколько преувеличивающим тяготы непрактикуемой и непонимаемой работы, даже незнакомой привычки, подобно людям, говорящим вам: «Как вам, должно быть, утомительно чихать», выражал свое искреннее сожаление писателям, твердя: «Какая же это, должно быть, головоломка», — Франсуаза же напротив, догадывалась о моем счастье и уважала мой труд. Она только сердилась, что я преждевременно рассказываю о статье Блоку, опасаясь, как бы он не опередил меня, и говорила: «Вы слишком доверяете таким людям, они ведь ворюги». Блок и правда подыскивал ретроспективное алиби, каждый раз, когда мои наброски казались ему интересными; он говорил: «Надо же! Как любопытно, я как раз что-то такое написал, надо бы тебе это почитать» (Что было, однако, покамест невозможно, поскольку это предстояло написать сегодня вечером).

Когда я склеивал бумаги (Франсуаза называла их «бумажищами»), они то и дело рвались. В случае чего, разве не помогла бы мне Франсуаза,

скрепив их, как заплаты на своих изношенных платьях, или, в ожидании стекольщика (пока я ждал печатника), куски газеты в разбитом кухонном стекле?

Франсуаза говорила мне, показывая источенные, как дерево, тетради, в которых завелись насекомые: «Вот незадача, все моль истлила, как обидно-то, и весь краешек страницы съели», и, осмотрев ее, как портной, добавляла: «Кажется, починить ее я не смогу, с ней уж все кончено. Ах, как жаль, может быть, там были ваши лучшие мысли. Как говорят в Комбре, моль разбирается в тканях лучше тряпичника. Она заводится в самых лучших отрезах».

Впрочем, поскольку те или иные образы книги, человеческие и прочие, составлены из бесчисленных впечатлений, которые мы получили от многих девушек, церквей, сонат, и при этом служат для создания одной сонаты, церкви, девушки, то не построю ли я книгу, как Франсуаза тушила говядину, по достоинству оцененную г-ном де Норпуа, желе которой пестрело отобранными кусочками мяса? И я наконец осуществил бы мечты, посещавшие меня на прогулках на стороне Германтов, казавшиеся мне невозможными, — как казалось мне невозможным, вернувшись,

привыкнуть отходить ко сну, не поцеловав маму, или позднее привыкнуть к мысли, что Альбертина любит женщин, — мысли, с которой в конце концов я сжился, не замечая даже ее присутствия. Ибо величайшие наши страхи, равно надежды, быть может, выше наших сил, но в конце концов мы преодолеваем одни и осуществляем другие.

Мысль о Времени, только что проясненная мною, указывала, что пора приняться за работу. Было самое время, и это оправдывало тревогу, охватившую меня, когда я вошел в гостиную и загримированные лица показали мне, сколько прошло лет; но достаточно ли его еще, времени, да и я — в силах ли я еще? У духа свои виды, но созерцание дозволено лишь недолгое время. Я жил как художник, взбиравшийся по тропинке над озером, и завеса скал и деревьев прятала вид на воду. В проеме он видит то, что искал, озеро в целости перед ним, он берется за кисти. Но вот уже ночь, и рисовать больше нельзя, и вслед за ней никогда не наступит день. Прежде всего, раз ничего не начато, даже если я рассчитывал (ведь я был не очень стар) на несколько лет впереди, меня тревожило, что мой час может пробить через минуту. Следовало исходить из того, что мне дано тело, — то есть, я постоянно подвергаюсь

двойной опасности, внешней и внутренней. Я говорю так только для удобства выражения. Ибо внутренняя опасность, например, кровотечение в мозге, исходя от тела, в той же мере является внешней. И оттого, что дано тело, духу угрожает большая опасность. О мыслительной человеческой жизни, не столько, конечно, следует говорить, как о чудном совершенстве животного и физического развития, сколько о ее — в пределах организации духовной жизни — несовершенстве, ибо она еще в том же зачаточном виде, как сообщество колонии полипов, как тело кита, и т. д. Тело заключает дух в крепости; скоро крепость осадят со всех сторон, и духу придется сдаться. Но, чтобы удовольствоваться разграничением угрожающей духу опасности на два вида, я, начав с внешнего, вспомнил, что нередко в жизни мне уже приходилось, в моменты интеллектуального возбуждения, когда какое-то обстоятельство приостанавливало физическую активность, — например, когда я покидал в коляске, слегка навеселе, ривбельский ресторан, отправившись в какое-нибудь казино поблизости, — очень четко ощущать в себе тогдашнюю цель моей мысли, понимать, что от чистой случайности зависит не только вхождение этой цели в мысль, но и то, что

она не будет тотчас уничтожена вместе с самим телом. Тогда меня это не сильно беспокоило. Мое ликование не было ни осмотрительным, ни тревожным. Что эта радость кончится через секунду и уйдет в небытие, меня не волновало. Но теперь напротив; дело в том, что счастье, испытанное мною, шло не от чисто субъективного напряжения нервов, разобщающего нас с прошедшим, но наоборот, от растяжения моего духа, в котором воссоздавалось, актуализировалось это прошлое, сообщая мне, — увы, ненадолго, — значение вечности. Я завещал бы последнюю тем, кого обогатит это сокровище. Конечно, чувства, испытанные мною в библиотеке, которые я пытался укрепить, приносили еще и удовольствие, но в нем не было ничего эгоистического, или, по крайней мере, эгоизм его был таков (ибо любой плодотворный естественный альтруизм развивается по эгоистическому пути, а неэгоистический альтруизм человека бесплоден, это альтруизм писателя, прерывающего работу ради встречи с несчастным другом, исполнения общественной задачи, написания пропагандистских статей), что приносил пользу другим. Я не был больше равнодушен, как на пути из Ривбеля, я ощущал себя побегом этого произведения, которое я нес в себе,

словно что-то драгоценное, хрупкое, доверенное мне, предназначенное для вручения в целости и по назначению. Теперь я чувствовал себя носителем произведения, но от этого происшествие, в котором я встречу смерть, казалось мне еще более ужасным, даже (в той степени, в какой это произведение представлялось необходимым и долговечным) абсурдным, противоречащим моему желанию, порыву мысли, — и возможным от того не менее, поскольку (как случается каждый день в простейших жизненных ситуациях — мы стараемся не разбудить спящего друга, но графин, поставленный слишком близко к краю стола, падает и будит его) происшествия, объясняемые чисто материальными причинами, вполне могут произойти и в то время, когда самые разные желания, которые они, не ведая того, разрушат, противятся ими всеми силами. Я прекрасно знал, что мой мозг был рудниковым месторождением, что оно необъятно и его залежи разнообразны и драгоценны. Но есть ли у меня время воспользоваться им? Это мог сделать только я. По двум причинам: с моей смертью испарился бы не только единственной шахтер, способный извлечь эти минералы, но и сами залежи. Однако сейчас, на пути домой, достаточно столкновения машины, в

которую я сяду, с какой-нибудь другой, и мое тело погибнет, а дух, из которого уйдет жизнь, навсегда оставит новые идеи, которые в этот момент, уже не успевая прояснить в книге, он прикроет тоскливо дрожащей плотью, безуспешно их заслоняя. Однако по странному совпадению, эта обоснованная боязнь опасности родилась во мне, стоило только мысли о смерти стать для меня безразличной. Когда-то боязнь, что я собой больше не буду, приводила меня в ужас, и так было в каждой любви, испытанной мною — к Жильберте, Альбертине, — потому что мне казалась непереносимой мысль, что существо, влюбленное в них, когда-нибудь умрет, ведь это было бы каким-то подобием смерти. Но поскольку она повторялась, эта боязнь постепенно сменялась уверенным затишьем.

Можно было обойтись и без повреждения в черепе. Его симптомы, — я ощущал их то в виде пустоты в голове, то в виде забвения, когда о многих вещах я мог вспомнить только случайно, — так, прибираясь, мы наталкиваемся на предмет, уже забыв, что его нужно найти, — превращали меня в скопидома, но из дырявого сейфа потихоньку утекали богатства. Одно время существовало еще какое-то «я», оплакивавшее потерю,

противившееся ей, но вскоре я почувствовал, что, уходя, память прихватила с собой и это «я».

И если раньше мысль о смерти омрачала мою любовь, то давно уже воспоминание о любви освободило меня от страха смерти. Ибо я понимал, что смерть для нас не нова, что, напротив, уже в детстве я много раз умер. Например, в более поздние времена, не дорожил ли я Альбертиной больше жизни? Мог ли я тогда представить себе, что забуду о своей любви? Однако теперь я не любил ее, я больше не был в нее влюблен, я стал другим, человеком, не любящим ее, — и моя любовь умерла, когда я изменился. Однако тот факт, что я изменился, что я не люблю больше Альбертину, не причинял мне страданий; и конечно, то, что я расстанусь когда-нибудь с телом, никоим образом не могло внушить мне столь же сильную грусть, как раньше мысль, что я разлюблю Альбертину. Однако, с каким безразличием я думал теперь о том, что теперь я не люблю ее! Эти последовательные смерти, так сильно страшившие «я», подлежащее уничтожению, и столь безразличные и безвредные по исполнению, что тот, кому они грозили, больше не помышлял о них, показали мне, как глупо страшиться смерти. Однако теперь, когда она стала для меня безраз-

личной, иные страхи по новой овладели мной, но уже в другой форме, поскольку я боялся не за себя, а за книгу, — ведь для ее рождения, по крайней мере, какое-то время, эта жизнь, подверженная стольким опасностям, необходима. Виктор Гюго писал:

Необходимо, чтоб трава росла, чтоб дети умирали[208].

Я говорю, что это жестокий закон искусства: люди умирают и мы сами умрем, исчерпав страдания, чтобы пробилась трава — не забвения, но вечной жизни, густая трава плодотворных произведений, на которой грядущие поколения, не беспокоясь о тех, кто спит внизу, раскинут свой веселый «завтрак на траве».

Я говорил о внешних опасностях; но есть и внутренние. Если несчастный случай и не грозил мне извне, то кто знает, не помешает ли мне воспользоваться этой льготой какая-нибудь внутренняя опасность, катастрофа, которая случится еще до истечения времени, необходимого для написания книги. Я вернусь сейчас домой Елисейскими полями, но что вселит в меня уверенность, что меня не сразит та же болезнь, от

---

[208] Примечания: 208
Гюго, «Созерцания», кн. IV.

которой умерла бабушка, когда она, не подозревая о том, вышла туда на свою последнюю прогулку, пребывая в свойственном нам неведении о стрелке, подошедшей к неведомой точке, за которой дернувшаяся пружина механизма прозвонит наш час? Может, страх, что минута, предшествующая первому удару часов, уже почти истекла, и они вот-вот зазвонят, может быть, эта боязнь удара, который сейчас пошатнет мой мозг, была неким предчувствием неминуемого, будто отсвет в сознании шаткого состояния мозга, артерии которого вот-вот дрогнут, — и это в той же степени возможно, как внезапное узнавание смерти, когда раненные, хотя медик и желание жить пытаются обмануть их, говорят, предчувствуя то, что сейчас произойдет: «Я сейчас умру, я готов», и пишут женам последнее «прости».

И правда, я еще не взялся за работу, а кое-что необычное уже произошло; предчувствие пришло ко мне в такой форме, о которой ранее я не мог и помыслить. Как-то я отправился на прием, там мне сказали, что я выгляжу лучше, чем раньше, и все удивлялись, что мои волосы черны. А я едва не упал три раза, пока спускался по лестнице. Я вышел только на два часа; но когда вернулся, я чувствовал, что у меня теперь нет ни

памяти, ни мысли, ни сил, ни жизни. Приди ко мне кто-нибудь, чтобы поболтать, провозгласить королем, схватить, арестовать, — и я и не пошевелился бы, не сказал бы и слова, не открыл бы глаз, как люди, пораженные морской болезнью при пересечении Каспийского моря, которые не окажут и малейшего сопротивления, если им скажут, что сейчас их выбросят за борт. Собственно говоря, я ничем не был болен, но я чувствовал, что более я ни на что не способен, как старики, которые еще вчера ходили, а потом, сломав бедро или получив несварение, какое-то время длят существование, уже не вставая с постели, и теперь их жизнь — только более или менее долгое приготовление к неотвратимой кончине. Одно из моих «я», посещавшее варварские пиры, именуемые «светскими ужинами», где для мужчин в черном и полуобнаженных оперенных женщин все ценности настолько извращены, что тот, кто, будучи приглашен, пропустит празднество, или придет только к горячему, совершит нечто намного более предосудительное, нежели аморальный поступок, о котором с легкостью упомянут на том же ужине — как и о недавних смертях, и только смерть или тяжкое заболевание извинят ваше отсутствие — при условии заблаговременного

предупреждения о своей скорой смерти, чтобы пригласили кого-нибудь четырнадцатым, — этому «я» по-прежнему были известны угрызения совести, но оно утратило память. Зато вспоминало другое «я», замыслившее произведение. Я тогда получил приглашение от г-жи де Моле и узнал о смерти сына г-жи Сазра. Я решился потратить один из часов, после которых я больше не мог произнести и слова, ибо язык коченел, как бабушка в агонии, да даже выпить молока, на извинения г-же де Моле и соболезнования г-же Сазра. Но спустя несколько мгновений я забыл, что я должен сделать. Блажен забывчивый, ибо память о произведении бодрствовала и, в этот час бессмертия, выпавший мне на долю, бралась за закладку фундамента. К несчастью, когда я собрался писать и взял тетрадь, из нее выпала карточка приглашения г-жи Моле. Тотчас «я» забывчивое, однако возобладавшее над другим, как то бывает у щепетильных ужинающих варваров, оттолкнуло тетрадь и застрочило г-же Моле (она, впрочем, была бы польщена, узнав, что ответ на ее приглашение я предпочел своим архитектурным штудиям). Одно слово из моего ответа неожиданно напомнило мне, что г-жа Сазра потеряла сына, я и ей написал, а затем, принеся в

жертву реальный долг искусственной обязанности — быть вежливым и отзывчивым, — я упал без сил, закрыл глаза, и еще неделю приходил в себя. Однако, если никчемные обязанности, в жертву которым я готов был принести истину, через несколько минут забывались мною, мысль о творении не оставляла меня ни на секунду. Я не знал, станет ли это церковью, где верующие мало-помалу приобщаются к истинам, гармониям и большому общему плану, или же это останется, как друидический монумент на горе какого-нибудь острова, сооружением, куда никто не ходит. Но я решил посвятить этой постройке силы, будто нехотя иссякавшие, словно оставляя мне время на то, чтобы, когда окружность будет описана, закрыть «гробовую дверь». Вскоре я смог показать несколько набросков. Никто в них ничего не понял. И даже те, кто был снисходителен к моему пониманию истин, которые я наконец решился запечатлеть в храме, поздравляли меня, что я нашел их «под микроскопом», — а я использовал телескоп, чтобы разглядеть предметы, которые кажутся крошечными только оттого, что расположены на огромном расстоянии от нас, ибо все они суть миры. Когда я открывал всеобщие законы, мне говорили, что я копаюсь в деталях.

Впрочем, к чему я за это взялся? В молодости я был одарен, Бергот назвал мои университетские страницы «совершенными». Но вместо того, чтобы работать, я жил в праздности, я предавался удовольствиям, я болел, жил в хлопотах и причудах, и принялся за работу у гробовой доски, ничего не зная о своем ремесле. Я больше не находил в себе сил, чтобы исполнять светские обязанности, равно, чтобы исполнить долг по отношению к своему замыслу и произведению, и еще менее, чтобы взяться за то и другое разом. Что до первых, я забывал писать письма, т. п., и это слегка упрощало мою задачу. Но внезапно, на исходе месяца, что-то ассоциативно напомнило мне об этих угрызениях, и я был удручен ощущением собственного бессилия. Меня удивляло собственное безразличие, но дело в том, что с того дня, как у меня затряслись колени, когда я спускался по лестнице, это безразличие стало всеобъемно, я жаждал только покоя, ожидая последнего успокоения, которое наступит в конце. И не потому, что я рассчитывал на большой успех, который, наверное, после моей смерти выпадет на долю моего произведения — я был безразличен к голосам лучших людей нашего времени. Те, кто придет после моей смерти, могут думать, что

им угодно — это меня беспокоило не больше. В действительности, если я думал о произведении, а не о письмах, ждавших ответа, то не потому, что находил существенное отличие между двумя этими вещами, как во времена моей лености и затем, когда я уже работал, вплоть до того дня, когда мне пришлось схватиться за лестничные перила. Организация моей памяти и интересов была завязана на произведении, и если полученные письма забывались спустя мгновение, мысль о произведении в душе, всегда та же, пребывала в вечном становлении. Заодно она стала мне надоедать. Она словно бы стала сыном, о котором умирающая мать должна еще, тяготясь, беспрестанно заботиться, улучая время между банками и уколами. Может быть, она еще любит его, но ей об этом напоминает только тягостная обязанность: тревога о нем. Мои писательские силы уже не были на той же высоте, что и эгоистические потребности произведения. С того дня на лестнице ничто в мире — радость дружбы, успехи в работе, надежда славы — больше не досягало меня, только как большое бледное солнце, которое уже не могло меня согреть, дать силы, вызвать во мне хоть какое-нибудь желание, — и еще, сколь бы ни было оно тусклым, оно слишком

ярко светило для моих глаз, которым так хотелось закрыться, и я отворачивался к стене. Мне кажется, — в той мере, в какой я уловил движение губ, — я слегка улыбнулся уголком рта, когда одна дама написала мне: «Я очень удивилась, не получив ответа на свое письмо». Тем не менее, это напомнило мне ее послание, и я ей ответил. Мне хотелось, чтобы меня не сочли неблагодарным, довести свою теперешнюю вежливость до уровня вежливости, проявленной людьми по отношению ко мне. И я был раздавлен, наложив на свое агонизирующее существование сверхчеловеческие тяготы жизни. Несколько помогала утрата памяти, облегчая бремя обязанностей; их подменило произведение.

Мысль о смерти окончательно водворилась в моей душе, как прежде мысль о любви. Не то чтобы я любил смерть, — я ее ненавидел. Но, возможно, с той поры, как я стал понемногу размышлять о ней как о женщине, в которую мы еще не влюблены, мысль о ней переплелась с самыми глубинными пластами сознания, и если какой-либо предмет еще не пересек мысли о смерти, я не мог заняться им; даже если я был свободен и пребывал в полном покое, мысль о смерти постоянно жила во мне, как мысль о себе.

Я не думаю, что в тот день, когда я наполовину омертвел, все это были какие-то сопутствующие обстоятельства — невозможность спуститься по лестнице, вспомнить имя, подняться, — каким-то бессознательным даже действием мысли определившие ее, идею смерти, то, что я был уже почти мертв; все это, скорее, явилось вместе, и огромному зеркалу духа надлежало отразить новую реальность. Однако, мне все равно не было ясно, как мои болезни ни с того ни с сего могут привести к окончательной кончине. Но тогда я подумал о других, о тех, кто с каждым днем близится к концу, ведь пропасть между их болезнью и смертью не представляется нам чем-то огромным. Я также подумал, что если некоторые недомогания не казались мне смертельными, то это потому, что (даже если не учитывать кривую призму надежды) я смотрел на них изнутри, взяв отдельно, хотя и верил в свою смерть, — подобно тому, кто и сам знает, что смерть у порога, но с той же легкостью убеждает себя, что если он и не может произнести некоторых слов, то это не имеет никакого отношения к удару, афазии и т. д., но вызвано усталостью языка, нервным состоянием, подобным заиканию, либо истощением, обусловленным несварением.

Я все-таки должен был написать что-то другое, более долговечное, книгу, которая послужит не мне одному. Это произведение нужно писать долго. Днем я, самое большое, пытался бы уснуть. Если бы я и работал, то это было бы только ночью. Но мне нужно много ночей, может, сто, может, тысячу. И я жил бы, тревожась по утрам, когда я прерывал бы мой рассказ, что повелитель судьбы, не столь снисходительный, как султан Шахрияр[209], не отложит последнюю остановку, не позволит мне продолжить рассказ следующим вечером. Не то чтобы я рассчитывал хоть чем-то повторить Тысячу и одну ночь или Мемуары Сен-Симона, также писавшиеся ночью, или какую-нибудь другую любимую мною книгу, — поскольку я по детской наивности привязался к ним, как к любовным чувствам, и не мог без ужаса представить отличное от них произведение. Так и Эльстир воссоздал Шардена, и нельзя воскресить то, что любишь, сперва не потеряв. Наверное, мои книги тоже, как живая плоть, в конце концов умрут. Надо покориться смерти. Мы смиряемся с тем, что через десять лет нас самих, а через сто лет наших книг больше не будет. Вечная

[209] Примечания: 209

Муж Шахерезады, первый человек, ознакомившийся с «Тысяча и одной ночью».

жизнь отпущена книгам не в большей степени, чем людям. Может быть, это была бы такая же длинная книга, как Тысяча и одна ночь, только совсем другая. Наверное, когда мы влюблены в произведение, то хотелось бы создать что-то подобное, — но следует жертвовать преходящей любовью и помнить не о своих пристрастиях, а только об истине, она не спрашивает о наших предпочтениях, она запрещает и думать о них. И если мы следуем ей одной, мы когда-нибудь вдруг поймем, что рассказываем то, от чего сбежали, и написали, забыв о них, Арабские сказки или Мемуары Сен-Симона своего времени. Но было ли еще у меня время, не слишком ли поздно?

Я спрашивал себя не только: есть ли еще время, но и в состоянии ли я еще. Болезнь, что вынудила меня, как грубый духовник, умереть для света, сослужила мне службу («ибо если зерно пшеницы не умрет после того, как его посеяли, оно останется одно, но если умрет, оно принесет много плода»[210]), — теперь она, как раньше леность охранила меня от легкомыслия, быть может, убережет меня от лености; но заодно она поглощала мои силы, и, как я давно уже заметил, как раз

[210] Примечания: 210
Пруст по памяти приводит текст Ин. 12:24.

тогда, когда разлюбил Альбертину, силы моей памяти. Но воссоздание памятью впечатлений, которые надлежало затем углубить, осветить, преобразить в духовные эквиваленты, — не было ли это одним из условий, если не самой основой произведения искусства, такого, каким оно представилось мне только что в библиотеке? О, если бы у меня были силы, еще нетронутые в тот воскрешенный моим воспоминанием вечер, когда я впервые увидел Франсуа ле Шампи! Ведь к тому вечеру, когда мать поддалась, восходит медленная бабушкина смерть, закат моей воли и здоровья. Все определилось минутой, когда, не в силах больше ждать завтрашнего дня, чтобы прикоснуться губами к лицу матери, я решился и спрыгнул с кровати и, в ночной рубашке, подбежал и приник к окну, откуда лился лунный свет, а потом услышал, как уходит Сван. Мои родители проводили его, я услышал, как калитка открывается, звонит, закрывается…

И вдруг я понял, что если у меня еще найдутся силы исполнить мое произведение, то этот утренник, на котором я открыл и идею моего произведения, и узнал страх, что я не успею осуществить его, несомненно запечатлит для меня форму, некогда предчувствованную в

комбрейской церкви, остающуюся нам обычно неведомой, форму Времени.

Конечно, наши ощущения подвержены большому числу ошибок, искажающих реальный облик мира, и самые разные эпизоды этого повествования поведали нам о том. В точнейшем переложении, которое я постараюсь создать, можно было бы, на крайний случай, не переставляя звуки, попытаться не извлекать их из причины, к которой рассудок приписывает их задним числом, — ведь если я отниму у дождя его тихую песню в комнате и солью с потопом во дворе кипение отвара, то, наверное, это не отвлечет сильнее, чем расхожие приемы художников — яркие цвета в картинах изображаются сообразно законам перспективы, очень близко или очень далеко от нас, и сперва обманувшийся взгляд показывает нам парус или пик вблизи, а затем рассудок перемещает их в даль. Я мог бы, хотя это более серьезное заблуждение, по-прежнему, как и раньше, приписывать какие-либо черты лицу прохожей, тогда как вместо носа, щек и подбородка там нет ничего, кроме пустой породы, на которой, самое большее, играет отсвет наших желаний. И даже если у меня и не хватит времени подготовить (что гораздо важнее) сотню

масок, которые подошли бы одному и тому же лицу, даже если бы они были только проекцией смотрящих на него глаз, чувства, прочтенного ими в чертах, и, для тех же глаз, плодом надежды и страха или, напротив, любви и привычки, скрывающих на протяжении тридцати лет изменение возраста, — даже, наконец, если бы я не взялся — без чего, как показала мне связь с Альбертиной, все искусственно и ложно, — за изображение некоторых лиц не извне, но изнутри нас, где малейшие действия этих людей могут привести к смертельным бедствиям, и не перекрашивал бы также и цвет морального неба сообразно давлению нашей чувственности или простому облачку опасности, которое, взволновав нашу безмятежную уверенность, столь сильно умалившую предмет, в мгновение ока умножает его величину; даже если бы я не смог внести эти и множество других изменений (необходимость которых, если мы собираемся изображать реальность, может возникнуть по ходу рассказа) в транскрипцию универса, подлежащего полной переделке, то по меньшей мере я не упустил бы описание человека как предмета, обладающего длиной не только тела, но и лет, предмета вынужденного, — задача все более и более трудная,

которая, в конце концов, сломит его, — двигаясь, волочить их за собою. Впрочем, то, что мы занимаем беспрерывно расползающееся по Времени место, чувствуют все, и эта всеобщность могла меня только обрадовать, ибо мне предстояло истолковать истину, о которой догадывается весь свет. Мы чувствуем, что занимаем место во времени, даже самые непритязательные люди определяют его на глаз с той же уверенностью, с которой мы определили бы наше место в пространстве, и даже не особо проницательные, встретив двух незнакомых мужчин (допустим, в их усах нет седины, или они гладко выбриты), скажут, что одному из них двадцать, второму сорок. Конечно, в этой оценке мы часто ошибаемся, но то, что ее принято считать возможной, свидетельствует: мы воспринимаем возраст как что-то измеримое. И действительно, второй мужчина с черными усами постарел на двадцать лет.

И если теперь во мне утвердилось намерение обрисовать идею накопленного времени, неотделимых от нас истекших лет, то только оттого, что даже в эти минуты, в гостях у принца де Германт, шум шагов моих родителей, провожавших Свана, мерцающие, железистые, неистощимые, визгливые и бодрые трели колокольчика, возвестившие

мне наконец, что Сван ушел, что мама сейчас поднимется, — что я их слышал еще, я их слышал, какими они были, хотя они и покоились в отдаленном прошедшем. Между мгновением, когда я услышал их, и этим утренником Германтов невольно разместилось громадное количество событий, и я испугался, когда вспомнил об этом, потому что это был все тот же колокольчик, еще звеневший во мне, и я ничего не мог изменить в его прерывистом звоне, и поскольку я плохо помнил, как он умолк, и не мог повторить его, чтобы расслышать получше, я должен был затворить слух, чтобы мне не мешали все эти маски, болтавшие вокруг меня. Я должен был опуститься вглубь себя, чтобы расслышать его поближе. Значит, во мне всегда звенел этот колокольчик, и между его звоном и этим мгновением уместилось безгранично развернувшееся прошедшее, а я и не думал, что несу его в себе. Когда он зазвенел, я уже жил, и с тех пор, чтобы я по-прежнему мог слышать этот звон, не должно было возникнуть никакой прерывности, я обязан был думать и существовать, длить мысль о себе, поскольку это давнее мгновение еще держалось за меня и я мог к нему вернуться, обратившись к глубинам души. И именно потому, что они нагружены ча-

сами прошлого, человеческие тела могут сделать столько зла тем, кто их любит, потому что в них заключены бесчисленные воспоминания о радостях и желаниях, уже бесцветных для их глаз, но слишком ярких для того, кто созерцает и удлиняет в строе времени любимое тело, ревнуемое им так сильно, что он мечтал бы его разрушить. Ибо после смерти Время покидает тело, и незначимые и блеклые воспоминания уже изгладились в той, которой больше нет, они изгладятся скоро и в том, кого еще мучат, в котором они в конце концов погибнут, когда желание живого тела больше не затеплит их жизнь.

Я испытал усталость и страх, представив, что это долгое время сплошь прожито, продумано, порождено мной, что оно стало моей жизнью, мною самим, что я непрерывно должен был держаться за него, что оно несет меня, взгромоздившегося на его головокружительную вершину, и невозможно и тронуться, не переместив ее. Точка, в которой я услышал звон колокольчика в комбрейском саду, была далека и вместе с тем внутри меня, она была ориентиром в бескрайних величинах, хотя и сам я не подозревал, что такой ориентир существует. У меня закружилась голова, когда я увидел внизу и при всем том в

себе, — как если бы во мне было много лье высоты, — великое число лет.

И я понял, отчего герцог де Германт, чьей моложавостью я восхищался, пока он сидел на стуле, хотя под его ногами было гораздо больше лет, чем под моими, привстав и силясь устоять на колеблющихся ногах, затрясся, как иные старые архиепископы, у которых если и есть что-то прочное, то только металлический крест, когда к ним поспешают юные крепкие семинаристы, — и не смог и ступить, не дрожа, как лист, по непроходимой вершине восьмидесятитрехлетия, будто люди стоят на постоянно растущих, подчас выше колоколен, живых ходулях, отчего, в конце концов, их передвижения становятся трудны и опасны, и они падают. (Не от того ли несведущим глазам было так трудно спутать лица людей определенного возраста с лицами молодых, проступавшим сквозь них, как своего рода облако?) Меня ужаснуло, как высоки мои, мне подумалось, что я еще недолго смогу удерживать это прошлое, опускавшееся столь глубоко. Все-таки, если мне отпущено достаточно сил, чтобы исполнить мою работу, то прежде всего я опишу людей, даже если в результате они будут походить на чудовищ, и их место, подле такого ограниченного, отведенного

им в пространстве, место, напротив, безмерно вытянутое, поскольку они синхронно касаются, как гиганты, погруженные в года, самых удаленных эпох, между которыми может уместиться столько дней — во Времени.

Конец.